



Дружба народов

11/2023

Дружба на вырост



«Дружба на вырост»—2023

Сколько стихов посвящено детям, их играм во взрослую жизнь, когда родители и дети меняются ролями!.. Вадим МЕСЯЦ в стихотворении «Прекрасной Даше» готов стать даже «римским папой», потому что «В государстве Ватикан детской нет площадки». Незабываемая детская мечта возникает в элегии Алексея КОМАРЕНЦЕВА: «Вот бы снова попасть на бетонный причал —/ тот, с которого я/ несуразные палочки морю вручал,/ словно два корабля». Экзистенциальный смысл обретает в стихах Надежды КЕЛАРЕВОЙ известная присказка: «У лисички боли/ (Нет, пожалуйста, не боли!)/ У собачки боли/ (Нет, пожалуйста, не боли!)/ И у них не боли, и у нас не боли/ Не боли-не боли-не боли».

Повесть Анатолия ВАЛЕВСКОГО «Горький вкус мандаринов» — о взрослении подростка, чья жизнь разделилась на «до» и «после» автомобильной аварии. И самое сложное — это не ограниченность в здоровье. Герой повести живёт на своей каждодневной Голгофе среди таких же ущербных, как высокомерно считает равнодушное общество. С этим трудно мириться, приходится что-то кому-то доказывать, а главное — невозможно ответить на неизбежные вопросы: почему ты не живёшь в своём доме? где твои родители? От осознания этого накатывает бессилие, а потом, со временем, приходит понимание, что ты никому на свете не нужен.

«—Вся русская литература показывает, что русский человек — это непонятный миру камикадзе, робко взмывающий в небо и решительно срывающийся в омут с головой», — бросает вызов учительнице герой Валевского. «У Матильды даже очки поползли по переносице: “Аргументируйте, молодой человек”, — жёстко потребовала она». В сущности, именно этим и занимаются авторы ноябрьского номера «ДН»: аргументируют своё отношение к русской классике и её героям и обосновывают необходимость изучения сложившегося канона, признавая неизбежность коррекции школьной программы.

Писатели рассуждают о том, что из обязательного списка стало книгой на всю жизнь, а что (и почему) так и осталось непрочитанным. Оказывается: Александр ГРИГОРЕНКО прочёл «Евгения Онегина» лишь в 55 лет, Алексей САЛЬНИКОВ не двинулся дальше первой главы, Денису ДРАГУНСКОМУ Онегин помог определиться с профессией. А вообще, что тут обсуждать, считает Кирилл РЯБОВ: «Пушкин — великий русский гений. Вот и всё»...

Преподаватели же тревожатся. Евгений АБДУЛЛАЕВ (Ташкентская Православная Духовная семинария): «Что читают: как можно проще организованный текст. Минимум метафор, минимум описаний, минимум слов. Больше действия, желательно, стремительного. Больше информации, желательно “горячей”. Тогда, так и быть, почитаем. Как читают: урывками, кусочками, немного с начала, нет, не понравилось, почитаю другое. Вариант: нет, не согласен, дочитывать не буду... но выскажусь». Александр МАРКОВ (РГГУ): «Отличник как бы живёт в мире, где Дубровский спасает Машу, где может появиться Раскольников из-за угла и нужно быть осторожным, и где вишнёвый сад уже продан, и жалеть о нём не надо. Это мир уже состоявшихся катарсисов». Михаил ПАВЛОВЕЦ (ВШЭ): «Идёт активная мемизация (мимизация) русской национальной культуры, в том числе и “классики” под лозунгом постижения её “генетических кодов”. Школьники в итоге будут знать ответ на вопрос “Зачем Герасим утопил свою Муму?” — прекрасно обходясь без того, чтобы открывать время от времени книги: такие задачи не ставятся ни перед ними, ни перед учителями!»

А литературный критик Ольга ГЕРТМАН пытается с помощью недавно вышедших книг понять: «Что делать с классиками — с их, то есть, классическими текстами — здесь и сейчас? Как их читать (ведь безнадёжно же архаичны, разве нет?), с какими запросами к ним есть смысл обращаться и как их истолковать, как представить, чтобы они стали детям интересны и понятны — и оказались прочитаны?..»

Дружба народов

16+



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Редакционная коллегия

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.09.2023.
Подписано в печать 25.10.2023.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ . Цена свободная.

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Леонид
БАХНОВ
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Заместитель главного редактора Галина
КЛИМОВА
Владимир
МЕДВЕДЕВ
Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Дмитрий
БИРМАН
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Денис
ГУЦКО
Фарид
НАГИМ
Илья
ОДЕГОВ
Валерия
ПУСТОВАЯ
Ренат
ХАРИС
Александр
ЧАНЦЕВ
ЭЛЬЧИН

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Вадим МЕСЯЦ. Денница неуютя. Стихи	3
Анатолий ВАЛЕВСКИЙ. Горький вкус мандаринов. Повесть	7
Ирина КРАЕВА. Фатима зажигает свечи. Рассказ	46
Алексей КОМАРЕВЦЕВ. На линии сгиба. Стихи	52
Игорь КОРНИЕНКО. Нечеловеческая любовь. Рассказ	55
Максим СИМБИРЕВ. Жертва. Повесть	63
Надежда КЕЛАРЕВА. Правдивее табуретки. Стихи	80
Даша БЛАГОВА. Похоронный Отряд Бездомных Животных. Рассказ	83
Елизавета ВОЛЫНСКАЯ. Рассказы	95
Александра БРУЙ. Тридэ. Рассказы	102
Полина ЩЕРБАК. Красная Шапочка не пришла в девять. Из цикла «Тайны Тенистого леса»	116
Наталья ДОБАРКИНА. Человековывчитание. Стихи	128
Алена НОВИКОВА. Самый большой в мире проводник акустического резонанса. Рассказ	130
Владимир ТРЕНИН. Кокосовая история с географией. Рассказ	140
Денис ПОПОВ. Примета жизни. Стихи	148

МАЛЕНЬКИМ КАРАНДАШОМ

Алексей АЛЁХИН. Варькины истории. Рассказики, сочинённые внучке	150
Варвара ЗАБОРЦЕВА. Вон оно как! Рассказы	154
Татьяна МУРАВЬЁВА. Ануш. Рассказ	159
Денис СОРОКОТЯГИН. Барби. Рассказ	162
Эгвина ФЕТ. Предположим... Рассказы	164

ПРОЗА.ДОС

Мария ГАБРИЛОВИЧ. Объяснение в любви	166
--	-----

УРОКИ ЧТЕНИЯ

Классический сюжет. В обсуждении участвуют: Вера БОГДАНОВА, Валерий БЫЛИНСКИЙ, Алексей ВАРЛАМОВ, Александр ГРИГОРЕНКО, Максим ГУРЕЕВ, Андрей ДМИТРИЕВ, Елена ДОЛГОПЯТ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Анна КОЗЛОВА, Илья КОЧЕРГИН, Александр МЕЩЕРЯКОВ, Кирилл РЯБОВ, Алексей САЛЬНИКОВ, Антон СЕКИСОВ, Роман СЕНЧИН.....	186
--	-----

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Михаил ПАВЛОВЕЦ. Читать или проходить	203
---	-----

АДАПТАЦИЯ

Сложносочинённое и сложноподчинённое. О классическом литературном каноне и не только. Александр МАРКОВ, Александр МЕЛИХОВ и Евгений АБДУЛЛАЕВ ...	209
--	-----

СВЯЗКА РЕЦЕНЗИЙ

Ольга ГЕРТМАН. Дети берутся через дырку в заборе	219
--	-----

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Екатерина ДМИТРИЕВА. Второй том «Мёртвых душ»: замыслы и домыслы.....	227
---	-----

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. К филологии счастья	258
--	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Вера КАЛЫКОВА. Встреча на полпути (Л.Фёдорова. «Адаптация как симптом...»)	264
--	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Невольная рифма	269
-------------------------------------	-----

Вадим Месяц

Денница неуюта

Стихи для прекрасной Даши

*

Даша в мыльном пузыре
как-то очутилась.
Как букашка в янтаре
тут же притаилась.
Папа к Даше подошёл
и в ладоши хлопнул.
Сразу стало хорошо.
Только шарик лопнул.

*

Папа Дашу закопал
на пустынном пляже,
обессмертил ритуал
в фоторепортаже.
Голова торчит в песке
и поёт куплеты,
чтоб во व्यуге и тоске
не кончалось лето.

*

К Даше прямо на балкон
сели марсиане.
Раздувают саксофон,
жарят на баяне.
Очень шумные они.
И — не в нашей теме.
Лучше будем жить одни
в Солнечной системе.

*

Даша скальпелем в руке
лечит медвежонка.
Где болячка на пупке?
Где его печёнка?
Во все стороны летят
в доме клочья ваты.
Звери к доктору хотят,
излеченью рады.

*

В государстве Ватикан
детской нет площадки.
Всюду виден мудрый план.
Жизнь людей в порядке.
Перестроить город сей
можно тихой сапой,
если папа поскорей
станет римским папой.

*

Электричество живёт
за стеной в розетке
дни и ночи напролёт,
как зверюга в клетке.
Кто сожмёт его хребет
и совсем не струсит,
электричество в ответ
яростно укусит.

Гадание

Чёрных птиц ты кидаешь в печь,
а они вылетают прочь.
Не спасти тебя, не сберечь.
Ты уйдёшь от меня, моя дочь.
Белый голубь посажен на цепь,
жалкой лапкой скребёт доску.
Дай мне, Господи, в жизни цель.
Прогони от меня тоску.
Поднимается белый дым.
И вплетается в чёрный дым.
А мы смертью судьбе грозим.
Сколько лет уже, сколько зим.

Любовь

Когда огромная жизнь прошла,
и рухнули небеса,
любовь бросается из-за угла
и смотрит тебе в глаза.
Она на колени в грязи встаёт
и тянется к животу.
И губы её холодны как лёд,
и взгляд — в луговом цвету.
Она безлика, как имярек.
В ней спит торжество потерь.
И слова не скажет как человек.
И не зарычит как зверь.

Говорящие головы

За вековыми деревьями на море берег крут.
Мачты большими деревьями на кораблях цветут.

Вяжут узлы перекрестия солнечные лучи.
И наплывают созвездия полчищем саранчи.

В крыльях дворового аиста мечется каждый день
мантия доктора Фауста или убийцы тень.

И говорящие головы в выплеске немоты
льют терпеливое олово в полуживые рты.

С треском ломаются ампулы на острие ножа.
И мысли витают, как ангелы, людям не принадлежа.

Ставрогин

Из трубчатых костей водопровода
до высшей точки нарастает гул,
в котором хрипло воеет непогода,
во мне определяя антипода,
как в детстве, заставляя встать на стул.
Позволь мне прикоснуться к потолку,
почувствовать объёмы и пределы,
трёхмерную, как перекрёсток, клеть.
И всё, что будет на моём веку,
узнает это радостное тело,
чтоб ничего не помнить и взлететь.

Оправдание

Когда в отчаянье бодрящем
клубится дух аптечных трав,
меняя в ветре восходящем
его химический состав,

и газировкой ледяною
переполняется луна,
моей неведомой виною
больна, как бывшая жена,

и пустыри глухонемые
расширили глаза свои,
как доказательства прямые
взаимной нашей нелюбви,

и мы, как звери на закланье,
вбирая лета горький дым,
друг в друге ищем оправданья
и в небо с завистью глядим.

Звезда

Одна звезда в окне,
денница неуюта,
погасшая во мне
предвечная минута,
не знает глаз людских,
грешащих теплотою,
и помыслов благих
за финишной чертою.

Анатолий Велевский

Горький вкус мандаринов

Повесть

Если ты сам не сдаёшься, то тебя никогда не побьют.

Алан Маршалл

Эллиот

В «Голгофу» меня привезли в десять лет. Выгружая коляску из машины, Папа виновато произнёс:

— Теперь наш дом здесь.

Он почувствовал мой буравящий взгляд, но головы не поднял.

— Надолго? — поинтересовался я, нахмурившись.

Он не ответил. Я вздохнул. Ясно: «Голгофа» — это билет в один конец. На меня опустилось беспредельное уныние.

«Голгофа» — интернат для инвалидов. Тихое, удалённое от цивилизации место. Кирпичные одноэтажные прямоугольнички хаотично разбросаны по огромному пространству, ели, будто стражи, между которыми натянули сетку-рабицу, прилично сэкономив на ограде, защищают от вторжения любопытных. Огромные ветвистые ели — их невозможно обхватить — источают такую приятную прохладу и спокойствие, что среди них хочется спрятаться, наслаждаясь природной свежестью. Ночью круглая молочно-белая луна, насаженная на их тонкие верхушки, с блаженством раздаёт вокруг сияние новогодней звезды.

Гордость «Голгофы» — два кряжистых дуба, мы называем их дозорными. Это мощные деревья, глубоко пустившие корни в плодородную, всегда влажную почву. В ветреную погоду листья, шепча и переговариваясь, крепко держатся за ветки. Кажется, деревья ведут между собой интересный разговор.

Воздух «Голгофы» напоён ароматами хвои, прелой листвы. Люблю, открыв окно, вслушиваться в шелест ветра, доносящийся с крон деревьев, приглушённый шорох лап невидимых в кромешной темноте зверей. Кстати, о зверье.

Велевский Анатолий Михайлович — родился в Новом Роздole (Украина) в 1969 году, окончил Томский государственный педагогический университет (1997). Работает учителем истории в лицее города Усинска, Республика Коми. Печатался в журналах «Дружба народов», «Нева», «Крещатик» и других.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

Со мной в маленькой комнате живёт сэр Седрик, великий мастер потягушек, любитель поспать и понежиться на моей кровати.

Его благороднейшее котейшество принадлежит к чистокровным дворянам. Мама подобрала комок персиковой шерсти возле подвала, откуда доносился младенческий писк: «Возьмите, не проходите мимо. Я буду хорошим котом, изловлю вам всех мышей». Подобрали, отмыли, свозили на осмотр в ветлечебницу. На радостях найдёныш ел всё, что даст хозяйка, включая огурцы. Шакалил, не отходя от кухонного стола, глядя вечно голодными глазами на спасительницу, мурлыча песню попрошайки: «Разлу-у-у-ка, ты-ы, разлука-а-а, чужа-а-а-ая ста-а-ара-на-а-а-а...»

Подобрыш, названный аристократическим именем Седрик — никто в семье не мог вспомнить, кто первым так его окрестил, — никакой благодарности за спасение, холение и лелеяние проявлять не собирался. Конечно, семейство тешило себя надеждой, что в будущем его котейшество осознает главное предназначение — быть ласковой и нежной отрадой хозяевам.

Где-то читал, что бесконечно можно смотреть, как горит огонь, как течёт вода и как работает другой человек, но это классика. Я же не могу наглядеться, как Седрик балуется. Но он к этому подходит без всякого вдохновения: рутинная, тяжёлая работа, но кто-то же должен! И его котейшество Седрик добросовестно выполняет свои обязанности: вволю спит, ест от пуза и носится как угорелый по просторам «Голгофы».

Седрик — мой кошачий оберег. Он — всё, что осталось от моей жизни до «Голгофы». Когда мне сказали, что надо переезжать, я Папе открытым текстом заявил: «Без Седрика никуда не поеду. Он обязательно должен жить со мной, только со мной».

Папа молча кивнул в знак согласия.

Чтобы избежать дальнейших недоразумений, предупреждаю: Папа — это не мой родной отец. Почему Папу я зову Папой — об этом чуть позже.

А вы любите смотреть на небо? Если нет, прошу вас — задержитесь на мгновение, найдите несколько минут! Иногда мечтаю пробежаться по небу... Смешно, но хочу... Не говорите, что моя мечта — это сумасшествие. Если вы так подумали, — у вас отсутствовало нормальное полноценное детство. Просто взгляните на небо. Оно прекрасно, не так ли?

Вот и я так думал, пока не случилось двадцать четвёртое августа, разделившее мою жизнь на две части: до и после — день, когда мы с мамой попали в жуткую автомобильную аварию.

После сложнейшей операции, как только я пришёл в сознание, услышал странный совет лечащего врача: «Цените маленькие радости, однажды они сложатся в большое счастье...» Юморист.

Радость — это когда ты можешь ходить, играть в футбол, кататься на велосипеде. Быть как все. Когда же твой позвоночник, стянутый «шурупами», блокирует тело и ты его совсем не чувствуешь... и понимаешь, что это на всю оставшуюся жизнь... О какой радости тогда говорить? Но я понимаю, что врач имел в виду совсем другое. Он призывал меня не отчаиваться. С этим сложнее, но я старался держаться бодренько, хотя бы для близких людей. Отчаяние на меня не один раз накатывало, особенно по ночам.

При выписке лечащий врач ещё раз заявил мне психоделическое: «Парень, знай: испытания — это возможность изменить жизнь к лучшему». Интересно: это он реально мне или всё же себе?! Ни в чём не уверен.

В ответ утешитель услышал моё краткое и саркастическое «спасибо». Оно было лишено эмоций. Слезы? Я не умею плакать — это моя аномалия.

Бабушке опеку не разрешили, сказали, что слишком пожилая она для этого. «Запоздалый у вас внук», — вынесли вердикт какие-то тётки, наделённые властью определять, где и с кем мне жить после того, как у меня погибла мама. Такая вот правда жизни: чем позднее ты появился на свет, тем больше вероятность остаться сиротой.

Бабушка, благословляя меня на «Голгофу», сказала:

— Лучшие годы у тебя впереди!

— А до этого какие были? Какие?

Бабуля сделала вид, что не расслышала, поцеловала меня в макушку (обычная тактика взрослых), но Папе изрекла: «Видать, мой внук унаследовал некую жизненную серьёзность от своей матери. Вам с ним будет тяжело. Ой, тяжело...»

До девяти лет, до той самой аварии, сделавшей меня пожизненно колясочником, я наивно полагал, что детство — это прекрасно.

В три года я отчаянно доказывал матери, что лужа не грязная, а... шоколадная. Она нехотя кивала, что ещё больше разжигало моё воспалённое воображение. А сейчас — шоколадная лужа! — я б и не додумался до такого.

В моей голове роилось слишком много вопросов, и я на них отвечал, поэтому называл себя профессором Почемушкиным, потрясая домочадцев умозаключениями, например, что дождь — это слёзы неба, а когда оно закрывалось мрачными тучами, настаивая, что там, наверху, идёт большая семейная разборка.

На день рождения мама подарила мне книгу о космосе — большую, с красивыми картинками. Я влюбился... в космос. В четырёхлетнем возрасте заявил, что очень хотел бы покататься на звезде, но она горячая, можно обжечься и сгореть. Значит, придётся придумать несгораемую одежду... Мечтал, что, когда вырасту, обязательно куплю большую ракету, чтобы объездить все планеты, и возьму с собой не только маму с бабушкой, но и птичек-чиричек, наших уличных воробьёв.

В пять лет окончательно добил маму — я уже умел читать, — авторитетно заявив, что мы с ней космос! Да!

— Как же ты узнаешь, профессор Почемушкин, всё, что творится в космосе? Такого ведь огромного телескопа ещё не придумали.

— Придумали, — уверенно заявил я. — Просто нужно смотреть на звёзды всем людям на земле. Сидеть и смотреть в небо, тогда у всех будут одни большие глаза, которые всё увидят, — удивлял я маму своим глубокомыслием.

Мама нежно обнимала меня, приговаривая: «Мой самый любимый профессор Почемушкин». — Я счастливо улыбался и отвечал: «В садике, у тебя на работе я Почемушкин, а дома... я твой сыночек... детский человечек».

После двадцать четвёртого августа на меня снизошло озарение. Даже в самом счастливом детстве обязательно должен быть дефект, некая драма, травма, душевный шрам, глубокая отметина, которая делает это время запоминающимся, мысли ребёнка глубокими, а речь — осмысленной.

Сейчас мне пятнадцать. В «Голгофе» я обитаю уже пятый год.

Ах да, забыл представиться — Эллиот.

Домашняя легенда гласит, что выбор имени произошёл самым странным образом, когда я громко плакал. Андреи, Максимы, Алексеи, Толики сразу пролетели мимо. По телевизору показывали какой-то фильм, в котором главного героя звали Эллиот. Мама урывками смотрела кино, и у неё вырвалось: «Этот Эллиот совсем безбашенный», — и в этот момент я перестал плакать, напротив, осчастливил

смейство смехом. Так я стал Эллиотом. Ещё говорили, что маму всячески отговаривали от этого имени, но она проявила упорство, даже твёрдость, и в свидетельство о моём рождении всё же вписали — Эллиот Бездомных.

Не надо смеяться. Да, у меня не только необычное имя, но и смешная фамилия. Правда, считаю, что Эллиот Бездомных звучит круто! Я тот, кто я есть. Мне комфортно — это главное.

В детстве меня и не дразнили вовсе, правда, однажды услышал в четвёртом классе, как учительница объясняла однокласснику смысл моей фамилии: «У мальчика нет дома, поэтому у него такая фамилия».

Фраза озадачила. Если у человека фамилия Безденежный — это же не значит, что он без денег. Или фамилия Безруких — что, обязательно без рук?

Когда Папе пересказал эту историю, он возмущённо заявил: «Твоя учительница несла бред сивой кобылы! Её лечить надо и к детям на пушечный выстрел не подпускать!» Согласен.

Папа, он такой, он за справедливость. Ещё он не терпит, когда при нём произносят слово «интернат», да и от «Голгофы» его коробит, как от зубной боли.

«Это наш Дом, — постоянно твердит он. — Его надо любить».

Любить интернат — увольте. Но ко всему на свете привыкаешь, даже к «Голгофе».

Мама говорила, что мой биологический отец, испарившись давным-давно, как мираж в пустыне, хоть и порядочная сволочь (интересно, какая тогда непорядочная?), но оставил нам дом. Спрашивается, какой же я Бездомных, если у меня есть свой собственный, самый настоящий дом? Сейчас в нём никто не живёт, но я окончу школу, выучусь, получу профессию и вернусь в свой родной дом. Поэтому, когда Папа утверждал, что «Голгофа» — наш Дом, я морщился. Папа, глядя на моё кислое лицо, вздыхал, взъерошивал рукой мои волосы и успокаивал:

— Ты, Эллиот, вообще богатый человек. — На Папином лице играла улыбка. — У тебя два дома. Согласись, два дома всегда лучше, чем один.

Я киваю. Правда, — два дома всегда лучше, чем один.

До восьмого класса я учился в школе при «Голгофе», но потом пришлось перейти в поселковую. Учить меня одного оказалось накладно.

В седьмом классе нас было шестеро.

Тёмку Арсеньева неожиданно забрала домой мать. Так странно: сначала сдала, а через семь лет забрала. Мне не по душе такие перемены. Лично я бы в них не поверил. Думаю, мать забрала его из-за пенсии, хотя выглядела она, когда приехала за Тёмкой, прилично.

Стаса перевели в другой интернат, у него редкое заболевание — синдром Вильямса, — которое в «Голгофе» не лечится. У него необычная внешность: высокие скулы, большой разрез голубых глаз, внутри которых всегда как будто много молний. Нижняя челюсть очень маленькая, а губы большие, но какое доброе выражение лица! В «Голгофе» его любили и, когда его отправляли в другой интернат, все плакали. Сам Стас больше всех.

Жалко Игорёшку. Во сне умер. Ночью неожиданно остановилось сердце, а рядом никого не было. Умереть в тринадцать лет — это жестоко, бессердечно, хотя наша воспитательница, утирая платком слёзы, негромко сказала: «Отмаялся, бедненький!»

У меня единственного есть возможность задавать Папе любые вопросы и, главное, всегда на них получать ответы. Поинтересовался, на самом ли деле Егор дурачок? Папа покачал головой: «Его отставание в умственном развитии вызвано

социальными проблемами». Папа ещё что-то объяснял по поводу Егора, но я понял, что мальчишку дураком сделали семья, обстоятельства, окружающие. У него олигофрения в стадии дебильности. Была бы хорошая семья, где бы его любили и терпеливо с ним занимались... но Егорка жил у нас. После седьмого класса его перевели во вспомогательную школу.

В нашем маленьком классе единственной девочкой была Орешина. У Любки деформация позвоночника, приведшая к появлению горба на спине, и ещё у неё РАС — расстройство аутистического спектра. Её считают не от мира сего, потому что она либо нелюдима, постоянно что-то невнятное и злобное бормочет себе под нос, либо милейший взрослый ребёнок: ластится ко всем, и тогда её навязчивость зашкаливает. Для меня Любка нормальная. Я так Орешине и сказал:

— Ты как все мы! Нормальная!

Она посмотрела на меня, как на больного.

— Меня здесь все считают дурочкой, — заученно сказала Орешина и зачем-то стукнула пальцем мне по лбу.

— Твой РАС — это поиск своего «я».

Любка с настороженностью смотрела на меня. И вдруг заговорила:

— Я слышу по ночам шептанья Луны, по утрам — хохот трав, бормотанье подземных корней. А ещё камни у реки разговаривают друг с другом и несносно ворчат, отчего у меня раскалывается голова.

— Ты уникальна, — опешил я.

Орешина выглядела озадаченной.

— Это нормально, быть... уникальной дурой?

— Да, конечно! — убеждённо кивнул я.

Получив мой уверенный ответ, она сделалась счастливой, невыносимой болтушкой, а говорили, что аутисты тихони. Ничего подобного.

Правда, Папа считал, что искалеченные души навсегда остаются изувеченными, что их почти невозможно починить. Я с ним не спорил.

Весной Любка надолго попала в больницу. Никто не говорил, что с ней. Вернулась в «Голгофу» только в конце лета тощей и лысой. Я скучал без неё, потому что мы с Орешинкой самые большие друзья. Думаю, я ей, наверное, даже нравлюсь: она любит меня причёсывать. Когда меня привезли в «Голгофу», она первой весело крикнула: «У нас новый черепок с клювиком!» Как вам приветствие? Оно меня позабавило. Никто так меня не встречал и не называл.

После больницы Любке запретили учиться. У неё шадящий режим. Вот так я и остался в классе один.

В поселковой школе к моему приезду вынуждены были построить деревянный пандус, перевести восьмой класс на первый этаж, расширить для меня входные двери в школу и в класс. Классный руководитель однажды в сердцах упрекнул: «Если бы ты знал, Бездомных, какой ты для нас геморрой...»

Я с негодованием рассказал об этом Папе, но он искренне засмеялся, тем самым сбив меня с толку.

— Эллиот, ты в самом деле влетел им в копеечку... Ты их самый дорогой ученик...

Слова Папы подняли мою самооценку. Она у меня и так не занижена — она адекватна. Главное — принять себя целиком, и тогда не будет никаких страданий. Лишних страданий.

В школе ко мне относились корректно, правда, Папа выразился точнее — толерантно. Значит, никак. Когда Папа лично первый раз вкатил меня в «храм образования», то попросил об одном одолжении:

— Эллиот, ты должен вписаться в коллектив класса!

Такое напутствие не вдохновило. После некоторого колебания, чтобы не обидеть Папу, я поинтересовался:

— Почему они не могут вписаться в меня? Их много, я же один.

Папа промолчал. Первое время пришлось классу доказывать, что я умею за себя постоять, особенно Макс, который больше всех насмеялся надо мной: «Разъездились тут всякие, загораживают пространство».

Словосочетаниями сниженной лексики я так припечатал несчастного, что он долго меня не трогал. Был ещё один конфликт с этим неугомонным Максом. Терпеть не могу, когда мне напоминают, что я неполноценный, что я — колясочник. Реально тогда становлюсь неуравновешенным психом — нормальная реакция израненного самолюбия. Не знаю, чего Макс наговорил дома родителям, но на следующий день они пришли в школу с разборками.

Вызвали и Папу. Позже, уже в «Голгофе», он устроил мне настоящий вынос мозга. Главное правило провинившегося — молчать или чистосердечно каяться. Я сознательно выбрал первое. Не зря Николаевна, наша воспитательница, считает, что у меня характер Седрика. Тот молча слушает и мотает услышанное на кошачий ус, и всё, другой реакции не ждите. Седрик давно превратился в благовоспитанного кота. Понял, что так лучше для него самого — никогда не ругаться с хозяином, который его кормит.

Папе категорически не нравилось моё поведение. Я, конечно, не могу ему сказать, что не надо оценивать мои поступки, мысли и чувства с его точки зрения, потому что он не знает даже половины того, что творится у меня внутри, но я, как Седрик, — с хорошими манерами.

Папа мораль всегда начинает одинаково: сначала хвалит. Тактика правильная, усыпляющая бдительность.

— Эллиот, ты личность глубокая, многогранная, но... — задумавшись, он нахмурил брови, и я понял: комплименты по поводу моей неординарной личности закончились. — Но с причудами.

— Вы правы, — с готовностью ответил я, не дав Папе продолжить. — Мама с детства называла меня чудиком.

Установилась тишина, которую боязно нарушить неправильным неточным словом, поэтому лучше молчать. Или, как утверждала Орешина, — когда Папа грозный, лучше быть простым, как карандаш.

Я принял вид вежливой озадаченности.

— Эллиот, — голос Папы внезапно сел, словно у него вдруг пересохло горло, — я тебе не пацан, чтобы меня отчитывала директор школы. — Папа угрюмо уставился на меня, из чего я понял, что в кабинете мадам Ришелье, директора школы, было жарковато. И верно то, что Папа — не пацан. Он для всех нас Папа и обязательно с большой буквы. Всегда.

Я продолжал быть культурным — хранил молчание.

— Эллиот, с твоим характером... — Папа прожёг меня взглядом. — Думаю, ты меня понял, — выдал он, посмотрев на моё серьёзное, непробиваемое лицо.

На этом «воспитание» закончилось. Мне бы промолчать, но...

— Так всё плохо с моим характером? — виновато уточнил я.

Папа посмотрел на меня, лицо его уже было не таким суровым, и брови разгладились. Буря миновала.

— Проблема в том, что как раз у тебя он есть, — буркнул Папа. В его голосе чувствовалось скрытое одобрение. — Надеюсь, больше разборок с этим индивидом по имени Макс ни у тебя, ни у меня не будет!

— Я так же на это надеюсь. — На примирительный тон Папы хотелось ответить шуткой.

Мне это удалось, Папа улыбнулся.

— Он... надеется, — проговорил Папа с иронией. — Всё же почему ты ни с кем не общаешься в классе?

— Будет класс — буду общаться! — отрезал я.

— Ну характер... — по-доброму буркнул Папа. — Ты слишком стремишься быть независимым.

— Это плохо?

— Это беспокойно! — заключил Папа.

Он встал со стула. Подошёл к окну, открыл форточку, после чего снова сел. В кабинете повеяло вечерней свежестью.

— Так какой же у меня характер? — Теперь к Папе можно приставать.

— Трудный!

— Конечно, — с вызовом заявил я. — Меня же не зря называли Эллиотом.

Папа нахмурился ещё сильнее, словно силясь понять смысл моих слов, но тут же решил особо не напрягаться.

— Какое это имеет отношение к твоему характеру? — всё же поинтересовался он.

— Странные имена определяют судьбу! Это мой случай.

— Ты наблюдательный человек, Эллиот.

— Наблюдательность — это умение слушать и делать правильные выводы.

Куда деваться, люблю, люблю чёткие определения.

Папа опять смерил меня взглядом, улыбнулся и покачал головой. В дебаты со мной он решил не вступать.

* * *

Давно веду дневник. Назвал его странным словом «Деструкции». Не помню, откуда взялось оно, но мне всегда нравились необычные слова — они будили чудесное воображение. Не зря мама всегда нежно говорила мне, что я «её чудик».

Дневник — это полное доверие и абсолютная правдивость перед самим собой. Чтобы этого достичь, решил создать себе воображаемого собеседника. Долго думал — кого? Не робота же какого-то? В школе как раз проходили Чехова. Тонкий вдумчивый писатель, глубокий мыслитель, он так же на протяжении всей жизни вёл дневник.

Я подумал, почему бы не он? Представляете, как это стимулировало мою откровенность? Понимаю, что это очередное моё чудачество, но так легче писалось, искреннее, пронзительнее. А главное — именно у Чехова всегда читаешь неожиданные истории, над которыми неизменно тянет размышлять.

Понравилось — в записках великолепной Тэффи «О Дневнике»: «Мужчина всегда ведёт дневник для потомства».

Не удивляйтесь, я — книжный гурман.

Деструкции

«Чехов, как-то раз я сравнил себя с айсбергом: верхушку всем видно, а о том, что прячется в холодной воде, никто толком не знает. А ведь верхушка — это лишь опознавательный знак. Знак, не более того.

Помню, как во время медицинского обследования пожаловался хирургу, что у меня болит в груди. Он внимательно осмотрел меня, пощупал холодными пальцами грудь, после чего успокоил:

— Это последствия удара.

— Вы не поняли, у меня душа болит.

— Это со временем пройдёт, — спокойно ответил хирург.

Врач не мог понять простой истины: в мире есть инвалиды и есть люди. И они совсем разные».

* * *

Бахта в «Голгофе» находится в первом корпусе. За старым письменным столом — баба Марфа, надувшаяся, как клоп. Бесформенная, как недолепленный колобок: маленькая круглая голова, хищный крючковатый нос, а над верхней губой красуется большая бородавка, из которой противно торчат несколько длинных, толстых, чёрных волосков.

Баба Марфа — наша неприступная Брестская крепость. Никого не пропустит мимо себя, заблаговременно предупредит по телефону Папу или дежурного о приезде нежелательных проверяющих или иных незваных гостей. Также в её обязанности входит вести ежедневный учёт прихода и ухода всех работников «Голгофы»: своим старческим почерком она исправно записывает в синюю общую тетрадь, кто и во сколько пришёл, во сколько ушёл.

Больше всего обитатели «Голгофы» потешались, когда под вечер к бабе Марфе являлся её вечно пьяненький дед Матвей. Худосочного жизнерадостного старичка обожали в «Голгофе» все. Он смотрел на мир глазами человека, посланного за водкой. Когда ему напоминали, что он пришёл в детское учреждение нетрезвым, дед Матвей серьёзно глядел на собеседника и клятвенно заверял:

— Вчера был бой с пьянством. — Делал вдумчивую паузу. — К сожалению, оно победило. — Или: — Да разве я пью? Это так... усугубляю... — И все вокруг хохотали от души.

Дед Матвей любил пофилософствовать с нами, мы же с интересом слушали его.

— Я своим ничтожным видом оскверняю землю, — чистосердечно сокрушался старичок. — Но Боженька не хочет меня забирать к себе, говорит, рано ещё.

По его признанию, он был существом слишком деликатным для повседневной жизни. Этого никто не понимал, поэтому ему ничего другого не оставалось, как пить.

Дед Матвей панически боялся своей жены — бабы Марфы.

— Бабка послана мне Богом в наказание, чтобы сделать мою жизнь невыносимой, — жаловался он. — Что такое женщины? — Дед многозначительно смотрел на собравшихся обитателей и страдальчески разводил руками. — Это ухищрение природы, и посланы они, чтобы помешать нам, мужикам, сделать мир достойным человеческого существования.

Смеясь, он всегда почёсывал правой рукой левый локоть. Из-за этой привычки левый рукав его единственного бессменного пиджака протёрся почти насквозь.

Как только на горизонте появлялся грозный силуэт айсберга — мощная фигура бабы Марфы, — на лице деда Матвея проступал страх, будто он видел перед собой чёрта в юбке. Испуганный, но в то же время с зачарованным огнём в глазах, он бросался к жене с пылкими признаниями в любви, осыпал изумлённую Марфу комплиментами. Та столбенела, краснела и, смущаясь от пристального внимания посторонних к своей персоне, не на шутку сердилась, гнала старика на улицу. Но при виде заинтересованной публики дед Матвей ещё больше распалялся, чем окончательно выводил из себя жену.

— Что ты пристал ко мне как банный лист? — сердито ворчала она. — Чтоб ты сдох, старый, — слала она ему гневные проклятия. — Чтоб ты куда-нибудь исчез, глаза бы мои тебя не видели.

— Марфуня, ведь подберут, не дадут добру пропасть, — с озорством отвечал дед Матвей.

— Кому ты, старый пенёк, нужен? — беззубый рот бабы Марфы нервно кривился, будто она обсасывала лимонную корку.

— Ох, подберут, Марфуня, подберут!

В коридоре раздавался громкий смех обитателей «Голгофы».

Наконец бабе Марфе удалось вытолкать пьяненького деда Матвея на улицу, после чего она победоносно закрывала на крючок входную дверь и с криком разгоняла непрощенных зрителей.

Никто никогда не видел старушечьих слёз, и все, кто пришёл в понедельник на работу, были растеряны, застав за столом плачущую бабу Марфу. К ней подходили, сочувственно расспрашивали, что случилось, успокаивали, но тщетно. Она продолжала рыдать — нет, голосить, причитать, — но никто толком не мог от неё ничего добиться.

Дверь снова открылась, и появился Папа. Увидев толпу вокруг стола бабы Марфы, подошёл.

— Кто обидел Кузьминичну? — строго спросил директор.

Мы, ожидавшие на первом этаже, когда нас позовут на завтрак в столовую, пожали плечами.

— Такое у меня горе, Фёдорович, — баба Марфа поднялась и, обняв за плечи Папу, ещё громче и голосистей запричитала.

Растерянный Папа, не зная, что ему делать, по-отечески погладил бабу Марфу по платку.

— Какое горе, Кузьминична?

— Дед мой, Матвей, ночью помер, — выдавила баба Марфа, и её слова всех нас проморозили.

Неужели этот забавный старичок больше никогда к нам не придёт... Это невообразимо, когда те, к кому ты привязываешься, исчезают из твоей жизни, чтобы больше никогда в ней не появиться.

— Как помер? — Папа крепче за плечи прижал к себе бабу Марфу.

— Вот так... — Кузьминична заголосила так, что мы все заплакали: жалко было её и умершего деда Матвея. — Фёдорович, ведь как я теперь без него? Он же был такой... — баба Марфа развела руками, стараясь всем объяснить, каким был дед Матвей. — А какой добрый, какой душевный... Как же я теперь без него?

— Это горе для всего нашего Дома, — на глазах директора появились слёзы. — Мы осиротели без него!

Папа прав — это горе для всей «Голгофы».

* * *

Любовался большой полной луной. Она висела прямо над окном: бледная, холодная и молчаливая.

Деструкции

«Знаешь, Чехов, все вокруг считают меня ботаном, не понимая, что моя голова набита не только умными книжками. Я не виноват, что с детства люблю читать и получаю от этого великое удовольствие. Меня ещё с десяти лет удивляло, почему все так жалеют Раскольникова — убийцу, — вместо того чтобы осуждать его. Позже до меня дошло: искреннее раскаяние — высшая форма прощения.

Ещё, Чехов, меня создавала музыка. Сага sposa Генделя потрясла меня до глубины. Когда я её первый раз услышал в восемь лет, сразу прочувствовал, что такое, когда человек тоскует по другому, который уходит и больше никогда не вернётся.

Многим не нравятся “Мягкие часы” Сальвадора Дали, я даже слышал, что они якобы доказывают теорию Эйнштейна: время и пространство взаимосвязаны. Для меня же эта картина о том, что всё в мире субъективно. Люди веками искали абсолютную истину, ищут и сейчас. Спрашивается, а на кой она им далась? Разве без неё нельзя тихо и спокойно жить? Без надрывов?

Но я не об этом, а о том, что меня все считают ботаном, и никто не понимает, даже Папа, что это мой панцирь черепахи — моя показная верхушка айсберга, защищающая от любопытных невидимую часть моего я.

* * *

После завтрака к воротам Дома подъезжает подарок губернатора — раздолбанный белый рафик. «Голгофе» должны были подарить новый «микрик» со специальным подъёмником. Об этом громогласно всему Дому заявил губернатор. Папа позже мне объяснил: «У него выборы, вот и ездит мужик — голоса собирает!»

Выборы прошли, губера переизбрали, и мы получили белое «чудо». Папа пробовал выяснить, где обещанный новый «Соболь» с подъёмником, но в администрации района популярно объяснили, что обещанного ждут даже не три года, а дольше, и что радоваться надо тому, что дали. Папа выразился жёстче: «Всучили!»

Пересадить меня, колясочника, в машину — задача непростая, от водителя требовалась определённая сноровка и выдержка. Шофёру Дмитриевичу возиться со мной приходилось каждый день уже второй год: я обхватывал его за шею, и он усаживал меня в кресло салона машины. Живого веса во мне не больше сорока пяти килограммов. Николаевна, мой воспитатель, всегда смеялась: «Наваристого супчика из тебя, Эллиот, не получится!»

Первое время с уст Дмитриевича соскальзывали неприличные слова. Он припечатывал машину, не приспособленную для таких особых пассажиров, как я. Усадив меня в специальное кресло в салоне рафика, Дмитриевич складывал коляску и закидывал её в багажник.

Через двадцать пять минут мы въезжали на территорию поселковой школы. Дмитриевич первым делом доставал коляску, ловким движением ноги приводил её в положение боевой готовности, потом брал меня, как младенца, бережно усаживал на мой личный транспорт и, не торопясь, катил по школьному деревянному пандусу к входным дверям. Коляска протискивалась через расширенные двери, и я вкатывался в большую школьную рекреацию. Здесь Дмитриевич прощался со мной до пятнадцати ноль-ноль. Если уроки заканчивались раньше, я его ждал, выглядывая из окна первого этажа.

В девятом классе всё по-старому, если не считать, что у нас пополнение — новенький. И его усадили возле меня на «камчатке» — единственное свободное место.

Восторга от того, что сосед потревожил моё гордое одиночество, ни капли. Не подумайте плохо, я — коммуникабельный парень, привыкший к школьной изоляции. В школьной столовой я всегда сидел за столом в углу один. Это моё коронное место. Никто никогда ко мне не подходил, не спрашивал, нравится ли мне школьная стряпня. Я ел свою порцию и тихо укатывал в рекреацию к окну. Молча наблюдал, что там творится, и за несколько минут до звонка катился в класс на очередной урок. Почти ритуал. Поэтому очень удивился, когда однажды к моему

столу, за которым я трапезничал в одиночестве, подошёл новенький, поставил на стол стакан с компотом и простодушно сказал:

— Я взял тебе компот.

Никто ни разу в классе не предлагал мне компот, думаю, ни у кого даже не возникало таких мыслей. Я был сам по себе, класс — сам по себе. Мы были параллельными вселенными, которым никогда не суждено пересечься.

— Мне показалось, что тебе хочется пить, — пояснил новенький.

— У меня есть свой компот, — я указал на термкружку.

— Ещё один стакан разве помешает?

Я не ответил, но от лишнего стакана не отказался. Новенький сел обедать за моим столом.

Это стало нашим первым ритуалом.

Деструкции

«Странно жаловаться в пятнадцать лет на одиночество, но ведь оно присутствует в моей жизни и занимает всё больше и больше пространства. Я мечтаю оказаться на необитаемом острове, чтобы спокойно разобраться в себе. Вроде живу среди людей, а их как будто нет рядом. Они проходят мимо меня, мимо друг друга, как тени, как призраки. Хочется крикнуть, но и страшно в ответ услышать собственное эхо. Жуткое чувство. Порой невыносимое.

Самое трудное, друг мой Чехов, — это изображать, что всё хорошо, казаться счастливым, излучать спокойствие в то время, когда медленно и неотвратимо сходишь с ума от одиночества.

Понимаешь, Чехов, трудно быть несломленным! Для этого обязательно нужна точка опоры — близкий человек. Если его нет, человек не выдерживает и разрушается! Морально, а потом и физически».

* * *

Орешина уверяла, что дождь — это слёзы ангелов на небе. Она в них свято верит.

Любка чудная, и с ней ни капли не скучно.

— Из-за чего они плачут? — спросил я её.

— Из-за людей, — с уверенностью ответила она, чем сильно озадачила.

— Что люди им такого сделали, что они плачут?

Орешина внимательно посмотрела на меня, словно впервые видела, а потом, словно очнувшись, ответила:

— Люди не умеют жить мирно, не дорожат жизнью, друзьями, любовью, — это сильно печалит ангелов, потому они плачут.

— А почему они не живут среди нас? — поинтересовался я.

— Им трудно с людьми, потому что люди сами себя не понимают.

Больше вопросов у меня не было.

Деструкции

«Та авария изменила не только мою жизнь, но и меня самого. Понял пока одно: время не лечит, оно лишь загоняет боль на самое донышко сердца. Постепенно к ней привыкаешь. Эта заноза гниёт внутри, исподволь разрушая организм. Извлечь её нет ни сил, ни желания — она незаметно и даже против воли становится частью тебя».

* * *

Классно появиться на свет в День солнечных зайчиков, ещё он и Международный день цветка. Правда, когда спрашивали о моём дне рождении, я на полном серьёзе заявлял, что родился за десять минут до того, чтобы стать раком. У всех столбняк, неуместные шуточки, а я смеялся. У людей не хватало фантазии, хотя секрет в элементарной логике. Новенький озадачил мгновенным правильным ответом — двадцать первое июня! И ещё тем, что на третий день после своего появления в нашем классе отчитал меня:

— Ты что, мумия?

От такого неожиданного наезда, естественно, у меня глаза по пять копеек.

— К чему дурацкий вопрос? — Я потёр лоб.

— Ты третий день со мной не разговариваешь, — это нормально?!

— Ути, бозичка, — непроизвольно вырвалось у меня.

Первый раз с интересом посмотрел на новенького. Мы с ним одного роста, он более широк в плечах, наверное, спортсмен, и у него серые глаза, как у меня, — «дымчатые» (так говорила мама), и волосы, как у меня, — рыжие.

Два рыжих, тем более за одной партой, — перебор!

— Ты, значит, знаток нормальности, — специально подначил соседа.

— Мы сидим вместе за одной партой. — Голос его звучал уверенно и, встретившись со мной глазами, он попытался улыбнуться. — Мы должны общаться!

Меня рассмешила его решимость.

— Где это написано?!

— Ты со всеми такой? — ответил он после некоторой заминки.

— Нет, только с соседями.

Новенький нахмурил лоб, взгляд его выражал недоумение.

— Ты сложный сосед, — произнёс он с сожалением, и вдруг я понял, что, наверно, и правда, веду себя неправильно.

Папа бы меня поправил: «Неприлично». Ему нравится меня поучать: «Эллиот, води себя с людьми так, как хочешь, чтобы они вели себя с тобой».

Я внимательно рассматривал соседа. Ну не в вечную же нам молчанку с ним играть, и парень он вроде с головой, пусть даже и рыжей. Мама считала, что рыжие скользкие — это в адрес моего отца. Надо сбавлять обороты, приказал я себе. Не стоит, чтобы от меня исходил один лишь дискомфорт.

Так заявила во всеуслышание директриса школы, когда я потребовал создать независимую школьную комиссию по проверке моей годовой контрольной работы по химии. Мне поставили «уд» только за то, что учитель Герард Дионисович процедил сквозь зубы: «Бездомных, ты её списал!» Комиссия дала мне другую контрольную работу, химик сидел возле меня. Результат — «хорошо». Лицо химика исказила лёгкая судорога. Ему невдомёк, что со мной начал заниматься Папа. Он не учитель химии, но предмет знал на «отлично». Я сам попросил:

— Мне надо подтянуть химию.

Папа посмотрел на меня с сомнением.

— С чего вдруг такая любовь к данному предмету?

— Буду поступать в медицинский.

За что уважаю Папу — он никогда не занимался лишними расспросами.

— Тогда поехали...

Сосед по парте почувствовал, что пробил брешь в моей неприступности и радостно ринулся в атаку.

— Моё имя на твоей рубашке, она у тебя зачётная!

Одежда у меня своя, не со склада. У меня есть деньги — получаю пенсию по потере кормильца. Мне положена ещё и пенсия по инвалидности, но в нашем государстве две пенсии получать нельзя. Выбрали ту, что больше по деньгам, — по потере кормильца. После восемнадцати лет, когда закончится эта, оформят другую — по инвалидности, так что я пожизненный пенсионер.

Когда мне хочется обновить гардероб, говорю об этом Папе, и мы едем в магазин. Последнее приобретение — классная рубашка Michael Kors. Не люблю одежду с вещевого рынка. Пусть будет одна качественная дорогая обновка, но надолго, чтобы хорошо на мне смотрелась. Когда мама покупала какие-то дорогие вещи, всегда говорила: «Себя надо любить!» Следую её примеру.

Серые глаза озадаченно смотрели на меня из-под взлохмаченных рыжих волос.

— Меня зовут Миша! — представился сосед.

— Скучное имя, — с насмешкой прокомментировал я.

— Можно подумать, у тебя лучше, — обиделся новенький.

— Я — Эллиот! — представился я.

— Без лапши? — не поверил новенький.

— Без...

Сосед приготовился к словоизвержению, но я его опередил.

— Я буду звать тебе Оливером, — улыбка с моего лица не сходила, новенького она не раздражала.

Он не выдал удивления, но засмеялся.

— Почему не Бенедиктом?

— Кто это такой? — нахмурился я, вспоминая только Камбербэтча.

— Не знаю, — пожал он плечами.

— Не звучит, — заявил я. — И потом, имя не может быть простым.

— Чем же не простое твоё Оливер?

— Историю надо знать, — попенял я на его неосведомлённость. — Это же Оливер Кромвель.

Новенький задумался.

— Видать, крутой был чувак, если ты его знаешь.

— Круче не бывает, самому королю голову снёс.

— Впечатляет, — Мишка кивнул. — Согласен быть Оливером, — торжественно объявил он.

Я от души засмеялся. Сосед нервно ёрзал на стуле, не понимая, отчего я веселюсь.

— Нет, — передумал я. — Ты сказал, что твоё имя у меня на рубашке, значит, быть тебе Микаэлем.

— Корс не Микаэль, он Майкл, — просветил сосед.

— Да хоть Бенджамин, — засмеялся я. — Будешь Микаэлем.

— Почему?

— Мне так нравится!

— Меня так никто не называл. — Веснушчатая физиономия его была растерянна, словно он видел перед собой инопланетянина.

— Буду первым, — я спокойно констатировал свершившийся факт.

— Это клиника! — со смехом воскликнул Микаэль.

Меня заводило, что новенький не тормозил, отвечал сразу. Первые слова всегда правдивы и искренни, не то что после обдумывания.

— Я их статика, динамика и систематика, — подколот Микаэля.

— Можешь не перечислять, — он закатил глаза, останавливая мои разглагольствования. — Ты трудный случай.

— Я бы даже уточнил: я — труднодоступный.

Ответ Микаэля на удивление прозвучал мягко, и это подкупило.

— Я тебя услышал.

И мы рассмеялись, обратив на себя всеобщее внимание класса.

Деструкции

«Обожаю солнце. Когда оно светит, я чувствую, что живу. Я в этой коляске как подбитая птица, которая знает, что ей больше не взлететь, поэтому для меня так важно солнце.

Странно любить солнце при закрытых жалюзи. Орешина каждый день приходит ко мне, поднимает жалюзи, открывая тем самым мне солнце».

* * *

Седрик полусонно созерцал из окна первого этажа моей маленькой комнатки начало осенней кавалькады листьев. Широко зевнув, его котейшество закрыл глаза под начавшуюся барабанную дробь дождя.

Учебные страсти

С детства для меня важно личное пространство. Оно — моя маленькая крепость: чтобы войти в него, надо постучаться и спросить разрешения.

На двери моей комнаты на всех языках висели таблички «Не входить!» и красовался самодельный плакат — смерть с косой в руках и моим злым лицом с заманчивой предупреждающей надписью «Без стука убьёт!».

После больницы какое-то время, до отъезда в «Голгофу», я жил с бабушкой у Папы, в его трёхкомнатной квартире. Он хорошо о нас заботился, но считал, что коль скоро это его территория, то имеет право заходить в мою комнату без стука. Но даже мама всегда стучалась в мою дверь и спрашивала: «Солнышко, могу зайти?» Поэтому я сделал Папе корректное замечание, которое привело его в некоторое замешательство.

Он неуклюжим движением закрыл за собой дверь и присел на край дивана. Когда я чувствовал себя неловко, а такое бывало частенько, то не знал, куда девать руки, они мешали, и мне приходилось их прятать за спиной коляски. Папа растерянно глядел на меня, не зная, что ответить.

— Я считал, что имею право в своей квартире... — забубнил он.

— Не имеете, — невозмутимо отказал я и напомнил, — вы нарушили условия нашего договора.

— Что именно я сделал не так? — уже спокойнее поинтересовался Папа.

— Вы нарушили мой суверенитет!

Папа улыбнулся краем рта, и я невольно усмехнулся.

— Хорошо, убедил, — пошёл он на мировую. — Будем вести себя как добропорядочные соседи-государства.

— Да, — кивнул я в знак согласия. — Консенсус достигнут. — Маленькая победа радовала моё самолюбие.

Мама учила, что секрет хороших отношений — правильная дозировка своего присутствия в личном пространстве каждого. Я это запомнил. И ещё: если чего-то хочешь добиться, не должен уступать даже в мелочах.

Поэтому, когда Папа вошёл ко мне не постучавшись, хотя дверь и была приоткрыта — в «Голгофе» в принципе не принято закрывать двери в комнатах, — я моментально насторожился, потому что Папа снова нарушил мою автономию. Осталось выяснить: нарочно или это случайность.

— Эллиот, — в голосе Папы звучало беспокойство. — Мне сегодня после обеда звонили из школы. — Он вопросительно уставился на меня: — Оказывается, у тебя проблемы с учёбой?!

— Пожалуйста, не нагнетайте, — решил легко отмахнуться.

Я часто расспрашивал Папу о его школьных годах, но он рассказывал о них неохотно. Однажды у него вырвалось, что школа — это потерянное детство. Я — крепкое дерево, меня школе не сломать. Учился неплохо, мог бы и лучше, но отсутствовала мотивация. Стать отличником только ради того, чтобы им быть, — неинтересно. И потом, у нас с Папой существовал договор, что я учусь без троек. Про то, что я должен быть отличником, ничего не было сказано. Я договор неукоснительно выполнял.

Наезды Папы по поводу учёбы имели больше профилактический характер, вот и сейчас я посчитал, что это очередной воспитательный момент.

— Мне всегда казалось, что история — твой любимый предмет, но, оказывается, тебе за четверть светит только «хорошо».

Любимый предмет тогда лишь любимый, когда и учитель отвечает этим параметрам. Историк Иван Павлович заменял Галину Дмитриевну (она в декретном отпуске), поэтому я резонно посчитал, что его период преподавания временный, хотя и затяжной, одним словом, «смутное время». С моими доводами в классе почти все согласились.

На одном из уроков Иван Павлович с упоением рассказывал о Рембрандте, что тот был самым младшим в многодетной семье, что в Санкт-Петербурге хранится вторая по величине коллекция его полотен, что его картины большие и их лучше разглядывать издали. Историка добила моя ремарка в конце урока: «Вы очень интересно рассказали, но допустили существенную ошибку. Рембрандт — это имя, а не фамилия, но художник подписывался именно именем. Полностью же его звали Рембрандт Харменс ван Рейн».

Историк недоумённо посмотрел на меня, но я старался сохранить на лице самое невинное выражение.

— Эллиот, ты ко всем учителям такой придирчивый? — от негодования у Ивана Павловича сорвался голос.

— Я за точность.

После этого случая я забыл, как в школьном журнале выглядит «отлично». Стабильно «хорошо», потому что поставить мне «удовлетворительно» Ивану Павловичу совесть не позволяла.

— Мы с историком не сошлись в причинно-следственных выводах, — защищался я.

Папа был готов к такому ответу. На его лице отобразилась лёгкая ухмылка, красноречиво говорящая, что вешать лапшу надобно всё же умеючи, но главное, что он её проглотил.

— По физике? — продолжал чередовать предметы Папа.

— По-разному решали уравнение, — с готовностью ответил я.

Папа с подозрением посмотрел на меня, даже его котейшество Седрик зашевелился, заинтересованно поднял морду, потом, правда, смачно зевнул и принял прежнее положение.

— Что с математикой?

— На контрольной у нас не сошлись ответы, — пришлось прокомментировать результаты злосчастной письменной работы. — Такое случается, что ответы не сходятся, — убеждённо уточнил я.

Папа обескураженно глядел на меня. Он явно не ожидал моей боевой готовности к его наступлению.

— У меня один, у неё — другой. Она почему-то посчитала, что её вернее моего.

— Занятно. — Лицо Папы вытянулось от моих многочисленных аргументов. — Хорошо, а что не так с литературой и русским?

Совсем не хотелось посвящать Папу в тонкости моих взаимоотношений с Матильдой. В классе она была холодна и сурова, но в то же время умела завладеть вниманием учеников. Казалось, ей безразлично, о чём говорить. В проведении урока камертоном для Матильды было её собственное настроение. Однажды, в период меланхолии, она с таким увлечением поведала нам историю жизни Пушкина, с его страстями, любовными похождениями и переживаниями, словно являлась соседкой поэта. В другой раз рассказала несколько анекдотов. Смех стоял невообразимый, но внезапно учительница сделалась строгой. Матильда пугала своей непредсказуемостью.

Иногда мне казалось, что у неё зашкаливает старческий маразм, а порой, — что она мировая тётка, но с мозгами прошлого века, поэтому никак не может смириться с тем, что живёт в другом времени, другом измерении, сильно отличающимися от её прошлого, в котором застряла накрепко.

Какой ещё учитель будет обращаться к ученикам: «Милейшие», «Не соблаговолите ли вы мне, сударь, ответить», «Не будете ли так любезны?» Одно радовало, предметник она сильнейшая, в школе равных ей нет. Может, таким и должен быть Учитель, но она, например, не понимала, что классикой восторгаться поздновато. Нам, современным подросткам, трудно понять, зачем топилась бедная Лиза, и, наоборот, понятно, почему не хотел учиться Митрофанушка. Лично у меня создалось впечатление, что многие темы классиков устарели для нашего восприятия. Особенно меня раздражает, когда Матильда с пиететом говорит о величии русского духа. «Да, русского человека хлебом не корми — дай ему показать безудержную удаль и силу богатырскую. Самое удивительное, что он всё преодолеет» — это же смех сквозь слёзы.

— Вся русская литература показывает, что русский человек — это непонятный миру камикадзе, робко взмывающий в небо и решительно срывающийся в омут с головой, — вызывающе заявил я учительнице.

У Матильды даже очки поползли по переносице.

— Аргументируйте, молодой человек, — жёстко потребовала она.

Пришлось вступать в батл, лучше бы промолчал. От Матильды так просто не отвертеться.

— Преодолевать надуманные обстоятельства вопреки здравому смыслу — наверное, в этом его сила духа, величие и стойкость.

— Что в этом плохого? Милейший, укажите нам примеры! — забурлила Матильда, охваченная любопытством.

— Вам не показалось, что Печорин не «лишний человек», а человек со странностями?

— Слава богу! — с жаром, радостно всплеснула руками Матильда и засияла, как одинокая звезда в ночном небе. — Хоть кто-то это заметил. И в чём же его странность?

Я пожал плечами:

— В том, что он хочет жить только для себя. Поэтому он снисходителен к Максиму Максимовичу, понимая, что дружба с ним — мнимая.

— Почему вы решили, что эта дружба ненастоящая? — не давала передохнуть Матильда, развивая своё литературное наступление.

— Гибель Бэлы, пусть косвенно, но на совести Максим Максимыча. Истинный друг, тем более зрелый годами, всей этой истории с Бэлой просто бы не допустил, заранее зная, чем она закончится, — невозмутимо пояснял я. — Поэтому зря штабс-капитан обижался на Григория, на его холодность, равнодушие. Это ему плата за гибель Бэлы.

Матильда задумалась, словно что-то перебирая в голове, набитой примерами, уступками, образчиками классики.

— Есть ещё какие-то словесные экзерсисы или на этом ставим точку? — она явно надеялась на продолжение.

— Думаю, что беда Печорина — он стеснялся быть человеком.

— Чем может закончиться такая борьба?

— Вижу два выхода: суицид или фатально искать смерти. Печорин ищет второе.

— Голова у вас есть — это отрадно, — похвалила Матильда. — Больше читайте классики, это вам поможет.

Лучше бы она этого не говорила.

— В чём поможет?

— Во всём. Запомните, юноша: литература — это серьёзный предмет, а не сборник анекдотов.

— Лично мне классика приносит душевные травмы, но об этом не принято говорить, поэтому продолжаем якобы сочувствовать бедной Лизе, восторгаться душевной силой маленького человечка Акакия Акакиевича из гоголевской «Шинели», восхищаться нравственной красотой Маши Мироновой из «Капитанской дочки».

— Однако! — вырвалось у Матильды. Она озадаченно уставилась на меня. — Вы не такой простой юноша, как показалась вначале, но вот что я вам скажу... — Матильда подошла ко мне вплотную и даже нагнулась, чтобы видеть мои глаза и вбить в мою черепную коробочку с клювиком литературную аксиому. — Давайте не будем вешать ярлыки... Оставим вопрос открытым...

— Хорошо, — согласился я.

— Впечатление вы на меня произвели, я вас запомнила.

— Это хорошо или плохо?

Матильда улыбнулась:

— Время покажет.

Папа терпеливо ждал от меня ответа, что не так у меня с русским.

— Никогда не думал, что он настолько широк и могуч, — заметил я.

— Хорошо, последний вопрос. — Интонация Папы решительная и даже воинственная. — Что с этим теперь всем делать?

— Не берите в голову, рассосётся всё как-то, — ответил шутливым тоном, чтобы хоть как-то успокоить Папу, но его лицо оставалось хмурым.

— Эллиот, ты обязан хорошо учиться! В хорошей учёбе — твоё будущее.

Наставление Папы улыбнуло. Я и без него это знаю. Чтобы инвалиду куда-то прорваться, надо хорошенько постараться.

— Вы же прекрасно знаете, что школа — это территория подавления.

— Поэтому я волнуюсь.

— Знаете, что наша Матильда говорит о школе? «Школа не тюрьма, досрочно не выпустят». — Мне смешно, поэтому я улыбаюсь. — И «чем выше результат, тем дольше срок».

— Оригинальная учительница! — восхитился Папа.

— Даже чересчур.

Мы оба молчим, но я знаю, о чём думает Папа.

— Всё будет тип-топ. Я умею рычать. Школе это придётся не по вкусу, но это не моя проблема.

— Не сорви голос.

— Буду искать друга.

— Зачем?

— С ним рычать легче.

Папа безнадежно вздохнул. Он упорно пытался понять, на доступном для него уровне, что означает моя фраза. Пришлось подбросить ему соломинку.

— У меня есть ещё полторы недели, чтобы исправить ситуацию, — мой честный и при этом кающийся вид Папу удовлетворил, лицо его смягчилось.

— Ты правильно, Эллиот, понял политику партии. — Папа, довольный профилактической беседой, собрался уходить, но неожиданно остановился и повернулся ко мне: — Кстати, извини, что не постучался и временно нарушил твой суверенитет.

— Извинения принимаются, — сдипломатничал я. — Понимаю, что ситуация была чрезвычайная и требовала незамедлительного действия, вылившегося в небольшое вторжение.

Папа благосклонно улыбнулся.

— Надеюсь, я вёл себя вежливо? — он старался, чтобы его голос звучал непринуждённо. — Прилично?

— Безупречно! — успокоил я Папу. — Это даже сэр Седрик подтвердит!

Папа ушёл. Блицкрига у него не получилось. Застигнуть меня врасплох не удалось, но мне надо кучу предметов исправлять срочно.

Иногда наломаешь дров, а потом думаешь: «И для чего столько?!»

Деструкции

«Чехов, самое умиротворённое состояние, в котором я себя чувствую комфортно и счастливо, — быть душой: любить людей, мир такими, как они есть. Когда я дуся, мне хочется всех обнимать и целовать, так мне хорошо, правда, это состояние почти меня не посещает».

* * *

Никто мне не верил, что в «Голгофе» обитает призрак. Ответьте, почему Ричи, наш сторожевой пёс, давно подобранный кем-то на улице, в полнолуние завывал так, что невозможно спать? Каждый раз, когда случалась пятница, тринадцатое, в «Голгофе»

обязательно происходило какое-то ЧП: то потоп, то пожар, то ещё какая-то бяка. Беда, одним словом.

Когда я доказывал Папе существование нечисти, орудующей в «Голгофе», он саркастически улыбался, считая, что я переборщил, читая с Орешиной Стивена Кинга. Любка обожала слушать.

Последней каплей стала смерть деда Матвея. Его попросили поправить чью-то оградку на кладбище. Там его и нашла баба Марфа, когда он к вечеру не явился домой. Ну как вам — умереть в свежерытой могиле? У бабы Марфы чуть крышу от увиденного не снесло. И хотя Папа доказывал, что дед Матвей возвращался домой, будучи порядочно под градусом, не увидел раскрытой ямы и свалился в неё, честно — это доказательство так себе, на слабенькую троечку.

— Дед Матвей обидел призрака «Голгофы». — Меня зазнобило, неудержимым потоком хлынули слёзы. — Он сказал, что ему... на него!.. — неистово закричал я.

— Эллиот, не истери!

Папа сердито взглянул на меня. Этот взгляд я прекрасно понял. Он так смотрел на меня всего несколько раз. Последний раз — когда решался вопрос с интернатом и Папа сказал: «Это лучший вариант для тебя, потому что рядом буду я, но решать тебе!»

Взрослые не понимают, что принятие окончательного решения ребёнком иногда может выглядеть как гражданская война внутри него, но их хлебом не корми, дай переложить ответственность на чужие плечи, особенно детские. У одноклассника родители расхотелись и требовали, чтобы тот определился, с кем хочет остаться. Парень же просто взял и сбежал. Пока они долго его искали, помирились, и когда нашли, сообщили, что развод отменяется. Хорошо, что ума хватило, а ведь многим так и не достаёт.

Мне же, десятилетнему пацанёнку, Папа предложил самолично определиться: ехать или не ехать. И кто это предлагал? Человек, который...

Нет, сейчас не время для выяснения отношений. Я сам сказал Папе, что прошлое не вспоминаю. Не хочу, чтобы он страдал и чувствовал себя виноватым всю жизнь. Это невыносимое ощущение, потому что я себя так же чувствую виноватым во всём, что случилось двадцать четвёртого августа...

Ехать или не ехать... Это сродни гамлетовскому «быть или не быть».

Я выбрал ехать, я выбрал — быть! Почему я же согласился жить в «Голгофе»? Был ли у меня выбор? Был... Был, но сейчас не об этом... Об этом потом...

Сейчас же о неугомонном призраке, живущем в «Голгофе». Что он существует, поверила только Орешина. Она даже рассказывала, что, когда была маленькой, встречалась с ним в заброшенном корпусе.

— Давай это будет не призрак, — попросила она. — Пусть будет Дух «Голгофы».

— Дух?! — я поморщился.

— Привидение, — поправила Орешина и вопрошающе на меня посмотрела.

— Скучно!

— Пугало?

— Ну ты вообще загнула, — рассмеялся я.

— Химера?

Я искренне удивился, что Орешина знала таких персонажей. Наверное, фильмов-ужастиков насмотрелась.

— Уматно звучит, — заметил подъехавший к нам Кузя, наблюдавший за нашим спором из коридора. Он тоже колясочник, только у него ДЦП. — Химеры «Голгофы»?! — Кузя уехал в глубоком раздумье.

— Может, Смотритель «Голгофы»? — предложил Ян, зашедший к нам сразу за Кузей.

Вообще я не любитель собирать у себя компанию. Все знают, что я привечаю только одну Орешину. У нас с ней произошёл контакт с первой же встречи. Она смело, по-хозяйски зашла в мою комнату, посмотрела на меня, убежала, а через несколько минут вернулась с расчёской. «У тебя взрыв на голове, надо привести всё в порядок», — и, странное дело, я ей доверился.

В тот день у меня было хорошее настроение, я был не против компании.

— Ещё скажи Смотрящий, — возмутился Кузя.

— Я придумал! — Мне удалось перекричать всех. — Демоны «Голгофы».

— Покатит, — согласился Кузя.

Мы долго спорили, но в словесном спарринге пришли к однозначному выводу: за «Голгофой» кто-то наблюдает. Так не может быть, чтобы «Голгофа» осталась без небесного покровительства.

Наш разговор подслушал дед Матвей.

— Старый главврач бдит «Голгофу»! — значительно заявил он и поднял указательный палец. — Не надо было строить туберкулёзную больницу на костях старого кладбища.

И в это мгновение в коридоре треснуло зеркало...

* * *

Мне часто снятся странные смысловые сны. Я стараюсь их понять, разгадать, но ничего не получается. Вот один не сон, а просто наваждение какое-то. Город-муравейник или город-лабиринт. Обычный район, похожий на новостройки. Никакой зелени, деревьев, сплошные пустыри между домами. Битком набитые автобусы. Люди вокруг суетятся. Но сам город необычен. Входи в любой дом, выбирай любую квартиру. Никаких замков — они там не нужны. А когда войдёшь в дом, квартиру — обратного пути нет. Поднимаясь по лестнице, ты можешь обернуться, и уже не увидишь за собою лестничных пролётов — они исчезают. Ты знакомишься с соседями по лестничной площадке, пока открыты двери квартир. Но когда закрываются двери, ты уже не попадёшь на лестничную площадку. Откроешь другую дверь — и перед тобою новое помещение: вот так переходишь из одного в другое. По этой причине нет замков.

Чудной сон, но главное — о чём он?

* * *

Появление постороннего в «Голгофе» — огромное событие. Мы не закрытое учреждение, однако гости у нас редкость, поэтому, когда ко мне на выходных зашёл Микаэль, «Голгофа» забурилась, охваченная любопытством.

Прибежала Орешина. Ей первой надо знать обо всём, что происходит вокруг. Если возникала необходимость срочно оповестить Дом о каком-либо событии, невзначай шептали Любке. Через полчаса «Голгофа» уже всё знала. С ролью негласного глашатая она справлялась великолепно.

— Это кто? — поинтересовалась Орешина.

— Пацан! — съехидничал я.

— Я серьёзно, — обиделась Орешина.

— И я серьёзно, — в унисон ответил ей.

— Ну не хочешь говорить, что это твой новый друг, так и не говори, — надулась на меня.

— Я ещё не знаю, друг он или нет, — признался честно.

Орешина озадачилась.

— Когда будешь знать? — Досадливая нотка в её голосе меня рассмешила.

Интересный вопрос.

— Думаю, что не скоро.

Почему-то именно в этот момент вспомнились слова Папы о том, что друг — это человек, живущий по одному принципу: «Не навредить другу».

Ответ Орешину не сильно удовлетворил, но на некоторое время она отстала и не приставала с расспросами, когда Микаэль приходил.

Меня самого его первое появление в «Голгофе» сразило наповал.

Ричи только на первый взгляд казался ленивцем, однако собачьим нюхом чувствовал недоброжелателей за километр, и его лай разносился по всей округе. А чтобы наш сторож подошёл и дал себя погладить незнакомцу — это дас ист фантастиш.

Ричи чинно шагал возле Микаэля, а тот его нежно трепал по шее. Только я пережил этот стресс, как случилась вторая термальная стадия. Седрик не признавал никого, кроме себя, — даже когда я ему оказывал знаки внимания, огрызался: царапал мне руки или орал как потерпевший. Но когда котейшая вельможность взяла и прыгнула Микаэлю на колени и лениво, самодовольно на них расплылась в любимой позе «котик гриль», я выпал в аут. Разбалованный Иудушка вот так легко предал меня, поменял на Микаэля!

Всеми этими странностями я поделился с Орешиной на наших с ней ночных посиделках. Та внимательно меня слушала.

— Может, он ангел? — предположила она.

Я окинул подругу подозрительным взглядом. Понятно, что у неё не всё в порядке с мозгами, но не настолько же...

— Кто ангел?

— Твой друг, — уверенно произнесла Орешина.

— Он мой одноклассник.

— Ты с ним сидишь за одной партой? — уточнила она.

— Да!

Орешина задумалась.

— Нет, — заверила она меня, — он твой друг!

— С чего ты взяла, что он мой друг? — распахнулся я.

— Чувствую, — коротко ответила Орешина.

— Что ещё чувствуешь?

— Большую печальку впереди.

— Отчего?

— Два рыжих друга — это аномалия.

И так горестно вздохнула, будто поняла, что бессмысленно мне, бестолковому, растолковывать теорию относительности. Я старался ухватить логику подруги, но у меня ничего не получалось. Однажды она мне заявила, что Папа меня любит.

— С чего ты взяла? — спросил я.

— Чувствую, — всё так же ответила она.

— Откуда ты такая чувствительная?! — воскликнул я.

— Бабушка считала меня земным ангелом, — тихо произнесла Орешина. — Говорила, что мой горб — это нераскрывшиеся крылья.

— Они у тебя есть, — подбодрил я. — Их просто некому развязать.

— Ангелы многих раздражают, — на глазах Орешиной заблестели слёзы.

Её слова проняли меня до глубины.

— Чем? Чем раздражают?

— Своими крыльями, — хмуро отозвалась Орешина. — Людей раздражает даже их шелест.

Я обеспокоенно взглянул на неё.

— Заметила, что ты любишь смотреть в небо. — Орешина задумалась. — Смотри, Эллиот, не утони в нём, — предостерегла она.

— С чего бы это?

— Небо напоминает мне море, — коротко ответила она.

Именно тогда я окончательно удостоверился: Любка — никакой не РАС, она просто особенная. Папе так и сказал, что именно Орешина-то и нормальная.

Деструкции

«Чехов, хочешь знать, как я спасаюсь от одиночества? Я подъезжаю к зеркалу, улыбаюсь ему — оно меня понимает. И становится легче, потому что тому отражению так же несладко, но ведь и оно улыбнулось мне в ответ. А две улыбки — это всегда лучше, чем одна. Вот так и спасаюсь!

Знаешь, иногда мне кажется, что я родился стариком. Я задавал недетские вопросы и требовал взрослые ответы, поэтому меня чаще всего называли странным, даже аутистом. И знаешь, я понял, это хорошо быть странным или аутистом — люди к тебе не пристают, но и не игнорируют. Смотрят с любопытством, потому что не могут понять — кто же ты на самом деле».

* * *

Мы с Микаэлем хоть и рыжие, но разные: он знает математику и физику, в которых я — морёный дуб.

— Моим мозгам необходима постоянная прокачка, поэтому я люблю математику за точность, а физику — за фундаментальность.

Микаэль, когда говорил, склонял голову набок, будто в левом полушарии у него больше мозгов и они притягивают его к земле. Точно так же делал и я, но только из-за того, что в правом предплечье у меня катетер. Каждый день мне через него подключали капельницу.

— Чем ты качаешь свои мозги? — Микаэль с интересом посмотрел на меня.

Дождь струями змеился по оконному стеклу, так что ничего не было видно.

— Бездельем, — парировал я, но это, конечно, шутка. — Литература — моя словесная алхимия, — признался я. — Книги — это моё лекарство от скуки, депрессии.

Микаэль словно не слышал меня, находился на своей волне.

— Физика — это просто, надо только включить мозги, — доказывал он с отчаянностью суицидника.

Его горячность рассмешила меня. В этом он напоминал мне Папу, тот тоже закипал как чайник.

— Не получится, — меланхолично ответил я, — лампочка перегорела.

— Менять не пробовал?

— С детства электричества боюсь.

Я с усмешкой наблюдал за Седриком, свернувшимся калачиком на коленях друга.

Микаэль всячески старался доказать мне, не любителю математики, насколько этот предмет интересен и важен. Для меня же он ужасен, потому что в конце года по нему сдавать ОГЭ, чтобы получить аттестат.

— Литература так же прекрасно приводит мозги в порядок, — отбивал я математические атаки Микаэля. — История, которую ты терпеть не можешь, — систематизирует извилины.

— Что ты этим хотел сказать? — Микаэль хмуро уставился на меня.

— Ничего, — примиряюще улыбнулся я. Не хотелось, чтобы Микаэль на меня обиделся. — Каждый выбирает, что, кому и для чего.

— Не люблю литературу, — Микаэль недовольно покачал головой. — Особенно писать сочинения. Фигня! Вот решать задачи — это как кроссворд! — с восторгом произнёс он.

Его слова вызвали у меня неподдельный смех.

— Писать сочинения — как шёлкать семечки.

— Я не люблю семечки, — Микаэль скривился, словно от оскомины. — Рот потом от них болит.

На следующий день случилась контрольная по математике. Я понял — это засада! Мне с ней ни за что не справиться, и это будущий «уд» за четверть, а я Папе клятвенно пообещал, что всё под контролем и что буду хорошистом.

— Микаэль, — взмолился я. — Спаси меня от этого математического коллапса, — глаза, полные преданности, смотрели на одноклассника, как на освободителя.

— Это простая контрольная, — буркнул он, намекая, что я ему мешаю.

— Для тебя контрольная, для меня — непроходимый лабиринт! Хелп ми!

— Не кричи, — Микаэль снисходительно и победоносно посмотрел на меня. — Выведу тебя из него.

— Ты настоящий друг!

— Конечно, — великодушно произнёс Микаэль, — но за лабиринт с тебя сочинение.

Вот она, цена дружбы — сочинение. Мне нужна «четвёрка» по математике, и её может гарантировать только Микаэль.

— Ты знаешь, как плюнуть в душу, — обиженно пробурчал я, надеясь, что мой друг правильно среагирует — бросится мне помогать.

— Для тебя же это пустяк, — Микаэль даже не посмотрел в мою сторону, решая на листке какую-то математическую дребедень.

— Индивидуальный пустяк, — заметил я.

Микаэль встретился с моим ехидным взглядом.

— Ясно, — сделал он преждевременный вывод. — Буду сочинять сам!

— Ты пиши, — наставлял я друга, стараясь говорить уверенно, — а не сочиняй.

Микаэль с насмешкой взглянул на меня:

— Тогда и тебе совет: ты математику решаешь, а не подтасовывай цифры, математика этого не терпит.

Я с ужасом понял, что моё масипусенькое «хорошо» по математике уплывает от меня в далёкие края.

— Я напишу сочинение и для тебя, — мои глаза умоляюще смотрели на Микаэля, как смотрит Ричи у дверей столовой в надежде, что про него тётя Наташа не забыла и что-нибудь вынесет ему в миску.

— Рад, что мы договорились.

«Консенсус найден, какое это счастье», — любимое изречение Папы.

Деструкции

«Совместно с Чеховым создал свой словарь. Каждая его буква имеет особую смысловую нагрузку. Например, сегодня нам с Чеховым нравится буква Ц.

Ц — цель.

Цель есть у каждого человека.

У каждого!

Она должна быть!

Иначе зачем тогда всё это?

Бессмысленные однообразные дни...»

* * *

За неделю до учительского праздника наша классная руководительница, мадам Матильда, раздала всем стишки, которые мы должны зачитать на мероприятии, как она особо подчеркнула, «с чувством, с толком, с расстановкой».

— Микаэль, — деловито произнёс я, — мне необходимо купить каску.

— Для чего?

— Всякая хрень на мозги давит.

Друг с подозрением поглядел на меня. Никто из нас не произнёс ни слова, но было полное впечатление, что мы разговаривали взглядами. Наконец раздался голос Микаэля:

— Как именно она на тебя давит?

— К примеру, — начал объяснять, — Матильда задала выучить стих ко Дню учителя. Почему я должен учить что-то к их празднику? Это же их праздник — не мой. Они же не учат стишки на мой день рождения.

— Это было бы прикольно, — заценил мою шутку Микаэль.

— Не перебивай, — я недовольно посмотрел на друга. Сволочь Седрик облюбовал колени Микаэля, будто они пахли валерианой. — Дождёшься от них. Второе, — продолжил возмущаться, — почему я должен выучить именно стих, может, я хочу спеть им частушку.

— Эту хохму оценила бы даже Матильда. Она любит всё такое нестандартное.

Я укоризненно посмотрел на Микаэля, расстроенный, что он ни капли не поддерживает моего пессимизма, хотя я так надеялся.

— Тебе смешно, но вся эта жесьть давит мне на черепок, поэтому и нужна каска.

Микаэль слушал меня внимательно, даже сочувственно.

— Может, обойдётся шапкой? — предложил он.

— Нет, она мягкая, продавит.

— От мотоцикла подойдёт?

— Да!

— Завтра в школу притащу. У знакомого одолжу.

— Замётано!

Я поделился нашим разговором с Орешиной — хоть она и болтушка, но, как ни странно, сердечные тайны хранить умеет. Доказано не единожды. Что ещё мне нравится в Любке — она умеет слушать, никогда не перебьёт. С ней хочется делиться сокровенным.

— Он точно твой ангел.

Я раздражённо посмотрел на неё:

— Что ты прицепилась со своим ангельством?!

Орешина пожала плечами. У неё с собой было яблоко, она звучно им хрумкнула.

— Ты же знаешь, я чувствую!

Жаль, что сейчас Орешина лысая, на голове у неё бандана, подаренная мной.

— Будешь в ней настоящей пираткой.

— Как Элизабет Суонн. — Орешина без ума от «Пиратов Карибского моря».

Раньше, когда у Любки были волосы, они, сколотые в подобие птичьего гнезда, растекались по плечам. Я любовался ими, самому хотелось занять такие же, но длинные рыжие волосы — это абсурд, это полный отстой.

Орешина зачем-то взяла мою ладонь и сжала в своей.

— Какие у тебя тонкие пальцы, стисни — и они сломаются. — Орешина принялась рассматривать мои пальцы. Они в самом деле тонкие и длинные. Бабушка любила приговаривать, что они музыкальные: «Тебе бы обнимать ими скрипку...»

— Ты себя чувствуешь, Эллиот, очень одиноким и несчастливым, но это не так, — выдала Орешина и сжала мои пальцы.

От откровенностей подруги сердце заныло, словно в него впилась заноза, которую невозможно вытянуть. Любка виновато улыбнулась:

— Я так чувствую.

Можно быть и недалёким человеком, самое главное — какой ты друг. У нас с Орешиной полное доверие. Я знаю её секреты, она — мои. У какого-то умного дядечки вычитал, что доверие — это не отсутствие тайн. Это когда наличие тайн не беспокоит.

Ещё Любка порой такое брякнет, что хоть падай. Вот и сейчас она заявила:

— Эллиот, тебя ждёт рай!

— Рай?! Серьёзно? Неужели я его уже заслужил?

— Да, — спокойно ответила она. — Ты как приехал, всегда со мной, хотя знаешь, что я дурочка.

— Ты не дурочка! — закричал я, чтобы Орешина наконец-то меня услышала, но она была «в себе», на своей волне.

— Я бы открывала ворота рая всем, кто никогда никого не бросал. — И ушла в свою комнату.

Я думал, вспоминал. Бабушка считала, что каждый имеет в сердце своё «кладбище», куда никого не пускает, — там только его страхи, его боль, сомнения и надежды. Дед Матвей такое состояние характеризовал как стабильно нестабильное: «Всё шло хорошо, только мимо!»

* * *

Серебряная луна несмело заглядывала в мою комнату через белоснежную органзу.

Деструкции

«Папа сказал, что дружба — это компромисс. "Если хочешь сберечь друга, то первым должен к нему идти", — утверждает он.

Для Любки дружба — когда друг как брат или сестра.

Для меня — это в доску свой, даже больше — это близкий свой, как мы с Орешиной. Даже когда мы молчим, — нам хорошо.

Появление Микаэля — это пока хаос в моей упорядоченной жизни: будто одинокую ёлку взяли и нарядили в новогодние одежды и вокруг начали водить хороводы.

Посмотрим, возможна ли химия между двумя рыжими. Первые её признаки начинают проявляться — привязанность друг к другу, когда хочется доверять».

* * *

Матильда в своём неизменном репертуаре. Задала классу очередную свободную тему сочинения: «Человек, изменивший вашу жизнь».

Ну как вам темочка?! И я о том же. Трансформация моей жизни. Пережитое. Кому это интересно? Да и зачем?

Давно заметил: литераторш хлебом не корми, дай только загрузить учеников подобными никому не нужными писаниями. И всем им необходимы предельная наша искренность, максимальная правдивость. Матильда ещё любила наставлять нас перед написанием очередного сочинения: «Главное, чтобы душа писала».

Чтоб душа писала... Размечталась. Только и не хватало, чтобы в моей душе ковырялась прибабахнутая Матильдушка. Я же не подопытный кролик.

Ненавижу эти сочинения на свободную тему. Легко могу написать и про «образ героя», и про «что хотел сказать автор», и про «проблемы такие-сякие в произведении автора», но только не о личном. Это табу, посторонним вход воспрещён — убьёт.

Я собрался было, как обычно, объявить предложенной душещипательной теме сочинения бойкот, но вместо этого — какая муха меня укусила, до сих пор не понимаю — принёс и показал Матильдушке часть своих «деструкций». Имею такую паршивую привычку, от которой никак не могу избавиться, — уже который год веду втихаря дневник. Вроде бы сам для себя. Записываю личное, сокровенное. Как-то читал Орешинкой свой душевный стриптиз. Ей понравилось, она много смеялась и повторяла: «Класс!»

Матильда прочитала и на следующий день после уроков оставила меня в классе.

— Недурственно, молодой человек, очень даже недурственно, — произнесла она, пристально изучая меня, как неведомую зверушку, то бишь Чебурашку. Так, наверное, на меня смотрела бы малахольная старушка мать Тереза. Говорят, жила где-то в Индии такая, хотела помочь всем сирым и убогим, за что и получила миллион баксов. Я бы всех жалел и за меньшие деньги.

— Чувствуется, тебе пришлось несладко... — многозначительно заключила Матильда.

Я молчал как партизан на допросе в гестапо: мол, умру за Родину-мать, но военной тайны не выдам — такой вот гибрид с Мальчишом-Кибальчишом. Кстати, тот плакат военных лет мне в учебнике очень понравился. Неожиданно Матильдушка привстала, взяла меня за плечи и повернула к себе, сверля меня серыми глазами.

— Божья искра, Бездомных, в тебе определённо есть, — продолжала она уже наставительно. — Её только надо хорошо раздуть, что я и пытаюсь. — Последнюю фразу она произнесла, делая упор на каждом слове.

— Вы так думаете? — спросил я, не веря ни в себя, ни в свой так некстати обнаруженный Матильдой талант.

Она минуты полторы опять побуравила меня взглядом, не зная наверняка, к какому виду гомо сапиенса отнести, и, наконец, многострадально выдавила:

— Ты прошёл через такое...

— Ну да, — поморщился я так, как если бы фраза Матильды оцарапала мне горло. — Быть инвалидом-колясочником кайфа не много, — без стыда сыронизировал я, потому что мне наступили на большую мозоль. На очень большую мозоль.

— Молодой человек, перестаньте плакаться на жизнь! — горячо воскликнула Матильда, и её бледные щёки зарумянились. — Юноша, — назидательно произнесла она, — не гневи судьбу, скажи ей спасибо, что живой.

Я обеспокоенно взглянул на Матильду. Может, у неё температура поднялась или давление прыгнуло? Нет, по внешнему виду — вроде бы всё нормально. Она продолжила капать мне на мозги.

— Твои «деструкции» искренние. Уверена, у тебя получится написать проникновенное сочинение. Не бойся обнажить свою душу перед другими, — давила она на мозговые извилины.

Святая наивность. Как будто не понимает, что легче всего быть искренним с посторонними, чужими, а вот с самим собой — это проблема, потому что ты должен оголить себя, как нерв, а это неприятная, поверьте мне, процедура. Да и нужная ли? Быть честным с собой — это ни капли не приврать, не присочинить, не приукрасить. Даже в мелочах. Именно в мелочах, через которые и познаётся человек.

— Моя жизнь не сочинение, которое всем надо читать, — буркнул я, лишь бы Матильда от меня отстала.

Она не обиделась, смирившая мою худосочную фигуру долгим недовольным взглядом. Я заставил себя выдержать и его.

— Жизнь — это тоже история, — нажимала Матильда. — Напиши такое сочинение хотя бы ради своей подруги Любы.

О, а вот это запрещённый удар, ниже пояса. Всё, что касается Орешиной и меня, — это только наше, ни с кем делиться этим я не собираюсь.

Орешина. Это внезапная, безоглядная дружба, в которую никто не верил, кроме нас. В ней искали грязные подтексты, да и мы сами порой не верили, что между нами смогло разгореться то светлое чувство дружбы, так вовремя согревшее наши замороженные сердца. Тяжёлые жизненные обстоятельства — полусиротство (я толком не помнил своего отца, у Орешиной его вообще не было), потом моя инвалидность, у подруги со здоровьем огромные проблемы — столкнули нас лбами и высекли искру взаимопонимания, и мы потянулись друг к другу, как слепые котят, понимая, что только вместе сможем противостоять тому большому миру, в котором вынуждены существовать. Миру боли и неприятия. Подчас абсолютного.

До встречи с Орешиной я думал, что можно прожить без дружбы, а потом понял: дружба — это прекрасно, настолько прекрасно, что всё остальное не имеет значения. Главное, чему я научился у Орешиной, — это никого не бояться, не обращать внимания на непреходящий, прущий из всех щелей по любому поводу людской холод, потому что мы с ней жили в зоне вечной человеческой мерзлоты...

Матильда ждала моей реакции. В выражении её глаз, в голосе была такая мягкость, что я понял: не смогу ответить ей резко, не смогу отказать.

И я осознал, что попытаюсь написать сочинение о дне, который изменил мою жизнь, и этот день не двадцать четвёртое августа, день аварии. Я напишу об Орешиной, сумевшей подобрать ко мне свой ключик. Ведь именно она первой серьёзно заявила, что я нуждаюсь в друге, потому что дружба — это приют для одиноких.

* * *

Мама утверждала, что необычность имени определяет судьбу, поэтому я допускал, что родители Герарда Дионисовича думали так же, как моя мама.

К сожалению, с учителем у нас сразу и бесповоротно не сложилось, но в школе на химическом безрыбье... и Герард Дионисович учитель.

После уроков класс должен был остаться на зачёт по его предмету. Я не остался. Наш шофёр, Дмитриевич, приехал за мной и увёз в «Голгофу». Герарду не понять, что у нас в Доме существует строгое расписание дня и все его придерживаются.

Если Дмитриевич меня не заберёт в три часа, потом — только после шести, потому что ему надо отвезти после трёх нескольких наших малышей в город на массаж.

На следующем уроке Герард принялся меня распекать:

— Бездомных, считаешь себя самым умным?

Странность вопроса обескуражила. Папа постоянно капает мне на мозги, чтобы я с учителями не спорил. Убедил. Результат — в дебаты с Герардом я не вступил, отмахнулся коронной фразой:

— Вам какая печаль?

Лицо учителя покрылось пятнами, пальцы сжались в кулак, словно от острой боли.

— Бездомных, выходи к доске.

В классе повисла тишина.

— Никак не могу к вам выйти, — попробовал разрядить ситуацию. — Могу лишь к вам прикатиться — не возражаете?

К сожалению, Герард Дионисович не отличался чувством юмора.

— Катись.

Класс примолк. До меня доходили слухи, что в учительской я один из самых обсуждаемых учеников. Матильда всем однозначно заявила, что я не дурак, даже очень не дурак, но странный. И что за мной нужен глаз да глаз. Герард заспорил, доказывая, что по химии я слабый, тупой, на что историк Иван Павлович возразил удивительное: «Слабый и тупой — значит, добрый и славный». Полный ему респект от меня.

— Не явился на зачёт в назначенное время, — заводил себя Герард. — Устроим тебе персональный зачёт сейчас, — и он в предвкушении инквизиторской расправы, чувствуя себя великим Торквемадой, удовлетворённо потёр руки.

Меня же позабавила его скороспешность.

— Ваш зачёт — это незаконно.

Микаэль, позже анализируя моё поведение, порадовал, сообщив, что я был спокоен как удав.

— Нет такой системы проверки знаний в школе как зачёт, или покажите мне официальную бумажку, где он прописан.

— Не умничай! — Герард Дионисович занервничал. — Думаешь, если ты инвалид, то тебе всё можно? — вскипел учитель.

Мне не привыкать, когда мне указывают на моё увечье, но слова Герарда задели: когда у учителя не хватило слов, он выбрал оскорбления.

— Напрасно вы так, — с вызовом ответил я, источая радостное возбуждение. — Я инвалид на ноги, но не на голову. У некоторых всё наоборот.

Химика прорвало:

— Ты у меня школу не закончишь! — рявкнул он.

Терпеть не могу, когда мне угрожают. Это меня бесит, но и заводит.

— Мне больно слышать ваши слова. — Трагической тональности моего голоса позавидовал бы Шекспир, но это был верный способ взбесить химика, чего я и добивался. — Ваши слова, уважаемый Герард Дионисович, бурлеск чистой воды. Равно как и вы — акциденция современности.

— Ты издеваешься надо мной?! — Герард уставился на меня выпученными глазами, скривив лицо, словно вспомнил что-то очень плохое.

— Даже не приступал, — я стебался, получая от этого тайное удовольствие. Ещё Александр Невский пенял тевтонам: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет!» — Я недосыгаем для ваших дерзновенных аргументов и дедукций.

Наверное, если бы Герард мог меня ударить, он бы это сделал, но его остановило моё предостережение:

— Запись включена, — я показал на телефон, наслаждаясь.

Герард не учёл, что я умею не только рычать, но и кусаться, когда надо себя защитить. Лицо его стало фиолетовым.

— Бездомных... — процедил он сквозь зубы, задыхаясь. Физиономию исказила лёгкая судорога.

— Внемлю всем вашим словам, — я невинно смотрел на учителя и улыбался. — Всё же будьте благоразумны, если ещё хотите работать в школе, я на всякий случай предупредил.

Мы помолчали. Всем было неловко, в том числе и мне.

— Может, Герард Дионисович, подпишем пакт о ненападении? — чтобы разрядить ситуацию, предложил я. — Я согласен на нейтралитет.

Учитель громко хлопнул дверью.

«Твою дивизию», — любимое ругательство Папы. Вечером от него получил взбучку по полной программе.

— Объясните, — искал я слова для оправдания, — почему учителя злые, почему срывают на нас свою неудовлетворённость?

Папа не сразу ответил.

— Думаю, — он, говорил очень медленно, словно извинялся, — оттого, что они выбрали не ту профессию.

* * *

Мне часто снится один и тот же сон, он своим преследованием изматывает меня. Моя жизнь представляется длинным бесконечным танцем. Мои движения хаотичны, беспорядочны, в них всё: и боль, и страх, и отчаяние, и полёт души. Порой кажется, что вот-вот оступлюсь и споткнусь о стулья, которых очень много вокруг. И как только я должен упасть, мгновенно просыпаюсь весь в поту.

* * *

Четверть я закончил без троек — поставленную Папой задачу выполнил. Он посмотрел мой табель — лицо его радости не выразило.

— Как-то, мне кажется... многовато четвёрок, — неуверенно начал он.

— Вы сказали, чтобы было без троек.

— Но ты ведь можешь лучше.

— Могу, — согласился я.

— Что мешает?

— Отсутствие мотивации.

— Что мне надо сделать, чтобы она у тебя появилась?

— Это не от вас зависит.

— А от кого?

Голос у Папы постоянно запыхавшийся, будто только что пробежал вокруг «Голгофы». У Папы одышка — ему срочно необходимо худеть. «Убрать бы лишних пятнадцать-двадцать килограммов, совсем бы по-другому себя чувствовал», — но Папа никак не худел, хотя постоянно об этом твердил. Однажды я ему сказал: «Вы похудеете, когда заболите, или у вас появится для этого другая мотивация, более мощная». Больше Папа при мне о похудении не заикался.

— От меня и многих обстоятельств.

Папа понял, что я не расположен к разговору, тем более об учёбе.

— Эллиот, всё же постарайся девятый класс закончить как можно лучше. — Папа улыбнулся: — Поверь, хороший аттестат тебе не помешает.

— Хорошо, я подумаю.

На «слабо» меня взял Микаэль. Он собрался закончить девятку с отличием.

— После детского дома со средним аттестатом далеко не уйдёшь — буду тянуть на красный.

— Он что, в самом деле красный? — для чего-то уточнил я.

— Говорят, что да.

— Тогда и я на красный, я что, лысый?

— Здорово, — восхитился Микаэль. — Покажем класс нашему классу.

— Покажем!

Я был морально заряжен и мотивирован, чтобы показать своему классу, на что мы с Микаэлем способны.

* * *

Посреди четвёртого урока в кабинет вломилась завуч по воспитательной работе Светлана Васильевна, невысокая полная женщина с приветливым лицом. Хотя, когда она вошла, её взгляд ничего хорошего не предвещал.

— Девятый «А», — тоном, не терпящим возражений, сообщила она, — всем срочно в актовЫй зал на профориентационную беседу.

Все радостно зашевелились.

— Я никуда класс не отпускаю, — возмутился историк.

Воцарилось предгрозовое молчание.

— Иван Павлович, — завуч опешила. Она не могла поверить, что кто-то смеет ей перечить. — Пришли из центра занятости. — Прозвучало так, будто пришли арестовывать школу. — Не нарушайте план воспитательной работы, — с недовольством добавила она.

— Что такого интересного может детям рассказать центр занятости? — негодуяще фыркнул Иван Павлович, чем ещё более озлобил завуча. — Чтобы ученики после школы побежали к ним получать профессию каменщика или сварщика? — В голосе его слышалось негодование.

Светлана Васильевна слегка покраснела, и это был нехороший знак.

— Может, вы своим ученикам объясните, почему выбрали профессию учителя? — с раздражением поинтересовалась она.

— Я выбрал не учительство, — тактично возразил Иван Павлович. — Я выбрал историю.

— В чём же такая великая разница, позвольте узнать? — ухмыльнулась завуч.

Иван Павлович посмотрел на нас, своих учеников.

— Хотите знать, почему я выбрал нелёгкую дорогу учителя истории? — его вопросительный взгляд мгновенно оживил класс.

— Хотим! — хором закричали мы.

Иван Павлович перевёл дыхание, чтобы успокоиться.

— Пожилой профессор философии на нашем истфаке после того, как мы почти всей группой завалили зачёт по его предмету, спросил нас, желторотых: «Никто из вас не задумывался, зачем еврейского мальчика учат играть на скрипочке? Конечно, хорошо, когда он умеет играть на рояле. На виолончели. Или на арфе. Это замечательно. Но когда начинаются погромы, выселения и войны, мальчик берёт свою скрипочку под мышку. И едет, плывёт, бежит и карабкается с нею. Встаёт и падает. А потом, в хорошее время, он снова играет на скрипочке и имеет свой кусок хлеба. Так вот: рояль, арфа или громоздкий тромбон — это образование. Профессия. А вот скрипочка — это ремесло, которое будет тебя кормить. Где бы ты ни был и что бы ни случилось. Поэтому кроме образования надо иметь ремесло. Практические, так сказать, навыки. Свою скрипочку. На которой надо виртуозно играть. Лучше всех. И она тебя

прокормит и поддержит в самые трудные времена». И я запомнил эту мудрость и окончил институт с красным дипломом, потому что стыдно знать своё ремесло плохо. Учительство, Светлана Васильевна, — он обратился к стоявшей у доски завучу, — это наша с вами профессия, а вот история — это моё ремесло! — закончил он на высокой ноте.

Класс чуть не заплодировал.

— Хорошо, — мрачно выдавила завуч. — Ведите свою историю, найду желающих из других классов. — И ушла.

«У каждого должна быть своя скрипочка, — звучало в моей голове после возвышенного учительского спича, — которая прокормит и поддержит в трудные времена». Говорил Иван Павлович вроде бы аргументированно, но всё же не совсем убедительно. В его словах не было ни капли волнения, словно он произносил давно заученный текст. Я не ощутил, не испытал восторженного трепета, возможно, потому что «свою скрипочку» он назвал ремеслом. Если бы сказал, что он одержим историей, влюблён в неё до беспамятства, тогда бы я поверил. Ремесло выбирают, а для любви — открывают сердце. Он для меня его не открыл, моё сердце не трепетало, ему не хотелось танцевать от восторга. Оно билось спокойно. Я понял, что Иван Павлович явно не еврейский мальчик, иначе его скрипочкой стала бы стоматология или юриспруденция... Выбрав историю, он овладел органом — звучным, потрясающим, громоздким инструментом.

Мы не раз бодались с Иваном Павловичем по поводу истории, но это были просто словесные игры.

— Иван Павлович! — воскликнул я однажды на уроке. — Знаете, почему терпеть не могу вашу историю?

— Просвети, — доброжелательно потребовал он.

— Вместо того чтобы открыто сказать: «Жили плохо, будет ещё хуже», — ваша история поднимает на красные знамёна светлое будущее с непонятными идеями.

— Сам додумался или кто подсказал?

— Сам!

— Похвально! Что предлагаешь?

— Ничего... — растерянно ответил я.

— Тогда нечего раскидываться словесным набором нелепицы на фонарь будущего — его зажгло славное прошлое, за которое мне ни капли не стыдно. Запомни: история — это движение вперёд, а не назад!

— Ничего вы так загнули! — восхищённо произнёс я.

— Чаще обижай мою историю, ещё не то от меня услышишь...

После этого наезда я понял: Иван Павлович — мой человек! История бесповоротно вошла в категорию любимых предметов.

* * *

Проводить после спаренных уроков физкультуры — двух часов вдыхания чистейшего осеннего воздуха и сдачи нормативов по кроссу — английский, да ещё у Бабы Яги — изощрённая инквизиция школьного расписания.

Никто не помнил в школе, кто первым так назвал учительницу английского языка. Назвали — и всё: прозвище приклеилось намертво.

Голосисто прозвенел звонок, приглашая всех на урок.

— Явились, — недовольно проворчала англичанка. — Тише, — предупредила она. — У меня разыгралась гипертония, из-за чего жутко болит голова.

— Мария Валентиновна, как же она может болеть? Это же кость, — съязвил Никифоров, маленький и кругленький, сидящий за первой партой.

— Это у тебя, Никифоров, кость, — резко парировала англичанка.

«Баба Яга не в духе» — обычное состояние семидесятилетней учительницы английского языка.

— Неумолимая и беспощадная, как старость, — выразилась о ней моя воспитательница, бывшая её ученица. — Дракула в юбке: пока крови не напьётся — не успокоится.

Папа как-то спросил, почему у меня по-иностранному всегда одна оценка. Я с улыбкой ему ответил, что это признак моей стабильности. Не хотелось посвящать его в то, что Баба Яга — сплошное недоразумение, да ещё и со звёздными аномалиями.

Каждый год мадам Ришелье рассылала объявления: «SOS! Школе необходим молодой учитель английского языка». Обещала золотые горы, но то ли горы были не совсем золотые, то ли ещё какие причины, ежегодно директор вынуждена была просить Бабу Ягу не уходить на заслуженный отдых, а ещё годик поработать на благо школы и детей, на что англичанка снисходительно соглашалась, словно совершала очередной подвиг Геракла: «Так и быть, — выручу бедную школу!»

В посёлке Бабу Ягу давно считали женщиной с завихрениями и старались без надобности не связываться. Говорили, что она приехала в посёлок по распределению на три года сразу после окончания университета да так и осталась в Светлом. Каждый год она порывалась куда-то уехать, но всё не получалось, находилась какая-то мешающая причина. Однажды вырвалась из школьных объятий, но через полгода вернулась как побитая собака. Никто не знал, что случилось, но с того времени англичанка резко изменилась. По вечерам она подолгу бродила по посёлку, словно привидение, и завывала, как оборотень на полную луну. Жители решили, что англичанка тронулась умом. Поначалу жалели, пытались успокоить, но со временем привыкли к её чудачествам и выходкам.

— Открыли тетради, учебники закрыли, они не для вас написаны, — монотонно командовала Баба Яга, — слушаем. Сегодня день эмоционально нестабильный, так что не выводите меня, особенно Козероги, Девы и Близнецы.

В школе знали о помешанности англичанки на гороскопах: она безоговорочно им верила и накопила их огромное количество.

На прошлом уроке Баба Яга задала наизусть текст «Мой Лондон». Большинство не выучило, тем более что через четыре дня долгожданные каникулы, и нужен нам её Лондон, как собаке — стоп-сигнал.

Англичанка подняла голову и пристально, словно выискивая жертву, посмотрела на притихший класс. Неожиданно её лицо оживилось: она увидела Яна Лукьянова. Он к нам прибыл из какой-то дальневосточной тьмутаракани.

— Пополнение! — воскликнула она, с живым интересом рассматривая новенького, словно хотела сразу всё о нём узнать по внешнему виду.

Настроение её значительно улучшилось. Класс молча ликовал, наивно полагая, что оставшееся время пройдёт в таком же добродушии. Всю идиллию испортил Гуськов. Его дурацкий «харчок» из трубочки вместо того, чтобы попасть в Малофееву, угодил на руку Бабе Яге.

— Какой кретин расплевался? — могучий рёв англичанки услаждал мой слух, потому что назвать ученика кретином с её стороны звучало педагогически изысканно.

Баба Яга, напялив очки на нос, сурово посмотрела на притихший класс.

— Мария Валентиновна, я не хотел, — промямлил виновато Гуськов.

— Господи, что значит наследственность! — воскликнула учительница. — Яблоко от яблони недалеко падает. Таким же был и твой папочка. Имела несчастье учить

его, — фыркнула она презрительно. — В ваши годы пионеры-герои жизнь за Родину отдавали, а вы... — и Бабу Ягу понесло.

Уроки английского напоминали кунсткамеру: ни один не повторялся. Манипуляции, унижения, бои без правил... не то что унылый и размеренный урок химии с колбочками, прекурсорами и лакмусовыми бумажками или литература у Матильды со взаимным уважением и почтением к писателям и поэтам. Для Бабы Яги спокойный урок — скука смертная.

Гуськов пристыженно молчал.

— Ещё раз харкнешь, ты у меня из школы вылетишь первым рейсом, — Баба Яга страшила этой фразой многих — никто, правда, не знал, когда наступит указанный рейс и куда конкретно он полетит.

— Ей бы охранником в психушке работать! — тихо шепнул Микаэль Васе Субботину, что сидел перед нами.

Они с ним ещё с детского дома. Вася — лягушка-путешественница. Он всё время в бегах, никто не знал, зачем он убегает, чего ищет. Наверное, ему нравится сам процесс.

— Ещё лучше — ветеринаром в зоопарке, — согласился Василий.

— Про какого ветеринара ты там шепчешь, Субботин? — англичанка подозрительно перевела свой близорукий взгляд на Василия. — Не смотри на меня, как таракан на тапки! — вспылила Баба Яга. — Текст выучил?!

— Я же только что из приюта, — возмутился Суббота.

— Это твои личные проблемы, нечего бегать из детского дома. Кормят, одевают, учат, — чего ещё не хватает?! Мало тебе прошлого раза? — повысила она голос.

Василий угрюмо промолчал. Месяц назад Баба Яга при всём классе обозвала его «гадом и сволочью». Англичанка никогда не следила за языком. Класс к этому давно привык, особой трагедии из этого не делал, но в тот раз Вася не промолчал, ответил: «От сволочи слышу!» Разразился скандал в кабинете у мадам Ришелье. Ночью Суббота сбежал из детского дома, вернули его только вчера.

— Садись, «два»!

По зловещей интонации класс понял: Баба Яга вышла на тропу войны — принялась по очереди спрашивать злосчастный текст.

Получив своё, Суббота занялся рисованием. Закончив и едва сдерживая смех, он передал нам с Микаэлем тетрадь, чтобы мы оценили его творчество. Увидев рисунок и прочитав стишок к нему, мы не удержались от смеха и не заметили, как к нам подлетела Баба Яга.

— Над чем смеётесь? — как грозовая туча, она нависла над нашей партой.

Заподозрив неладное, грубо выхватила из моих рук злополучную тетрадь. Лихорадочно пролистав и не найдя ничего предосудительного, она уже собралась её вернуть, но тут предательски развернулась последняя страница.

Баба Яга взглянула на рисунок и пробежала глазами по стишку — и тут же раздался дикий её вопль. Класс сочувственно посмотрел на меня, понимая, что я серьёзно влип.

— Бездомных, — клокотала англичанка. — Ты не только инвалид на ноги, но ещё и дебил на голову!

На моём лице отобразилось удивление.

— Разве существуют ещё и разновидности? — уточнил ради интереса.

Баба Яга тупо уставилась на меня, не понимая подвоха.

— Ты это о чём?

— О том, что я дебил на голову.

— Не поняла... — Баба Яга смотрела на меня огненным взглядом.

— Разве может быть дебил на руку, на ноги, на сердце? — продолжал я спокойно перечислять человеческие органы.

— Бездомных, не надо из меня делать идиотку! — угрожающе предупредила англичанка.

— Так я и не делаю! — искренне вырвалось у меня.

До Бабы Яги дошёл смысл сказанного. Класс притих, ожидая бури.

— Бездомных, ещё одно слово, и у тебя будет бледный вид и макаронная походка, ты меня понял?

— Конечно, — бойко ответил я. — Особенно про макаронную походку.

Папа прав — язык мой враг. Иногда полезно промолчать, потому что — собака лает, караван идёт, но я, видать, ещё в своём пубертатном возрасте не дошёл до глубины этих истин.

— Завтра на урок без родителей не пушу, — суровым тоном предупредила Баба Яга.

— У меня их нет.

— Твоя проблема! Завтра жду с родителями! — ещё раз рявкнула англичанка.

Теперь я знал, для чего школе нужны родители.

* * *

Замучил кошмарный сон. Старый деревянный дом. Я в нём один. Вокруг темнота. Никаких соседей. Подходит ночь. Мне страшно оттого, что предстоит одному ночевать в этом пустом доме. Закрываю двери. Они хлипкие и шатаются от каждого прикосновения. Среди ночи просыпаюсь со странным чувством, что двери открыты. С бешено колотящимся сердцем бегу проверить — двери закрыты. В доме темно. За окном тускло светит фонарь.

Интуитивно чувствую, что по двору ходит человек. Лица его я не вижу, обычно он обращён ко мне спиной, на голове капюшон. Я точно знаю, что рано или поздно незнакомец попытается проникнуть в дом. Связи с внешним миром нет: пытался позвонить по мобильному отцу, но абонент недоступен.

Страшному человеку удаётся войти в дом. Он стоит ко мне спиной, его движения очень тяжелы. Я принялся толкать его и бить кулаками по затылку. Он не сопротивлялся. Мне удалось вытолкать его за дверь. Закрылся снова на старые ржавые засовы. Человек за дверью стал смотреть на меня в замочную скважину. Я наклоняюсь и тоже в неё смотрю, а там только одна рука его видна, он пальцем меня манит и говорит: «Пойдём, что покажу», — и показывает на дверь в хлев. Тут я проснулся.

Недавно снова приснился сон с этим страшным человеком. Якобы ночью я подхожу к уже знакомому дому, темно, фонарь не светит. Я освещаю себе путь карманным фонариком, который высвечивает спину мужчины в капюшоне. Он начинает уходить из света в тень, а недалеко загораются фары машины — он не один. И тут же этот человек начинает двигаться в мою сторону, а я стою и судорожно размышляю, как мне успеть добежать до дома и закрыться на всё те же хлипкие засовы. На этом просыпаюсь.

Не понимаю, почему этот сон пристал ко мне и как мне от него избавиться.

* * *

Матильда проверила наши опусы. Десятерым вместо оценки написала «печально», пятерым «терпимо», ещё одной пятёрке «однако», троем «читабельно» и только одному «блеск!».

— Ваше «терпимо» — это сколько? — упорно допытывался Чума.

Отличительная особенность Матильды не только в умении загадочно улыбаться, но и в способности строчить фразы со скоростью, превышающей порог восприятия.

— «Терпимо», но это не «печально», но и не «читабельно», и уж никак не «блеск». Понимаешь, Чумаков, это — «терпимо».

Чума, естественно, ничего не понял во всём этом словоблудии.

— «Печально» — это совсем плохо? — начал выяснять Макс Зубарев.

— Ни в коем случае, — успокоила Матильда. — Если бы это так было, я бы так и написала. Твоё сочинение печально было читать, особенно когда знаешь потенциал того, кто писал.

— Нам до вас никто так не ставил оценки, — вставил свои пять копеек Ванька Пирожков.

— Господи, отроки! — Матильда всплеснула руками. — Это ни в коем случае не оценки — это выражение моих эмоций.

— А когда будут оценки?

— Когда вы перестанете о них думать, и, пожалуйста, — учительница устало посмотрела на класс, — не утомляйте меня вопросами. Перед тем как приходить ко мне на урок, научитесь своевременно выносить мусор из своей головы! — попросила Матильда. — Только тогда из вас будет толк.

— Вы инопланетянка! — эмоционально воскликнул я.

Матильда остановилась, внимательно посмотрела на меня.

— Иногда сама так думаю, — подтвердила она. — В детстве любовалась небом и звёздами.

— Я их тоже люблю.

— Мог бы и не говорить, — улыбнулась Матильда. — Сразу это поняла.

— Как?

— Ты никогда не смотришь себе под ноги.

Деструкции

«Чем старше становлюсь, тем больше прихожу к невесёлой мысли: люди замыкаются в своём мире, который, как яичная скорлупа, охраняет их от постороннего вторжения. Моя скорлупа разбита, у меня нет защиты».

* * *

Орешина влетела в мою комнату в длинном платье в чёрно-белую полоску.

— Классное платье, ты в нём супер! — восхитился искренне.

Впервые увидел смущённую Орешину.

— Платье как платье, — буркнула она, но по голосу чувствовалось: ей приятно, что я заценил её новый наряд.

— Ты не права, — продолжил доказывать я обалдевшей Любке. — Это классическое платье для каждой подающей надежды иконы стиля.

— Значит, я икона стиля, Эллиот?! — радостно переспросила Любка и, счастливая, побежала сообщить об этом всей «Голгофе».

Деструкции

«Орешина считает, что мы все мечтаем, чтобы наша жизнь была похожа на ромашку... такая же светлая и с солнышком внутри...»

Мне не хотелось, Чехов, разочаровывать подругу, говорить ей, что мы застываем в том возрасте, где нас недолюбили. Дальше развития нет, только сплошные комплексы и обиды.

Мне порой кажется, что мы все в "Голгофе" сплошное недо...

Я чувствую, как мой бедный мозг кровоточит от тех вопросов, которые мне хочется задать».

* * *

Вечером я открыл свою тетрадь с сочинением на тему: «Учитель, перед именем твоим...» Матильда задала его всем.

Догадываюсь, чего она от нас ждала получить, но обещанного три года ждут.

В сочинении я не парился с дифирамбами. Написал, как думал. Сдал за десять минут до конца урока.

— Эллиот, не поторопился ли ты?

— Матильда Дмитриевна, рождённый ползать упасть не может!

— Прекрасная лапидарность! — восхитилась Матильда с глубоким мхатовским драматизмом, поставив меня в тупик.

Я написал, что «быть учителем — не значит, отчитать урок по конспекту, наставить полжурнала отрицательных оценок, осадить за непослушание учеников, прийти в учительскую и громко жаловаться на трудность профессии.

Быть учителем — значит, с уважением относиться к ученикам, понимать, что им чаще намного труднее, чем взрослому человеку. Невозможно прочитать «Войну и мир» за один вечер, потому что есть другие приоритеты и соблазны, и Толстой в этой очереди находится даже не в первой десятке, поэтому неудивительно, что его забыли прочитать. В конце концов, жизнь не сошлась на одном Льве Николаевиче, потому что есть ещё подорванная физичка, неуравновешенная математичка, привередливый химик, занудный историк...

А ещё есть жизнь...».

Под сочинением вместо оценки Матильда написала лишь одно слово — «блеск!».

* * *

В ночной тишине «Голгофы» есть нечто обескураживающе трогательное. Кажется, спят не только дети, но и само здание, уставшее за сутки от энергии своих обитателей, реками выплёскивавшейся, заполнявшей собой не только Дом, но и всё пространство вокруг него.

* * *

Орешина постоянно заходила ко мне перед отбоем. Обыкновенная вечерняя болтовня ни о чём и обо всём. В тот раз меня удивило, что Любка была необыкновенно тихой, что никак на неё не похоже, тем более что после «химии» она стала ещё шумнее и громче. Папа объяснил: Любана частично потеряла слуха.

— Орешина, всё нормально? — Любка не обижалась, что я её так называю.

— Так себе, — неопределённо ответила она, что заставило напрячься.

— Выкладывай.

— Эллиот, ты когда-нибудь целовался? — в её голосе вибрировало сдвленное волнение. Но она очень старалась казаться спокойной.

Лунный свет заливал комнату: Микаэль, уходя, забыл закрыть жалюзи.

Вопрос смутил. Так, напрямик, меня ещё никто не спрашивал. Глядя на Любку, неожиданно почувствовал необъяснимый прилив нежности к ней. Что-то внутри забурило, словно огромный поток, устремившийся в узкий прорыв в горах. И, подобно горной речке, этот поток обжигал меня холодом и клекотал, тая в себе нечто неизведанное, непонятное и не поддающееся контролю. Странная, неистовая

сила влекла к ней — хотелось её утешить, сказать тёплые, нежные, проникновенные слова, но вместо этого вырвалось совсем нелепое:

— С кем мне целоваться? — пробухтел я. От смущения у меня уши покраснели, хорошо, что Любка в темноте этого не видела. — С Седриком?

Папа прав: ждать чувствительности от меня, застёгнутого на все молнии внутри, не приходится.

С минуту Орешина безразлично глядела в одну точку, словно хотела на потолке разглядеть что-то неведомое моему зору. Правда, в какой-то момент мне показалось, что её глаза увлажнились, но она мужественно отвернулась и, когда снова повернулась ко мне, лицо её опять стало серьёзным.

— Эллиот, — сказала она, — представь, что судьба дарит тебе всего три поцелуя, которыми ты должен распорядиться в течение дня.

Непроизвольно мой рот открылся от изумления, глаза вытаращились на Любку, хотя чему удивляться: какая Орешина, такие и вопросы. Полная гармония.

— Почему всего три?

Только позже удивился вопросу, а тогда спросил на автомате.

— Судьба так решила, — меланхолично ответила Орешина.

«О мама мия», — пронеслось в моей голове.

— Хорошо, — мне не хотелось расстраивать подругу, глядя на её малахольный вид. — Что со мной будет, если я не растрату эти поцелуи за один день?

На Любкином лице появилась грустная улыбка.

— У тебя больше не будет новых трёх поцелуев и нового дня. Ты умрёшь!

— Жесть, — возмущённо пробурчал я, не найдя подходящих слов.

— Конечно. Но всё же, согласишься, три — это не один поцелуй, — и Орешина улыбнулась, словно вспомнила что-то хорошее.

— Мне было бы проще с одним, — выпалил я искренне.

— Кого бы ты хотел поцеловать? — продолжила допрос Любка.

— Маму, конечно, — я посмотрел на подругу. Она ушла в себя, с ней так часто происходило. Могла молча сидеть минут десять и больше. Но вдруг она словно просыпалась, начинала тарыхтеть как из пулемёта. — А ты кого? — осторожно поинтересовался.

Орешина молчала. Я вздохнул, приготовившись к длительной тишине.

— Эллиот, ты очень светлый парень, — медленно произнесла Любка, видимо, что-то продолжая прокручивать в голове.

— Ошибаешься, — простодушно возразил. — Я научился скрывать свою тьму.

— Она у тебя есть? — удивилась Орешина, озадаченно взглянув на меня.

— Она есть у всех — мы же люди!

— Наверное, это твой рай, — выпалила Орешина.

От её слов я выпал в осадок.

— В чём же он?

Орешина не ответила, снова ушла в молчанку. Любку трудно описать с первой попытки. Она как картина, которую надо с интересом разглядывать, чтобы потом сказать о ней что-то толковое. Никогда не скажете: «Не нравится», — потому что Орешина притягивает к себе. Магнетизирует. Черты её лица нездешние, болезнь их ещё больше обострила. Любку словно закинули из восемнадцатого века в двадцать первый: ловите и сами разбирайтесь с этим экземпляром — худой, долговязой, с кучей веснушек на лице — огненными следами от солнца, как шутит она.

— Эллиот, можно тебя поцеловать?

Честно говоря, я припух от такого предложения. Всегда считал, что девчонки первые провокаторши. Как такой вопрос можно задавать парню? С другой стороны, почему его нельзя задавать?

— Для чего? — растерянно спросил и специально сильно нахмурился.

— Очень хочется, — честно призналась Орешина. Она была так простодушна.

Блин, меня могут поцеловать... Я был в полном ауте, но, главное, чувствовал, что мне самому этого очень хочется.

— Тогда делай это молча, — негромко посоветовал.

— Почему? — удивилась она.

— Вдруг откажу, так что лучше не спрашивай.

Внутренне я приготовился.

— Тебе, правда, хочется, чтобы я тебя поцеловала?

— Не хотелось, сразу бы об этом сказал, — в моём голосе сквозило раздражение, но Орешина словно его не чувствовала.

— Почему тебе хочется, чтобы я тебя поцеловала, Эллиот?

— Вот вы, девчонки, — настоящие дуры! — взорвался я.

— Тогда закрой глаза, — нерешительно предложила Любка. — Я стесняюсь.

— Значит, это ненастоящие поцелуи, — ляпнул я.

Теперь вспыхнула Орешина.

— Эллиот, почему вы все такие, мальчишки, — у неё на глазах появились слёзы. — Умеете испортить желание в самый неподходящий момент.

Вот, здарсьте, оказывается, я во всём виноват. Ничего, что целоваться хотела Любка, а не я, но мне пришлось благородно отмолчаться. Седрик так же недовольно фыркает, когда я к нему лезу с ласками и нежностями.

— Хорошо, молчу.

— И молчи, — Орешина распахивалась. — Мне уже не хочется.

— Если я сильно попрошу? — и я легонько дотронулся до Любкиной руки.

Моё прикосновение её успокоило.

— Попроси.

— Орешина, поцелуй меня.

— Для чего?

— Не знаю, — признался я, — но мне этого очень хочется.

Романтизм испортила воспитка, несвоевременно вошедшая в комнату, но, лёжа в кровати, я чувствовал незримый Любкин поцелуй, и мне от него было тепло и приятно.

Захотелось, чтобы залетел Карлсон, уселся возле меня и шепнул на ушко: «Спокойно, всё у тебя будет хорошо! Тебя захотели поцеловать, и ты сам готов был поцеловать. Пацан, радуйся, ты, наконец, повзрослел!»

Деструкции

«Чехов, родной мой человек. Я совсем забыл о своём алфавите. В последнее время меня особенно беспокоит буква Л.

Л — «любовь» — банально, да, но вдруг я понял — она реально существует, она есть. Это открытие, Чехов, к которому я не был готов.

Одно могу теперь тебе сказать: буква Л в нашем алфавите очень мне нравится, хотя, согласись, — это определённая зона риска».

* * *

После уроков учительница литературы тормознула меня.

— Эллиот, ты мне нужен, — предупредила она, источая своим видом радостное возбуждение.

Сбитый с толку и ломая голову над тем, в каких грехах меня подозревают, я вопросительно уставился на Матильду, приняв вид вежливой озадаченности. Она достала из своего ридикюля потрёпанный журнал. Развернула на нужной странице. Приличный московский литературный журнал, как считала Матильда — если она так сказала, я ей безоговорочно верил, — объявил конкурс на тему «Утро».

— Читай! — торжественно потребовала она.

Пробежал глазами по тексту, ничего не понял.

— Попробуем, — с нажимом произнесла Матильда. Её лицо, как иллюминация, засветилось от предвкушаемого удовольствия. — Мозги у тебя есть, их не надо растрачивать попусту.

— Но... — промямлил я неопределённо.

Матильда многозначительно подняла бровь.

— Это хороший задел на перспективу, — холодно ответила она, опуская меня на землю.

Я пожал плечами.

— Что можно такого написать про утро, чтобы рассказ напечатали в журнале?

— Про неповторимое утро, — таинственно подсказала Матильда.

— Какое же оно должно быть?

— Эллиот, каждое утро исключительное! — с жаром воскликнула Матильда. — Ещё один дополнительный день твоей новой жизни, и столько может произойти всего за этот день, — она закатила глаза.

В чём-то я с Матильдой согласен. Каждое утро — это, как говорил Папа, подвиг.

— Думаете, я смогу?

— Конечно, — ответила Матильда таким тоном, как будто это разумелось само собой.

— Умеете вдохновить, — капитулировал я.

— А то... — довольно ответила она, наслаждаясь магическим воздействием своих слов.

Деструкции

«В школе учителя нас учат, не особо утруждаясь. Кроме Матильды. Мы не хотим учиться, и нас не хотят учить, и мы дружно, словно сговорились, симулируем учебный процесс, создаём видимость тяжкой учебы. Мы учимся понемногу чему-нибудь и без правил, остальному научит большая жизнь».

Ирина Краева

Фатима зажигает свечи

Рассказ

Только засветится ранний румяный час, а Фатима уже спешит к тем, кто её ждёт. Нежная вся, в лёгкой испарине — прямо от плиты. Даже зимой, когда ночь залёживается на снегах, Фатима выходит в привычное время из дома, и навстречу ей день расцветает. Её ждут дети и собаки.

В руках Фатимы бидон, а в бидоне похлёбка, в которой много костей с мясом. Варёво горячее, и потому бидон кажется Фатиме ещё тяжелее, а она радуется: донесёт до собачек еду не простывшей, согреют они захоложенное за ночь нутро. Шумно будут хлебать и крутить хвостами.

Собак шестеро. Черныш, Гром, Супоня, Буян, Белочка и Розана. Хорошие собаки, честные. Правда, Супоня — редкостный подхалим, готов на задних лапах танцевать, только бы заполучить лишний хрящик, но и этот пёс бывает ласков без выгоды для себя. Фатима знает, что собаки её любят, и дело совсем не в похлёбке. Днём она держит двери в Чёрном Доме нараспашку — пусть собаки приходят, когда вздумается. А на ночь оставляет открытым в подвале потайное окошко, пожелают — пролезут через него, укроются от дождя и ветра. Фатима каждое утро спешит в Чёрный Дом. Несёт в бидоне горячую похлёбку с костями, на которых много мяса, и радуется.

Фатима мала ростом, она легка в движениях, и от взгляда её веет нагретым абрикосом. А вот тело её уже по-старушечьи скудное, лицо посекали морщины, набрякли веки, словно вчера она долго плакала, и нос — точь-в-точь вяленая груша. Фатима давно остригла свои косы, и седые кудри качались бы как придётся, если бы она не смиряла их длинным пёстрым платком, который оборачивает вокруг головы по-особому, так, что тот стоит колпачком. Обычно она носит бархатное платье цвета перезревшей вишни, давнее, уже слишком просторное, но шёлковая жилетка сверху хоть как-то скрадывает лишние складки одеяния. Маленькая Фатима походит на волшебного гнома. Алюминиевый бидон в её руках светится бледным солнцем.

Ирина Краева (Пуля Ирина Ивановна) — прозаик, журналист, педагог. Родилась в 1966 году в Кирове. Автор десяти книг, в том числе «Дети неба, или Во всём виноваты бизоны» (2018). Лауреат ряда литературных премий — имени Владислава Крапивина, имени Александра Грина, «Согласование времён», «Новая детская книга» и др. Лауреат премии журнала «Дружба народов». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

Она ходит в Чёрный Дом много лет, много лет. Первый раз она вошла в него, как только военные разрешили приносить сюда цветы и игрушки. Фатима увидела тогда много людей, и у всех у них из глаз сами собой лились мёртвые слёзы. Фатима чувствовала, что эти люди не думают о том, что будет завтра, и не знают, как теперь жить. Фатима была такой же, как все. У неё тоже никаких сил на жизнь не оставалось.

Когда дом ещё не был Чёрным, на большой праздник в нём собрались дети и взрослые. Они радоваться пришли, они радовались... А их убили.

Теракт устроили крейчазы. Фатима сама придумала такое слово. Ни одним рождённым в мире словом нельзя было назвать тех, кто совершил здесь то, что совершил, и поэтому Фатима назвала их так — пирые крейчазы.

Пусть кто-то говорит, что они не хотели убивать *этих* детей, они хотели только напугать взрослых, хотели, чтобы перестали убивать *их* детей. Но дети, на которых нет никакой вины, погибли. У Фатимы нет сомнений, что детей никак нельзя делить на своих и чужих. А кто считает по-другому — тот пирый крейчаз.

В Чёрном Доме в тот чёрный день погибло много детей и взрослых, так много, что потом никто не мог запомнить все имена погибших.

В первые горестные дни, когда в Чёрный Дом стали пускать людей, Фатиму неодолимо тянуло туда. Она чувствовала, что многие женщины и мужчины тоже не могут не приходить, потому что совсем опьянели от горя, горе им застило жизнь, они не в силах им насытиться, как пьяный не может напиться вином.

Кто-то из людей, облечённых властью, решил, что дом, в котором произошла трагедия, надо оставить в назидание потомкам. На Чёрный Дом надели сверху юбку из твёрдых пластиковых лент, чтобы всем было понятно — он окружён старательной заботой и вечной памятью. В центре страшного зала, обложенного цветами, поставили деревянный крест и два напольных подсвечника на тонких стояках, кто хотел — мог взять свечи со стола, задвинутого в угол, и зажечь их перед крестом.

Но горе всё равно оставалось голодным, а слёзы — пьяными. И как с этим справиться, — никто не мог придумать.

Когда люди не знают, что делать, они вспоминают Бога. Рядом с Чёрным Домом стали возводить православный храм. Людям предложили платить за свечи — опускать деньги в специальный ящик, чтобы собрать средства на строительство храма. Но многие кидали в ящик всего лишь по десять рублей, а брали много свечей. Расчёты на большие сборы не оправдались. И тогда какой-то человек, облечённый властью, взял Фатиму за плечо и подвёл к столу: «И на пенсии нашлась для тебя бухгалтерия, женщина. Наведи здесь порядок. И себе бери из пожертвований по потребностям. Знаем — лишнего не возьмёшь». Вначале Фатима растерялась, а потом искорка удовольствия прокатилась по густой крови в её жилах — её уважают. Согласилась.

Церковь построили — крепкую, с тучными золотыми куполами. Но годы шли, а двери храма так и не открыли для прихожан, никто в нём молить так и не вознёс. Денег всё не хватало — то на роспись стен, то на иконы... Кто-то из представителей власти решил, что никак нельзя, чтобы люди молились при голых стенах, а то ведь найдутся желающие поднять хай: погибших унизили. Пусть лучше люди смотрят на церковь и думают, что она скоро откроется, пусть привыкнут к ней, златоглавой и пустой, ведь люди ко всему привыкают. И люди привыкли. Почти все привыкли. Но не Фатима. Каждый день она проходит мимо храма, и даже ступни у неё холодеют. «Церковь без молитв, — думает Фатима, — будто гроб посреди улицы».

Она убирает увядшие цветы, стирает пыль с фотографий и игрушек, моет полы. Она помнит имена всех детей и взрослых, запечатлённых на фотографиях, имена сами расставились у неё в голове почти в рифму. Фатима шепчет имена и наводит чистоту. Летом в Чёрном Доме особенно много людей — приезжие, желающие отдохнуть «на югах», приходят, чтобы полакомиться достопримечательностью.

Фатима несколько раз собиралась взять немного из пожертвований — хотя бы себе на хлеб, но всё было как-то не с руки. А потом и вовсе решила не брать — после встречи с мальчиком Русланом Отоевым.

Детей ведь тоже в Чёрный Дом приводили — целыми классами. Руслан пришёл вместе с классом. Толстый, губки бантиком и рыжие, лихие кудри — домашний исцелованный такой озорник, которому всё сходит с рук. Дети двигались за учительницей пришибленные, робко, по-гусиному перебирали лапками по свежевывытому Фатимой полу. А толстун, видимо, что-то развеселило ещё до входа в Чёрный Дом. И сейчас то же самое продолжало его веселить, и он вертел в кармане какую-то забавляющую его штучку — наверное, какую-то игрушку, не слушал учительницу. И, наконец, учительница сказала холодным тоном: «Руслан Отоев — самый плохой человек на свете», — и саданула его по щеке. Видимо, у неё давно накопело, её давно подмывало ударить Отоева, но она боялась его родителей — вдруг нажалуются директору. А в Чёрном Доме учительница почувствовала полную свою справедливость. Фатима покачала головой, отворачиваясь. А когда класс ушёл, она услышала странные звуки. Вышла из зала в коридор. Не сразу заметила в углу, напротив подоконника с игрушками, Руслана Отоева. Он сидел на полу, подтянув к подбородку одну ногу, а вторая лежала безвольно вытянутая.

— Ты чего? Из-за учительницы? — склонилась к нему Фатима.

Мальчишка втянул сопли и прошептал:

— Нет.

— Чего тогда, Руслан?

— Медведь, — прошептал он и махнул рукой в сторону подоконника.

— Медведь?

Фатима посмотрела на игрушки. Их было много на подоконнике: куколок, мягких зайцев и котов... Она сразу поняла, о каком медведе речь. Он один был такой. Коричневый, плюшевый, а вместо матерчатой мордочки — круглое малышковое личико с голубыми глазами.

— Он смотрит на меня, — прошептал мальчишка.

— Это игрушка, Руслан.

— Это мёртвый мальчик... Вдруг они все оживут...

— Тебе ведь жалко ребятки, Руслан? — попыталась подсказать мальчишке Фатима.

— Мне страшно, — едва проговорил он и закрыл ладонями глаза.

Фатима распрямилась, чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд. Ни игрушки, ни дети так смотреть не могут — будто прицеливаясь. Только пирые крейчазы смотрят так, останавливая твоё сердце. Теперь Фатима поняла, что на неё так всегда в Чёрном Доме кто-то смотрит, только она сама боялась себе в том признаться.

Фатима взяла мальчика за руку и вышла с ним на улицу, к светлому теплу, усадила Руслана на скамейку. Надо было бы принести ему горячего сладкого чая, хотя бы с сушками. Но прибежала учительница, злая, молча поволокла ученика прочь.

А спустя несколько дней после истории с Русланом Отоевым первым залетел в распахнутые двери Черныш — всклокоченный пёс. Вился на отлёте его алый язык и глаза горели весёлым, остроумным азартом. Пёс не чванился перед Фатимой, стащил зубами с её руки протянутый кусок хлеба, а вечером привёл с собой Буяна и Белку. Потом притянулись Гром, Супоня и Розана. И Фатима стала варить им похлёбку, чтобы накормить досыта и чтобы они уже никуда не уходили. Собаки вкусно хлебали варево, мотали хвостами из стороны в сторону, опрокидывались кверху белым пузом, чтобы их почесали ласковой рукой. Все дети любят собак. Пусть радуются, пусть радуются собакам все-все. Фатима решила для себя: не будет она брать деньги на похлёбку из пожертвований, не будет.

Она была уже не одна, а вместе с Чернышом, Громом, Буяном, Супоней, Белочкой и Розаной. Фатима уже решалась вступать в разговоры с людьми, которые протягивали ей деньги за свечи и о чём-нибудь спрашивали. Она решила: людям необходимо, чтобы кто-нибудь с ними говорил.

Бывало, приезжали женихи и невесты на машинах в лентах, в окружении разгорячённых гостей. Молодожёны входили с золотыми улыбками и тут же застывали в оторопи.

Фатима вкладывала им свечи в сцепленные руки и говорила:

— Вы за себя помолитесь. Помолитесь за себя. И ступайте, ступайте...

Фатима так чувствовала — молодым здесь не место, не надо начинать счастливую жизнь там, где она когда-то закончилась.

Родители погибших детей тоже приходили, хотя не часто. Фатима вставала за их спинами, беззвучно молилась вместе с ними. Но кому-то из них и выговаривала.

— Нет, Милана, говорю тебе, нет, — бормотала Фатима, без злобы, но настойчиво. — Не дам я тебе свечушку. Ты не знала, куда идёшь? Почему деньги не взяла, десять рублей хотя бы? Или ты думаешь, что теперь тебе все должны? Для твоей доченьки, чьи косточки превратились в пепел, у меня всегда есть свеча, каждый день зажигаю. А для тебя нет её и не будет.

Матери и отцы находили успокоение в строгости старухи, похожей на волшебного гнома. Они убеждались, что об их детях заботятся, за их детьми есть пригляд.

Только один раз возвысила Фатима голос.

— Послушай, любезная, — сказал какой-то мужик, подтягивая штаны на пузе. — Ты скажи там своим — пусть уберут крестовину с «гимнастом». Я хочу молиться здесь своему богу, которому молился и мой погибший племянник.

— Кярч, зубрый кярч, — сквозь зубы сказала ему Фатима. — Заблхайся сердни. Гердь малюка.

— На каком языке ты ругаешься? — взъярился мужик. — Нет такого языка, и не смей говорить со мной на своей тарабарщине.

— Не нужны тебе ни крест, ни звезда Давида, ни полумесяц со звездой, — произнесла Фатима. — Не дури голову ни мне, ни себе, никакому пророку. Повезло тебе, что не слышат твоих слов отцы моих детей...

Мужик навалился на Фатиму, сдвинул так, что хрустнули её птичьи косточки. Залаяли Черныш и Буян, и уже летели на подмогу Гром, Супоня и Белочка с Розаной. Мужик отшвырнул Фатиму в угол, выругался и пошёл к выходу в пьяную раскачку — то ли пришёл пьяным, то ли сейчас в голову что ударило.

Фатима часто перечитывала начертанные на стенах надписи: «Мы с вами!», «Вы с нами навсегда!». Фатима крестила эти слова и думала: живы ли те, кто их писал,

или убили уже друг дружку на разъединившей их войне, которая сейчас вновь жрёт человек. Фатима убирала увядшие цветы, мыла полы и каждый день приносила похлёбку, чтобы собаки были сыты и чтобы им гладили животы ласковой рукой. А медведя она унесла домой, спрятала в шкафу под халатами. Она хотела бы всё-таки напоить Руслана Отоева горячим чаем и что-то хорошее сказать ему. Фатима высматривала мальчика на улицах — он же местный, вполне могли встретиться. Но так и не встретились за несколько лет.

Они так и не встретились. Разминулись на три часа.

...Фатима ещё на подходе к Чёрному Дому заметила полицейскую машину, а возле неё людей в форме. Они тоже заметили Фатиму и ждали, когда она подойдёт ближе.

— Здравствуй, Фатима, — обратился один из них, её давний знакомец. — Плохие новости, Фатима.

Она стояла, вглядываясь в полицейских, руку оттягивал горячий бидон.

— Убили твоих собак, — хмуро сказал знакомец. — Шесть носов ведь было?

Фатима молчала и не шевелилась, только взгляд её стал прозрачным. А потом она всё же двинулась к Чёрному Дому.

— Там замок повесили. Считай отпуск у тебя, Фатима, — сказал вдогонку знакомый парень. — И собак я уже закопал в саду... Пойдём, покажу.

Фатима развернулась и пошла за ним в сад, где росли фруктовые деревья. Под одной из старых вишен парень указал на участок вскудренной земли. Влажные мягкие комья были мелко порублены лопатой. Фатима смотрела, смотрела на них и согласно кивнула каким-то своим мыслям.

— О чём ты, Фатима?

— Весной полетит цвет вишни. Будет розовый снег, — тихо проговорила она. И спросила: — Кто?

— Ты бидон-то дай, что ли, мне...

— Кто?

Молодой полицейский вздохнул, пожал плечами.

— Парень какой-то. С войны вернулся неделю назад. Наверное, посмотрелся там мяса... Под утро пришёл сюда, сбил замок. У него ружьё с собой было, охотничье. Кого хотел убивать в ночи — чёрт его знает. Не собак же. Как они вообще там оказались? А? В общем, люди слышали пальбу — вызвали полицию. Мы приехали... Сразу было понятно: не в себе человек.

Фатима продолжала смотреть на кудрявые лёгкие комья.

— Пойдём, Тимофей, — Фатима вспомнила, как зовут полицейского. — Ушли мои собачки, далеко ушли.

Тимофей, укорачивая шаг, чтобы не обгонять Фатиму, ступал за ней.

— Ты скажи, никаких угроз насчёт собачек-то не поступало? Может, кто недоволен был? Никто тебе не хотел за что-нибудь отомстить?

— Нет, — отвечала Фатима, — нет.

— Парня зват Руслан Отоев. Не встречались?

— Почему — «звали»? — остановилась Фатима, вытянулась вся.

— Т-тааа, — Тимофей горестно махнул рукой за её спиной. — Да жив он, жив... Толку-то ему от этого что?..

Фатима пробормотала невпопад:

— Свой страх шёл расстреливать. Но как его расстреляешь?

На следующее утро Фатима вышла из дома с горячим бидоном, который сиял бледным солнцем. Когда уже миновала Чёрный Дом, люди стали окликать её, удивлённые тем, что видят старуху в неурочный час в неурочном месте.

— Куда идёшь, Фатима?

— В Деревню мёртвых.

— До неё же далёко — на двух автобусах, потом пешком. Лучше найми машину, — советовали люди и всплёскивали руками. — Зачем тебе туда?

— Я буду зажигать свечи, — виновато отвечала Фатима. — Что я могу? Только зажигать свечи.

Людей распирало любопытство, и они продолжали вкрадчиво:

— А как же без тебя Чёрный Дом?

— Закрыли, закрыли его, — отвечала Фатима.

Но люди не унимались.

— А заразу не боишься подхватить? — спрашивали они. — Сколько веков пролежали в той деревне косточки наших предков! Почему ты хочешь нарушить покой мёртвых?

— Я схороню косточки и в каждом окне зажгу свечу. И пусть там живут собаки. Деревня не будет мёртвой.

— Не смей этого делать, Фатима, — останавливали её, толкали, чтобы старуха очнулась от своей глупости. И говорили то, что Фатима знала и без них: — Деревня мёртвых — это память о наших предках. Больные люди приходили туда, чтобы не заразить родных. Они знали, что не вернутся назад. Пролезали в окно, через которое им с воли передавали хлеб и воду. А дверей там и вовсе не было. Ты хочешь надругаться над благородной смертью наших предков?

— Зачем вам их смерть? Что она для вашей жизни? — Фатима ласково улыбалась, от её взгляда будто веяло ароматом тёплого абрикоса. И совсем что-то странное бормотала: — Пели бы вы про них песни. Смотрели бы, как с большого камня летят бронзовые голубки... Это души, свободные души летят в небо. Как красиво летят, летят... Пусть чёрное станет белым, пусть смерть станет жизнью. У смерти короткий срок, а жизнь... она вечная... Она в красоте должна быть, в красоте... в красоте...

И Фатима шла дальше, осторожно несла бидон, стараясь не расплескать горячую похлёбку. Люди смотрели ей вслед с недоумением и досадой.

Фатима оглянулась на них, улыбнулась и тихонько запела:

— Зоре оре лимые. Фа да ра. Ю алю малимые. Тамегда...

Свободной рукой Фатима вынула из кармана детскую свистульку — и в едва просыпающемся воздухе расцвела радужная, смешная, кудрявая трель. Она вилась в голубизне, качалась веткой в цвету.

Алексей Комаревцев

На линии сгиба

* * *

За окном пустырь для Конан Дойля —
что-то вроде аглицких болот.
Люди горячатся на раздолье
в повести, а здесь — наоборот.

Здесь они идут за поводками
и не мажут фосфором собак.
Вереск не крадётся под ногами,
не летит ворона за овраг.

Незачем обрыдлую овсянку
наливать по самую кайму.
И по вечерам держать осанку
в общем-то не нужно никому.

Кто-то скажет: до чего пустяшна
эта тема, бархатна, легка.
Но зато не больше островка.
Но зато мне с ней совсем не страшно.
Этого достаточно пока.

Детская элегия

Вот бы снова попасть на бетонный причал —
тот, с которого я
несуразные палочки морю вручал,
словно два корабля.

Набегал вечерок, в небесах синева
говорила «гудбай».
Собирала креветок внизу пацанва
у пупырчатых свай.

Комаревцев Алексей Владимирович — родился в г. Бердянске в 1988 году. Окончил Институт культуры. Участник Поэтического союза «ИЛИ». Автор сборника стихов «Спецпоказ» (2021). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Урал», «Звезда». Лауреат премии журнала «Звезда» (2022) и других. Живёт в Санкт-Петербурге.

Голосили птенцу: «Выходи из воды!» —
обещая люлей.
Убирали слонов шахматисты-деды
на капот жигулей.

На азовском ветру, на крючке рыбака
трепыхалась тарань.
И Киркоров звучал из глубин «Маяка»,
напрягая гортань.

Если кто-нибудь ждёт поворотов лихих, —
их не будет нигде:
только странных времён озорное «хи-хи»
да матрас на воде.

Я с причала смотрю в сероватую гладь
на смешные «суда».
Нет бы просто пойти и кого-то обнять,
сохранить навсегда,

как жука в янтаре. Превращался причал
в уходящий фрегат.
А я дальше сидел и со всеми встречал
полосатый закат.

Шахматисты-деды изучали ладью,
как ребёнок — драже.
Синева в небесах говорила «адью»
в полный голос уже.

* * *

В морях улыбаются рыбы,
гуляет в траве коростель,
а мы вот на линии сгиба
застыли меж двух плоскостей.

Вовсю наслаждаемся тенью,
увесистой, как бурелом.
И чувствуют в этом спасенье
лишь те, кто ударен веслом.

Я знаю, я жил однобоко
и не замечал остриё.
Теперь понимаю: эпоха.
Жалею, что вижу её.

* * *

Вот Чаплин идёт угловато,
и кажется даже смешным,
что слово «почапать» когда-то
придумано было не им.

Поэтому к планам провальным,
к районам промышленно-спальным,
к салонам, где ценят кивок,
он чапать не мог, что печально.
Он мог исключительно walk.

И нет подходящего слова
во всех словарях по стране,
а в русском уже всё готово,
и рядом просторно вполне.

* * *

Пролетает стрелой товарняк —
он пузатый железный сквозняк.
Мне бы крикнуть, а я, как рыбёха,
промолчал, проморгал, не допёхал.
Колыхался всю березняк,

и гимнасткой была лебеда.
Мне бы что-нибудь сделать тогда.
Уходили цветные цистерны.
И не только цистерны — всё верно,
и лохматые наши года.

Все они в барахлящем авто
пробиваются, как долото,
сквозь ухабы и рельсовый гогот,
но догнать этот поезд не могут.
Он проехал. За ним теперь что?

Игорь Корниенко



Нечеловеческая любовь

Рассказ

Море с одним берегом

Memento mori!

Она родилась мёртвой. Не реагировала на шлепки. Не дышала. Сердце новорождённой не билось.

— Быть такого не может, — говорила акушерка и снова звонко хлопала ладонью по крохотной попке. — Только что дышала, своими глазами видела.

Тогда врач забрал ребёнка и громко приказал:

— Реанимационный набор, дыхательный мешок, быстро!

Света Миронова тихо, нехотя, заплакала. Объявила этому свету о своём появлении.

На том она пробыла минуту и пятьдесят восемь секунд.

Врач показал её роженице:

— Ну и хитрюга ваша девочка. Прирождённая актриса.

Мать Светы закрыла глаза:

— Вся в отца. Так и знала. Клоун от клоуна.

Света сделала первый вдох на следующий день после развода родителей.

Наталья надеялась, что девочка не подаст голос. Она отвернулась от неприятного багрово-синего тельца и разглядывала кляксы крови на халате медсестры. Она просила про себя Боженьку разобраться с этим нежелательным, ненужным никому явлением. Она пообещала поставить свечку. Купить икону. Подать попрошайкам...

Но дочь решила жить.

Когда врач протянул ей младенца, чтобы она смогла подержать, застонала и вернулась к кровавым кляксам.

Александр, отец Светы, не был клоуном, он работал фотографом в городском еженедельнике. С Натальей познакомился на съёмке рекламы кафе-бара «Черри»,

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии В.П.Астафьева (2006), драматургического конкурса «Премьера 2010», литературного конкурса им. Игнатия Рождественского (2016), Шукшинской литературной премии (2019). Участник проекта АСПИР «Резиденции». Живёт в Ангарске. Постоянный автор «ДН».

она там работала барменом. Тогда им казалось, что это любовь с первого взгляда. И секс случился в тот же вечер, в кладовке между холодильником с закусками и стеллажом с посудой, на куче грязных скатертей.

Через неделю подали заявление, кольцами обменялись месяц спустя. А ещё через месяц Наталья поняла, что совершила ошибку, и котёнок-Саша стал просто клоуном. Любовь оказалась зла и не любовью вовсе.

Александр разделял мнение жены:

— Поспешили, — соглашался и ждал, когда Наталья первая заговорит о разводе.

Наталья спала и видела, как к стойке бара плывет её настоящий принц на белом «Шевроле»...

Александр встретил ту, с которой не надо спешить, во время очередной рекламной фотосъёмки мебельного салона «Фея».

Рассказал всё Наталье. Жена долго истерично смеялась ему в лицо: «Клоун нашёл свою фею», — и назло не рассказала, что беременна, и попросила развод.

— Потом потребую алименты и попорчу им сказочную жизнь, — объясняла официантке Гале. — Все должны платить. Ничто просто так не проходит. Не забывается.

Галя кивала:

— Ребёнка в отместку рожать — нездорово это как-то. Лучше аборт.

— Мы все кому-то в отместку рождены, нежеланные и поспешные. Все, за редким исключением, уж поверь.

Официантка вздыхала:

— Не боишься, что и твой ребёнок тебе потом тоже отомстит?..

Барменша Наталья смеялась:

— Пускай отцу-клоуну мстит. Я своё дело сделаю. Миссию выполню — выношу, рожу, а там как Богу угодно, или кто сейчас на небе за главного? Вот пусть и разбирается...

Мать боялась брать ребёнка на руки:

— Как неживая, — говорила, надевая резиновые перчатки, и тогда только могла смело прикоснуться к младенцу. — Это не отвращение, — убеждала себя, — осторожность это. Чтобы её не заразить и самой чего не подхватить. В сфере обслуживания работаю всё-таки, с людьми...

Наталье с какой-то непонятной периодичностью снился один и тот же сон — похороны. Она просыпалась с ощущением, что всё это произошло в реальности, и не сразу заглядывала в кроватку дочери. Иногда Света напоминала о своём существовании писком. Чаще молча играла с бесшумными погремушками. День за днём. Вслушиваясь в недовольное ворчанье матери, которая наотрез отказывалась кормить грудью и сцеживала молоко в раковину, ощущая мёртвые прикосновения перчаток с запахом талька...

В детском саду Света любила играть в похороны. Дети из группы «Васильки» недолюбливали её — молчаливую, белокожую, покрытую сплошь рыжими веснушками, — поэтому с радостью принимали участие в процессе.

Света ложилась на пол, скрещивала руки на тощей груди и старалась не дышать. Дети окружали её, перебивая друг дружку, плакали и причитали. Если удавалось избежать появления воспитательницы, покойницу хоронили — обкладывали кубиками, игрушками, накрывали одеждой. Если и дальше везло, — ставили памятник из табуреток, устраивали поминки — с детской посудой из наборов и комнатными цветами.

Дома, в однокомнатной квартире, девочка пропадала большую часть времени в шкаф или под кроватью.

Мать такое поведение дочери вполне устраивало — никаких вопросов, капризов, обвинений...

А перед самой школой, в последний год детского сада, Света подавилась комочком манной каши.

Произошло это в дождливый октябрьский день за завтраком. Девочка попыталась закашлять, проглотить горячий сгусток, но он словно прилип к горлу. Света не могла ни пикнуть, ни вздохнуть, она сползла со стульчика и забила о пол ногами.

Сбежались воспитатели. Няни. Примчалась медсестра с аптечкой. Со второго этажа спустилась заведующая. Свету спасла пожилая нянечка, баба Тося, заправски взяв на руки и стукнув по спине. Злосчастный комок со шлепком выстрелил изо рта, девочка задышала, заскулила и весь остаток дня была центром заботы и внимания. Ей, единственной, дали добавочный стакан йогурта.

На следующей неделе, в среду, в полдник, Света сделала вид, что подавилась вишнёвой косточкой от компота, упала под стол и заколотила ногами и руками. Дети дружно застучали вместе с ней.

Ей снова дали добавки.

Мама встречалась с новым мужчиной, «без "Шевроле", но с "Тойотой Калдина", двухкомнатной квартирой, дачей в садоводстве "Родня", и "не клоуном"». Света не раз прослеживала их до дома, где жил мамин избранник. Тенью ходила с ними по магазинам и ресторанам.

Поздно вечером мама возвращалась всегда счастливая, с подарками для Светы. А утром снова уходила, оставляя на плите обед и деньги «погулять с подружками». Только у дочери не было подруг. И Света не спешила ими обзаводиться. Всю начальную школу просуществовала невидимкой. Из школы домой, наспех пообедать — и на поиски мамы по известному маршруту. Деньги собирала в жестяную банку из-под монпансье, для себя решив, что копит на чёрный день.

Потом мама сказала, что собирается выйти замуж и у Светы будет новый папа. Старый исчез из поля зрения Натальи ещё десять лет назад, когда она подала документы в суд на алименты. Оказалось, что Александр взял фамилию жены-еврейки, и они живут теперь в Израиле. Наталья в тот же день написала заявление о смене фамилии на девичью:

— И до тебя очередь дойдёт, — объясняла маленькой дочке, — пока побудь Мироновой, потом замуж всё равно выйдешь, ни к чему сейчас эта волокита с бумагами...

Света Миронова перестала дышать в ночь известия о мамином замужестве. Наталья, напевая, долго не могла попасть ключом в замок, когда ей это удалось, ввалилась, смеясь, в коридор, на часах 00:30, а у дверей в зал, в полумраке, распластанное тело дочери.

Всё ещё пребывая в крепких объятиях будущего мужа, ещё ощущая его аромат и покалывание сососов на груди, Наталья перестала смеяться, отпрыгнула, разулась, подошла к дочери, позвала её. Девочка не отозвалась.

— Только не сейчас! — воскликнула Наталья. — Раньше надо было это делать! При родах! — Схватила за плечи, тряханула: — Не смей портить мне личную жизнь! — Шлёпнула по лицу. — Не смей, маленькая сучка. — И ещё пощёчина. — Не смей!

Света выдохнула, вырвалась из рук матери, упала:

— Дай мне спокойно умереть! — закричала.

Мать икнула и выдавила:

— Умирай, но не сейчас. Не в ближайшие полгода, ясно?!

Света поднялась.

— Смотри на всё с перспективой, — продолжала Наталья, икая. — Я съеду к нему, ты можешь оставаться здесь. До совершеннолетия мы будем тебе помогать. Кому ещё так повезёт — собственная квартира в двенадцать лет?! Сама подумай, не тупая же!

Света кивнула.

— И здесь ты хоть заумирайся. Только помни, что смерть — это ещё не конец. И умереть надо тоже не абы как, а с достоинством. Я в твоём возрасте тоже о самоубийстве думала, душой потому что была и умереть мечтала красиво.

Мать сняла плащ, убрала в шкаф, Света принесла ей домашние тапочки, налила воды, чтобы не икала.

— Ты не думай, что все будут плакать, когда ты умрёшь. Слёзы тоже надо заслужить.

Света слушала, поддакивала.

— Жизнь, смерть, любовь, морковь... Всё это просто слова, а за словами нет зачастую ничего. Одни звуки, сотрясающие воздух. Запомни, мало сказать — надо сделать. Я всего добилась, ну почти всего, что планировала... Одно простить себе не могу: вовремя отца твоего, клоуна, не взяла за жабры.

Вода от икоты не помогла, Наталья достала из холодильника банку пива:

— Хочешь попробовать? — предложила.

Света в ответ пожала плечами.

— Мне папка в первом классе дал пиво хлебнуть, жуть как тогда не понравилось. С возрастом всё приходит, с годами.

Налила в стакан на два пальца, протянула Свете:

— Чтобы больше никаких концертов. А если притворяешься, то правдивей надо. Естественней. Чтоб никто на лжи не поймал. Врать надо умеючи, так чтобы самой поверить в свою ложь.

Света выпила, поставила стакан, сказала:

— Я только начала, подожди. Умирать непросто.

Наталья опустошила банку одним большим глотком:

— Совершенству нет предела. — Икнула.

Впервые они обнялись вечером после бракосочетания. Мать со вторым мужем Григорием на неделю улетали ночным рейсом в Таиланд.

Обнимая Свету, мать поймала себя на мысли, что любит её — этого двенадцатилетнего худого ребёнка:

— И что ты как глиста в скафандре? Вроде кормлю тебя как на убой...

Света, прижимаясь к материной щеке щекой, не чувствовала живого тепла. Мать — это искусственная резиновая перчатка, присыпанная тальком. Она отстранилась, чтобы убедиться в правоте своих ощущений, посмотрела в накрашенное лицо матери:

— Ты как кукла. На Барби похожа.

Наталья приняла это за комплимент. Свете захотелось снова перестать дышать, упасть посреди зала ожидания и умереть.

Она увидела, как сбегаются и толпятся вокруг её тела люди: тут и негр с дредами, и высокий симпатичный лётчик в форме... А вот отчим согнулся над ней в три погибели, он пытается сделать искусственное дыхание, но вовремя появляется бригада «скорой»:

— Реанимационный набор, дыхательный мешок, быстро!

Голос врача издалека, из детства.

— ...Звони лучше вечером, — говорит резиновая перчатка, и девочка кивает в такт голосу.

Отчим целует её в макушку:

— Не стесняйся, звони мне, дядя Гриша всегда поможет. — Смеётся.

— Пригласи с ночёвкой кого-нибудь.

Света пытается не дышать.

Она засекала время — месяц назад могла задерживать дыхание на сорок секунд. Вчера продержалась целую минуту.

«Я приручу смерть, — думает Света, — я научусь умирать и воскрешаться. Снова, и снова, и снова...»

Света вела счёт своим смертям. Сто восемьдесят шесть раз она умерла за полгода учёбы в 8 классе «А» среднеобразовательной школы № 21. Иногда — несколько раз за шестидневку. Ей это нравилось.

Одноклассники дразнили её, ставили подножки, пинали... Пять раз собирались поколотить в парке у школы за то, что Света игнорировала общее решение класса — сбежать с уроков, довести математичку, спрятать журнал... Свету спасала её ручная смерть. Она падала, с каждым разом у неё получалась это всё более правдоподобно, изящно, и умирала. Закрытыми глазами видела перекошенные лица девчонок и мальчишек. Они не верили, что смерть может вот так неожиданно возникнуть среди них и унести кого-то с собой. Они кричали, звали на помощь. Щупали пульс и вслушивались в стук её сердца... Потом клялись, что сердце у Мироновой не билось.

Все до одного — и задира Рафик, и драчунья Вика, — все были в её власти. Она доводила их до слёз, до истерик.

Таня Санникова кричала:

— Света, прости нас! Очнись, пожалуйста! Мы больше не будем!

Виталик Кучеренко молился.

Даша Гиреева причитала без остановки:

— Она умерла. Это разрыв сердца. Что мы наделали. Она умерла...

Света поднималась над ними, над кучкой перепуганных детёнышей, и смотрела сверху, как они топчутся вокруг её тела, наступают друг другу на ноги, толкаются... Света смеялась. В смерти она чувствовала себя живой. Она жила.

Но приходилось возвращаться к жизни. Воскресать. В это мгновение ей было не до смеха. Хотелось плакать. Реветь. Кричать во всё горло. Сорвать связки. Она так и поступала.

Возвращение всегда трагично. Болезненно... Света каталась по асфальту, разбивала локти и колени, царапала лицо, выдирала волосы...

У смерти тоже есть конец. Для Светы он был невыносим. Её тошнило, она не хотела никого видеть, ни с кем разговаривать, убегала в свою квартиру и запиралась в ванной. Там, в холодной воде, в сотый раз она училась останавливать сердце.

— Главное, не переборщить со смертями, — говорила отражению Света.

На выпускном экзамене по физике она не знала ответ на третий вопрос 17-го билета. Пришлось закатить глаза, высунуть язык и завалиться прямо под ноги комиссии.

Мироновой поставили «хорошо» и освободили от экзамена по Истории Отечества.

Увидеть тот свет Свете удалось на втором курсе техникума. Последние два года прошли без ярких публичных мини-смертей.

Запомнилось, как умерла, когда мать с отчимом попытались уговорить её прописать в квартиру какого-то родственника Григория.

Ещё одна знаковая смерть случилась в день рождения одноклассницы. К Свете пристал старший брат именинницы, подкараулил после вечеринки и силой затащил в лифтовую. Тут и произошла смерть под номером двести тридцать. А Света впервые почувствовала, как пересекла грань между этим светом и тем.

Душа отозвалась на зов иного мира, потянулась туда, в бесконечность. Сердце отправилось следом... Время — она перешагнула через него. Обогнала. Здесь место лишь для чувств, насквозь пропитанных воспоминаниями о жизни... Её не стало, она была всем — каждой частью этой бесконечности, каждой клеткой, порой, движением...

Несостоявшийся насильник сбежал. Света вернулась на грязный пол, из носа текла кровь, на затылке надулась шишка.

«Сколько времени я была там?»

По меркам живых — не больше двух-трёх минут, определила она по часам на телефоне. У мёртвых же — вся вечность.

И воскрешение не так чудовищно и болезненно, потому что она знает цель:

— Бороться с жизнью с помощью смерти, — размышляла вслух перед своим отражением она. — Смерть важнее жизни. Правдивая. Совершенная. Настоящая. Там, за зеркалом, — Света прикоснулась к холодному двойнику, — по ту сторону жизни, ты обретаешь целостность. Становишься всем... Там Бог.

Прижалась щекой, грудью, всем телом к стеклу:

— И я скажу ему «привет». Привет, Бог! Он, конечно же, не ответит. Боги не говорят с людьми. Потом я вернусь назад. Новой. Другой. Совершенной, как сама смерть... Как бог...

«Сны делают нас бессмертными. Просыпаемся, и смерть вновь заявляет свои права на нас. Тело должно умереть — истина. То, что вне тела, живёт бесконечно — истина номер два. Истин всегда будет много, пока человек живёт в теле — нуждается в пище, нуждается в удовольствиях, признании...»

Света не окончила третий курс техникума. Поступила на литературные курсы: «Я должна воспеть смерть совершенную!» — девиз её пребывания в теле.

Стали видней промахи и недочёты. Перечитывая записи о своих смертях и воскрешениях, Света делала пометки для себя:

«Глаза всегда закрыты. Никакого высунутого языка. Следить за левым веком (оно часто дёргается). Что-то решить с урчащим животом. При необходимости обмочиться...»

— Врачи должны констатировать смерть по всем показателям! — повторяла.

Без ледяной воды сердце не билось чуть больше минуты. Минута тринадцать секунд.

«Пощёчины. Привыкнуть! Не чувствовать! Никак не реагировать! Терпеть!» — дописывала Света и била себя по щекам перед зеркалом до красноты, до крови из глаз, хлестала и улыбалась:

— Всё должно быть идеально. Абсолютная, правдивая смерть!

«Чтобы не то что “скорая”, Бог не догадался!»

По окончании полугодных курсов она могла останавливать сердце на две минуты.

Не бывает подходящего времени и момента. Всё во власти ежесекундного решения. Порыва. Порывы — вот что двигает жизнь. Создаёт ситуации. Толкает на свершения. Подвиги...

Она не планировала умирать сегодня, в четверг, 21 мая. Пришла устраиваться на работу в городскую газету, у главного редактора была планёрка. Готовился новый выпуск. Света ждала в приёмной, вместе с ней в комнате ещё трое: секретарь, шепчущаяся с молодым журналистом, охранник, сурово глядящий в окно.

«Сейчас!» — вспышкой света в мозгу, и поплыло перед глазами. Она упала с посиневшим в мгновение лицом (полгода этому училась), прокусила губу. Кровь брызнула на жёлтые плиты пола. Руки вывернулись за спиной, пальцы кривыми костяшками растопырились и заскребли по воздуху. Ноги в туфлях конвульсивно застучали каблуками. Из рта пузырями пошла пена...

Вот как должна выглядеть настоящая, реальная смерть.

Она умерла. Охранник видел, как перестала пульсировать вздутая вена на белоснежной шее, как растекалась под затихшей девушкой лужа мочи.

«Скорая», конечно же, задержалась. Охранник отлично знал приёмы оказания первой помощи. Он сделал закрытый массаж сердца.

Она не успела перешагнуть границу света. Не успела раствориться в бескрайнем просторе смерти. Руки, скорее клешни, схватили её за шиворот, за сердце и выдернули в жизнь.

— Дыши, — кричал охранник, — живи!

Света закашлялась.

— Господи, — шептала секретарша, — вы были мертвы целых десять минут.

Света криво улыбнулась:

— Какую гадость вы курите. Задохнуться можно, — сказала охраннику.

Врачи «скорой» шумно ввалились в приёмную.

«У меня получилось!» — записала.

Свету Миронову взяли с месячным испытательным сроком корреспондентом. Редактор позвонил и сказал:

— Девушка, пережившая смерть в стенах редакции, просто обязана в ней работать.

Света согласилась приступить через неделю.

Она должна свершить свою главную смерть. Главное воскрешение.

— Что вы ищете живого, — шёпотом, будто кто-то её мог услышать, — между мёртвыми? — спросила тишину.

Написала матери записку, в которой расписала пошагово, что та должна сделать, если она не позвонит ей вечером в воскресенье.

Достала набитую битком денежными купюрами жестяную банку из-под монпансье. Она не представляла, сколько здесь. Свёрнутый лист положила поверх денег. Банку для надёжности обмотала скотчем.

Вечером приехала к матери, предупредила, что ненадолго, и не стала проходить на кухню, где ужинал отчим.

— Монпансье откроешь, если я не позвоню до полуночи, — в десятый раз повторяла она.

— Там что, конфеты? — переспрашивала мать.

— Там увидишь что, но только если я не позвоню через три дня, понятно?!

— Конечно, понятно. Что я, совсем что ли... С воскресенья на понедельник позвонить, всё ясно. Тебя эти дни ни при каких обстоятельствах не беспокоить. Не кантовать. Верно, всё зазубрила?!

— Так точно! — чмокнула Света в щёку мать и до самого дома, до раковины в ванной, не могла избавиться от жгучего, вяжущего привкуса резины на губах.

«Это мир безмолвных воспоминаний. Он похож на сон. Здесь нет правил. Открытий. Нет нового. Только то, что ты принёс с собой. В себе. Страхи. Радости. Мечты. Любви... Этим ты и существуешь, рассыпаясь в бесконечности. Крупницы тебя — твоих невысказанных желаний и произнесённых слов — бушуют в море вечного движения. Смерть — это движение. Это волнующееся море. Море без дна. Море с одним берегом...»

«Не надо бояться смерти! — сказала отражению, сказала в записке матери, сказала жизни. — Страх — вот настоящая смерть. Несвобода. Дышать. Надо дышать полной грудью, всем сердцем! — Света засмеялась: — Но я так не могу. Я исключение. Я родилась мёртвой. Я осталась там, в палате роддома, повиснув на обрезанной пуповине между чревом матери и светом операционных ламп. Зависнув между... Акушерка и врач пытались спасти меня. Заставить дышать. "Реанимационный набор, дыхательный мешок быстро!"»

Разве они меня оживили? Вернули?.. Нет. Мать это знала. Матери всегда — знают. Вот откуда эта боязнь, отвращение... Сцеженное молоко и резиновые перчатки... Мама делала вид, хорошо, скажу я вам, играла роль, притворялась, что я живая. Как ей тяжело было присутствие мёртвой дочери. Боже, как я тебя теперь понимаю, мама. И одноклассники...

И все мои двести девяносто две смерти... А как может умереть мёртвый?..

Она расхохоталась в отражение. Отражение ответило тем же.

«Если всё получится, как думаешь, я смогу увидеть тебя?» — спросила.

Отражение не ответило.

Света прошла в зал, где постелила чистую новую простыню на пол: «Играем в похороны, как в детском саду».

Выключила свет. Легла в крошечной темноте. Бесшумно выдохнула весь воздух, закрыла глаза. Ладонью чувствуя, как перестаёт биться сердце.

Прошла минута. Прошла вторая. В ушах шумело, это кровь шумит, знала она. Прошла третья минута. Четвёртая минута стала пятой, и шум в ушах стал шумом моря. Того самого моря с одним берегом...

Наталье приснился старый сон. Приснились похороны. Она проснулась. Тревога застучала в сердце и висках. Поднялась осторожно, почти не дыша, чтобы не разбудить мужа. На цыпочках прошла на кухню. Электрический свет всегда успокаивал, но не сегодня.

Она уже и забыла, какой кроваво-красный гроб у маленькой покойницы. Какие ярко-зелёные венки, режущие глаза...

Наталья закурила. Сделала несколько жадных затяжек, затушила сигарету в пепельнице. Вернулась на цыпочках в спальню, вытащила из шкафа с бельём банку из-под монпансье. Снова на кухню. Прикурила. Потрясла банку — ни звука. Потрогала скотч:

— Три дня, — наказала себе, ещё раз встряхнула жестянку. — Я помню, как купила тебе их. У тебя после этих монпансье неделю зубы ныли.

Узоры на банке сплетались в могильные цветы из сна, в глазах расплылась полка с тарелками, тошнота поднялась горьким комом к горлу. Лёгкость в голове и слабость в ногах. Наталья схватилась за угол стола, чтобы не упасть:

— Что ты натворила, девочка моя? — спросила чуть дыша и сдёрнула ленту скотча.

Крышка отскочила, сама, взорвалась о кухонный пол, и долго ещё, и звонко вертелась, словно высвободилась из плена, ожила и теперь навёрстывала упущенное. Подскакивала на линолеуме, крутилась юлой, барабанила на всю кухню, на весь дом...

И никак не хотела останавливаться.

Максим Симбирев



Жертва

Повесть

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

(Матф. 5:4)

О чём, о чём он думал? О недавней поимке?
О моей матери, о нас? О врождённой странности
человеческой жизни, ощущение которой он
таинственно мне передал?

Владимир Набоков. «Дар»

Квартира мамы

Мама стоит сама в себе, не смотрит на меня, не отгоняет мошку, кружащую рядом, моет посуду. Тарелки бьются друг о дружку, их звон отзывается в ушах. На кухне душно и влажно. Из кастрюли убегает вишнёвый компот, кастрюля с гречкой бурлит смирно. Я залпом проглатываю кипячёную воду, со стуком дрожащей рукой ставлю на стол стеклянный стакан. *Сынок, есть запах?* Обнимаю со спины, внюхиваюсь в плечо. Несвежая футболка. Нет, мама, ты не пахнешь. Можно, посуду помою? Пожалуйста. Просто дай я помою за тебя. *Мне нужно руки отмыть, иди — поздоровайся.* Хорошо. Мои беспомощные лапы самовольно скрешиваются на груди. Стою молча, зубы впиваются в трещину нижней губы, всасываю кровь. Вслушиваюсь, как вода бьёт по посуде. Озираюсь по сторонам, раньше я никогда не замечал, насколько мамина кухня уютная, сколько рамок с нашими фотографиями развешено по стенам, сколько безделушек с черноморских курортов расставлено и сколько магнитиков с одним только Геленджиком на холодильнике: четыре, оказывается, а не один. И главное — на кухне приятно пахнет мятным освежителем.

Шаркаю тапочками, иду в родную комнату. Нужно поздороваться. Чем ближе к комнате, тем больше затхлого, спёртого воздуха, от которого с непривычки либо тошнит, либо обжигает слизистую, либо кружится голова, либо всё вместе. За дверью играет детское радио. *В каждом маленьком ребёнке, и в мальчишке, и в девочке, есть по двести грамм взрывчатки или даже полкило! Должен он бежать и прыгать, всё хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвётся — трах-бабах, и нет его!*

Симбирев Максим Витальевич родился в 2000 году в Саратове. Окончил Саратовский юридический колледж при СГЮА, учится в Институте филологии и журналистики СГУ им. Чернышевского. Печатался в журналах «Нева», «Знамя» и др. Участник мастерских АСПИР. Живёт в Саратове. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Я глубоко вдыхаю, поворачиваю липкую ручку и захожу.

Моя когда-то укромная комната, когда-то мой рай, теперь потерянный, где Максимка без конца разбрасывал каменные козявки по углам, играл в компьютерные игры, мастурбировал так много, что потом в туалет было больно ходить, превратилась в маленькую больничную палату со смесью запахов дерьма, мочи и уксуса, и, конечно же, гнилой капусты, особенно — гнилой капусты! Этот запах охватывал, облегал и скоростным поездом нёсся в мои ноздри.

Сажусь на стул рядом со специальной кроватью, на которой лежит парализованная бабушка Вера. Из-за её коротко стриженных волос Максимке кажется, что перед ним лежит не бабушка, а седой морщинистый мальчик. У бабушки Веры на левом краешке губы всегда болячка, потому что мышцы лица не двигаются и, как ни удерживай салфетками, часть еды вытекает на кровать. Всегда мокрые, потерянные, как у близорукого, снявшего очки, глаза таращатся в пустоту — то ли детские, то ли старческие. Всё-таки глаза старческие, их выдаёт морщинистое застывшее лицо. На тоненьких ручках кожа похожа на сушёный инжир, сквозь неё просвечивают тёмно-синие вены-веточки. Ничего, абсолютно ничего не осталось от моей бабушки Веры. Ничего, абсолютно ничего не осталось от моей комнаты: все игрушки, амулеты и безделушки покоятся на свалке, тетради с рисунками, с пятёрками, медали за лёгкую атлетику чахнут в тумбочке, половина одежды, которую я не забрал, спрятана в шкафу, в маминной комнате, чтобы не провоняла. Когда я попросил маму достать мои рисунки, она сказала, что это невозможно. Моё неумелое, но искреннее, а потому настоящее творчество покоится в деревянном гробике, а чтобы открыть его, нужно убрать коробки рядом с тумбочкой, стоящие до потолка, стрести всю паутину и пыль — времени и сил на это нет. Да и рисовать Максимка сейчас не может, читать тоже не может, всё это кажется вторичной системой знаков, бессмысленными линиями и буквами, пока в моей комнате лежит живой труп. Больше не получается познавать мир через историю и искусство. Остались только серые шторы — защита Максимки от внешнего мира — и выцветшая Казанская икона Божьей Матери на подоконнике, которая каждый раз с подозрением смотрит на меня.

«Бабуль, привет, ну ты как?» Кивает. «Как себя чувствуешь?» Молчит. «Нормально?» Молчит, бессмысленным взглядом пялится в потолок. «О! А давай я Пушкина почитаю, ты же любила “Евгения Онегина”! Кивни хоть, что любила... ну, как там было? “Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог...” Ой... может, “Преступление и наказание?” Как тебе Раскольников? Нравился же, да, помню же, нравился! А меня им в школе мучили, а теперь я всех мучаю. Ты чего морщишься? Не хочешь Достоевского? Тогда давай Чернышевского. Мама сто раз рассказывала, как ты её изводила. Земляк же! Саратовский! Наша гордость! Грех не знать! Господи, а почему ты морщишься? Что-то я ваваю и ваваю, как ты говорила».

Давится. Она давится слюнями. Сейчас задохнётся. Зажать ей нос или нет? Нет, точно не буду. *Кашель. Кашель. Кашель.* Бабушка морщится, будто ей в глаз летит муха. Я же не убийца, но и не спаситель, я наблюдатель. Наблюдаю, как дотлевают бабушка. Скорее забирай её. Скорее. Чего медлишь? *Кашель, кашель, кашель.* Слово несёт разрушительную силу, особенно прямое слово Максимки, без фокусов, без плетения. Чётко и прямо — забирай её. Почему же не умирает? Это же нужно. *Кашель, кашель.* Человек сначала рождается, а потом становится кем-то, выращивает сам себя, а я ещё не вырастил, не успел, а мне уже мешают. Неужели Ты наверху не видишь, что мне мешают жить для себя, мешают понять свою сущность, стать себе равным, не быть функцией? *Кашель.* Я хочу быть свободой, раз всё вокруг — функции; разве

Ты не видишь мои усилия, мою дыру в душе размером с Тебя? Почему же бабушка не умирает? Откашливается. Она откашливается. Очень жаль.

В очередной раз мне не удалось спасти маму и стать себе равным. Отец и дедушка оставили её, а я, Максимка, не поротый и не воспитанный мужской рукой, — единственный защитник, защитник от бабушки.

На переходах, когда я брал маму за гладкую руку и вёл через дорогу, моя ладошка потела от тепла даже ранней весной. Максимка шёл всегда впереди. И если собьют, то только меня. И если хоть одно железное чудовище сигналило, я оперативно выкачивал слюну с дёсен и плевался в его сторону. Больше всего ладошки потели, когда мама вставала на подоконник и мыла окна. Максимка подбегал к ней и, не дотрагиваясь до её ног, обхватывал их в кольцо.

Ничего не было для Максимки лучше, чем накручивать на указательный палец мамы мокрые волосы, прижиматься к ним носом и вдыхать запах травяного шампуня. Ничего не было приятнее, чем вставать в школу от тонкого голоса: «Максимка, просыпайся». Ничего не было приятнее, когда она шёпотом читала «Отче наш», а после трижды целовала мой лоб. Ничего не было вкуснее маминого вишнёвого компота.

Каждый раз, когда я оставался с мамой наедине, мне представлялось, будто я её цепной пёс — овчарка или стаффорд. Со стороны я, скорее, казался пекинесом. Когда мы заходили в лифт с каким-нибудь мужиком, знакомым или незнакомым, худым длинным неуклюжим обалдую или потным тестостероновым слоном, занимающим всё пространство, Максимка сжимал зубы и кулаки. Ноготь среднего пальца разрезал линию жизни на левой руке. Я часто представлял, как нападают на мою нежную маму, а я, теряя равновесие, чувствуя ненависть в кулаках, врываюсь со спины или бью сразу в живот, валю на пол и забиваю до смерти.

Когда торгаши на местном рынке, пропахшем гнилыми овощами и несвежим мясом, пытались обвести вокруг пальца маму, мне хотелось отомстить. Я приходил на следующий день и незаметно воровал фрукты и овощи, что попадались под руку, пока очередной обманщик отвлекался на покупателей. Ещё больше мечталось разнести, разбросать расставленные ящики, попасть в лысую макушку яблоком, чтобы больше ни одна сволочь не посмела обдурить маму, но тогда, вероятнее всего, Максимку бы избили, а это расстроило бы её.

Мама всю жизнь жертвовала собой, отказывалась от любви ради меня, водила на кучу секций, говорила, что Максимка самый лучший. Я выучил каждое её действие. Более того, выучил все мамыны фразы и предугадывал, какую, и когда, и в какой ситуации она скажет. И в этом я считал себя фальшивкой, потому что умел красиво манипулировать. Я занимался лёгкой атлетикой только ради того, чтобы мама была довольна. Обгонял всех и рвался на каждую тренировку, чтобы стать лучше, чтобы стать быстрее, ради неё. Бежал домой с медалькой, чтобы обрадовать маму. Бывало и так, что Максимка прятал медаль в кармане, говорил, что ничего не выиграл. Мама всё равно гладила по голове и говорила, что Максимка самый лучший, но этого было мало, я чувствовал фальшь, чувствовал, как внутри она злится, как хочет, чтобы я победил, стал лучшим. Лишь на следующий день я показывал медальку, и мама радовалась вдвое больше.

Максимка был уверен, что спасёт маму в любой ситуации и будет радовать её всегда. Но прежде всего я — неврастеник, и у меня не получается действовать как опытный шахматист в трудной партии.

Но мама бросила меня. Сказала, что я уже взрослый. Что нужно жить одному. Нужно учиться заботиться о себе самому. Когда она выгнала меня из дома и отправила

жить в бабушкину квартиру, спасти маму стало чем-то невозможным. И в моей комнате теперь поселился другой пупс, только очень старый.

Теперь мама ухаживает за своей мамой, а семнадцатилетний Максимка страдает, и больше всего от беспомощности. Не ходит в школу, а у него выпускной год, экзамены скоро. Максимка брошен на убой. Враги: пыль, голод. Инструменты: пылесос и плита. Нужно справляться и побеждать. Но пыль и голод — не главные враги Максимки. Главный враг — это бабушка, и пока она жива, мама не будет счастлива, следовательно, не будет счастлив и Максимка.

Бабушка — чужая, тяжёлая и сморщенная, вонючая. Мама — родная на ощупь. Родная по запаху. По звуку. По вкусу. По сердцу.

За окном сыро. Господи, мой вид, мой неповторимый вид из окна, невероятный простор для спального района Солнечного, холмы и церковь, десятки тополей, пение сверчков по ночам. Подоконник, где я сидел почти каждое утро летом, пил холодное молоко, читал до боли в глазах, встречал солнце из-за холмов. Лучи обжигали ресницы, обжигали страницы полемики Достоевского и Чернышевского. Я обожал, что мои окна выходят на восток, лишь одно ударное слово «восток» перемещало меня к берегам Охотского моря, и тогда я чувствовал всю могущественность русского языка.

Бабушка Вера перебирает пальцами на единственной рабочей руке. «Я скоро вернусь, не скучай», — говорит Максимка. Моргает. Млявая моя бабушка Вера никак не умирает.

Иду в мамину комнату. Ржавеют листья на цветах. Сейчас возьму пластиковую бутылку на кухне, напую водой, полью. Запахнет мокрой землёй. Неизбежно прольётся на подоконник, немного капнет на ковёр, протру тряпкой — когда-то маминой пижамой в клеточку. Я так давно не обливал ковёр, точнее, раньше никогда не обливал, только бесился, когда мама обливала ковёр в моей комнате, пока я с одноклассником стрелял по врагам в игре. Мне тогда казалось, что мама стоит у меня над душой, мешая, и всё у меня как-то сразу переставало получаться, и Максимка дико злился. А сейчас у неё нет времени поливать цветы, мама меняет памперсы бабушке и заталкивает в неё еду, а я до сих пор дико злюсь, только теперь уже от собственного бессилия. Пыльные полки на стене тоже протру. Пусть позавчера протирал, протру ещё, в заставленной вещами комнате пыль образуется быстрее обычного.

Мои книги, моя эволюция, все они хранятся в одном месте, корешок к корешку, выше и ниже. Все протру: серого Пушкина, тёмно-синего Лермонтова, много-много тёмно-коричневого Толстого, два чёрных Чехова, всё моё, всё читано. Мама хотела, чтобы я читал много книжек и дико бесилась, когда я не мог выучить стихотворения Пушкина. А маме это внушила бабушка — что нужно много читать.

Вот стоит «Конduit» Льва Кассиля, моего земляка, левее — кумир всех китайцев Островский, который Николай, ещё левее — три тома красного графа, почти что земляка, а название его романа, будто про мою жизнь, — «Хождение по мукам»! Чернышевского, Достоевского и паука-Набокова я забрал с собой, не знаю, ругаются ли на меня Фёдор Михайлович и Владимир Владимирович с того света, что стоят рядом, ещё и с Чернышевским, — пусть это зовётся маленькой мстью за моего большого честного земляка Николая Гавриловича. Продать бы все эти книжки — разбогатею тысяч на двадцать и куплю памперсы для бабушки. Хотя нет, ничего бабушке не достанется. Куплю маме цветов.

Чёрные ворсинки застряли в бежевом ковре, пылесосом не соберёшь, веником не выметешь эти ворсинки, они как чёрные точки на сальном лице. Сажусь на корточки — хруст коленей — и собираю, словно землянику в лесу. Собираю и тонкие длинные волосы.

Мама заходит в комнату.

Ты чего ползаешь? Мусор собираю. *Позавчера собирал. Гречку будешь? В школу ходил? К экзаменам готовишься?* Пока не отдашь бабушку в приют, я в школу не пойду. Школа — для дураков, мама. На ЕГЭ мне всё равно. *Какой приют, дурак маленький? Хорошо. Не сдавай ЕГЭ. В армию пойдёшь, как твой папаша, а там, глядишь, ещё одна Чечня будет. Ты должен учиться, а я как-нибудь справлюсь.* Нет, это ты меня заставляешь, не хочу. *А что ты будешь делать? Ползать? Рисовать каляки-маляки?* Я буду историком, но настоящим, не функционером, а в универе функционеры, они мне навяжут чужую логику, чужие идеи, чужие ценности. А если у меня отец в Чечне пропал, как думаешь, смогу я воспринимать историю так, как они преподают? Мам, когда она умрёт? Мам, я не могу один. Мам. Мам! Мам...

Мама молча приносит с балкона чёрный мешок с дерьмом бабушки и вместе с ним выталкивает меня за дверь. Закрывается на два замка.

ДЫШДАБДЫШДЫШДАБДЫШ — тишина. Мама снова меня прогнала, а ведь я говорю правду. Бабушка Вера — это живой труп, тело, и нам будет лучше, если она умрёт. Моя мамочка страдает, она кормит овощ овощами. Отходы отходят в пакет, а я человек простой, я — доставщик дерьма, несу его до мусорных баков.

Осторожно беру пакет. Надавливаю большим пальцем на фалангу указательного, свободной рукой жму на кнопку лифта. Вонь разносится по всему подъезду. Открываются двери, и я шагаю в лифт. На полу разбросаны лепестки черёмухи. Только бы никто не вызвал его сейчас. Нет, это не я обоссался, это бабушка. Мама убрала, а я просто выношу. Это не от меня вонь, это от пакета несёт. Достая флакончик одеколона, всегда ношу с собой, распыляю на шею, на руки, на куртку, на пакет, по всему пространству.

На следующем этаже лифт останавливают. Худшее, что могло сейчас произойти, происходит. Дверь открывается, и я слышу приятный запах лилий, мои любимые духи. Заходит соседка снизу, тридцатилетняя красавица, чьи стоны я слышал пять лет подряд, пока жил в своём раю. И утром, и вечером, и ночью. Будто она только и делала, что сношалась. Я так завидовал её мужику, и меня так возбуждали её крики, что рука невольно тянулась в трусы. И тут Красавица видит меня такого обоссанного. Это не я, — верчу головой, показываю на пакет, — это он. Улыбается моя Красавица. *Да не парься, все люди гадят. А я вообще в детстве думала, что какашки — мои дети. Я, когда, ну, процесс заканчивала, брала в руки и нянчила, а потом, ну, размазывала везде. Ха-ха-хах. А мамуля отнимала из всех сил, говорила: «Фу! Какая гадость!» А потом она сама начала чудить, с какашками нянчиться, и орёт постоянно, я уж не кричу на неё, это же мамуля моя, это же мой родной человек любимый.* Подождите, это не вы кричите? Это мамуля моя кричит, а я шёпотом, аккуратненько её ругаю, а сама только и делаю, что убираю и выношу. Все эти пять лет кричали не вы? Но я ни разу вас не видел с пакетом. А я по лестнице спускаюсь. Вот это да! — удивляюсь я.

Мы выходим из лифта, я иду за Красавицей, слушаю цокот её шпилек и в тусклом свете подъезда пытаюсь разглядеть её задницу. А давайте погуляем, говорю я. *Нет, спасибо.* Кивнул. Забегаю вперёд и открываю Красавице дверь. Дождь слегка моросит. Вдыхаю свободный запах мокрого асфальта. А я вас провожу, вы куда идёте? Куда же вы без зонта? *Не надо.* Пожалуйста! Один раз. Я ни разу никого не провожал. Мне очень сложно, меня выгнали из дома, а вы так открылись мне, и я подумал, что мы можем... *Не надо. А за что тебя выгнали?* Я тогда рядом пойду, вы же не растворите меня и не убьёте. *Я сделаю вид, что тебя нет.* Все вы делаете вид, что меня нет, а я есть. *Хорошо, ты есть, но дальше я пойду одна.* Я понял. Только не думайте, что я какой-то не такой. Вы просто очень красивая, и мне трудно говорить с красивыми девушками. *Спасибо.* Простите меня. *Хорошо.* Вы держитесь. Всё закончится. Ваша мама не вечна. ТАЦ.

На секунду жмурю глаза. Горит щека от пощёчины. Красавица ускоряет шаг. Я стою на месте и растираю кожу. Это же какая сила воли у моей Красавицы, что она не кричит на маму, любит её.

Бросаю мешок в мусорный бак, будто баскетбольный мяч. Тело сливается с каплями дождя. У Максимки мутнеет и сливается в глазах. Майская маленькая листва от ветра движется как стёкла в калейдоскопе. Плачут пасмурные панельки. По сияющему асфальту катятся автомобили. Опоры линий электропередачи стоят, словно мачты после шторма. Дорога мимо церкви, мимо парка, мимо Красавицы, всё мимо. Максимка идёт до квартиры бабушки.

Квартира бабушки

Максимка мог не родиться. Я у мамы второй, мама до меня сделала аборт, а потом в её жизни появился мой папа-омоновец. Родители долго не могли зачать меня, а когда всё получилось и я появился на свет, папа-омоновец уехал в Чечню и пропал. В четыре года я осознал, что у других детей есть папы, и начал задавать вопросы. Мама долго обманывала Максимку, говорила, что папа-омоновец уехал зарабатывать на Север, что мне нужно ещё немного подождать, и он вернётся с радиоуправляемой машинкой. Мама пыталась приводить непонятных мужиков, и мне казалось это странным. Когда она тайком уходила из дома ночью, Максимка плакал.

Когда я подросток (первый класс, мне семь лет, две тысячи девятый год, двадцать третье февраля, восемь вечера), мама призналась, что папа-омоновец погиб. Максимка забрался на спинку дивана и полез на стену. Содрать обои у меня не получилось, но сломал ногти на большом и указательном пальцах. После часа истерики смиренно сидел на диване, монотонно повторял одно движение: проводил мизинцем под веком и слизывал с пальца слёзы, как только убирал, появлялись новые, будто капли дождя на стекле машины. Я не верил в смерть папы-омоновца, потому что он не погиб, а всего лишь пропал без вести. В один из дней папа вернётся к нам. Не убила его никакая пуля, никакая граната. Папа-омоновец остался где-то в горах, отрастил бороду и стал мудрецом. Или пусть даже он до сих пор где-нибудь в рабстве, но ведь жив, жив, жив, и меня это устраивает. В день маминого признания я запомнил, как икона на подоконнике по-особенному смотрела на меня, словно на грешника, словно Максимка виноват перед отцом. Ну да, виноват, — появился на свет, если бы меня не было, может, и не поехал бы мой папа-омоновец в Чечню.

Младшая сестра папы-омоновца Света нашла богатого иностранца и часто улетаала с ним в Париж. А когда возвращалась в Саратов, ей хотелось умереть, настолько она ненавидела наш город. Тётя говорила маме, что он пустой, без истории и культуры. Но на самом деле это Света была глупой блондинкой, косившей под Уму Турман. До революции Саратов считался второй культурной столицей после Петербурга. Одного земляка Николая Гавриловича достаточно, чтобы опровергнуть миф о глушь-деревне.

Света пыталась выйти замуж за иностранца и переехать, но получилось как в песне Комбинации, Света ему give only love, а иностранец уехал, но не в Копенгаген, а в Париж. Тогда тётя ушла из дома. Связалась с плохой компанией. Накурилась первый раз, легла на пол со словами: «Кажется, я исчезаю». С каждым разом увеличивалась доза. Потом таблетки. Потом игла. Сколько родители ни пытались затолкать её в рехабы, Света сбегала. Даже в последней поездке во Францию, которую организовали они же, Света бродила по улицам Парижа и думала, где и как уколоться. Больше она не носила короткие юбки и не была похожа на Уму Турман. Тётя гнила живо.

Вернувшись домой из Парижа, Света выбросилась из окна. Или вывалилась — до сих пор неизвестно.

Бабушка и дедушка дали кому-то взятку, чтобы Свету похоронили по-христиански. После похорон я их не видел до следующих похорон, только в гробах лежали уже они. Как закопали Свету, больше из дома не выходили. Спивались. Через два года отравились палёной водкой. И умерли в один день. Как в сказке.

Слава Сирин, мой дедушка по маминой линии, погиб июльским вечером между двух поездов. Он даже ещё не седой был, немного лысоват, а оставшийся чуб на лбу Сирин раскручивал в спираль по всей голове. Это единственная деталь, по которой мне запомнился дедушка. Может, надоело дедушке всё: надоели девяностые, надоела картонка на рынке, ваучеры и прочая дребедень. В девяностые он собрал все ваучеры — и свой, и бабушкин, и мамин — и вложил в несуществующий мост через Волгу. Ему обещали: когда мост построят, будут платить с каждой проезжающей машины деньги. Но так и не построили. Потом закрыли завод, где работал дедушка. А потом нищета, нищета, нищета. Не оправился дедушка. Перебрался жить на дачу.

Перед смертью дед хорошенько выпил с другом самогону. Представляю, как он шёл на электричку. Сначала по высокой траве, уворачиваясь от комаров, размахивая головой, а не руками, потому что руки были заняты вёдрами с клубникой. Причём он собрал ягоду ещё вчера, потому что в день смерти дедушка пил самогон и чисто физически не смог бы собрать два ведра. Потом пошёл через поле по протоптанной дороге. Там дедушка мог споткнуться о камни и рассыпать клубнику, но этого не произошло. А если бы произошло, может, был бы жив мой дедушка! А может, наоборот: он споткнулся и потому попал под поезд? Или ему на руку села бабочка, и он попросту отвлёкся, разглядывая её. Да нет же, он пьяный был! Но почему он тогда не забыл перекрыть воду на даче? Значит, не был таким пьяным? А вообще, чего я переживаю, если дедушка меня не любил из-за другой фамилии? Я — не Сирин, значит, не его внук.

В спину Сирину нёсся поезд с востока, и дедушка почему-то не отошёл в сторону. Может, захотел умереть? Он остался ждать в междупутье. Ему нужно было попросту лечь, и выжил бы мой дедушка. С запада понёсся второй поезд, и моего дедушку подняло потоками воздуха, затянуло в водоворот. Бросало то в восточные вагоны, то в западные. Вместе с дедушкой и его чубом вращались два ведра клубники, как кольца Сатурна. Следовательно, вероятно, трудно было понять, где кровь, а где клубника. Так умереть ещё нужно постараться — от двух поездов — и не потерять конечности. Я уверен, что на его мёртвом теле сидела бабочка. Комары сосали кровь, а муравьи и слизни поедали клубнику. Сколько мой дедушка пролежал на междупутье?

Хотя бы одного из родственников вернуть к жизни, и всё было бы по-другому.

Папа — не едет в Чечню — Максимка — мужественный и сильный — воспитан мужской рукой — заводит семью — Максимка — не одинокий.

Тётя Света — любит Саратов — не знакомится с иностранцем — не впадает в зависимость — бабушка и дедушка не спиваются — помогают маме — мама — живёт — человеческой жизнью — у мамы — больше времени — Максимка — живёт — человеческой жизнью — Максимка — не одинокий.

Дедушка — живой — бабушка — не болеет — либо дедушка за ней ухаживает — мама — не мучается — мама — живёт — человеческой жизнью — у мамы — есть время — Максимка — живёт — человеческой жизнью.

* * *

С тех пор, как я переехал в бабушкину квартиру, мне было страшно что-то в ней переставлять. Я убрал лишь чёрную книгу, которую, будто маленькая девочка, бабушка прятала под подушкой. Открыть её Максимка не решался, но был уверен, что внутри написано что-то нехорошее. Я считал квартиру бабушки проклятой, потому что находил непонятные чёрные символы рядом с плинтусами и куски воска от свечки на ковре. Квартира бабушки похожа на скопление мусора. По всей комнате развешаны советские ковры, разве что не на потолке. От квартиры веет тревогой, как от картин Мунка. Пропахшие старостью красные ковры с линиями и узорами, закрученными в спирали, — это стены, и это пол. Вещи будто умеют почковаться, настолько много хлама. Жёлтый облезлый слон с набивкой из опилок издалика похож на труп грудничка, одноухая собака похожа на потрёпанного Цербера.

Пустой холодильник. Пустой желудок. Пустая голова. Максимка сбрасывает с себя вещи, прячется под одеяло и от слабости засыпает.

В пять лет, когда мама вытирала мне попу, я заявил, что моя жизнь очень волнующая. В двенадцать лет, когда она застала меня за мастурбацией, сказал, что жизнь затянута, сентиментальна и тщетна, и вообще она всё не так поняла. В семнадцать лет я решил ползти кротом по страницам Достоевского и Чернышевского и так и не понял, кто из них прав, но сказал маме, пока она убирала бабушкины отходы, что осознал, в чём изъян и где трещина. Дело в том, что я задаю бабушке неправильный вопрос «сколько пальцев на руке?» вместо того, чтобы читать ей исцеление Петровой тёщи. А может, бабушке уже и не нужен Новый Завет, может, ей интереснее пять пальцев на моей руке? Не буду же я насиловать чужую волю, и уж тем более свою, не буду жертвовать собой ради бабушки Веры. И не станет ей лучше от евангельской истории, уже никогда не станет лучше. Может, бабушке и жить не хочется, а она отнимает чужую жизнь, сама страдает, но не может это признать, показать или вообще не понимает. Мама сказала, что я маленький идиот.

Рядом с Максимкой стоят заросший папа-омоновец в военной форме и дедушка, который пальцем раскручивает чуб по голове. Напротив — брат Максимки — гигантский эмбрион, держит в лапах топор, рядом с ним рыжий пышногивый конь — изо рта пар пышет, из ушей дым валит. Брат Максимки зарубает коня, конь тухнет, как огонь внутри, эмбрион показывает топором, что я — следующий. Я вцепляюсь в руки папы-омоновца и дедушки, они равнодушно моргают с кивком, что означает согласие с эмбрионом — казнить Максимку. Но я единственный и неповторимый, каждый должен узнать Максимку! Из-за спины эмбриона выходит бабушка, садится на землю и смеётся. А заросший папа-омоновец только кивает, дедушка тоже кивает. Эмбрион смотрит на бабушку, бабушка кивает, берёт топор и бежит на меня, Максимка падает и ползёт. Взмах топора. Максимке отрубают ногу, потом руку, удар в живот, изо рта сочится жижка. Убейте меня. Если так будет лучше, то я согласен со смертью. Последний взмах — и Максимка умирает.

Достоевский говорит: самовольное, совершенно сознательное и никем не принуждённое самопожертвование всего себя в пользу всех есть признак величайшего развития личности! Чернышевский говорит, альтруизм — это болезнь. Нужно заботиться о себе в первую очередь. Но всё равно наше счастье невозможно без счастья других! Только в союзе укрепляются ум и воля человека! Человек живёт разумом, а не чувством! Достоевский говорит, человек живёт чувством, а не разумом!

Человек живёт, говорит Максимка.

Бабушка хочет убить меня через сон, чтобы я никогда не проснулся. Дождь троеточиями стучит по окну. Максимка лежит под одеялом и задыхается. Трёт костяшками глаза, словно ластиком по карандашной зарисовке. В комнате включён свет, за окном темно. На подушке откуда-то серые с прочерными разводы. Вкус ржавчины во рту. Я поднимаюсь и вижу, что плед с чёрно-белым ромбовидным узором, облегающий кресло, измазан чем-то нереальным, непонятным, невозможным. «Невозможно», — говорит Максимка.

Проверяю, закрыта ли входная дверь. Закрыта. Максимка падает на колени перед креслом, руки цепляются за подлокотники, ковёр впивается в кожу, бетон вдавливаются в кости. Плед не просто измазан коричневым, будто бы гуашью по холсту, нет, слой ещё и объёмный. Я внюхиваюсь в жижу, как любопытный зверёк, и удивляюсь, что запаха нет. Запах безвкусный, как пресная вода. Пальцы Максимки, большой и указательный, осторожно, будто бы врач пинцетом, берут кусочек из общей массы. Подушечки пальцев чувствуют дрожащее желе. Глаза трепетно разглядывают. Точно не рвота, разве что разбухшая от тёплого воздуха. Это могло бы быть растаявшим шоколадом, но Максимка не ест шоколад. Это могло бы быть дерьмом, но я с пяти лет не обсирался. Это могло бы быть рвотой, но меня никогда не рвало, даже от алкоголя. Мне ничего не остаётся. Я жадно жую коричневый комок и всё равно не могу понять, что это. Что-то горькое и гадкое расплзается по языку, по слизистой, по вкусу напоминает жилки куриной печени или прокисший бульон. Оно вот-вот завалится внутрь, останется во мне навсегда, но я морщусь и вываливаю из себя пережёванную гадость.

Бегу умыться. Максимка — фальшивый, пустой, злобный человек. Максимка тревожно ходит по маленькой комнате, словно зверь в клетке. Я умираю, как и проклятая бабушкина квартира. Оставаться в ней нельзя, одному оставаться нельзя, но и идти некуда. Отец пропал, родственники умерли: бабушка и дедушка, дедушка Сирин, тётя Света. И я следом за ними погибаю, так рано, так и не став человеком. Звоню маме. Сбрасывает. Фотографирую плед, пишу сообщение: «Мама, я умираю, помоги». Молчит. Пишу однокласснику, скидываю фотографию. *Зачем на кресло-то? Ну ты Малевич.* Это не я, меня проклинали. *А, ну если проклинали, я за тебя свечку поставлю. За упокой.* Спасибо. *У тебя всё норм? Не, это не похоже на рвоту. Ты не пил? Это не мог быть кто-то другой? Не, лучше к гадалке сходи, я не знаю, мало ли.*

Я швыряю телефон на кровать, иду на кухню, достаю мусорный мешок, возвращаюсь в комнату, складываю плед, убираю в мешок. Шагаю во мглу с проклятым пакетом, словно ёжик с узелком. Как, оказывается, сложно стоять на двух ногах. Я докажу, что мне нужна помощь.

Дорога в тумане. Мимо церкви, мимо парка Максимка идёт домой, раз и навсегда. Можно и на полу спать, главное — что с мамой и не в бабушкиной квартире. Мама обязательно меня впустит.

Мерцающая лампочка в подъезде. Я стучусь в мамину дверь. Тишина. Звонка нет. Максимка скоблит ногтем собственный рисунок-сердечко, выцветшая красная краска впивается в ноготь. Вижу, как мама приоткрывает глазок. Мама, открой, я твой сын. Я больше не буду. Я умираю. Открой. Тишина. Тук-тук — тишина. Тук-тук — тишина. Тук-тук — тишина.

Меня предали. Больше у Максимки нет дома.

Квартира Красавицы

Я спускаюсь на этаж ниже — к Красавице. Суставы ощущают каждую новую ступеньку. Максимка ищет новый дом. Звонить страшно. Тук-тук — тишина. Тук-тук — тишина. Тук-тук — полусонная Красавица приоткрывает дверь. Она без макияжа, и я определяю, что Красавица в том возрасте, когда макияж ещё прибавляет пару лет, а не молодит. *Я слабо ударила? Пожалуйста, уйди, у меня мамуля спит — инвалид, как ты не понимаешь? Что с тобой, мальчик? Кукушка поехала? Психушка плачет?* Шёпотом и истерично. Прикусывает пухлую губу. Из квартиры тянет уксусом. От Красавицы, как всегда, пахнет лилиями. Она пытается закрыть дверь. Мои пальцы вцепляются в ручку. *Я сейчас вызову, кого надо, на Алтынку¹ поедешь!* Я реально умираю, представьте, что мы на улице, неужели вы не поможете? *Где ты умираешь? Какой улице, не гони. Покажи давай, где ты умираешь? Говорить можешь, стоять можешь, значит, не умираешь. Всё. Иди.* Я так не могу, выслушайте меня, пожалуйста. Глаза изучают серёжки Красавицы, похожие на спелые вишни, скользят по острому лицу, по раздражённым глазам, по губам, косятся на шею, потом на чёрную футболку, надпись на которой растянута грудью, затем опять тактично смотрят в глаза и вновь на чёрную футболку. Красавица нервно дышит, и от дыхания поднимается узор на футболке. *Ты офигевший,* повторяет она, *иди отсюда.* Простите меня, пожалуйста, впустите. Я ляпнул не подумав! Меня вырвало чем-то чёрным, и я могу умереть. *Т-с-с-с,* показывает она. *Мне негде тебя положить.* Я на полу. *У меня мать спит.* Я тихо. *В подъезде переночуй.* Я там умру. *Езжай в больницу, я тебе такси вызову.* Ночь, меня не пустят.

Максимка вдавливая Красавицу в квартиру. *Ладно, проходи,* прошептала она уже после того, как я был на пороге. Наверное, так она показывает, что держит надо мной контроль. Я оставляю мешок в холле. Слабые ступни тащатся на кухню за короткими шортами. Красавица сажает меня за кухонный стол. На столе из вазы топорщатся сушённые пионы, будто засохшие мозги на палочке. Я определяю, что они стоят с прошлого года.

Ну и что с тобой? Цветы были, но с чёрным пакетом ко мне никто не ломился... Да я не виноват, честно говорю, но если вам нужны цветы, я принесу, как поправлюсь, но мне лучше посидеть просто. *Говори тихо, полушёпотом, лучше шёпотом, у меня мать за стеной спит.* Хорошо. *Ты какой-то бледный. Правда, что ли, умираешь?* Ага. Красавица жалобно смотрит на меня, не сводя глаз. *Что с тобой?* Там, в пакете лежит. Я проснулся, а у меня на кресле что-то странное размазано, на дерьмо похоже, но это не оно, не пахнет, честно, и не рвота. Сейчас покажу, можно? *Только тихо.* Я вышагиваю на цыпочках, чтобы не разбудить её маму. Несу мешок из холла, аккуратно раскладываю плед на полу, чтобы впитавшаяся жижа не коснулась линолеума. *На медвежью желчь похоже, только не засохло ещё.* Вы понимаете, а как вас зовут? Соня. Соня, я такой молодой, и я, кажется, умираю. Не смейтесь надо мной. *Да ты отравился чем-то, или выпил, или покурил.* Нет. Ничем отравиться я не мог. *Да из тебя вся гадость вышла, это, наоборот, хорошо. Без крови даже. Без крови же?* Да. Это не я. Хотя гадости во мне и правда много. Теперь нет. Надеюсь. *Будешь есть? У меня ничего готового нет, но могу яичницу пожарить. Есть овощное пюре, но это для мамули, ты такое точно не съешь. Так будешь яичницу?* Спасибо, я не голоден. *Чай зелёный, чёрный?* Зелёный, если можно. *Разбавить?* Немного. Спасибо вам, что впустили. *Да уже не за что, мне там зачтётся, всё это зачтётся.* Да вам и здесь зачтётся, я вас отблагодарю, как только

¹ Областная клиническая психиатрическая больница святой Софии.

смогу. *Не надо. И без тебя не высыпаясь, ещё и ты припёрся.* Простите. *Да не парься. Это я так... это ж мой долг — всем помогать, вот соседу помогаю.* Я уже не сосед, один живу. *А, точно. Так ты самостоятельный.* Но мне тяжело. *Почему тяжело?* Я жил, чтобы маме было хорошо, а сейчас не знаю, зачем живу. *А друзья?* Да какие, одноклассники? Учатся ради того, чтобы поступить, а куда — неважно. Никаких целей, разговоры про девочек, тоники и тачки. *А что плохого в этих разговорах?* *Не всегда же говорить про высокое.* Не всегда, но и не никогда. Ничего плохого, просто я сам не знаю, чего хочу, поэтому и обижаюсь на других. С Достоевским и Чернышевским я бы поговорил, они интересные штуки писали, я бы посадил их за один стол и помирил. *Так ты ещё и ботаник, читаешь много.* Да нет, я вообще много с кем бы поговорил. Вот с вами бы говорил всегда, и не только потому, что вы красивая. Соня прикрывает лицо ладонью. *Какой ты забавный, хахахах, не могу.* Я что-то не так сказал? Но вы правда красивая, а ещё у вас есть что-то своё, как минимум, своя история. *Спасибо, конечно. Какая, интересно, у меня история?* Вам лучше не знать. *Молодец, что комплименты делаешь, девочки это любят, но на будущее придумай ещё что-то, а то красивая, красивая, я уже поняла.* Я молчу и не знаю, что ещё сказать. Как тяжело и легко говорить, никакого опыта, но какой азарт — говорить с красивыми девушками. *Будешь вино?* Соня прерывает паузу. Я бы выпил, но боюсь умереть. *Да, точно, а ты не бойся, от одного бокала не умрёшь, наоборот, вылечишься.* Соня подходит к кухонному шкафчику, я смотрю на её короткие шортики. Достает бутылку вина и штопор. Улыбается. *Откроешь?* Я не умею. *Учись.* Соня протягивает штопор и объясняет, что делать дальше. Я закручиваю и — краткое «бум» — вырываю пробку. Делаю глоток из горла и морщусь. Горящая кислятина. *Ты чего?* Что-то не хочу, мне мама говорила, что... *А, мама... ну, ладно, одна выпью. Слушай, а в твоём возрасте мальчики не хотят свободы? Сбежать из дома? Чего ты к маме привязался? Ты же один живёшь, радуйся.* Да, один, но не в своей комнате. Это не моя квартира, там всё бабушкино. Я даже вещи не трогаю, боюсь. *А что бояться? Это уже твоё. Приберёшься — и зови кого хочешь.* Можно вас? *Меня? Ха-хах, нет, мне нужно за матерью ухаживать.* А так бы пришли? *Возможно. Ты ещё кого-нибудь позови, одноклассницу красивую. Есть у тебя такая?* Конечно, но она скажет, что я того. *Не скажет, удели ей время, погуляй, подари что-нибудь, а потом зови. Даже если откажет, ничего в этом такого.* Попробую. *Я в твои годы отрывалась, а у тебя что-то всё наоборот, привязался к мамочке, и всё через жопу. Почему так, скажи?* Вам правда интересно? *Конечно, я же спросила, мне странные всегда интересны. Рассказывай, всё равно не уснём.*

Соня пьёт уже третий бокал и внимательно слушает мои истории про то, как пропал отец в Чечне, спились бабушка и дедушка, разбился в međудупье второй дедушка, выбросилась из окна тётя, как пострадала моя любимая комната, как я пытаюсь помочь маме, а она не хочет, чтобы я ей помогал. Мама говорит, что мне нужно учиться и читать книжки, молодость проживать, с друзьями гулять, жить, а не страдать, не зарабатывать травмы, а я не могу, я хочу помогать маме, потому что вижу, как она страдает. Думаю, Соня очень меня понимает. А почему вы одна? Вы же очень красивая. Это из-за мамы? *Больше да, чем нет. Это просто мой долг.* А семья? *Боюсь ли я, что буду всю жизнь одна? Конечно, боюсь, но куда деваться.* А может, совмещать как-нибудь? Сиделку нанять. У меня вот мама не хочет сиделку, говорит, что сама. А я очень хочу. *Нанимала. Одна у меня деньги стащила, другая отказалась — говорит, ей тяжело.* Я и плюнула, работаю дистанционно, плюс мамулина пенсия. *Сестра есть, так свалила, гадина, не помогает. Куда ж я мамулю дену, брошу, что ли?* Нет, нельзя бросать, сказал почему-то Максимка. Я задумываюсь, почему обвиняю маму, что она не бросает бабушку? Но ведь меня же бросила.

Да пошло оно всё. Устала я. Дай руку. Я протягиваю ладонью вверх, и Соня ведёт ногтем по линии жизни. Нормально у тебя всё, жить будешь, даже долго. Вы в это верите? Нет, просто по приколу сказала. Вы чего-то пьяная. Немножко, ты же не помогал мне пить. Подожди, я будильник заранее поставлю на утро.

Я продолжаю рассказывать про своего отца, он у меня какой-то мифический герой: Ахиллес или Одиссей? Ахиллес. Соня просит показать его фото. Я лезу в телефон искать сохранённый снимок, где папа держит меня на руках в роддоме. Соня подходит ко мне, наклоняется, и моя щека чувствует её волосы, щекотно и приятно. Соня дышит вином. *Какой он мужественный! На Бодрова похож! Так ты таким же будешь, мне нравится, круто-круто!* Соня гладит меня по голове. Меня дёргает током, и по телу проходят мураши. Я жмюсь, мне приятно от её прикосновений, и я решаюсь сказать об этом. Соня улыбается, ещё раз гладит меня по волосам. А хотите, я вам письмо отца из Чечни прочитаю? *Читай, конечно. Я передумал. Почему?* А можете ещё по голове погладить, пожалуйста, и я прочитаю! *Хитрый.* Я замечаю, как голос Сони становится мягче. Листаю галерею в телефоне.

На листочке из тетради в клеточку было очень аккуратно, бережно написано:

«Дорогие! Сын Максимка, жена Машенька, сестра Светуля, мама и папа, дядь Слава и тётя Вера. У меня всё хорошо, я здоров. Службу несём на посту. Вы не беспокойтесь обо мне. Писем не было, потому что неоткуда отправлять, а сейчас ребята едут в Саратов, я с ними отослал.

Максимка, я скоро вернусь. Твой папа».

Красивый почерк! Я не хочу верить, что всё так закончилось. Какой он хороший. Но ты будешь ещё лучше. Лучше отца? Нет, мой отец — герой! Я — нет. *Даже не сомневайся в себе.* Соня обнимает меня, я крепко обнимаю её. Моя голова плотно прижимается к её груди. Соня нежно водит руками по моей спине. Рассказывает ещё много всего про то, как нужно вести себя с девушками, и её рассказы придают мне немного уверенности. *Слушай, а что ты про бабушку ничего не говоришь?* Да мне и нечего, я уже всё хорошее забыл.

В четыре утра ещё темно. Соня говорит, что нужно ложиться, и я робко прохожу за ней в комнату. Ложусь на ковёр рядом с диваном и прошу подушку. Соня смеётся, садится на диван, протягивает руку и тянет Максимку к себе. Ещё чуть-чуть — и мы бы упали. Соня смеётся, прижимается ко мне, и мы целуемся. Оказывается, на самом деле бывают приятные чужие слюни. Это не слюни старшеклассников, которые плевались в коридоре в маленького Максимку. Раньше я никогда не целовался всерьёз, с языком, только однажды на школьной дискотеке мимолётное касание, пока вожатые не разъединили, или тётя Света дотрагивалась губами до краешка моих губ. Я удивляюсь, как глубоко Соня тянет свой язык в меня, и я случайно сжимаю его губами. Максимка набирается смелости, и его рука залезает под футболку Сони. Под футболкой что-то большое и очень нежное. Вот это да, думает Максимка, как далеко зашёл. Я и не думал, что нужно и можно делать дальше, мне уже всё нравилось. Соня снимает футболку, затем её рука тянется к тумбочке, вынимает из открытой оранжево-синей коробки презерватив, кладёт на диван, и тогда Максимка напрягается. Я же сегодня не мылся, и лобок у меня не бритый, вдруг её это смутит. Зачем я об этом думаю? Теперь, когда Максимка узнал Соню, ему больше не хотелось делать всё запретное, что он представлял, наоборот, Максимка испытывал самые тёплые чувства, такие добрые, будто бы лежал с мамой. Назад пути не было. Максимка стягивает с Сони трусы. Как только я достаю презерватив, снизу сразу же сжимается. Пахнет резиной. Руки в смазке. Максимка нависает над Соней, словно обезьянка. Соня лежит, раздвинув ноги. Она похожа на куклу из детства. Это же так легко, я столько раз видел в порно, как легко это делается, столько раз представлял Соню, когда она кричала,

вернее, не она, или она, не знаю уже. Какие-то сантиметры отделяют меня от наслаждения. Соня думает, что я лох и неудачник. Как громко и глубоко она дышала, пока мы целовались, а теперь лежит с раздвинутыми ногами и подозрительно смотрит на меня, ждёт. Взгляд у Сони какой-то щенячий. Пытаюсь думать только о том, что передо мной лежит идеальная девушка, красивое тело. Моё сердце стучит и раздаёт кровь всему организму, кроме... Я смотрю вниз на сморщенную кожу. Соня, наверное, думает, что я надоедливый комарик, летаю вокруг и никак не могу вставить хоботок. Почему Соня не может помочь? Наверное, ждёт, что сам справлюсь. Она и без того согласилась со мной, она видит во мне мужчину, а не лоха. Лохам женщины не дают. Если бы мы жили в древности, то сейчас она потенциально согласилась продолжить род со мной. Максимку первый раз кто-то выбрал, из четырёх миллиардов женщин во мне увидела мужчину только Соня. Мысль прыгает на мысль. Я точно умираю. Каждую секунду мне думалось, как стать лучше, лучше папы, лучше дедушки, преодолеть всех, рисуя завитушку за завитушкой, получая медальку за медалькой, как впечатлить маму, доказать, что Максимка самый-самый, а в итоге всё это время я был ненастоящим, пустышкой. А если сейчас не думать, одноклассник говорил, что в сексе главное — не думать, но я не могу не думать, я думаю всегда! Как мне тошно. Как затекают руки. Соня немного улыбается, вероятно, посмеивается надо мной. Я скрюченным эмбрионом падаю рядом с ней. Она куда-то уходит и возвращается с вином. *Тебе поможет.* Не думаю, отвечаю я. *Вот и не думай. Расслабься.* Соня слегка дотрагивается до моего живота, и судорога несётся по телу. Соня снимает презерватив, как ненужную шкуру. Сжимает член в руке и медленно двигает вверх-вниз. Это были не те ощущения, когда я мастурбировал сам, Соня двигала рукой медленнее, и я начал помогать своей, пока очень быстро не забрызгал себе грудь, живот и лобок. Когда я начал кончать, Соня скинула мою руку и двигала одна, так быстро и так хорошо, что у меня дёргались ноги. Ничего подобного я в жизни не ощущал. Соня уходит в ванную и приносит мне салфетки. Надевает футболку и трусы. Ложится рядом и отворачивается к стене. Я касаюсь её мягкого, но костлявого плеча, переворачиваю Соню на спину, и мы начинаем целоваться. Мои пальцы опускаются ниже. Рука Сони хватается моё запястье, её ноги сдавливают меня с двух сторон. *С-с-с-с-с. Что? Нельзя так.* А что я сделал? *Резко. Будет у тебя девушка, надо всегда плавно, нежно, а не так.* Прости, пожалуйста, сильно больно? *Неприятно.* Я обнимаю её. Давай ещё раз попробую, хотя бы пальцами? *Я уже не хочу.* А языком? *Не надо.* А утром, может, утром? *Утром мне нужно ухаживать за мамулей.* Так я помогу, я теперь всегда буду помогать. *Посмотрим.* Я тебя обидел? *Нет, спи, пожалуйста.* Я буду помогать. Всегда. *Хорошо.* Ты со мной не пропадёшь, будешь гулять, а я буду с твоей мамой сидеть. *Спасибо, я поняла.* Точно поняла? *Точно, спи.* Ладно. Спокойной ночи. *Спокойной.* Она берёт мою руку и тянет к себе. Я бережно обнимаю Соню, некрепко. Больше Максимка не умирает. Но если сейчас я не умираю, то когда-нибудь умру, ведь Максимка, оказывается, смертен, может стареть, как и другие люди, как и бабушка, которую я уже больше года не люблю.

Пустой читальный зал, пахнет мокрой половой тряпкой. Доски скрипят под моими ногами. Здравствуйте, у вас есть «Дар» Набокова? *Да.* Да? Решено. Беру. Думаю, за месяц прочту. Здравствуйте. Девушка, а у вас «Дар» Набокова есть? *Да.* Р-р-р! — добавляет Максимка. Как хорошо. Беру! Через месяц верну. У вас тоже есть? И у вас возьму. В каждой библиотеке возьму! А в этой, кстати, работала моя бабушка Вера. В руках и в рюкзаке пакеты с книгами, лямки натирают плечи, ручки пакетов режут пальцы. Максимка подходит к оранжевым кирпичным воротам, заходит в арку. Под ногами путаются собаки — проводники Воскресенского кладбища. Максимка идёт мимо частных домов по колее. Пахнет пылью. Вдоль колеи ликууют люди, хлопают

в ладоши. На кладбище, оказывается, не только мёртвые мертвеют, но и живые живут. Поворот направо. Мемориал. Здравствуйте, Николай Гаврилович, мой духовный отец, мой учитель. Эта жертва для вас. Чиркает спичка. И поджигается строка.

Я просыпаюсь от стоны Сониной мамы, на часах около десяти. В комнате сквозит утренней прохладой. Натягиваю штаны с пола. Иду до соседней комнаты. Максимка стоит у двери, видит Соню в шортиках и совсем забывает про мерзкий запах протухшей капусты. Соня кормит свою маму. Её мама, накрытая простынёй, с удовольствием проглатывает пюре с ложечки. Соня зовёт меня жестом. *Не бойся, подойди. Кто там?* — спрашивает её мама громким вороньим голосом. Я иду медленно. Здравствуйте! На меня удивлённо смотрят и хлопают глазами. *Здравствуйте! А вы кто?* — спрашивает она. *Это друг,* — говорит Соня. Я удивляюсь, что инвалиды умеют разговаривать. Как вы себя чувствуете, вкусное пюре? Показывает большой палец вверх. *Во!* Она очень милая. Оказывается, если человек лежит, он ещё и что-то понимает, а значит, и моя бабушка Вера что-то понимает, может, по-своему. *Молодой человек, а вы где учитесь, в школе ещё, наверное?* Ага, только туда не хожу, а скоро экзамены. *Ой, а это плохо, вы уж доучитесь, пожалуйста, учиться нужно всю жизнь!* Соня у меня не училась, я ей говорила учись-учись, учись-учись, а она... нет, но она всё равно молодец! *Красавица! Помощница!* Это правда, добавляю я. *Знаете, как она мою стопу в морг везла?* Что? *Как же! У меня стопа оторвалась, а стопа, говорят, — зеркало души. Мам, прекращай,* встречает Соня. *Да что прекращай, я же ради тебя рассказываю! Пусть молодой человек знает, что ты молодец, заботишься о матери! Я же гнила, у меня стопа гнила, а если отрезать, так я бы к чёрту и померла. А так гнила-гнила, гнила-гнила, и стопа отвалилась.* Соня шепчет мне на ухо, просит, чтобы я дослушал историю, иначе её маме может стать плохо. *Так отвалилась, её же в мусорку не выбросишь, нельзя по закону!* Интересно, по какому? — думает Максимка. *Молодой человек, слушаете?* Да, конечно. *«Скорая» приехала, сказала, брать не будет. Никому моя стопа не нужна! Понимаете, в чём дело? Ну и Сонечка поехала в морг, отдавать стопу! А знаешь, сынок, что самое интересное? За стопу попросили три тысячи! У Сонечки. Чтобы приняли. Понимаете, в чем дело? Смотрите!* Мама Сони раскрывает простыню, и я вижу исхудалые ноги в подгузнике. Соня быстро прикрывает обратно. Максимка сохраняет картину у себя в голове. Одна нога напоминает тёмно-синий сгнивший костыль. Там, где должны были быть лодыжка, пальцы, стопа, ничего нет.

ПОКОЙСЯ ПРАХ ДО РАДОСТНОГО УТРА! ПОКОЙСЯ ПРАХ ДО РАДОСТНОГО УТРА! ПОКОЙСЯ ПРАХ ДО РАДОСТНОГО УТРА! — кричит мама Сони.

Я буду вам помогать. Чем смогу. Обещаю. *Вот какой хороший молодой человек. Спасибо!* Соня закатывает глаза, но и улыбается — наверное, оттого, что её мама нашла собеседника. Максимка смотрит в окно. На холме выгорает зелёная трава. Церковь стоит величественно, как и должна. Вороны сидят на проводах, как памятники готики, каркают.

Максимка достаёт телефон из кармана. Много пропущенных от мамы. Среди них сообщение. Три часа назад. *Бабушка умерла.* Быть не может. Как это — бабушка умерла? Сонь. У меня бабушка умерла. Я пойду. Мне надо к маме. *Отмучилась,* говорит Соня, обнимая меня. А где пакет? *Я его выкинула утром.* Я ещё зайду, как и обещал, если пустишь, приставать не буду, буду помогать. *Да брось, если что помочь нужно, ты сам скажи, я приду, помогу.* Я обулся, ещё раз обнялся с Соней и пошёл в сторону лестницы.

* * *

Я ждал этого целый год, два инсульта, один инфаркт, постоянные приступы эпилепсии — и ничто не забирало бабушку. Но сейчас, когда бабушки не стало, Максимке совсем не радостно, наоборот, — пусто и грустно. Я не мог поверить в смерть бабушки, даже когда увидел возле двери обитую бордовой тканью крышку гроба, даже когда зашёл в приоткрытую дверь, увидел завешенные зеркала, побежал в свою комнату и увидел восковую фигурку бабушки в открытом гробу. Пахло церковными свечами. Рядом на стуле сидела мама. Металлической кровати уже не было. Когда мама успела всё сделать? Пока я развлекался с Соней этажом ниже, бабушку уже успели обмыть, уже приехала «скорая», уже приехало похоронное агентство, уже куплены гроб и ритуальный венок, издалека напоминающий салат, уже куплено место на новом кладбище. Когда именно умерла бабушка, Максимка не мог знать.

Я обнимаю маму. Она бормочет о каких-то отвлечённых вещах. Либо пытается понять, сколько нужно потратить на похороны. Смотрю на труп бабушки. Мне кажется, что она вот-вот оживёт, откроет глаза. Если ты думаешь, что я радуюсь и счастлив, это совсем не так, говорю маме. *Не надо вот этого, пожалуйста. Давай посидим в тишине.* Похоронить можно только через три дня? *Да. На похороны дальние родственники приедут.* Дальние родственники? А где они раньше были? *Хороший вопрос.* А кто тебе помог бабушку положить? *Ребята из агентства, знакомые.* Это из-за меня она умерла, не надо было мне ночью в дверь ломиться. *Ерунду не говори. Она под утро умерла. Ты же знаешь, что она почти не слышала, и ты никак не мешал, зачем вот начинаешь драму?* Прости меня. «Прости меня, бабушка, — говорит про себя Максимка восковой фигуре в гробу. — Сейчас ты откроешь глаза, и мы начнём всё сначала. Пожалуйста». Не открывает.

Смерть наступила и прошла, остались только тело и похоронная формальность.

* * *

Три дня тянулись, как столетняя жизнь одиночки. Всё это время я практически не спал. Мама сказала, что нельзя оставлять покойника одного, поэтому ночью мы, меняя друг друга, сидели у бабушки, несмотря на то, что у обоих верхнее давление переваливало за сто пятьдесят.

Максимка осознал, что бабушку Веру не стоило ненавидеть или бояться, но всё равно рядом с трупом не мог уснуть. Мешали ком в горле и набитая болью точка в районе солнечного сплетения. Вспомнилось, как в детстве у бабушки я разбил люстру, тысячи осколков разлетелись по ковру, но бабушка даже не поругала меня. Зная мамин характер, она около часа уговаривала её не кричать на Максимку. Ещё всплыло в памяти, как мы сидели на кухне, я ел вишнёвые пироги, а бабушка рассказывала о своей большой крепкой семье: шесть братьев, три сестры. И почти весь род погиб через поколение, не оставив и следа своего существования. Тогда я не понимал, как такое могло произойти, даже не вслушивался в её слова. А сейчас, когда мы остались с мамой вдвоём, начал осознавать, насколько бабушке было одиноко и как не хватало заботы единственного внука.

Пока бабушку отпевали, я чуть не упал в обморок. Похоронная машина подъехала к полю бугров с деревянными крестами — новое кладбище. Увидел, что уже вырыта могила. Уже поставили худой деревянный крестик с фотографией, где бабушка улыбается. Недалеко от ямы лежали живые гвоздики. Каждому раздали по платочку, Максимка убрал в карман, не решившись в него сморкаться. На прощании дальние родственники, дружные, как собачники, заливались слезами, говорили о том, как жалко бабушку Веру, какой хороший человек ушёл. Я стоял над телом больше минуты

и всё решался поцеловать в лоб. Так и не решился, даже за руку не взял. Осторожно коснулся пальцами предплечья бабушки, после чего отдернул руку от гроба, будто из кипятка, и быстрым шагом вернулся к толпе. Не плакала только мама. Она прощалась последней и долго не могла отойти от тела, вероятно, пыталась запомнить как можно больше бабушки, даже мёртвое тело. Пока мама крестилась, я заметил, что у неё постарели руки — вздулись вены, и Максимка второй раз осознал, что смерть неизбежна. После того как мама вернулась в толпу, мужики накрыли гроб крышкой, один из них забил гвозди, и гроб опустили в яму. Все родственники бросили по три горстки земли, отряхнули руки, перекрестились. Закопали бабушку буквально за минуту.

В столовой, когда нужно было что-то сказать, мама разрыдалась, и я вместе с ней. Максимка не смог пережевать кутью, подавился и выплюнул. Какая-то дальняя тётка заставила меня затолкать эту жижу обратно в рот. К другой еде Максимка не притронулся. Дальние родственники съели всё, что заказывала мама, а именно: все порции щей, гречневой каши с морским языком, кутью, пирожки с капустой и мясом, выпили все графины компота из сухофруктов и все бутылки водки. В общем, погребели тарелками минут тридцать и разъехались по домам.

Больше я не считал маму предательницей. На оставшиеся тридцать семь дней переехал к ней и спал в одной кровати, чтобы не оставлять в одиночестве. Несмотря на то, что работа у неё дистанционная, она взяла отпуск и почти всё время спала. Мы жили с завешенными зеркалами. Максимка научился варить вишнёвый компот, кормил маму гречкой и рисом, пока та лежала без сил. Всё свободное время Максимка готовился к экзаменам. Раз в два дня спускался и помогал Соне. Я совсем не был счастлив оттого, что бабушка умерла. Мечтал, чтобы эти сорок дней быстрее закончились. После мы стянули белое тряпье с зеркал и, когда к маме вернулись силы, Максимка вернулся жить в бабушкину квартиру.

Теперь Максим понимал, что бабушкин пёс — никакой не Цербер, а советская игрушка, бабушкин слон — никакой не труп грудничка. Это мамины детские игрушки, уже раритет, которым стоило дорожить. Когда я открыл бабушкину чёрную книгу, оказалось, что это альбом с фотографиями, где есть маленькая мама, маленький я, молодой дедушка, свадьба родителей и все остальные, и все счастливые.

На девять дней дальние родственники не приехали. Не приехали и на сорок дней, как будто только и мечтали в день похорон взглянуть на бабушкин труп, поглумиться, пожрать и уехать.

От одиночества клеем слипались губы. Моё одиночество подменялось свободой. Моя свобода подменялась одиночеством. Раньше Максим бесился на отца, потом на маму, потом на бабушку, но никогда Максим не пробовал беситься на себя. Не думал, что смерть бабушки — никакая не цель, а подмена цели. Свою цель Максим забыл. Я пробовал жертвовать собой, но в итоге потерял себя. Мама и Соня тоже жертвовали собой, но себя не потеряли. Ухаживая за больным родственником, человек становится собой. Он освобождается от чужих идей и делает то, что говорит его сердце, пусть иногда и через силу. Теперь Максим помогает Соне от чистого сердца. Это выше практической пользы, но всё равно в первую очередь для себя.

Вот хотя бы сдать экзамены, поступить на историка — уже своя цель, пусть и низменная, но своя. Мне не смогут навязать чужой взгляд, поскольку я возьму за себя ответственность. Максим понимает, что находясь в вагончиках «школа — университет — работа», человек всё равно способен устроить свою жизнь сам. Самое главное, что я осознал, если бы бабушка была жива, Максим занимался бы своими делами. Всё могло быть так и без её смерти.

Максим будет расширяться. Мамина квартира наконец-то сменится улицей, улица сменится районом, район сменится городом, город сменится столицей, столица сменится другими странами. Я буду путешествовать и смотреть мир. Максим расширится настолько, насколько сможет. И главное — не лопнуть, чтобы годам к пятидесяти вернуться в родной Саратов.

* * *

Мой локоть намертво упёрся в парту, указательный палец вдавился в скулу и держал голову. Вторая ладонь была влажной, и мне казалось, что она — источник ветра. Я выставил её перед собой и увидел, как все линии, в том числе и линия жизни, покрылись пунцовыми пятнами.

Максим сидел в белой рубашке, с мокрыми кругами в районе подмышек. От меня пахло мандарином и морозной мятой, я залил себе в подмышки половину банки дезодоранта. Сегодня был последний экзамен. История. Наблюдательница, положив руки на парту, будто показательно, читала детектив в мягкой обложке. Вокруг меня были вылизанные, словно деланные на одном заводе фигурки, школьники. Только некоторые девочки и мальчики даже в такой значимый день пришли с сальной головой, неужели с ней можно думать?

В горле пересохло. Мне хотелось пить, как после долгой пробежки. Кулер с водой ждал меня в коридоре, но я не выходил до последнего, чтобы не создавать никаких подозрений. Мои потные пальцы самовольно стучали по столу гелевой ручкой, тихо выбивая простейший ритм, они делали это синхронно с ногой под партой. Я смотрел на окна с уродливыми шторами, завёрнутыми бантиком, в надежде, что из форточки подует ветер и станет легче дышать. Но от штор исходил лишь тусклый оранжевый свет.

Сто первый кабинет истории не оставил ни одной подсказки. Не видно даже корешков учебников, которые способны воспроизвести в голове все события русской истории, если, конечно, сам учебник читан. Никаких подсказок, исторических портретов, карт сражений, фотографий, только большой государственный герб и портрет президента.

Но я знал всё и без учебника. Максим знал всё, что нужно. Максим не относился к типу школьников, которые зубрят, чтобы даты ненадолго отложились в голове. Я мог назвать причины и следствия распада Российской Империи, мог объяснить распад Советского Союза, причины провала ГКЧП, что угодно.

Открыл билет.

А.21

В каком году закончилась вторая чеченская война?

- 1) 1996
- 2) 2002
- 3) 2009
- 4) 2014

Какие-то пустые циферки. Максим вспомнил отца. Рассмеялся и заплакал.

Надежда Келарева

Правдивее табуретки

* * *

Когда вокруг сплошное бездорожье,
Желают мне счастливого пути,
Любви, здоровья, уберечь, найти.
И Божий промысел почти как помощь Божья.

Куда помыслю, — рвётся, дребезжит,
Становится слепым союзом «если».
Ах, если бы сюда я не полезла!
Но жить ещё, но жить ещё и жить.

* * *

Только ручная кладь,
Только пустая клеть.
Нам ли не умирать,
Чтобы не умереть?

Всё, говорят, отдашь,
Не оберёшься впредь,
И не берёшь багаж,
И не спешишь стареть.

Очередь или ряд.
Встанешь ещё одним.
Веком — почти распят,
Богом — почти храним.

Келарева Надежда — родилась в 1998 году в городе Онеге (Архангельская область). Окончила Санкт-Петербургский государственный университет. Печаталась в журналах «Интерпоэзия», «Звезда», «Север» и др. Живёт в Санкт-Петербурге.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

* * *

Смеяться, кто кого переживёт.
Метафоры обшарпанный пролёт,
Окошко в жёлтую глухую стену.
— Никто-никто! Отсюда не умрёт!
— Досталось, довелось покуда даром,
Наверняка
И даром пропадёт.

* * *

Сквозь озеро зимы
Котомки волоча,
Потомком древних бед,
Наследником вины.
Но мягок каждый шаг,
Как шёпот, шерсть, щека,
Неси-неси мешок
Сквозь озеро зимы.

Не видеть ничего,
Метелью обернув
Уставшие глаза.

Ещё совсем чуть-чуть,
И будут пеленать
В сплошной февральский снег
И заново любить,
Другое имя дав.

* * *

Колонка ржавая. Замёрзшая вода
Вокруг неё стеклянными буграми.
И лай собачий где-то рядом с нами,
И пуще обещают холода...
Огромная морозная луна
Велит не уезжать, зовёт остаться.
И думаешь, какая глубина
Развёрнутого неба в минус двадцать!
И думаешь, какая простота:
Церквушка, лес, поля, дома, сугробы,
Которые на стыке «здесь» и «там»
Застыли, чтобы нас услышать, чтобы...

* * *

Рассасывая бессонницу,
Как таблетку,
Нащупаешь
Ограниченность
Табуретки,
Её пограничность,
Проводниковость,
Голую грубость
И грубую голость.

И ничего нет правдивее табуретки,
И ничего нет надёжнее табуретки,
И ничего — безнадежнее табуретки.

* * *

Это мы, это мы за столом, это мы, это мы
За прозрачным столом замолкаем, прозрачны.
Студёная
В дом заходит вода, чтобы контуры наши размыть,
Наше горе и счастье, одно от другого рождённое.

Ничего-ничего, это мы, это мы, это нас
Завела, завлекла, закрутила какая кривая.
Хорошо, на студёную воду синхронно ложаюсь...
Только я запинаясь за что-то и не успеваю.

* * *

То ли умерло, то ли марево.
Отголоском, не голосом,
Проговаривать:
У лисички боли
(Нет, пожалуйста, не боли!),
У собачки боли
(Нет, пожалуйста, не боли!).
И у них не боли, и у нас не боли,
Не боли-не боли-не боли.

Но останется
Воспалённое
Белой простынёй перематывать,
Через ночь валуном перекатывать,
Ожидая, что кто-то подует.

Даша Благова



Похоронный Отряд Бездомных Животных

Рассказ

Агата познакомилась с Настей и Колей в конце четвёртого класса, когда им всем было по десять лет. Город, где жили Агата, Настя и Коля, вытягивался сосиской между двумя горами и вмещал в себя четыре школы, одну поликлинику, один рынок и двадцать два санатория. Город-сосиска не имел торгового центра, парка с аттракционами, большого батута и стадиона, зато был со всех сторон сдавлен лесом. Дети в городе-сосиске всегда скучали и после школы проваливались в компьютеры до тех пор, пока с работы не придут родители.

В конце мая Агатин компьютер закашлял и умер. Тогда она открыла дверь своего большого дома и пошла вверх по улице Змейской. Улица ползла от единственной площади с плешивым памятником, прогрызалась через Агатин сытый квартал, где все дома были большими и краснокирпичными, ныряла в кусок леса, из него прыгала почти вертикально и стелилась по предгорью между серыми и старыми домами. Оттуда навстречу Агате пошли Настя и Коля, которые искали что-нибудь съедобное и майское в чужих огородах. Агата, Настя и Коля встретились посередине их общей улицы, поназывали свои имена и стали дружить. Их дружба стала происходить возле заброшенного ларька у леса, Агата назвала это место Средиземьем, потому что однажды смотрела с папой «Властелина колец», и Коленастя согласилась, хотя про «Властелина колец» ничего не знали.

На второй день дружбы с Коленастей Агата прикатила к Средиземью свой велосипед и взяла две пачки чипсов. Коленастя не заметили велосипед, пока не съели чипсы. Мы не умеем ездить, сказала Настя, дохрустев чипсовыми крошками со дна пакета. У нас нет велосипеда, сказал Коля и высыпал чипсовую пыль в рот. Коленастя были непохожими друг на друга двойняшками и часто говорили «мы». Тогда велосипед нам не нужен, сказала Агата и больше ничего к Средиземью не прикатывала.

Даша Благова родилась в городе Минеральные Воды, училась на журфаке МГУ. Публиковалась в журналах «Дружба Народов», «Юность», «Прочтение», коллективных сборниках и альманахах. Автор романов «Течения» и «Южный Ветер». Роман «Южный Ветер» вошёл в длинные списки премий «Национальный бестселлер — 2022» и «Ясная Поляна — 2023». Участница проектов АСПИР. Живёт в посёлке Железноводский (Ставропольский край).

В «Дружбе народов» дебютировала в 2021 году (№ 8).

Средиземье было застелено побитым бетоном, между его осколками иногда выпрыгивала лава, а иногда осколки становились льдинами. Вокруг Средиземья пушилась и путалась трава, мрачный лес, зелёный водопад, водоросли и ядовитые черви, которых нельзя касаться. Но чаще всего трава становилась супермаркетом, какого в городе-сосиске никогда не было. В траве Агата, Коля и Настя находили бутылки, стёклышки, упаковки, блестящие штуки, резинки, шины, провода. Сначала в Средиземье был только пень-стол и шины-стулья, но когда на городские школы навалилось лето, застройка Средиземья пошла быстрее. Теперь там были навес-полиэтилен, полки-деревяшки, гирлянды-упаковки и главная площадь с бутылочным фонтаном.

Коленастя стали первыми близкими друзьями Агаты. Она вся была дёргающийся проводок, трепещущая мишура: Агата ела быстрее папы и за четвёртый класс разбила больше тарелок, чем за всю жизнь готовящая обеды-ужины мама. Агата подавляла своей энергией всех вокруг и могла придумать игру из одного лишь камня. Но как только начиналось пересчитывание, иерархирование и признание Агаты главной, она убегала. Из-за этого её считали странной и не достойной дружбы. Однажды учительница природоведения показывала всякие необычные камни: колючий кварц, карамельный сердолик, чёрный и по-жучиному блестящий оникс. Потом учительница достала из лотка ржаво-огненный, тигристый, самый красивый, что видела Агата, камень и сказала: «Смотрите, это агат, легко запомнить, потому что он рыжий, как наша Агата». На Агату вдруг посмотрели все глаза, что были в классе, в её сторону повернулись все головы. Агата поулыбалась, подпрыгнула, содрала с подбородка болячку и выбежала из класса. В Средиземье, к счастью, не было центров и предводительств, так что проблем с Агатиными сбеганиями тоже не было.

В бетонных трещинах Средиземья ползали жуки, оранжево-чёрные, просто чёрные, слегка зелёные, муравьиные. Это жучиная магистраль, сказала Агата, и Настя с Колей согласились. Как-то они провели два часа, всматриваясь в межбетонные передвижения и пытаясь отыскать жучиные пункты А и Б. Ой, бедненький, сказала Настя, и все посмотрели в щель, над которой она нависала. Там не двигался жук-пожарный, и его все обползали стороной. Надо его лечить, сказал Коля. Агата нашла пробку от пластиковой бутылки, Настя сорвала одуванчик, Коля положил жука в пробку и заткнул жёлтым цветком одуванчика. Через несколько минут одуванчик убрали, и тогда Настя заверещала, Коля запрыгал, а Агата обежала их три раза. Красно-чёрный жук дёргал лапками. Агата сказала, что ему нужна кислородная маска, и подула в пробку. Затем жука выпустили, и он похромал в свою магистраль. Так в Средиземье открылся жучиный госпиталь, в нём было десять коек-крышек и много разных лекарств для разных случаев: мелкоцветных, крупнотравных, душистых и без запаха. А ещё морг из двух спичечных коробок.

О том, что случается вечер, Агата, Коля и Настя узнавали по золочению бледного утёса, который торчал напротив их горы. Потом золотилась вся противоположная гора, и только когда начинал рыжеть загнутый кончик средиземского тополя, Агата собиралась домой и шла вниз: иногда улица Змейская опадала так резко, что пальцы сплющивались в сандалиях. Возле дома Агата выкапывала из горшка ключи, отпирала дверь и каждый раз замирала перед домовыми внутренностями. До того как стать уличной, Агата не замечала, каким гладким и глянцевым было её жилище, придуманное

мамой, утверждённое папой, обставленное ими обоими и натираемое приходящей раз в три дня тётёй Лидой. Агата сразу же, на пальцах, проскакивала в ванную и смывала с себя приключения. Потом грела ужин, мыла за собой тарелку, иногда её разбивала, и садилась ждать маму или папу. Вместе в не-ночное время они приходили редко, чаще по очереди.

Мама и папа Агаты занимались зарабатыванием денег, и больше ничем. Они вели списки всего на свете, потому что ни одно домашнее дело не влезало в их головы, затопленные работой. Некоторые списки, например, с продуктами, иногда отдавались тётё Лиде, чтобы она готовила, если мама не может. Однажды мама пришла домой, обняла Агату, поцеловала, принялась к волосам и сказала: «Тётя Лида жаловалась, что ты всё время где-то гуляешь. Я беспокоюсь, ты же раньше была домашней». Тогда Агата зажмурилась и выплюнула, что теперь у неё есть лучшие друзья Коленасти, они двойняшки и живут почти совсем на горе. Мама помолчала, похмурилась. «Я же знаю их маму! — вдруг Агатиная мама улыбнулась. — Мы сотрудничали с её заводом и даже созванивались после родов, но в декретах потерялись». Мама добавила, что надо бы им с Коленастиной мамой снова пригласить, раз дети так дружат.

Про родителей Коленасти Агата почти ничего не знала, но как-то поняла, что мама их не работает, в доме никакие пожилые женщины вроде тётё Лиды не убирают, а ещё Агата два раза видела их папу, взбирающегося по Змейской улице в серые нагорные дома. Руки Коленастиного папы были большие и в кровавую сеточку, ногти чёрные, лицо в серых каплях, а брови жирные и лохматые. Он махал Коленасте, они махали в ответ, никто ничего не говорил, и все продолжали заниматься своим. Через три дня, то есть через два вечера с папой, мама пришла домой и сказала, что у неё не получается пригласить маму Коленасти. «Странновата она стала, — сказала мама. — Не от мира сего». Но мама всё равно решила, что лучше пусть Агата играет во дворе Коленасти, потому что их мама не работает и сможет за ними присмотреть. «Только ни в коем случае не ходи в уличный туалет, если он у них остался, — сказала мама. — Там могут быть осы и прогнивший пол, только так провалишься».

На следующий день Агата, Коля и Настя уплыли из Средиземья на эльфийской ладье, прихватив с собой несколько самых красивых бутылок. У нас полно всякой всячины, сказал Коля. А трава ещё выше, сказала Настя. Они тоже жили в большом доме, он был немного меньше Агатиного и походил на него двухэтажностью. В остальном всё было противоположным. Коля и Настя провели экскурсию: первый этаж был непричёсанный, весь разлохмаченный, на полу кухни стояла коробка с мультиваркой, не распакованная, но с паутиной в три слоя. В комнату Коли и Насти толпилось много игрушек, дорогих и поблёскивающих, но тоже в основном не распакованных. Бери, если что-то нужно, сказала Настя. На лестницу Агату не повели, потому что проход на второй этаж был затянут пыльным полиэтиленом. Наверху нет ремонта, сказал Коля. Но нам и тут места хватает, сказала Настя. Также Агате показали туалет и разрешили заходить туда в любое время. Мама Коленасти была в своей комнате, к ней стучаться не стали. После экскурсии Агата, Коля и Настя вышли наружу. Вместо двора или огорода там был сплошной луг, разрезанный каменной дорожкой и примятый в нескольких местах уличным туалетом, мангальной площадкой, досками, строительным мусором и горой из огромных колёс.

К концу июня, когда случился переезд, Агата начала читать «Гарри Поттера» между смыванием с себя приключений и приходом мамы или папы. Поэтому, раскладывая вокруг колёс бутылки из Средиземья, Агата сказала, что теперь они живут в Дырявом Котле. Но Настя и Коля не читали и не смотрели «Гарри Поттера», они даже не знали, что такое «котёл». Это как кастрюля, только круче, сказала Агата. Тогда пусть наша крепость и называется кастрюлей, сказал Коля. Пусть будет Старая Кастрюля, котёл мы не запомним, сказала Настя.

Мама коленасти действительно всё время была дома, но совсем не смотрела за детьми и занималась какими-то своими бесшумными делами, в основном в компьютере. Однажды Агата спросила, почему их мама такая тихая. Она на больничном, но раньше работала на заводе и была там важной, сказал Коля. Только мы этого не помним, потому что завод испортил маму, когда мы были маленькие, сказала Настя. Папа говорит, что раньше мама была весёлая и пела в грузинском хоре, сказал Коля. Ну, а теперь невесёлая и даже заразила папу, сказала Настя.

Коля и Настя проживали на улице все свои дни. Ещё до Агаты они сделали крепкий шалаш из досок и металлических листов, уложили там фанерный пол, закрыли его одеялом и сложили внутри все фонари, что нашли, правда, ни один из них не работал. Коля и Настя ходили только в уличный туалет и мыли руки без мыла под дёргающимся огородным краном. Агата, как и обещала маме, делала свои дела только в доме. Раз в несколько дней она видела Коленастину маму, худую и голубоватую, иногда та говорила «здравствуй», но чаще не замечала Агату. Однажды вечером, перед уходом домой, Агата забежала по-маленькому и заметила, что дверь в комнату коленастиной мамы открыта. Агата, конечно, заглянула: перед пёстрым экраном сидела женщина в ночнушке и двигала только рукой. Под её кистью щёлкала мышка, с каждым щелчком изо рта экранной лягушки вылетал шарик и лопал другие шарики такого же цвета.

Агата сделалась всегда-голодной, потому что от Дырявой Кастрюли до её дома было сильно дальше, чем от Средиземья, и она совсем не забегала на обед или перекус. Коленасти не голодали, они просто вставали посреди дня и шли на заброшенные дачи, а когда в июле появились абрикосы и яблоки, им стало совсем сыто. Но Агата к такому не привыкла и спросила, почему их никогда не зовут на обед. Мы только завтракаем и ужинаем, обед мама не готовит, сказал Коля. Просто папа завтракает и ужинает дома, сказала Настя. Мама Агаты раз в неделю привозила в Старую Кастрюлю всякие продукты, но из них ничего не готовили. Дома Агата врала, что питается хорошо и за одним большим столом с Коленастей и их мамой.

В середине лета обитатели Старой Кастрюли учредили Клуб Любителей Ящериц. Ящерицы часто прошмыгивали по каменной дорожке придомового луга, иногда насакивали на пупырчатые от комаров ноги, бывало, усаживались на тракторные колёса и смотрели в солнце. Агата, Настя и Коля решили сначала любить одну конкретную ящерицу, окружить её заботой и с помощью волшебных трав сделать сильнее и, может быть, даже умнее. В тот же день Агата поймала ящерицу и назвала её Гермियोной, а Коленасти сунули её в двухлитровую бутылку, которую заранее выстлали изнутри мхом, травой и камешками. Закрутили продырявленную крышку. Сели писать кодекс в новой тетрадке. Любить, охранять и уважать ящериц. Не вредить

ящерицам, даже если это будет стоить нам жизни. Стараться сделать ящерицу сильнее и умнее любимыми способами. После этого в бутылку пихнули несколько волшебных цветков, налили немного воды, чтобы мох был влажным, и снова закрутили крышкой. Когда вся противоположная гора зазолотилась, Настя спросила, а что получится, если ящерица станет огромной. Наверное, динозавр, сказала Агата. Главное, успеть пересадить её в пятилитровку, сказал Коля. Бутылку с тихой, чуть ползающей туда-обратно ящерицей положили в штаб, то есть в шалаш, и разошлись по домам.

Когда утром Агата пришла в Старую Кастрюлю, лица Коли и Насти, особенно в окологлазье, розовели и поблёскивали. Агата всё сразу поняла и тоже заплакала, они втроём обнялись, а после сели на колёса и решили, что Гермину нужно похоронить в красивом месте и, наверное, прямо в её пластиковом доме. Агата вылезла из штаба с бутылкой, прижатой туда, где колотится сердце, а Коля и Настя встали по бокам. Процессией, они пошли наверх, где кончалась Змейская и где никто из них пока не бывал.

Над Агатой, Колей и Настей навис лес, он становился темнее и понемногу стирал тропинку, которая, отползая от больших камней, всё время подпрыгивала. Не заблудиться бы, сказала Настя. Давайте кидать листья, чтобы по ним выйти обратно, сказала Агата. Остановились. Агата держала пластиковый гробик, а Коленастья принялись ощипывать подрагивающее дерево. Потом пошли дальше, добавляя свежую листву в тропиночную, засохшую. Душно пахло разноцветьем, грязной водой и грибами. Коля и Настя сделались совсем тихими, Агата тоже молчала, но шумела всем телом, потому что дёргалась больше обычного, спотыкалась и делала шаги разной длины. Тропинка увела совсем вверх, на площадку, за которой был свет. Агата, Коля и Настя, хватая друг друга за ладони, вытянулись к свету и ещё через десяток шагов нашли себя на утёсе.

Верхушка утёса, на которой они оказались, была вся травянистая и бездеревная. Противоположную гору было видно всю, а ещё было видно, как в её древесно-пушистое тело врезается белый пояс из зданий. Это даже не сосиска, а кишка, сказал Коля, и все засмеялись, будто не были похоронной процессией. Смотрите, сказала Агата и показала свободной рукой чуть правее. Все перестали смеяться, потому что увидели драконью спину, горный хребет, высоченный и колючий. Никто из жильцов Старой Кастрюли не бывал там, хотя в школе только и говорили о поэте, который как раз там бывал, а потом умер за соседней горой. Вау, сказала Настя. Вау, сказал Коля. Ни фига себе, подтвердила Агата.

Ящерицу закопали уже совсем без слёз. Вряд ли бы Гермину сюда добралась, сказала Настя. А теперь будет смотреть в такое небо, сказал Коля. Бутылку с ящерицей пропихнули в землю и засыпали горкой, и тогда Агата, Коля и Настя легли на траву. Небо было и правда такое. Синее, как жвачка-тянучка, от которой язык красится на весь день. Как лист цветной бумаги. Как одинокая рыбка-петушок в Агатином аквариуме и как мамины топазовые серьги, которые однажды вставляла в свои уши Агата. Надо будет поставить ей крест, сказала Настя. А она крещёная, спросил Коля. Ну, наверняка крещёная, сказала Агата. В тот момент все поняли, что Клуб Любителей Ящериц закрылся навсегда.

Агата, Коля и Настя то сидели, то лежали в нагорной траве, из которой ветер целыми днями плёл косы. Им не хотелось уходить с утёса, хотя утёс был точно не для детских тел. Хорошо, что нас никто не ищет, сказала Настя. Хорошо, сказала Агата. Они смотрели то на хребет, то на город, много молчали, а иногда говорили. А что если весь мир провалится и останутся только наш город и наши горы? Как будем жить? Хватит ли нам двух речек и двух гор? Наверное, мои мама и папа перестанут работать за горой, и тогда вы сможете играть в нашем дворе. И наш папа не будет работать, а мама, может быть, повеселеет. А ящерицы убегут? Куда им бежать, они останутся тут.

Спуск с утёса решили начать до золочения противоположной горы, хотя всем очень хотелось посмотреть на затемнение неба и дотянуть до искорок на нём. В другой раз, сказала Настя. Когда возьмём фонарики, сказал Коля. Идти в Старую Кастрюлю было легче, потому что тропинка то падала, то сползала. Настя теперь шла впереди, и когда она вдруг встала, в неё вплющился Коля. Возле Настиной сандалиии лежал серый растормошённый комок. Он шевелился и имел клюв, потому Настя и остановилась. Бедненький, сказала она. Нельзя его здесь бросать, сказал Коля. Совсем маленький, сказала Агата. Птенца назвали Бубльгумом, положили в лопушиный лист и понесли в Старую Кастрюлю.

Бубльгума посадили в обувную коробку, лечили молоком, водой и травами, кормили пауками, червями и хлебом до золочения всей противоположной горы, почти до темноты, до писка из Агатино телефона, который приказал идти домой. Её будильник звонил минут за двадцать до прихода кого-то из родителей, чтобы она успела сунуть «Гарри Поттера» в ряд других «Гарри Поттеров», помыть посуду, потереть какую-нибудь глянцевую внутренность дома и причесаться. Агата прибежала домой и успела только смыть с себя приключения. Она обрадовалась, что пришёл папа, а не мама: папа не ковырял холодильник, чтобы проверить, поела ли Агата.

На следующее утро птенчик умер. Коля и Настя рассказали Агате, которая то выпускала, то всасывала обратно нижнюю губу, что им даже помогала мама. А потом, когда Бубльгум высоко вытянул лапы и перестал моргать, мама поводила мышкой, почитала в интернете и сказала, что настолько новенькие птички почти всегда умирают у людей дома. В этот раз никто не рыдал, слёз было чуть-чуть. Агата отыскала на придомовом лугу консервную банку, а Коля и Настя положили внутрь птичку, перевязали банку верёвкой и подсунули под неё штук десять маленьких букетиков. На утёс поднимались так же молча, но Коленастя уже не разбрасывали листья, а Агата шагала равномерно. Консервную банку закопали почти на самом краю, чтобы Бубльгум мог смотреть на лес.

После похорон, прямо на кладбище, Агата, Коля и Настя провели совещание. Решили, что лечить животных, а также помогать им стать сильнее у них не получается, поэтому надо с этим закончить. Снова то лежали, то сидели, то говорили, то молчали, в основном смотрели в топазное небо. Животные умирают каждый день, сказала Настя. Хорошо, если в лесу, здесь им спокойно, сказал Коля. А если в городе, куда их потом, спросила Агата. На помойку, сказали Коленастя хором. В Агатину голову стали острыми осколками вползать городские помойки, раскуроченные и страшные, засыпанные трупами. Мокрый котёнок с открытым ртом. Клубок из собаки. Несколько

рванных крыс. Из Агаты стали вырываться звуки, звуки нарастали, всхлипывали, а лицо совсем намокло. Коля и Настя навалились на Агату и стали гладить ей спину, голову и плечи. Когда Агатины рыдания прекратились, она объявила, что будет приносить трупы городских животных на утёс и хоронить их тут. Вы со мной, спросила Агата, размазав прозрачные сопли по ладони. Коленастья встали и запрыгали, закричали, что это суперская идея, что как же они сами не додумались, что это то, в чём они точно не налажают. Потом снова улеглись и теперь всё время не замолкали, совещались, продумывали. Решили назваться Похоронным Отрядом Бездомных Животных. Перед самым золочением противоположной горы Агата, Коля и Настя встали, чтобы ещё раз взглянуть на драконову спину. Интересно, а на Кавказском хребте может быть настоящее Средиземье, спросил Коля. Я думаю, там оно и находится, сказала Агата.

Мёртвые животные сами по себе не попадались, и Агата, Коля и Настя стали искать их на улице Змейской. К третьему дню они нашли первый труп. Это был блин из ежа, раскатанный по асфальту, где ездили машины. Но пока Агата, Коля и Настя добежали до Старой Кастрюли, отыскиали на придомовом лугу лопату, вытянули из кухонных куч пакеты и вернулись обратно, ежовый блин уже куда-то делся. Члены Похоронного Отряда решили, что такого допускать больше нельзя и что запихивать животных в какой попало мусор тоже нельзя. Вечером в Агатин глянцевоый дом пришла мама, и Агата сказала, что к продуктам надо добавить мусорные пакеты, потому что у Коленастиной мамы они закончились. «Блин, они же не нищие совсем уже, — ответила мама. — Ладно, возьми в кладовке наши». Агата задёргалась, даже подпрыгнула, и спросила, а вдруг есть ещё и резиновые перчатки, это уже им с Коленастей надо для огорода. «Бери, раз для огорода, — сказала мама. — Только внеси всё это в список покупок, пожалуйста, и положи на тумбочку для Лиды».

На следующий день Агата, Коля и Настя положили всё нужное в школьный рюкзак и впервые сошли все вместе с улицы Змейской. Сначала уходили ненадолго, границы поисковой операции расширяли медленно, чтобы не заблудиться и не попасться родительским знакомым. В первый же день нашли дохлую мышь, раздутую, а чтобы больше не вдыхать сладко-трупное, не стали её вкладывать в гроб и закопали прямо в пакете. Потом отыскался голубь, целый, сухой, ему подобрали гроб из трёхлитровой банки. Третий день был очень грустным, потому что Агата, Коля и Настя набрали на заброшку и нашли там двух мёртвых котят, малюсеньких. Настя всё-таки поплакала, так что всеми траурными приготовлениями занимались Агата и Коля. Котят похоронили вместе в обувной коробке, цветы положили и внутрь, и сверху гроба, а для украшения могильного холма Агата украла соседскую розу, продырявив шипом палец.

Поиск мёртвых животных и похороны выедали целые дни, полностью. Одна ходьба по новым улицам, к Старой Кастрюле и на утёс занимала несколько часов. Агата так уставала к вечеру, что иногда даже не читала «Гарри Поттера», хотя там происходил Святочный бал. А во время вечерних бесед с родителем, которые проводились с ней виновато и потому в обязательном порядке, напрягала все глазные мышцы, чтобы веки не слиплись. В один позднейколюский день члены Похоронного Отряда провели совещание и решили, что будут работать в графике один-три. Коленастья объяснили, что так когда-то работал их папа и что это, кажется, значит, что три дня они будут искать и хоронить животных, а один день ко всему этому готовиться.

В первый непоисковый день Коля сразу же принялся чертить кресты, потому что они до сих пор ни один не воткнули, хотя обещали это ещё Гермione. Коля выдумывал способ делать кресты быстро и красиво и к концу дня почти выдумал. Настя села сочинять отпевания: она иногда писала стихи, а ещё слышала, что отпевания на похоронах необходимы. Агата шелестела на придомовом лугу, трава которого уже закрывала её всю, даже прямо стоящую, и искала что-нибудь для гробов и крестов. Вечером Агата утвердила почти готовые Колины чертежи и размазала слезу от некоторых Настиных отпеваний. Одно из них пригодилося уже назавтра. Его, как положено, пели — все втроем и наизусть.

Прощай же, голубь, друг наш вечный.
Мы думали, что ты ведь бесконечный!
А ты весь умер и лежишь,
Зато ведь в рай ты шас летишь.

К середине августа Агата, Коля и Настя похоронили ещё восемь голубей, двух ворон, одну сойку, семь мышей, трёх крыс, одного ежа, одного котёнка, трёх взрослых кошек и одну небольшую собаку. Иногда поисковая операция приносила по два-три трупа, и это радовало Агату, Колю и Настю. Также к середине августа Коля сделал сорок один крест из дощечек, палок, верёвок, иногда гвоздей. Настя написала чуть больше двадцати отпеваний (поэтому иногда приходилось их повторять). Агата нашла всем гробы и всегда участвовала в их украшении. Самым любимым был предзолочёный час на утёсе, когда можно было лежать, смеяться, есть ягоды, болтать про всё на свете, мечтать, как вместе поедem на хребет, отыщем Средиземье, а когда вырастем, сделаем корабль и уплывём в Москву или Лондон и будем там жить. Два раза предзолочённые часы портились, когда вдруг прибегал сильный, выдёргивающий кресты ветер, приходилось сползать с утёса раньше времени. В такие разы из-за противоположной горы, над левым холмом, начинало размазываться рыже-красное облако. Коленастья сказали, что это от завода, который испортил их маму.

В августе у Агаты случился вечер с мамой и папой сразу. Они решили поговорить о скорой школе и о том, что стоит вернуться в художку, которую Агата бросила ещё в мае. «Осталось три недели, с ума сойти, — сказала мама. — Мы ведь даже не составили список к школе». Агата ненавидела тяжёлый мольберт, кнопки для листов, о которые всё время колола пальцы, неразминаемый пластилин для художников и гуашевую вонь, так что попросила родителей не возвращать её в художку. «И чем же ты будешь заниматься после школы? Может, отдадим тебя в музыкалку?» — спросил папа. Агата ответила, что они с Коленастей придумают, чем заняться, дел на самом деле много. «Эти дети хороши для игр», — папин голос похолодел. «Тебе нужно иметь более приличный круг общения, чтобы стать достойной взрослой», — разрежала глянцевоый воздух мама.

В день выпиливания крестов, поиска гробов и сочинения отпеваний Коля сказал, что нужно расписать план на осень, учитывая скорую школу. Агата сказала, что пойдёт в художку, и времени у неё почти не будет. Ты собираешься стать художницей, спросил Коля. Не-а, не стану, у меня плохо получается, сказала Агата. Тогда зачем тебе туда ходить, спросила Настя. Мне незачем, просто в художке пятидневка, сказала Агата. А мы никуда не ходим, после школы гуляем, сказал Коля. Зимой играем в компьютер, у нас есть свой отдельный, сказала Настя. Агате вдруг стало тесно внутри своего тела,

она встала и пошла в траву. Когда Агата вышла к штабу с консервной банкой, то попросила Коленастю узнать у родителей, могут ли их перевести в её школу. На следующий день Коленастя объявили, что их никуда не переведут: в Агатиной школе поборы.

В сентябре Агата и Коленастя разорвались и осели в разных школах. Агате пришлось влезть в тёмно-синюю форму, которую носили все её одношкольники, а ещё сутулиться, чтобы учебники в рюкзаке не так сильно сталкивали её лопатки. Учителя были улыбающиеся и иногда показывали опыты, но Агате было вязко. Вся эта школа, звонки, жёсткие парты и физкультурные мячи, летящие только в голову, вталкивались внутрь Агаты вместе со столовскими котлетами и тащились следом в художку вместе со стучащим по асфальту тубусом. В художке было не так режимно. В классе учились даже пятнадцатилетние, совсем взрослые, они часто отпрашивались к репетиторам и куда-нибудь ещё. Агата была самая маленькая, но тоже отпрашивалась, чтобы скорее зажить своей настоящей жизнью.

Сентябрь пробежал быстро, он был совсем не дождливый, даже греющий и не требующий курток. Коленастя ждали Агату возле художки, иногда подолгу, при встрече все втроём обнимались, хотя летом обнимания происходили только в грустные моменты, и сначала шли за едой. Агата теперь обедала в школе, но вместе с Коленастями всё равно воровала груши, яблоки и виноград. За весь месяц они нашли и похоронили несколько разных птиц и одну собаку, школа откусывала от жизни слишком большие куски.

С Агатой случился пятый класс, теперь она могла ходить по всей школе и бывать в разных учительских пещерах, где из взрослых голов выходили всякие слова-уроки. Агата не заметила, как все её одноклассники повзрослели и начали обновлять младшешкольную дружбу, сбиваться в девичьи или мальчишечьи комки. Агата так ни к кому и не примкнула. Она поняла, что пропустила ревизию дружбы, только когда на неё озлобилась многочисленная компания рослых девочек. В ней предводительствовала Марина, она была особенно крепкая и большая, как холодильник. Однажды Марина назвала Агату ржавой, и остальные рослые девочки повыпускали из своих ртов хохот и взвизгивания. Агата промолчала и не заметила, что это было оскорбление.

Первого октября у Агаты был день рождения. Родители заплатили взрослому кафе с детским уголком, чтобы там веселили и кормили сладким Агату с её друзьями. Заказали восемь мест, но пришли только Коленастя и ещё одна девочка, у которой тоже не получилось приклеиться к группе. Одиночка принесла Агате три новых паззла и неновую «Таню Гроттер», которую Агата сразу решила никогда не читать. Коленастя подарили робота на батарейках, совсем нового и яркого, дорогого, — правда, Агата видела его в Коленастиной комнате ещё в июне. После праздника мама забрала Агату и заодно развезла по домам сразу всех её гостей. «Тебе надо больше общаться с ребятами в школе, — сказала вечером мама. — Ты же раньше со многими по крайней мере приятельствовала». Агате исполнилось одиннадцать лет, и она специально не спала до полуночи, чтобы дожидаться совы из Хогвартса. Сова не прилетела ни ночью, ни утром, но Агата не сильно расстроилась, потому что, во-первых, изначально сомневалась в том, что сова прилетит, а, во-вторых, ей теперь не надо было

беспокоиться, как упротить Дамблдора взять в Хогвартс Коленастю, если окажется, что они маглы.

В октябре случился дождливый день, и Агатин класс остался в зале на физкультуре. Тренер сказал, что все будут учиться залезать на канат, и выстроил очередь. Агата не заметила очередь и, хотя стояла в середине, подошла к канату первой и пролезла своим телом до самого верха, съехала вниз, споткнулась о чью-то ногу и упала на четвереньки. Весь класс задрезжал и начал смеяться. Агата поднялась и нашла возле своего лица лицо Марины, которая стала орать, что Агата обезьяна, ржавая сковородка и красножопая макака. Класс ещё сильнее задрезжал. Ты ещё пожалеешь, что влезла без очереди, почти прошептала Марина. После урока физрук отвёл в сторону Агату и стал говорить что-то про скромность и гордыню, которая смертный грех. Агата ничего не поняла, а когда зашла в раздевалку, где уже никого не было, увидела, что её вещи разбросали по всей комнате так, будто Агатин пакет с синей формой и всем остальным взорвался, а майка вообще висела на люстре. Агата решила не просить физрука доставать майку, надела блузку и форму на голое тело, пообедала в столовой и пошла под морось сразу к Коленасте.

Коленастя нашлись в Старой Кастрюле: уроки закончились, а идти к Агаатиной художке было ещё рано. Они ничего не спросили, просто Коля взял Агатин рюкзак и отнёс в дом, а Настя дала перчатки и мусорные пакеты. И дождь, и морось уже закончились, так что Агата, Коля и Настя пошли сразу к большой улице, самой нижней и самой центральной, и почти сразу нашли мёртвого, чуть грязного, но в целом белого кота. Агата решила поднять его сама. Одну ладонь подсунула под котячью голову, другую повернула так, чтобы она была параллельна телу, и втиснула её посередине. Коля держал пакет раскрытым, Настя ему помогала, чтобы пакет не надул и не вывернулся. Агата вложила труп кота в полиэтилен и дёрнула головой вверх. Прямо над ней, за Коленастей, стояла Марина-холодильник, она не обзывалась, не улыбалась и не смеялась. Посмотрела и просто ушла.

Со следующего дня Агату стали называть труповозкой, моргодевкой, ржавым катафалком и просто чокнутой. Сначала Агата специально молчала, но когда обзывания стали выползть даже из мальчиков, в Агаатином животе, а может, в голове, треснул бетон. Она закричала, что вы все гадкие, вам никого не жалко, а мне животных жалко, их же выбросят на помойку, а мы с Коленастей их хороним, чтобы им было спокойно. Сами вы дураки, сами вы чокнутые, ненавижу вас всех! Марина подняла себя из-за парты, подошла к вскочившей, дёргающейся Агате и просто её толкнула. Агата ударилась попой об угол парты, вскрикнула, подпрыгнула к Марине и тоже её толкнула. Агата никогда в жизни никого не толкала, поэтому её толчок особенно разозлил Марину и других рослых девочек, они вместе повалили Агату на линолеум и стали её бить ладонями, шлеп-хлобысь-бах, по голове, животу, рукам, коленкам, в основном по голове и животу. Когда Марина пнула Агату, сначала чуть-чуть, будто проверяя на упругость, а потом подняла над ней ногу, её и ещё двух девочек оттащили мальчишки, остальные девочки разлетелись сами. Мальчишки помогли Агате подняться и сесть на стул, но сразу после этого отошли и больше на неё не смотрели.

Вечером был папа, и Агата сказала ему, что больше не хочет ходить в свою школу, а хочет ходить в Коленастину. Обычно папа был подсушенный, безмышечный

и бескровный, он напоминал Агате живую ель в конце марта, которую так и не вытащили из дома. Папа, как и мама, уставал и поэтому никогда не кричал. А тут закричал. Я знаю, что ты прогуливаешь художку, ругался папа. А ещё классная сказала, что ты взяла труп кота и куда-то его понесла, ругался папа. Вместе со своими дебильными друзьями! Папа почти орал. Вы там что, чучела делаете? Опыты проводите? Может, сами убиваете?

Папа навсегда, совершенно, бесповоротно запретил Агате ходить к Коленасте, а ещё сказал, что со следующей недели у Агаты будет няня, хотя она и с трудом втискивается в бюджет. «Твоё будущее почти загублено, — папа говорил уже тихо. — Без гувернантки нам никак». Тогда внутри Агаты осыпался весь бетон, до песчинки. Она начала швырять по сторонам, не в папу, а просто, пульт от телевизора, стеклянную вазу, «Гарри Поттера», «Таню Гроттер», вилку, учебник по математике, ручку, всё подряд, и швыряла до тех пор, пока все её тело не обнял папа. Агата успокоилась, и тогда папа вложил её, неумытую, в гостевую кровать на первом этаже. Через несколько минут Агата услышала, как он кому-то звонит. «Я больше не разрешаю своей дочери ходить к вам в гости и дружить с вашими детьми, — говорил папа. — Прошу понять, что у неё другие интересы и цели в жизни». Потом папа вошёл в комнату, где лежала Агата, и спросил, хочет ли она в свою кровать. Агата ничего не ответила, и папа ушёл.

Агата не спала, но и не двигалась, несвое одеяло давило сверху, несвой матрас давил снизу, она вся была как ежиный блин, только с вытекающей из глаз водой. Пришла мама, и Агата услышала, как папа сказал, что вложил её в гостевую кровать, чтобы скорее успокоить и не тащить на второй этаж. Четыре родительские ноги застучали по лестнице, тогда Агата смогла выкрутиться из давления и сползти на пол. Она открыла окно, выковыряла комариную сетку, встала на подоконник и прыгнула в траву. В их огороде не росло ничего съедобного, а земля была каменно-твёрдой, так что ногам сделалось больно. Агата решила специально замёрзнуть, чтобы заболеть и не идти завтра в школу, а может быть, даже умереть. Она легла в подмоченную траву и увидела небо. Такое небо. Ониксовое, как камень на уроке природоведения, высоченное, как миллион гор, и живое, шевелящееся, подмигивающее Агате всеми звёздами, кучками и полосками звёзд. А что если это не звёзды, а самый светлый свет, такой сильный, что проделывает дырки в ониксовом небе. Что если небо окажется просто решетом. Вдруг небо когда-нибудь совсем продырявится и я увижу самый светлый свет. Агата заулыбалась этой фантазии, подумала, что надо не забыть рассказать про неё Коленасте, и снова заплакала. От слёз мёрзли щёки, ступни уже болели и, наверное, собирались отколоться, спина насовсем прилипла к земле. Агата поняла, что очень хочет пописать. Она еле-еле оторвала спину от земли и села. В Агатином кармане вдруг дрогнул телефон.

пишем с папеного не отвичай нам все ровно что сказал твой папа завтра придем к тебе в школу после второго урока

Агата вскочила вся, резко, подпрыгнув. Отыскала уличную табуретку, приставила к стене и влезла обратно в окно. Разделась до трусов, скользнула под мягкое, большое одеяло, провалилась в матрас и уснула. Лишь бы теперь не заболеть, успела подумать Агата.

Утром ни одного родителя в доме уже не было. Зато была рисовая каша с бананами, шоколадка, нарезанный батон и малиновое варенье, а рядом — записка. «Хорошего дня, доченька. Угощайся. Люблю, мама». Агата никогда не получала таких записок и не поверила, что эта настоящая. Она выбросила бумажку, съела кашу и положила в рюкзак шоколадку. Агата вышла во двор и сразу же посмотрела на новое для неё, рассекреченное, очень любимое теперь небо. Но небо вдруг сделалось желтоватым и мутным, как безмясные куски холодца. Это было не дождливое и не преддождливое небо, а совсем чужое. А что если его заменили, потому что я раскрыла секрет, испугалась Агата, но тут же сказала себе, что это — полная ерунда.

В класс Агата зашла совсем согнувшись, прибито, специально перед самым звонком. Но когда начался урок, стало понятно, что никто не собирается её обзывать или бить. Даже учительница едва вертела слова на языке и роняла их невнятными ошмётками. Половина одноклассников положили головы на парты и спали. Марина моргала медленно и даже не смотрела по сторонам. Урок еле катился, но всё никак не докатывался. На тридцать третьей минуте кабинет вдруг порыжел, заоранжевел, как будто в него стали светить через пивную бутылку. Звонок зазвенел как будто тоже медленнее, либо так казалось Агате, ей вдруг тоже сильно захотела спать. С концом урока все проснулись и посмотрели в окно. Там стало ещё оранжевее. Весь класс и даже учительница вышли на улицу.

Небо вилоось спиралями, красно-рыжими, коричневыми и жёлтыми, всё вокруг, каждый предмет и каждое дерево, поржавело. Машины, асфальт, баскетбольное кольцо. Это пыль или так свет падает, услышала Агата старшеклассницу. Всё вместе, мне кажется, ответил старшеклассник. Дети и уже почти выросшие дети, учителя и другие взрослые стали выдавливаясь из здания, тянуться наружу, липко и долго, как жвачка. Все теснили всех, и скоро вся школа толпилась на улице.

Агата была первой, кто посмотрел не в небо, а, как она привыкла, вниз, на асфальт. Весь школьный двор, до самых ворот, а также за воротами, до дороги, всё было в объёмном, жутком узоре. Агата услышала, как кто-то верещит. Потом ещё кто-то. И ещё. Это же мёртвые птицы! Мёртвые птицы! Птицы! Мёртвые! Теперь все смотрели на асфальт, многие кричали, кто-то начал плакать. Агата почувствовала, что на неё навалились, обняли, что вокруг неё сомкнулись. В середину школьного двора прыгнула чёрная кошка и стала играть с дохлой вороной. Интересно, а кошка умрёт, спросил Коля в Агатино левое ухо. Не знаю, посмотрим, ответила Настя в Агатино правое ухо.

Первой от школьной кучи отсоединилась Марина, она спустила себя с крыльца и сделала три шага вперёд. Её тело-холодильник качнулось, и дальше шагать Марина не стала. Она села на корточки, взяла раньше белого, а теперь рыжего голубя и повернулась к Агате всем телом, своим и голубиным.

— Куда нести?

Рассказы

Тула (Московский) — Москва (Курский)

Я разглядывал свои отражения в многократно колотых витражных зеркалах на каске тульского железнодорожного вокзала. Женщина за желтоватым стеклом не торопилась выдать билет. Она недоверчиво рассматривала мой студак, будто подозревала в его подделке. Молча, с некоторой ленцой, всё-таки протянула билет.

— Спасибо, с наступающим!

Ответа не последовало...

Мороз был несильный, но я чувствовал его через тонкие осенние ботинки. Прошлогодние зимние расклеились, а новые покупать не стал. Экономия! Зиму в этом году обещали не самую холодную.

До электрички оставалось полчаса. Саша предложила зайти за кофе, чтобы согреться.

Мы прошуршали между ларьков и сунулись в один из них почти наугад.

Среди разнобоких бутылок «брендового» алкоголя с подозрительно кривыми этикетками и ржавеньким самогонным остатком на дне неуместно встал кофеинный аппарат.

— Латте, пожалуйста.

— Пожалуйста!

Полная женщина-кассир оживилась, признав в нас клиентов, а не просто бедных студентов, зашедших погреться.

— А вам? — обратилась она ко мне, улыбаясь через один золотыми зубами. Я вежливо отказался.

Неровно не то забулькала, не то загремела кофемашина.

Женщина треснула по ней кулаком, это сработало.

Мы недоверчиво смотрели, как кофейная жидкость (иначе это было назвать сложно) стекала по стенкам бумажного стаканчика.

В следующую секунду холод распахнул перед нами дверь. Снежный смерч крутанулся под ногами. Мы поспешили на перрон.

Волынская Елизавета Андреевна родилась в 2001 году в Туле. Окончила ТГПУ им. Л.Н.Толстого (факультет русской филологии и документоведения, кафедра русского языка и литературы). Печаталась в журнале «Новый мир». Участвовала в Форуме молодых писателей России (Липки) и литературных семинарах АСПИР. Живёт в Туле. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

В вагоне пахло беляшами и дешёвыми бумажными сосисками, сигаретами и чуть-чуть туалетом. Местечко не из приятных.

Саша отпила кофе, а я достал термос с чаем. Без него в длительные путешествия я не отправлюсь.

Этот микроритуал я соблюдаю со дня моего первого юношеского путешествия из Липецка в Электросталь к родной тёте. Мама долго не хотела отпускать меня одного, волновалась, но всё-таки решилась. Собрала огромную сумку, бутерброды и этот смешной оранжевый термос с горячим какао.

Он, этот термос, как будто придавал всему путешествию определённую дорожную атмосферу и даже как-то вдохновлял писать о том.

Не знаю почему, но в дороге мне всегда пишется легче. Мысль несётся параллельно движению, далеко-далеко.

Мысль несётся как снежный ком, обволакивается снежными крупинками, растёт и набирает скорость — и вдруг с грохотом рассыпается о скрипучий голос контролёра.

Я со злостью предъявляю билет. Поезд продолжает движение, и мысль тоже.

Бог знает почему зимой мне вздумалось писать про осень.

Я полюбил осень в этом году, когда переехал из Липецка в Тулу. Во-первых, листья, — ну какая же красота кругом! Мы привыкли видеть их зелёными, поэтому так восхищаемся, когда они желтеют. Во-вторых, запах: только осень так пахнет тоской и печалью, но замечали, осень никогда не разочаровывает, потому что она и есть одно сплошное разочарование.

Зима может быть бесснежной, но кому нужна зима без снега? Холодное лето ещё хуже, а осень — она всегда мокрая и голая. Так же, как и год назад, и два года, и три, и когда я был маленьким и гулял с мамой в парке. Мы собирали листья для поделок мне в школу, а потом вечерами мастерили вдвоём.

ПВА клеил всё на свете, но не листья. Я проливал его на стол и на ковёр. Мама ругалась.

— А я-то что сделаю!

Потом мы пили горячее какао.

Осенью я всегда рано ложился спать, потому что темнеет рано. В моём сознании с детских лет закрепилось: темно — значит, ночь.

Во сколько солнце заходит в октябре? В восемь-девять, примерно?! Уже и не помню. С тех пор так много изменилось...

Раньше, например, я любил сочинять описания, теперь больше диалоги. Раньше любил лето, теперь — осень. Раньше мне всегда говорили, что я молодец и многого добьюсь, сейчас я вырос и ничего не добился.

Это так страшно на самом деле: из одарённого ребёнка вдруг превратиться в самого обыкновенного взрослого.

Я еду в электричке по залитым солнцем просторам. Я не писал два года. Мои мысли скачут туда-сюда, с одного на другое, и никак не могут остановиться.

Я делаю детские ошибки. Я забыл, как пишутся простые слова: «электричка», «горизонт», «бордовый», «багряный», но помню «дедлайн», «порог», «эвент», «менеджмент», «парламент».

Откуда столько каши в голове? Зачем я вообще за это всё взялся?

Не знаю! Вы смотрели «Смешарики»?

Помните, в какой-то серии Бараш искал волшебную кузинатру, дающую смысл? И мерзенько так верещал: «Да, она мне нужна!» Вот я — Бараш.

Раньше всегда считал себя Крошем, ну или на крайний случай Пином, но оказалось, что Бараш, вернее сказать, — Баран.

В проходе между сиденьями стоит женщина, у неё стоят часы. Отрепённо и женственно она морщится. Чихает. Громко извиняется. Чихает снова.

— Будьте здоровы! — говорю я и вдруг тоже чихаю.

Ну, этого только не хватало! Я заболеваю мгновенно.

Мы чихаем синхронно.

Она смеётся и извиняется, я неловко ей улыбаюсь, а на самом деле злюсь. Сашка посмеивается над нами.

Обожаю Сашку. Мы познакомились ещё на первом курсе универа, но подружились почему-то только к третьему. Хотя она всегда была мне очень приятна. Можно сказать, что я даже был влюблён в неё какое-то время. Может, даже и сейчас влюблён, хотя не уверен в этом на сто процентов.

В сущности, я всегда был чуть-чуть влюблён в любую симпатичную девушку, но никогда не влюблялся сильно и безумно.

Нежная и лёгкая, как снежинка, Саша сидела напротив меня и смотрела на такие же снежные вихри за окном. Кудрявые от природы волосы собирала в небрежный пучок на затылке. Правую ногу немного по-хамски задрала на сиденье. Ну что за загляденье!

Мы говорили об искусстве. Но только говорили. Уже больше полугода собирались на выставку в Третьяковку, да как-то всё не получалось. То сессия, то с собакой надо погулять. Собраться на какую-то вылазку с Сашей было практически невозможно, и, пожалуй, только это раздражало меня в ней.

Она с таким энтузиазмом выслушивала и принимала каждое моё предложение, соглашалась на любую авантюру, но в самый последний момент исчезала, как снежинка с ресницы.

Поезд затормозил в Серпухове. Саша мечтательно смотрела в окно и рассказывала что-то пробирающе печальное из детства. Я слушал не историю, а голос в обрамлении монотонных скрипов электрички.

— Следующая станция — «Авангард»!

Группа шумных не то ещё школьников, не то уже студентов закатилась в вагон, гоня перед собой лёгкую волну алкогольного куража.

Я снова невольно испытал досаду. Последнее время меня раздражает любая мелочь — наверное, это каждому знакомо. Мама говорит, что так сказывается авитаминоз, а мне кажется, что всё-таки отсутствие денег.

Взгляд остановился на розовощёкой девушке с яркими, кислотно-красными губами. Совсем детское лицо, неумело, по-взрослому нарумяненное и напудренное. Она смеялась громче всех, демонстрируя желтоватые в контрасте с помадой зубы. Пошловато припадала на плечо соседа и смотрела на него так увлечённо и искренне, что я невольно завидовал их гармоничной юности, хотя сам вообще-то ещё не стар.

Они что-то весело выкрикивали и матерились, так что одна старушка, недовольно бормоча, переселилась в другой вагон.

Из обрывков разговора я понял, что расписную девушку зовут Саня.

Хм, Саня и Саша в одном вагоне. Такие разные, даже странно, что они носят одно имя. Моя снежная пушинка Саша сидела, уткнувшись в телефон. Саня хохотала что было духу.

А я думал: «Смог бы я влюбиться в неё?»

В эту пошлую отвратительность, бесстыдство и хамство, в эту бесшабашную праздность. Как мама бы сказала — без царя в голове, а я бы сказал просто — юная.

— Понравилась?

Мне показалось, что в голосе Сашки проскочила ревность.

— Нет, даже наоборот, скорее... Она...

Эпитет я подобрать не успел.

Следующая сцена была действительно мерзкой.

Сашка пожала плечами и отпила кофе. Вдруг сморщилась и закрыла рот рукой. В глазах я прочитал ужас. Она протянула мне стаканчик с вокзальным кофе, на кромочке которого покойно повисдохлый таракан.

Не могу сказать, что был сильно удивлён, но Саша...

— Ты не проглотила его, уже хорошо...

Я забрал из её рук стаканчик.

Но Саша смотрела на меня так, будто увидела не таракана, а отрубленную человеческую ногу.

— Блин, я же его всю дорогу пила. Фу-у-у...

Не знаю, хотела она рассмеяться или заплакать, наверное, всё вместе. Интересно, что чувствует человек, который находит в кофе таракана?

Расспросить бы Сашку, но, боюсь, она обидится.

Вообще я достаточно брезгливый, но Сашка, только что выпившая тараканий кофе, не показалась мне отвратительной. Даже напротив, я вдруг почувствовал, что эта смешная история будет моей любимой из связанных с Сашей.

Следующая станция — Царицыно, тут Сашу встречает парень, а я еду до Курского один.

Сашкин Ваня похож на былинного богатыря Илью Муромца.

Высоченный, на две головы выше меня и на голову — Сашки. Он сразу замечен в толпе на перроне. Красная куртка — как капелька крови в сером пространстве вокзала.

Сашка, прозрачная, вся будто созданная из света, целует меня в щёку и убегает. В окошко я вижу, как красная куртка её обнимает. Она виснет на ней, как котёнок, и что-то жалобно рассказывает, про таракана, наверное. В следующую секунду они оба пропадают в толпе.

Я не чувствую ни ревности, ни злости, ни грусти... только тягучую, длинную тоску, которой хочется поддаться.

Это ведь не плохое чувство — тоска. Я ни на что не променял бы её. Тоска, как ничто другое, напоминает о том, что ты человек.

Тосковать по большим городам, по панельным домам, по своему маленькому двору с детской площадкой, песочницей и горкой, где прошло моё самое лучшее детство.

Конечно, я тоскую не по самому возрасту, не по цифре, а по тем прекрасным моментам, когда был ничем не связан, хотя и мечтал об этом.

Замечали, что в детстве мы всегда играли в «проблемы». Нужно было от кого-то убегать, прятаться, а иногда и то и другое. Все мы играли во взрослость... Доигрались.

А вообще — это большой обман, что все мы когда-нибудь повзрослеем. Что вот-вот стукнет восемнадцать, и ты в один момент станешь большим, умным, талантливым и способным на всё.

С кем из вас это действительно случилось?

Со мной вот точно нет.

Просто мои игрушечные детские проблемы вышли на новый уровень.

Я всё так же должен бегать, но теперь за зачётами, по магазинам, по учебным делам, получить документы, купить стиральный порошок. Фролов звонил, опять будет просить в долг, скажу, что если зайду домой за деньгами, меня мама не выпустит, или что-нибудь в этом духе. Точнее, не мама, а хозяйка квартиры. С ней мы обычно играем в прятки, вода всегда она.

Сказать бы сейчас: «Стоп-игра». Или услышать мамино: «Иди домой, темно уже». Во сколько солнце заходит в октябре? В восемь-девять, не помню уже. Да и какая разница, если эти чит-коды теперь не работают, дайте знать, если есть новые.

После Царицыно дорога тянулась, как «LOOP» The Retuses в моих наушниках. Через секунду «Красный строитель», «Текстильщики», за ней — Курский.

Мне так не хочется выходить из вагона. Воздух морозно-прозрачный. Жжёт щёки, как Сашкин поцелуй. Я выхожу под симфонию скрипов и дребезжания дорожных сумок и чемоданов, чью-то смачную ругань и монотонный голос контролёра: «Конечная».

Глазами ищу краснотубую Саньку. Не нахожу...

Я весь соткан из печали и голубоватого ясного неба. Я струюсь по крашенным в серый стенам вокзала. Отражаюсь в стеклянных бутылках, поднимаюсь табачным дымом.

Я сам себе друг, я сам себе семья, я принц, я планета, я дверь, я проход, я иду, я ничего не значу, я брошенная мелочь под ногами прохожих, но я красивый, я здесь, я живой.

Москва, Курский, конечная!

Женя, Женечка, Евгения

Есть вещи, которые даются от рождения вместе с пропиской.

Мне достался дедушкин гараж, папин жигуль, мамина ленинградская акварель. И странная инфантильная любовь ко всему мне не принадлежащему.

Ко всему наивному, абстрактному, эрудированному, рассеянному, медлительному, иногда по-детски жестокому и лживому.

Такой мой Женечка...

Женечка — моя любовь и мой любовник.

Он мягкий, чуть-чуть женственный и капризный. С вьющимися волосами, уложенными кудрявым методом, детскими ямочками, чистой кожей, голубыми глазами.

Он игриво хватается меня за бок, словно прикусывает беззубой ладонью, притягивает к себе и целует в глаза. Кусает за щёки и за мочки ушей. Носит мятые рубашки, постоянно забывает зарядить Айкос, отчего с виноватым видом стреляет у прохожих сигареты.

— Тебе восемнадцать-то есть? — часто слышит в ответ и всегда смущается, хотя сам вдвое старше. Курит медленно и как-то по-киношному смакует. Изящно страхивает пепел, чаще всего себе на пальто. Закатывает глаза, когда затягивается.

Женечкину жену тоже зовут Женя. Она носит короткий жёсткий блонд, вымытый не то дождями, не то ржавой водой, чёрное пальто, белые кеды с двумя полосками. Пахнет свежим лимоном, домашней химией и чуть-чуть Женечкой.

Женечка же пахнет простудой.

Женя — эффектная женщина. Глубокие серые глаза из-под длинных ресниц смотрят внимательно, когда она конспектирует лекции по десмургии, и ласково, чутко, когда играет с сыном Матвеем.

Матвей удивительно похож и на Женю, и на Женечку. Он капризный и печальный, как отец. Такой же искренний, голубоглазый и кудрявый. Тоже любит тыкву, точнее, тыквенное пюре. И точно так же рано начнёт курить и стрелять сигареты с виноватым видом.

От матери же он забрал это усталое, брезгливое выражение лица. Выражение, которое бывает лишь в двух случаях: когда Рексик в очередной раз навалил кучу на ковёр, или когда муж ни с того ни с сего решил познакомиться с любовницей.

Именно такое выражение лица было у Жени, когда я проговорила:

— Приятно познакомиться, я Евгения.

Она смерила нас обоих серым взглядом, от которого появился привкус железа во рту.

Женечка потупился, глядя то на меня, то на жену, то куда-то сквозь нас. Потупился так, как делает это муж, знакомящий жену с любовницей.

Именно в этот момент я поняла, что далеко не первая Женечкина пассия.

Это был разговор двоих. От моих же реплик здесь ничего не зависело.

Занавес поднят. Женечка заговорила...

— Вот это совпадение, представляешь! Её тоже Женей зовут. Вот если бы и Матвея мы Женьком назвали, как я предлагал! Такая путаница была бы. Как в ситкоме.

Женя молчала. Так, словно была намного старше своих лет. Красиво молчала.

Потом заговорила... Но молчание шло ей больше.

— И давно у вас?

— Полгода уже, — отвечаю я как-то виновато. Пытаюсь найти глазами Женечку, но не нахожу. Он маленький и жалкий. Он потерялся в этом парке. Слился с деревьями, травой, красной пластиковой горкой, со мной и с Женей одновременно.

— А про меня первый раз слышишь?

— Три дня назад узнала.

— Понятно.

— У нас всё серьёзно. — Произношу так, что сама в это не верю.

— У зеркала, наверное, звучало убедительнее. — Узкие Женины губы расплзаются в равнодушной улыбке.

Беспомощно смотрю на беспомощного Женечку. Он мнёт в руках фантик от конфеты. Её леденцовое тело отчётливо вырисовывается за щекой. Матвей играет рядом в песочнице и кажется намного взрослее и серьёзнее своего отца.

— Кхем! — смиряю ничтожного Женечку взглядом, понимая отчётливо, что ни я, ни он не владеем ситуацией и, в общем-то, ничего не решаем.

— Жень, ну да. Мы любим друг друга. Хотим быть вместе, — мямлит Женечка, посасывая конфету.

— А я макароны с сыром люблю, — парирует жена. — Ладно, хрен с вами, герои-любовники!

Женя надвигает на глаза очень тёмные солнечные очки, небрежно перекидывает через плечо чёрную дамскую сумку.

— Матвей, сынок, идём, домой пора.

— Не хочу домой, — сопливит себе под нос Матвей, удачно скорчив при этом усталое материнское лицо. — Хочу с папой играть.

— А папа с тобой не хочет! Папа теперь с тётей играет.

- Ну зачем ты так, а? — бубнит Женечка, прижимает сына к себе.
— А ты зачем так? Сколько можно-то, а? Какая уже по счёту твоя Евгения?

Немая сцена...

Через секунду фигуры Жени и Матвея растворяются в голубизне парка. До меня ещё доносятся капризные взвизги Матвея, а в ушах серной пробкой стоит прощальная фраза Жени.

- Забирай, если хочешь. Всё равно домой вернётся, кобель.

Женечка сначала ничего не сказал, лишь проскулил, в точности как Рексик, вновь вопреки запрету насравший на ковёр. А потом хрипло промямлил:

— Извини, пожалуйста. Я только Матвея успокою и приду. Слышать не могу, как он плачет, сердце разрывается. — В доказательство разорванного сердца Женечка двумя пальцами смахнул слезу.

— Ну и зачем тогда это нужно было устраивать? Неужели нельзя было тихо развестись без этих знакомств? Она же меня ненавидит теперь. И Матвей тоже.

— Я хотел, чтобы всё по честности было, понимаешь? Чтобы она не думала, что я обманываю её.

Цветастый фантик в сильных Женечкиных руках давно потерял свой конфетный цвет и превратился в кусочек полупрозрачной неаппетитной плёнки.

- Я пойду пока, Матвея успокоить надо. Поздно уже, ему спать пора.

— Домой придёшь?

— К ужину.

Закинув измятый фантик в карман и туда же руки, Женечка, сторбившись, побрёл вдоль парка туда, где скрылись вдалеке знакомые понятные силуэты из его семейной жизни.

Вся его фигура излучала покорность и преданность. Он готов к любому исходу: что его оттащат за уши, отнимут любимую игрушку, отправят спать на холодную подстилку.

На всё готов.

Я тихо выбредаю из парка вслед за ними, как призрак. Теперь эти деревья, тропинка, детская площадка, горка и качели — всё хранит эту нелепую историю, в которой я была каким-то странным NPC, повторяющим одну и ту же фразу, не несущую информации для развития сюжета.

Папин жигуль припаркован у въезда. Заводится неожиданно с первого раза. Едет мягко, не рычит. Так же спокойно выполняет свою роль в чужой истории, как и я выполнила свою.

Женечка к ужину не пришёл. Не пришёл и к завтраку. И вообще больше не пришёл.

Он, вероятно, напился и долго умолял о прощении. Стрелял сигареты на улице, стыдливо опуская глаза, и в очередной раз проклинал Айкос. Целовал лимонные руки Жени, зарывался носом в нежные кудри Матвея, вытирая о них слёзы. Клялся, что ошибся в последний раз, что шальная мысль сбила его с верного пути, а со мной у него никогда не было ничего серьёзного. Уверял, что душой он всегда тут, с женой. Обещал сходить к венерологу.

Жалко и стыдно!

Женечка, Женечка, Женечка, Женечка.

Александра Бруй



Тридэ

Рассказы

Подарок

Мама вешала на весах, двигая туда-сюда железки. Босиком было холодно стоять.
— Пушинки, — говорила. — Одиннадцать с половиной и двадцать один семьсот.
Мы росли не очень.

Костик голыми дёснами мусолил горбушку, болтал ногами и всё время ныл.
Я смотрела на ласточек под козырьком дома.

— Гадят! — говорила мама и чиркала по стене ножом. Засохшее чёрно-белое
ссыпалось. Рядом выросшее дерево царапалось ветками в окно — до форточки ещё
никак не доставало. — Не стой здесь, поешьте там!

Дома телевизор орал, Костик смотрел в него не отрываясь. Я дула нам обоим на
чай. Слюнявая горбушка Костика раскисла в тарелке с мёдом. Мне расхотелось есть.
Я придвинула стул к окну: за ним мама, в сарайном халате и платке, сыпала зерно под
ноги. Фиолетовый петух, которого боялся Костик, всматривался в землю и копался в
ней. Вдалеке на верёвке висели простыни, и моя любимая, хоть и старая, в цветок.
Простыни от ветерка взлетали.

Мама насыпала зерна и стала открывать тяжёлую дверь сарая: так Боре будет
хорошо дышать. Боря — наша свинья, я тайком носила ему яблоки.

Папа приехал с работы, и не один: дядя Тиен в белых носках тоже зашёл на кухню.
Один раз он подарил мне настоящие часы на жёлтом ремешке, а Костику спортивный
салатовый костюм, поэтому не пришлось даже мой донашивать. Мы оба сразу
нарядились и стали ходить так. А теперь Костик выносил ему все свои машинки,
показывая, и дядя Тиен не отворачивался и играл. Он сидел на корточках:

— Моя машина едет! М-м-м-м...

Папа наклонился и хлопнул дядю Тиена по плечу:

— Я там всё приготовил, может, давай ты сам? — сказал он и почертил в воздухе
руками. — Я боюсь, а ты умеешь! Раз-раз!

Александра Бруй — прозаик, редактор, экономист. Родилась в Узбекской ССР в 1988 году.
Окончила Тульский государственный университет. Рассказы печатались в журналах «Юность»,
«Знамя» и других, в альманахах и сборниках. Участвовала в творческих проектах АСПИР.
Живёт в Туле.

— Не-е, я толко памагай, ты сам учица.

Дядя Тиен выпячивал зубы, как будто они ему велики. Костик смотрел с восхищением.

Мама разливала чай, и пар поднимался от сине-золотых пиалок. Было хорошо. Мёд стоял чистый. Не хотелось уходить. И всё-таки нам сказали идти к тётъ-Наташе. Тётъ-Наташа сломала шейку бедра.

— И стареньких надо навещать, — сказала мама.

Папа согласился, и дядя Тиен кивнул.

Мама быстро положила в пакет завёрнутую в полотенце тёплую лепёшку. Сказала, что сама за нами потом придёт. Костику разрешили взять с собой машинку.

Тётъ-Наташа жила через три дома. У неё, в коридоре без света, мы разулись и просто шли. В пальцы без шлёпок втыкались крошки. В большой коричневой комнате тётъ-Наташа лежала на простынях, с вытянутой ногой, как зимняя лопата. Пахло мокрым, пахло шейкой бедра.

— Пришли, внучки?

У тётъ-Наташи и внучков своих тоже не было.

— И опять выросли!

Она всегда говорила одно и то же. Просила поближе и тянулась целовать. Между бровями у неё было потно и блестело. Костику не было противно. Он рассказывал тётъ-Наташе свою жизнь.

— Петух клюётся больно и бегают!

— Да мы ж этому петуху! Голову отрубим!

— Вот здесь клевал!

— Суп сварим из него!

Я брала на комод книжку. Не эту. Не эту. Вон ту: тяжёлую и цветную. Начинала вслух читать. Вот отсюда она показала читать:

— Чья-то сер-до-больная рука наки-нула плащ на его на-гое и грязное тело, и он сидел у ног Своего Спасите-ля. Узнав о слу-чивш-шемся, люди пора-зились...

За шторами, далеко на улице, завизжала и закричала свинья.

— Боря плачет! — Костик прыгнул с табуретки.

— Читай, детка! Да это не Боря, — сказала спокойно тётъ-Наташа. — Это чужая, плохая свинья, лесная! Не хочет из сарая выходить. Читай, детка! Ты хорошо читаешь.

— ...А оттого, что при его сверше-нии... — я держала пальцем, чтобы не потерять.

Костик подбежал к окну. Палец прыгнул, и я потеряла строчку. Костик встал на цыпочки у окна, рядом ваза упала и откатилась. Костик испугался и стал ныть.

— Не разбилась и ладно! — сказала тётъ-Наташа. — Чего плакать? Читай.

— ...Им при-чи-нена была страшная по-теря...

Громыхнул и загудел в коридоре холодильник. Я искала пальцем строчку.

— Видишь, всё! — сказала тётъ-Наташа.

Холодильник гудел, и ласточки слышно трещали за окном. Костик постоял ещё, высматривая, потом вернулся, встал рядом и жарко около меня задышал. От этой книжки голова у меня стала кружиться.

— Конфеты же есть! — радостно закричала тётъ-Наташа. — Ну-ка, давай сюда вон ту тарелку! — она тянула книжку из рук, выпячивая к столу подбородок.

Конфеты лежали слепленным бесфантиковым комком. Костик колупал их, слизывая липкое.

Мы уже отщипывали лепёшку, когда мама за нами, наконец, пришла, а в коридоре, когда сами обувались, совсем почернело. Мама одной ногой стояла в темноте, вторая нога была в комнате с тётъ-Наташей:

— Даже эти, — она показывала руками, — на колбасу! Представьте, ничего не остаётся! А мы — собакам. Вот как работают с мясом, тётъ-Наташ!

Ласточки на проводах свешивали острые хвосты, внизу рыжие куры пугливо от нас летели.

— Только поближе к кухне разуваться, я в коридоре не помыла, — мама подняла Костика на руки и дёрнула на себя дверь.

В коридоре простыни лежали по сторонам, как горки, и моя любимая лежала на весах.

— Покушаете быстренько, и я пока вымою полы. Иди, Костик, умывайся. — Спустила Костика на пол. Он поскакал. Мама вышла.

Я села на корточки у весов и тыкнула в пятно на простыне.

— Это что тут укрыто, мама?

Простыня была влажной, я её приподняла. Заголилось белое и толстое. На весах стояла голова Бори.

— Что это? — Костик оказался здесь, и я расправила как следует цветочки.

— Идём!

Папа и дядя Тиен сидели за столом. Перед ними дымились тарелки с супом. Дядя Тиен, довольный, улыбался.

— Мама, петуху голову рубить не надо! Он не будет так! — сказал Костик, засовывая в рот горбушку.

Все стали смеяться, и я.

Мама с папой эту историю не помнят, и Костик не помнит, и я не помню.

Двойная запись

Некоторые соображения по поводу бухгалтерского учёта

Есть две разные Юли, специальность в вузе — «бухгалтерский учёт, анализ, аудит». Юля-1 — это дебет, Юля-2 — кредит. Сведём баланс.

Юля-1 открывает дверцу, чтобы повесить платье. Внутри вешалка вздрагивает вмурованным крюком. Во всех отелях вешалки стали несъёмными, чтобы не воровали, но Юля-1 тянет, задумавшись. Шкаф для одежды — как приложенная к стене кружка: хохот соседей? Что это? Юле-1 жить в этом номере всю командировку, надпись Royal на бирке, и где Royal?

А Юля-2 в двадцать лет меняет паспорт. Устраивается на работу, требования: «целеустремлённость, умение справляться с большим объёмом задач». Носит газеты, журналы, флаеры с рекламой. Скидывается на комнату. Опаздывает в университет. Вот, купила махровые носки — под босоножки. На сапоги не хватает.

— А мне тепло!

Лифтовые двери на первом этаже показывают её неопределённо: чёрное пятно волос, бежевое с красным лицо. Огромные груши в руках — это пакеты. Двери распахиваются, и выходит женщина.

— Вы туда не носите нам мусор!

Топот сапог — маркая замша чуть выше колена. Юля-2 облакачивается на пакеты и провожает глазами женщину.

— В ящики это, не в лифт! — говорит.

Голос перекрывает плач домофона:

— Да задолбали уже! — Удар двери.

Юля-2 кормит почтовые ящики бумагой, как гнёзда с ласточками. «А мать умерла у них». Эхо. Темно. За спиной схлопывается лифт. Пудра газет темнеет на пальцах. Юля-2 трогает щёку, забыв. Щека будет в пудре.

— Да блин!

Потом у своего подъезда Юля-2 борется с кнопками: домофон молчит. Она зажимает пальцами, дышит на кнопки — чтобы разморозить? — влажный домофон молчит. Юля-2 ждёт, что кто-нибудь выйдет, и вдруг кричат сверху:

— Э!

Это кричат из окна? Будут ругать, что она дверь ломает?

— Э! — повторяется.

Юля-2 смотрит вверх и вспоминает, как говорила та бабушка: «Сто гастарбайтеров там живут. Они нас изнасилуют и шурпу сварят».

Есть хуже Юли-2, значит, — снимают выше этажом.

Юля-2 борется с дверью — безрезультатно. Наверх не смотрит. Она им не баран!

Наконец, с той стороны щёлкает — домофон ожил. Дверь открывается, нет, распаивается перед ней.

— Спасибо, — говорит Юля-2 и ждёт, чтобы узбек ушёл, не узнав, где её квартира. «Ты из Узбекистана?» — слышит вопрос.

А Юля-1 делает заказ через приложение отеля. Приносят йогурт, суп, фрукты. Юля-1 снимает наклейку с яблока, кусает и — уэ — кривит рот, ищет глазами урну, зубами скоблит язык. Нюхает суп, вскрывает йогурт, облизывает крышечку, оставляет так. Укладывается в кровать. Юля-1 водит пальцем по экрану телефона. Экран показывает: «оформлен заказ».

Юля-2 открывает холодильник. Там тоже яблоки, и только яблоки. Сорт «сенап» или «штрифель» — отец передал. Яблоки сплошь в круглых бурых пятнах. Юля-2 берёт одно и жирно чистит ножом.

Юля-1 работает в очень крупном банке, и у неё за это есть значок. Каждый день в шесть часов она должна напечатать в компьютере: «Устранены все выявленные ошибки, баланс записан», — и приложить палец — электронно-цифровую печать.

Сегодня Юля-1 опять дремлет после работы, а спать не может. Опять — это когда что-то натекает внутри. Сложно объяснить, но делается тревожно. Опять делается, все семь лет.

Как-то Юля-1 смотрела «Зеркало» Тарковского и ела вишни. Думала: «Посмотрим, все хвалят так!» Вишни были ничего. В сцене, где бежит женщина, станки стучат, дождь. А этой женщине приснилась ошибка — надо исправить, — в горле щиплет, надо бежать, дождь, — Юля-1 стала зачем-то плакать. Моталась косточка под языком. Юля-1 заказала потом такой же свитер.

Всё-таки на работе в очень крупном банке не так трудно: по пятницам можно джинсы надеть. Юля-1 надевает джинсы каждую пятницу, хоть и ненавидит. Ей в них всё давит и трудно дышать.

Юля-2 продавала джинсы на рынке в маленьком городе всё детство, помогая отцу. Один стендап-комик в ютубе сказал: «Мать смешно заставляла мерить прям на картонке. Зимой!». Но Юля-2 не смеётся от таких шуток. Она и протягивала картонку, может быть, даже ему. Они с отцом приезжали утром, в четыре, отец сгружал сумки и говорил: «Смотри!» Он уезжал, она вскарабкивалась на сумки. Он будет дальше возить, она спать. Темно, тепло, скрип снега, лязг колеёв будущих палаток, пар изо рта, щип в носу; она скулит. Юля-2 спит с тех пор, будто четыре утра зимы — всегда: организм добирает. Как-то в университете Еганов бросил учебником, и слетела тетрадь. Юля-2 спала и не слышала. Препоп толкал — ей пересдавать.

Когда Юле-1 не хватает воздуха, она начинает считать. Вот оклад, плюс кварталка и «тринадцатая», — если хорошо всё. Она купит шубу, как и хотела, то есть не хотела, но когда устраивалась, кто-то сказал: «Шубу белую хочу!»

И она себе пообещала. Сказала: «Только продержись!» Держалась семь лет и не покупала шубу. Страшно шубу купить.

Вот Юле-2 отец на первый курс купил у елецких шубу. Из шкурок. Он отговаривал, но не помогло. Шуба линияла пучками, будто готовилась к сбрасыванию и обновлению. Швы рвало нитками, и не получалось зашить. Юлю-2 стали обходить, ей не хотели подавать руку. Она пачкала волосами и была наэлектризована. Это не нравилось всем. Юля-2 взяла ножницы — вышла жилетка. Потом соединила её с курткой, в журнале видела — модно теперь. Меньше волос и больше моды. И всё-таки много волос.

Юля-1 думает насчёт личной жизни. Но у неё кварталка и годовая, а у него что? Так ей сказала Карина Петровна, когда смотрели по номеру счёта: там — ноль-ноль. Карина Петровна говорит «импортная», если на клавиатуре английская раскладка. Юля-1 меняет: «Кого ещё смотреть?»

Она ей как мать здесь, наверное, эта Карина Петровна. Коллега, у неё шуба белая, в пол.

Когда шли одноклассники, Юля-2 лезла под раскладушку. Отец говорил: «Куда ты?»

Надо было смотреть, чтобы в толпе не стащили джинсы. Но Юле-2 стыдно: рынок, отец.

Уехать бы, чтобы всё заново, чтобы никто не знал, не узнавал, проходил. Чтобы не называли «нерусские», не говорили «эти».

Упрашивала отца весь десятый и одиннадцатый класс. Он тёр переносицу: «Ну есть же колледж! — показывал на раскладушку. — А это всё куда?»

Хныкала, топала. Молчала. Смотрела по сторонам: разглядывала лица. К отцу подошла женщина в дутых сапожках, она торговала мелочью: крышки, носки, часы. Её муж, рыжий, пятнистый, остался у раскладушки. Юля-2 слушала боком: «Вы скажите ей, хорошо? Чтобы не смотрела, он тогда тоже не будет. Я не ревнивая, но сил нет!»

Специальность мечты была «бухгалтерский учёт, анализ, аудит». Отец отпустил Юлю-2: «Вообще-то мама наша была бухгалтер. И ты выросла!»

Мать Юли-2 — Бахор, Таня — на памятнике.

Бахор означает «весна».

Юля-1 думает позвать отца, когда закончится командировка. Если приедет.

В прошлый раз Юля-1 купила ему билет в краеведческий, он сделал круг молча, потом сказал: «Всё».

Прошло семь минут. Отцу это неинтересно. Юле-1 тоже неинтересно, но что смотрят с отцом? Попросила его не возить яблоки, чтобы не надрывался. Она сама купит. Громко молчал.

Юля-2 не рассказывает про газеты, пакеты, что нет общежития. Вдруг заберёт её? Про коктейли в клубе тем более не говорит. У Юли-2 план — сдать Еганову, перейти и доучиться. Устроиться в банк. Вытащить отца.

Самое важное для Юли-2 сейчас — выдержать. Самое важное для Юли-1 сейчас — выдержать. Баланс — это вид отчётности с двойной записью, дебет — плюс, кредит — минус. И наоборот. Здесь приходит — там уходит, и наоборот.

Юля-2 сдаёт Еганову, переходит, сдаёт Еганову и защищает. Практика в банке, вокруг стекло. Эхо, но это другое эхо: свет, перспектива, подмигивает на лацкане значок.

Юля-2 видит лифт. Он её явно отражает. Она смотрит в него: «Привет!»

Думает, как в двадцать лет она поменяла паспорт и стала Юля Гайратовна, а не Юлдуз Гайрат кызы. Как мама была Бахор, а потом стала Таней. Маму назвали, а она себя — сама. «Тоже, если подумать, это — перспектива», — думает Юля-2, уже Юля-1, заходя в лифт.

Шкаф в номере Юли-1 — рупор, он передаёт смех соседей. Юля-1 молчит. Шкаф — передатчик чужой свободы, и шкаф — глухой лифт. Юля-1 стучит вешалкой, кричит, бьёт вешалкой, сдача — в висок, ну и пусть. Затихли или нет? Юля не слышит. Это неважно. Здесь сходится баланс.

Устранены все выявленные ошибки, баланс записан.

Приложен палец — электронно-цифровая печать.

К началу

У неё хроническая аллергия на укусы пчёл, но щека — это давно, это лицо обратно не вернулось после отёка Квинке. Вот был сосед, дядя Слава, уже умер, ему хоть бы что! Он качал мёд без страха — пчёлы его знали. Дядя Слава говорил: «Я их уважаю, и они меня».

Все ненавидели в посёлке дядю Славу. Во-первых, пчёлы озверевшие, во-вторых, пол-литра — восемьсот рублей. Медведева сидела у него в гараже, смотрела, как раскручивается медогонка, как она воеет и мёд течёт. Грудь ломило от волнения:

— Ну, сколько наберётся?

Дядя Слава вращал на медогонке рукоятку и не отвечал: гул, липкий воздух; в центрифуге метался мёд. Медведева сидела чуть подальше, у велосипеда, и рукой крутила колесо; стыдный платок из наволочки на голове — что нашлось в углу, в ворохе одежды, потому что из-за волос никто не купит мёд; но и отсюда можно было разглядеть капельки пота между лопаток у дяди Славы. Или это был мёд. Мёд же тугой и не течёт так кругло!

В спину давила рама от велосипеда; Медведева счищала спичкой жвачный воск с задних зубов, и тут случился первый раз — жирная злая пчела влетела в рот и стала биться в щёки. Грохнулся велосипед.

Дядя Слава вроде говорил, как себя вести, чтобы уменьшить боль, но Медведева заорала так, что тот упал рукой в ведро.

— Твою мать! — последнее, что услышала, когда ещё могла выдавать звуки. Потом рот стал чужим, и ей сделалось жарко, но не как обычно, а как будто мало места, сужались стены, и горло вывернули наизнанку тесным розовым. Свет потух, но она слышала, как кричат, как дядя Слава дышит и она качается: он нёс её в машину, видимо; а ноги с руками у неё стали очень тяжёлыми, и подумала: «Как же он несёт?»

В больнице пролежала целый месяц. Родители обещали вырвать ноги, если ещё пойдёт. Но дядя Слава говорил «мёд продлевает жизнь», она запомнила и бегала тайком в гараж, и дядя Слава простил её, только надел на голову панаму с сеткой, белую, специальную — ей шло. Конечно, он сам уже привык кому-то диктовать, как и что делает, в какой последовательности. Как в кулинарной передаче:

— Теперь снимаем лишнее тихонько, весь воск.

Отъезд родителей совпал с миграцией пчёл. Дядя Слава объяснял:

— Если в улье оказывается две матки — рой делится.

Медведева не поняла ничего, но можно было не оглядываться и выйти из гаража спокойно. Родители уехали! Всё же посматривала: а вдруг?

Мимо шла лохматая Жукова в послеоперационном шейном корсете, но она не могла даже повернуть голову, и Медведева не стала здороваться, чтобы не напоминать лишний раз о таком уродстве. Вышел дядя Слава, вынес белую форму Медведевой и надел сам.

Они стряхивали эмигрировавших пчёл с яблоневого ветки в новый домик. Оба в перчатках, шляпах с сеткой — Медведева еле держалась, чтобы не хохотать.

— Рот не открывай! — кричал сквозь сетку дядя Слава.

Пчёлы шумели, толклись.

— А бывает разве мужская фата, дядь-Слав?

Родители узнали и ходили разбираться. Закрыли её дома в комнате, пили на кухне чай. Отчим слышно сказал:

— Ну, мёд хоть не паршивый!

Мать гремела ложечкой:

— Говно!

Она из комнаты с тех пор будто и не выходила, но всё же работает, в общем — живёт. Она технарь, и другие проектировщики к ней стучатся за советом. «Ты видишь в деталях», — говорят. Ей даже вложили конверт как-то между папок, за выбор насоса на тендере, и пересчитывала под столом. Потом ещё раз, даже без тендера. Живёт, в общем. Брови отращивает.

Отёк Квинке возник как освобождение. Пчела ужалила Медведеву в правую конечность — так записали в карточке, — и палец распух. Тридцать пять лет, в анамнезе — тяжёлая аллергия.

— Лестница! Лестница! — Так началось.

Медведеву вели. Язык не помещался во рту, а горло засохло. Был звук, что трескалось, звук, что лилось, — внутри себя Медведева как будто набухала. Скопилась, как забродившее, и шла пеной теперь.

— Вены как трос! Никак!

— Уйди, овца! Я сам!

Голоса звучали придушенно, как через песок. Исчез дверной проём, и её пропихивали. Колёсики гремели.

Наверное, стекало по лицу — кипели глаза. Но, откуда-то из глубины, стала проталкиваться кислинка, как если бы дядя Слава окурил комнату дымарём, — он делал с кислотой из щавеля. Обдало смирением.

«Подохла, — подумала Медведева. Она вдруг увидела себя со стороны, и чужую комнату. — Такой приятный цвет у стен, как астры в августе».

В открытое окно влетела бабочка — душа пчелы, тоже ест пыльцу. И трепыхалась.

«Кто я здесь?» — спросила Медведева, но, конечно, прошамкала: язык всё ещё был чужим. Пошло мерцание, подумалось — так ли устроен мир?

Бабочка ломилась в кафельную стену.

«Я бы из тюля крылья хотела».

Медведева стала пчелиной маткой: такая густота, вокруг движение, всё вразнобой. Казалось, что обкладывают сотами, что сочится мёд, поздний и тёмный, с запахом подсахаренной резины на велосипеде «Школьник». Такая густота, не рассчитанная на человека. Стало давить в паху, длинно расти, дошло до горла, толклось, толклось, толклось. Она набухла предчувствием, предзнанием, и — всё рухнуло. Всё вокруг накрыло белым, послушным; и пробилась ясность — короткий взлёт, как блик от катафота. Случайность.

Тело было тяжёлым, когда Медведева очнулась. Тошнило. У головы — две стойки с капельницами, в ногах ещё одна. Руки раскинуты по сторонам. Хотелось писать.

— Ну ты нас напугала, блин! — сказала вся в белом женщина. — Ну еле-еле! И в руки, и в ноги кололи. Ты надулась вся! А вены — вот! — женщина потрясла пухлым кулаком.

Медведева облизала потрескавшиеся губы: язык почувствовал сладкую запёкшуюся кровь. Знала, что нет, но всё-таки показала неподъёмным пальцем на костюм женщины:

— Вы пчеловод?

Та засмеялась, нижний ряд зубов был золотым.

Как-то мать приколотила к окну в детской красивый белый тюль. Плотно, по раме. Чтобы со свежим воздухом, но без мух и комаров. Тем более без пчёл. Тюль назывался «в огурцах», но Медведева никак не могла увидеть, где они в этих завитушках.

По вечерам любила смотреть в окно, лёжа в кровати, особенно если сосед дядя Слава включал фонарь и издалека огурцы подсвечивало. Всего из красоты в доме были лишь шторы и этот тюль: легко стирать, ведь дочь — аллергик. Ни одного ковра, как у остальных людей. Приятно было мечтать, глядя на тюль.

И вот Медведева подоткнула палец, чтобы оттопырить невидимые огурцы и тихонько вылезти, но тюль треснул на гвозде и с хрустом пополз. Голый фонарь стал ярче, почти слепил. Может, тюль разохся из-за солнца, может, не рассчитан на такое отношение.

— Я не рассчитана на такое отношение! — Медведева придумала так отвечать, когда её найдут. Так часто повторяла мать, когда ругались с отчимом.

На улице трещали кузнечики и прыскало из шланга. Медведева перекинула босую ногу — пыталась нащупать траву, но длины ноги оказалось мало. Пришлось высовывать вторую и прыгивать. Трава была прохладной, по стене шла вытянутая тень. Тюль на окне вяло трепыхался кусками, как будто его вырвало Медведевой. Она немножко побыла так, потом пошла на свет.

Как описать укус пчелы? Роющий звук, жжение в точке укуса, розовая лепёшка с яркой точкой внутри. Так взрослая Медведева, проектировщица, отвечала врачу, чтобы не напугать его. Но он всё равно сказал, что та умрёт, если не вколоть лекарство.

— После укуса. У вас. Есть пятнадцать. Минут.

Врач растягивал речь, как будто спешить некуда. Медведева медленно кивнула, и он выписал её.

Слегка оплывшая, ехала домой, из сумки выпирали коробки с лекарствами. Медведева устало смотрела в окно. Небо не двигалось. Вдоль кладбища, близко к дороге, вываливались кресты, их сдерживали развалы с венками дикой расцветки. Надо было жить.

Медведева достала из сумки телефон с треснутым экраном и вбила в строку поиска «ульи для пчёл купить».

Она хоть и вылезла в окно в тот вечер, дверь у дяди Славы никто не открывал. Вокруг фонаря волновались мошки. Она ещё раз позвонила, нервно поглядывая вдаль на своё окно, но отсюда не видно; и ещё раз позвонила. В носу коротко шевельнулось — защекотало, и Медведева сдавила ноздри пальцами. С закрытыми глазами слышался шум с совхозных полей и лай собак. Представилось, как комбайновая молотилка закручивает её в золотой пшенице. Стало смешно — за тюль ей ничего не будет — водитель комбайна станет виноват.

Гараж был за черёмухой — идти не страшно. Камни покалывали ступни.

Сквозь стены из кривых досок процеживался свет. А в гараже стоял любимый тёплый запах, чуть пыльный, немножко досками, и воск. Дядя Слава был в рубашке.

— С Новым годом!

У дяди Славы новый год начинался в августе, на Медовый Спас. Так у Медведевой было два праздника. На прошлый Новый год она дарила вафельное полотенце, похожее на вошину, которую подкладывают пчёлам в помощь. Дядя Слава смеялся такой находке, но сам ничего не подарил. А в этот раз всё наоборот: у вороха одежды, в углу, на велосипедном кресле, лежала астра, жёлтая с белым, — будет любимый цвет Медведевой.

А что она ему?

Медведева придумала чесать ногтями ногу, где острекалась крапивой, чтобы молчать, и чтобы дядя Слава взял астру и принёс ей. Она запомнила, как мать кричала отчиму, что дочь принесёт в подоле, и тот дёргал плечами в мерзких волосах: «Не знаю я».

Дядя Слава сделал шаг навстречу.

Когда лезла обратно в окно, снова не хватало длины ног и не было сил: вываливалась вся. Было противно склизко в чужих тапках. Карабкаясь, Медведева сорвала ноготь и ревела шёпотом.

— Давай! — услышала.

Ей протянулась рука из окна, мягкая и мохнатая на ощупь — отчим. Он втянул Медведеву; от тюля с кряхтением отскочила пара гвоздей. С пальца текло. Медведева хотела поблагодарить, но сказала, что не рассчитана на такое отношение. Отчим вышел из комнаты, видимо, чтобы позвать мать. В кровати Медведева душила палец подушкой. Мать всё не шла. Шла только кровь — слёзы из пальца.

Фонарь в окне потух.

Теперь всё можно достать: вошину, рамы, дымарь, костюм, ещё один костюм. Автоматическую медогонку, чтобы самой не мучиться. Всё можно. Люди тебя не любят за пчёл, но уважают: ты торгуешь золотом и пользой. А кто проверит? Так долго не живут.

С Медведевой советуются:

«Как жевать пергу?»

«Можно ли мёд в холодильник?»

«Чайную ложку — натошак?»

Она кивает с нежностью, хотя всю эту возню с банками, липкостью, мухами она не терпит. Её тошнит от сладкого. Она не верит в мёд. Врач сказал, она умрёт, и нельзя так много преднизолона. Но укус снова получен, и Медведева летит.

На треснутом экране её телефона бегут цифры — таймер включён на четырнадцать минут. Шприц с преднизолоном лежит рядом. Если всё верно рассчитать со временем и лекарством, короткий взлёт можно продлить. Лететь, то есть подняться — вот в чём главный смысл. Уменьшить мир, стать больше него. Ты как бы бог, ну или дочь бога, ну или падчерица, допустим. Что сотворит бог? Бог пока не знает сам. Медведева всматривается в гараж.

Там дядя Слава стоит в рубашке и лежит астра. Но там, в ворохе вещей, Медведева теперь знает, куда смотреть, там в ворохе вещей — Жукова: и тоже смотрит. Белая шляпа с сеткой удачно сглатывает шейный корсет и голые плечи. Жукова встаёт, облокачиваясь на велосипед. Откатывается колесо.

— Так и не закрепил, Слав? — Жукова трогает воротник под шляпой и уже ей, Медведевой, на босые ноги, говорит: — Шлёпки мои не хочешь обуть? Где они, Слав?

Всё же, наконец, Медведева поняла траекторию возврата. Ей надо к началу, ещё и ещё. Как проектировщица она произвела расчёты. Ей надо к окну с тем целым тюлем, но что-то не так, а что? Вот же они, эти огурцы, вот: раз, два, три. И вот ещё. Что не так? Звук есть. Мягкое свечение есть. Ещё раз: вот окно, вот огурцы. Но — таймер не вовремя; она вернулась. Ноги и руки дрожат, валяется пустой шприц. Жаль себя, жаль. И — с Новым годом! Ну, не спаслась. Придётся жить.

Тридэ

В пятнадцать ноль-ноль слышно, как снимается в коридоре обувь.

— Ну, что у нас тут?

Или:

— Какие сегодня новости? — входит, разувшись, в комнату.

Или:

— Лежишь? Как твои дела?

Это входит Катя. Сегодняшняя Катя — медицинский массажист.

Она подходит вплотную — прощупать шейно-воротниковую зону. Застойные явления ей важно остановить. Поэтому — сильные короткие пальцы, тёплое дыхание, волосы пушатся у лба. Когда медицинская Катя закончит, она сможет быть, наконец, полезной.

— Фух! — садится на стул напротив, левыми пальцами из ящика тянет телефон. — Намяла сегодня! Гляди, какие руки! — потная, сгребает чёлку, тыкает пальцем в телефон. Телефон включается и оживает. Катя вздыхает, как перед массажем, и печатает, подпихивая под губу язык.

С улицы гавкает собака, машина остановилась. Гул.

— Вот так если: «Весь дискомфорт всегда из-за отложения солей. Мне полегче теперь должно быть, т.к. меня медицинский массажист размяла как следует. Какие сегодня новости? Я как обычно», — Катя прочла и смотрит, теперь мимо шеи, смотрит в глаза. — Пойдёт? Только я уже отправила.

Шестнадцать ноль-ноль показывают часы разбросанными стрелками. Катя их тоже видит и встаёт.

— Фух! Ну, пока.

Телефон возвращается назад.

Разломанный шторой свет будет медленно менять позы. Шуметь в батареях вода. Со стены — наблюдать грустные лошади. Их раздутую ветром гриву зажевала, наехав, рама; задние ноги — прямые, передние согнуты дугой, — это художник так придумал, что вот так замершие лошади бегут. Лошадей каждый день очень жалко. Катя войдёт в завтрашние пятнадцать ноль-ноль.

Рано и поздно, вечером, в квартире слышно родную тётю Катю. Она входит — кормить пюре. Счищать с подбородка натёкшее, менять пелёнку и положение тела, где-то за спиной открывать окно. Телефон, если останется время, тоже включит. В последний раз отправила она: «Моя родная тётя Катя многое мне показала, и пластинки она мне покупала, и добивалась пенсии. Она ходила по службам, покупает и сама варит пюре. Когда я была маленькая, я слушала “Карлсона” и смеялась. Сейчас мне некогда, и я ложусь спать».

Из-за тёти-Катиной занятости и существуют все остальные Кати. Они-то и приходят в середине дня.

«У меня ДЦП и совсем сильная спастика. Если погода меняется особенно происходит всё. Я 1987 года рождения, совсем мычу. Со мной сидит соц. работник, ей мало платят и она еле выживает. Как у тебя дела?»

Или: «Я каждое утро когда просыпаюсь утром читаю молитвы ты читаешь сама молитвы сегодня священномученика григория епископа помолись».

Или: «Ты, случайно, не знаешь телефон гжи нашего района или как к ним ещё обратиться?»

На тридцать третий день рождения вошла новая Катя. Точнее, прежние оставались, но эта, наконец, появилась — вживую познакомиться и поболтать. Она так и сказала:

— Вживую познакомиться и поболтать!

Катя принесла пластинки с новыми книгами, среди которых есть и «Карлсон», а ещё молитвослов, пакет с твёрдыми и жидкими продуктами. Ей столько же лет — тридцать три, только волосы у неё длинные и чёрные, а не русые и короткие, разложены по плечам, но не мешают.

«Карлсона» поставили играть.

Катя с длинными волосами интересуется, что ещё можно привезти? Может, какие-то другие аудиокнижки, ведь можно поспрашивать у волонтеров и найти.

— Может, какие-то другие аудиокнижки?

— Кха-тть-я.

Катя с длинными волосами оттирает платком слюну с губы, тёплую, и отходит. Потом снова возвращается к кровати и начинает её заправлять: ноги теперь невидны накрыты одеялом. Проигрыватель кряхтит, под чёрной иглой дёргается заевшая пластинка.

— Она любит лошадей? — Катя с длинными волосами стоит перед картиной и спрашивает далеко тётю Катю. Тётя Катя кричит в ответ «да». — И я люблю! — радуется Катя с длинными волосами и оборачивается. — Они такие грациозные!

Скоро наступит время пюре, и Катя, понимая, прощается. Она ещё приедет, но просит в вацапе почаще писать:

— Если захочется, и если тётя Катя будет не сильно занята, конечно!

После утреннего пюре звенит звонок по квартире, длинно. Тётя Катя отставляет пюре, отходит, идёт. Там что-то с грохотом занесли, мужские голоса слышатся сильно. И уже тётя Катя втаскивает что-то большое и прямоугольное, обёрнутое в блестящую плёнку. На полу, под плёнкой, торчит прикушенно шерстяной носок — тётя Катя всегда подкладывает, чтобы легче тащилось.

— Ну вот: сказали — тебе!

Тётя Катя аккуратно стягивает плёнку, чтобы потом можно было опять использовать, но замечает нацарапанное на углу «От штаба волонтеров!» и на выдохе говорит:

— Тогда под простыни тебе стелить!

Под плёнкой оказалась картина, необычная живая картина с лошадьми. Если чуть-чуть повернуть голову, постараться, посмотреть под другим углом, лошади на картине переставляют ноги, выгибают иначе спины, выпрямляются и так бегут. Пыль из-под копыт заметно серебрится.

— Тридэ, — говорит тётя Катя, крепко сминая плёнку.

Драматик классик

Я иду к лифтам и лестницам, квадратные охранники размыкаются, как замки. Плотный бежевый коридор, бубнение и ватный гул, кислый капустный запах. Я закрываю дверь, всё схлопывается за ней. Вот я и на месте.

Вот я ставлю рюкзак в гримёрке и дёргаю на цепочке свет. Вот я встала ровно, руки сложила на груди. «У-у-у, и-и-и, о-о-о».

Из тумбочки под зеркалом выглядывает угол галстука, тяну его, как плоский язык. «У-у-у, о-о-о». Галстук розовый и в полоску, прикладываю его к груди. «Взв! Фстра! Лблбаль!» — выплёвываются сочетания, а в зеркале галстук подчёркивает полноту. В сторону уродский галстук, на шею сегодня пойдёт бант. С бантом в пайетках, мать бы подтвердила, Светлородова смотрит на меня. Я же вылитая в зеркале Светлородова!

Из рюкзака достаётся главное: нос и всякое другое — пузыри и грим, тон «плотный белый». Я вдеваю себя в резинки, пристёгиваю помочи, приклёпываю и привязываю, лентами напихиваю карманы. Белый голубь на заколке присаживается на рукав.

Светик сегодня в онкобольнице у своих друзей! Они ничем не отличаются от нас! Любите жизнь! А Вы живете сейчас или откладываете на потом?

Опубликовано. Телефон — отключить.

У-у-у, и-и-и, фстра! Косность речевого аппарата преодолена. Светик распахивает дверь, и свет у его ног стелется прямоугодно. Капустная кислота перетушена в тупую сладость — ещё полчаса, и повезут еду.

— Хей-хей, кто это такой маленький у нас?

Они радуются, они всегда радуются — те, кто его узнал. Приподнимаются с кроватей, показывают рисунки и карандаши. Капельницы невидимыми подвесами притягивают их обратно.

— Светик! Ваш друг! Пришёл! Светик! Ваш друг! Вернулся!

Радуга течёт с ладони на ладонь, радуга течёт с ладони на плечо. Слабые голые лица смотрят на Светика, он различает их по сидящим рядом матерям.

— Ты, что ли, клоун? — кто-то новенький говорит вот так.

Светик выходит в центр и снова себя объявляет. Его просят доказать, и он жонглирует тремя шарами. Простая иксообразная траектория вызывает восторг.

Матери тревожатся и просят спокойную игру. Светик дует в кружок на палке и просит всех минутку помечтать. Пузыри разлетаются, никто не разговаривает, лязгает в коридоре каталка с кастрюлями.

Мой Светик пришёл ко мне в цирковом училище, и именно он научил меня не расставаться со своим внутренним ребёнком. Я надеваю нос, и Светик напоминает мне, как важно радоваться ежедневно. А Вы радуетесь КАЖДОМУ дню?

Опубликовано.

У меня двадцать минут между этажами. Нос Светика корчится резинкой на столе. В зеркале — надкушенный бутерброд и банка с пастозной массой. Разминает борозды от резинки на лице женщина типажа «прохладный драматик классик». Крошево дешёвого грима сыплется на бутерброд.

Друзья, а КАК ИМЕННО Вы радуетесь каждому дню? Поделитесь в комментариях!

Опубликовано.

Светику подарили грушу и апельсин, можно не мыть, здесь всё дарят мытое. Оставить на ужин или по-быстрому затолкать? Слышно скрипит во рту. Рыбы пайетки на зубах и на хлебе.

Светик жонглирует, усложняя «фонтан» из четырёх и пяти мячей. Капли лопнувших пузырей всюду лежат как слёзы. Голубь роняется на пол. «Тише-тише!» — говорят матери и прикрывают рот. Светик сбрасывает мячики в шляпу и предлагает помечтать.

- Чтобы голубь стал не мёртвый! — загадывает вслух ребёнок рыжей женщины.
- Лейкопения же!
- Всё-таки чучело.

Светик жонглирует в палатах до четырнадцати, потом его просят освободить. В спину белому халату он выдувает пузыри и под хохот быстренько идёт к двери.

Больничные будни Светика — поддержка прекрасных детей и не менее прекрасных родителей. Они его обожают! Это настоящая дружба через годы! Всё это стало возможно благодаря клоуну, и я благодарна ему за это! А Вы бы хотели иметь такого друга? Да? Нет?

Опубликовано.

Пот с жировой основой стекают под воротник, на смывку уходит минут пятнадцать. Оставшиеся Светиковы пятна дотираются рукавом. Куски Светиковой плоти — нос, перчатки и помочи — я возвратила в рюкзак, сверху уложила апельсин и грушу.

Всё-таки: Лучшая награда для меня... — нет. Самая лучшая награда для человека...

Теперь погасить свет и уходить. Прощаемся с гримёркой до следующего понедельника. Ключ дёргается в двери.

Самая лучшая награда для Homo Sapiens...

Ключ дёргается и остаётся на месте, вправо-влево — никак. Доходит до носа хлорка — едва-едва. Пробегают за спиной люди со стенда «Ими гордится...». Медсестра летит, и я уворачиваюсь. Давайте-давайте, отправьте артиста в травматический пункт! Попробуйте не принести апельсины и груши! Цветы корзинами вот такие не принести!

Ко мне с выставленными руками приближается громада. Зелень и ромашки успеваю разглядеть. Ключ в замке застревает окончательно.

— Зачем это вы ребёнку — цветы? Больной ребёнок ничем не отличается от нас с вами, но цветы...

Цветы несёт свитер без головы — не видно за корзиной. Потом видно, это в свитере мужчина, и запотели от тяжести очки. Чей-то отец благодарит или чей-то дядя объявился? Волонтёр? Курьер? Курьера сюда не пустят. Чей-то родственник, почему-то одинокий, хотя есть чувство юмора, прям как у меня? Хватит, скажет, мячики кидать, на фиг тебе сдалось, хоть ты и человечище.

— Гематология, не подскажете?

— Пошлите.

Я знаю в онкологии все короткие пути. Я не путаю, как они, детское и взрослое. Хотя больной ребёнок, конечно, ничем не отличается от других. Вот ваша дверь, мужчина. Это, получается, платная. Получается, что вот мы и пришли.

Катаются шарики внутри рюкзака, мысленно делаю подбросы.

— А букет вы купили очень достойный.

— Маргарите Вадимовне!

Платная палата сначала наглухо закрыта. Заносю цветы, Свитер забывает прикрыть дверь. Я её легонько придерживаю ногой и теперь, наконец, вижу — боты забыла снять.

Внутри мой Свитер мечется, не зная, куда притулить букет. Всё в цветах, всё как в стеклянном куполе. Всё в вазах и вёдрах, всё пахнет и торчит.

— Ну что вы мечетесь, Серёжа, ставьте туда, к окну.

На кровати лежит Светлорадова.

Тени, и брови, и волосы. Волосы сброшены с подушек на пол. Она делает ручкой, чтобы чуть-чуть, и такие сухие руки — я бы уронила мяч. Она усаживает Свитер, то есть моего Серёжу, между белых роз и фиолетовых цветов. Серёжа мечется среди корзин и наступает себе на боты. Она его попросила рассказать про спектакль, но он не знает, как расположить слова. Как там без неё справился Кирилл Георгич, возникает вопрос, и Серёжа находит в левом углу скромные белокрысые астры, успокаивается и выдыхает, чтобы, наконец, говорить.

— А вы Светлорадова? Ну, в смысле, дочь? — Надо было, конечно, это, не снимая банта. — Мне просто всегда моя мама говорила...

Светлорадова стала приподниматься на локтях. Серёжа вспомнил слова и попросил меня выйти, и они закрыли дверь.

Многие мамы говорят, что молятся на меня, помнят обо мне даже в уверенной ремиссии. Многие пишут в директ и благодарят за то, чему я их научила. Именно искусство клоунады — важнейшее из искусств — мне так помогает в жизни!!! Вот такой букет для Вас! Желаю быть кузнецами своего счастья! И, конечно, радости!

Я иду к лифтам и лестницам.

Полина Щербак



Красная Шапочка не пришла в девять

Из цикла «Тайны Тенистого леса»

Глава 1. Преступная морда

Земля осыпалась, и Волк кубарем скатился на дно ямы.

— Даже не пытайся! — услышал он голос Охотника. — Где она?

— Чё те надо? — оскалился Волк. — Выпусти! Не имеешь права!

— Ты мне ещё тут поговори, — Охотник пнул сапогом землю у самого края так, что она полетела Волку в морду.

— Чтоб тебя! — Волк взвыл от злости.

Вдруг неподалёку послышались шаги. Волк наострил уши — наверху завязался спор. Охотник то и дело срывался на крик, его собеседник отвечал спокойно и коротко.

— Я знаю, это он! — стоял на своем Охотник.

Шаги замерли на краю ямы. Дневной свет закрыла собой внушительная фигура.

— Господин Волк, меня зовут детектив Дровосек, — представился человек наверху. — Я расследую исчезновение госпожи Красной Шапочки. Сейчас вам помогут выбраться наружу и проведут в участок. У меня есть к вам несколько вопросов.

Полицейский участок Тенистого леса находился у подножия Дуба-Гиганта. Двести лет назад единственная вернувшаяся с Острова Великанов экспедиция привезла два жёлудя, один из которых посадили в столице Сказочных земель, Мерхенштадте, а второй — в центре Тенистого леса. Дерево из него выросло настолько огромным, что среди его корней помимо общего холла спокойно разместились кабинеты шефа полиции и детектива Дровосека, комната для допросов и камеры для задержанных. Выше, в ветвях, находились архив и голубятня для отправки писем и срочных сообщений.

Щербак Полина Сергеевна родилась в 1991 году в республике Казахстан, образование высшее, по специальности преподаватель иностранных языков и культур. Участница «Мастерских — молодым писателям» от Ассоциации союзов писателей и издателей России в 2022 году. Финалист «Национальной премии молодых писателей 2020» и полуфиналист конкурса «Новая детская книга 2022». Живёт в Челябинске. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Дровосек зажал нос. О том, чтобы идти в комнату для допросов, не могло быть и речи. Вонь оттуда неслась несусветная. Приторно-сладкий аромат розы с едкими нотками тыквы заполнил каждый уголок — благоухали три ящика душистой воды «Фрау Золушка», подпольно изготовленной бандой домовых.

Сами домовые повысовывали свои наглые рожи из-за решётки камеры и насмехались над дежурным полицейским-троллем:

— Понаехали тут! Вали домой, зелёная морда!

Троль Ове работал в участке по программе обмена с Северными землями всего месяц. Он отвернулся и делал вид, что не обращает внимания на обидные слова, но с каждой минутой его щёки всё больше зеленели.

— Эй ты, пузатый, оглох, что ли? — оскалился самый здоровый из домовых.

— Две недели работ на золотых шахтах за оскорбление полицейского, — бросил Дровосек мимоходом, даже не взглянув на домового, и обратился к Ове: — полиция Мерхенштадта заберёт ящики с душистой водой после обеда. Подготовь бумаги. А Вилли тебя здесь подменит.

— Слушаюсь, господин детектив, — обрадовался троль и бросился искать Вилли, сбив по пути два стула и смахнув со стола чернильницу и стопку документов.

Дровосек прошёл к своему кабинету, пропустил вперёд Волка и Охотника и жестом пригласил сесть.

— Я при этом чокнутом говорить не буду, — сказал Волк и ткнул в сторону Охотника.

— Всё ты будешь, волчара! — рявкнул Охотник.

— Прощу вас извинить господина Охотника, он погорячился...

— Он меня схватил и в яму кинул! — Волк вскочил со стула.

Дровосек молча глянул на него, и Волк сел на место.

— Мы непременно побеседуем с господином Охотником на эту тему. А пока расскажите, — детектив пригладил свою аккуратно подстриженную светлую бороду, — что вы делали вчера в девять вечера у дома пропавшей?

— Просто мимо проходил, — развёл лапами Волк.

— Врёшь, зверина! — заорал Охотник из своего угла.

Волк возмущённо вскинулся, но ответить не успел.

— Спокойно! — прищипнул детектив, и оба утихли.

— Тогда объясните, господин Волк, зачем вы заглядывали в окна Красной Шапочки как раз в тот вечер, когда она пропала?

— А чё к симпатичной девчонке не заглянуть? — осклабился Волк.

От этих слов лицо Охотника покрылось багровыми пятнами, вены на висках вздулись. Руки непроизвольно сжались в кулаки. Волк довольно ухмыльнулся и продолжил:

— Разве кто-то меня видел с Красной Шапкой? Или я стырил чё-то?

Детектив покачал головой:

— Нет, полицейские осмотрели дом пропавшей. Ценности на месте.

— И я о том же, — Волк откинулся на спинку стула.

— То есть вы не знаете, где Красная Шапочка? — спросил детектив.

— Я вообще не при делах!

— И тот факт, что десять лет назад вы проходили обвиняемым по делу о несъеденной бабушке, никак не связан с вашим появлением у дома пропавшей?

— Да я бы не тронул бабку! — снова завёлся Волк. — Ну молодой был, глупый. С кем не бывает? Чё теперь, клеймо на всю жизнь? Меня сам детектив Золотая Борода оправдал! Или его слово для вас — ноль без палочки?

— Ну что вы. Я очень уважаю мнение моего наставника. Просто обязан уточнить.

Детектив Дровосек поднялся со стула и отошёл в сторону, чтобы не цеплять головой корень дуба, который извивался под потолком.

— Благодарю вас, господин Волк, — сказал он. — Можете быть свободны. Не покидайте пределы Тенистого Леса, пока идёт расследование.

— Вот так и отпустите его? Да он преступник, у него на морде написано! — закричал Охотник и двинулся на Волка.

Дровосек в последний момент успел перехватить его руку. Волк демонстративно придвинул свой нос вплотную к кулаку и ухмыльнулся:

— На свою морду посмотри, психованный! Ещё увидимся!

Дровосек проводил его взглядом и повернулся к Охотнику:

— Не переживайте, мы найдём вашу... эмм...

— Невесту, — сказал как отрубил Охотник.

— Конечно, — согласно кивнул детектив. — Невесту. Вы сказали, что вчера сопровождали на охоту графа из Белого замка с самого утра и до семи вечера. А в девять должны были встретиться с девушкой, но она не пришла. Всё верно?

— С невестой, а не просто с девушкой, — отрезал Охотник. — Да, всё так. Зачем повторять по десять раз, мы только зря теряем время!

— А вы уверены, что она не могла отправиться... в гости к кому-нибудь? К подруге, например?

— Она ни разу не уезжала одна из дома! А тут вдруг в гости?

— Но подруги ведь у неё были?

— Вышли замуж и разъехались.

— Совсем никого?

— Ну, только эта, — нехотя буркнул Охотник. — Белоснежка. Я могу уже идти?

— Конечно, — позволил детектив.

Охотник удручённо направился к выходу. И уже стоя на пороге, оглянулся:

— Сам её найду! Я не буду сидеть сложа руки!

— Правильно, парнёк! Не доверяй тупоголовым полицейским! — высунулся домовой и тут же спрятался обратно, увидев Дровосека.

Охотник хлопнул дверью.

Дровосек подозвал к себе тролля Ове.

— Пошли голубя к графу Белого замка, — сказал он. — Уточни, как долго вчера Охотник был с ним. И если он отлучался, то на сколько и когда? Всё понятно?

— Конечно, детектив, — ответил Ове, нервно перебирая пуговицы на своём жилете. — Я вас не подведу!

Ове побежал на голубятню, а Дровосек вернулся в свой кабинет. Только сейчас он заметил на полу тонкую косичку из белых шерстяных нитей. Видимо, её выронил кто-то из этих двоих. Детектив внимательно осмотрел косичку, но не обнаружил ничего подозрительного. Он убрал её в нагрудный карман и отправился к Белоснежке.

Глава 2. Таинственный поклонник

— Присаживайтесь, господин Дровосек, — улыбнулась Белоснежка и поправила причёску. — Нечасто в гости заходит такой эффектный мужчина.

Детектив посмотрел на усыпанный крошками стул и нахмурился. Он достал из кармана носовой платок, обмахнул сиденье и только после этого сел. Стул скрипнул под его весом.

— Вы переехали от семи гномов три месяца назад, верно? — спросил он.

Белоснежка откинулась на спинку кресла и подпёрла голову так, чтобы не смазать рукой ярко-розовые румяна.

— Они, знаете ли, такие зануды, — протянула она. — А я натура творческая.

Детектив посмотрел на заваленный грязной посудой стол, на пыльный столик с засохшими цветами и чуть заметно улыбнулся. В участке ему уже рассказали, что «творческий» характер Белоснежки не выдержали ни Принц, ни гномы.

— И после переезда вы стали тесно общаться с Красной Шапочкой?

— Встречались иногда, болтали о том о сём. — Белоснежка, расправила складки на платье. — Как вы считаете, мне к лицу баклажановый? Или бирюзовый подол смотрелся бы лучше?

— Вам очень идёт этот цвет, — выстрелил комплиментом Дровосек и продолжил свои расспросы. — А о чём именно рассказывала Красная Шапочка?

— О мальчиках, о чём ещё! — всплеснула руками Белоснежка и поднялась с кресла.

Она подошла к большому зеркалу в витой бронзовой раме и принялась внимательно разглядывать своё отражение.

— Кхм, — кашлянул Дровосек. — Красивая вещь.

— А? — Белоснежка посмотрела на него с удивлением, словно только теперь заметила, что в комнате есть ещё кто-то. — А, зеркало... Да, досталось по наследству.

— Красная Шапочка... — напомнил детектив.

— Ах, да. Например, она рассказывала о своём новом поклоннике.

— О каком поклоннике? — удивился Дровосек. — Я думал, что Красная Шапочка помолвлена с Охотником?

— Это он так думает, — усмехнулась Белоснежка. — Называет её «моя невеста». А сама Красная Шапочка уже устала от того, что он таскается за ней по пятам. Тем более она встретила кое-кого недавно...

— Имя?

— Какой вы резкий, — отмахнулась Белоснежка. — Она не говорила. Да и что вы заладили — Красная Шапочка да Красная Шапочка! Расскажите лучше о себе... Как такой интересный мужчина стал детективом?

— Это долгая история, — не попался на удочку Дровосек. — Вы, похоже, не особо обеспокоены исчезновением подруги?

Белоснежка пожала плечами:

— А чего беспокоиться? Убежала с новым кавалером. Подальше от Охотника и своей бабки.

— А с бабушкой-то что не так?

Дровосек встал, чтобы размять затёкшие на низеньком стульчике ноги.

— Старуха бредит тем, что внука поедет учиться в Мерхенштадт. Будет работать в министерстве или где-то там ещё. Выберется из Тенистого Леса, выбьется в люди.

— А Красная Шапочка?

— Без ума от своего музыканта, — хихикнула Белоснежка.

— Музыканта? — переспросил Дровосек.

— А я ведь тоже отлично пою! — вдруг вскрикнула Белоснежка и затянула:

Мой милый мне подарил
Букет из алых цветов...

— Благодарю, — прервал её Дровосек. — Как-нибудь в другой раз. И последний вопрос: подруга, видимо, заходила к вам недавно?

Детектив указал на кофейный столик, на котором стояли две чашки и корзиночка с печеньем.

Белоснежка вздохнула и махнула рукой:

— Была на прошлой неделе.

— Спасибо, — сказал Дровосек. — Пожалуйста, сообщите, если что-то вспомните.

Детектив направился к выходу.

— Заходите почаще, — проворковала Белоснежка.

— Извините, времени нет. Нужно вести расследование.

Дровосек дошёл до калитки и обернулся, почувствовав на спине чей-то взгляд. Белоснежка наблюдала за ним из окна. Детектив кивнул и поспешил свернуть на лесную тропу.

Дом Красной Шапочки белел среди тёмных елей, и Дровосеку пришла в голову идея. Он поправил топор за спиной и быстрым шагом направился в сторону дома.

Калитка оказалась не заперта. Воздух был наполнен ароматом цветущих яблонь. Дровосек подошёл к самой большой и старой из них и бережно положил ладони на её тёплую от солнца кору.

Дерево отозвалось не сразу. Дровосек ждал несколько минут, прежде чем ощутил в ладонях знакомое покалывание.

Он закрыл глаза и мысленно спросил у дерева: «Здесь похитили Красную Шапочку?» Яблоня не ответила. Деревья говорили словами очень редко. Только Леону он мог расслышать хорошо, и то с каждым годом она говорила всё меньше, а в последнее время часто отвечала лишь тихим шелестом листьев. Но всё же Дровосек получил ответ на свой вопрос: дерево было спокойно, никакой тревоги и волнения. Значит, яблоня не видела похищения.

— Охотник сюда часто приходит? — спросил детектив.

Настроение у яблони изменилось. Похоже на раздражение — Охотник ей не по душе. Скорее всего, это «да».

— А другой мужчина?

Удивление. Нет, дерево никого больше не видело. Интересно... Что за таинственный поклонник?

Глава 3. Люция Эдельштайн

— Дождитесь в гостиной, — сказала Дровосеку горничная Анна, худенькая девушка с огромными голубыми глазами, и выпорхнула из комнаты.

Детектив подошёл к камину. Над ним висело несколько портретов в резных деревянных рамах.

Вот, должно быть, сама Люция в детстве с братом и отцом. Корнелиус Эдельштайн, самый влиятельный в истории министр магии, стоит позади детей. Черты лица резкие, волевые. После того, как он ввёл закон об ограничении использования магии, на него семь раз совершали покушения.

А этот темноволосый мужчина в охотничьем костюме, скорее всего, её покойный муж Густав. Про него говорят, что он был самым метким стрелком в Тенистом Лесу. Попадал в лесной орех со ста метров. Его знаменитое ружьё висело здесь же, над портретом.

— Нравится?

От неожиданности Дровосек вздрогнул. Люция Эдельштайн стояла в двух шагах, опираясь на спинку кресла.

— Или вы предпочитаете более традиционный стиль? — старуха кивнула на топор за спиной Дровосека. — Анна! — крикнула она, не дожидаясь ответа. — Принеси гостю чаю.

Анна заглянула в комнату и тут же скрылась. Люция жестом пригласила Дровосека сесть и сама устроилась в кресле, расправив складки тёмно-синего бархатного платья. Её профиль — тонкий нос, худая иссохшая шея и высокий пучок серебристых волос — напомнил детективу цаплю, которая живёт на заболоченном пруду рядом с его домом.

— Есть новости о моей внучке? — спросила старуха. — Уже его опросили?

— Вы о Волке?

— Об Охотнике, — вздохнула Люция.

— Вы против их союза?

— О каком союзе речь, детектив? — усмехнулась Люция. — Охотник обаятелен как чёрт и туп как пробка! Он не в курсе, что в жизни есть что-то кроме охоты и гулянок в трактире с друзьями.

— Видимо, внучка с вами не согласна? — мягко возразил детектив.

Старуха снова вздохнула:

— А вы всегда слушали старших, когда вам было семнадцать? Я сама отказалась от блестящего будущего в министерстве и сбежала в глушь Тенистого Леса с Густавом.

— Насколько я знаю, вы прожили с ним счастливую жизнь. Воспитали дочь, открыли первую в Тенистом Лесу школу... Разве вы пожалели, что выбрали любовь, а не карьеру и положение в обществе?

— Уважаемый детектив, — вскинула взгляд Люция, — за семьдесят три года жизни я пришла к выводу, что не нужно выбирать, когда можно совместить. Нужно искать милого, который предложит рай где-нибудь поприличнее, чем в шалаше. Я любила Густава, но это не значит, что не полюбила бы кого-то другого. Вот вы женаты, детектив?

— Женат.

— Как зовут вашу жену?

— Леона.

— Думаете, вы бы никого не полюбили, кроме вашей Леоны?

— Думаю, нет, — ответил Дровосек и поспешил перевести разговор. Он никогда не обсуждал с посторонними свою жену.

— Скажите, а у Красной Шапочки мог быть ещё один поклонник?

— Смерти моей хотите, детектив? — всплеснула руками Люция. — Мне бы этого пережить!

— А с музыкантами она общалась?

Старуха задумалась:

— Она помогала организовывать концерты для учеников нашей школы... Ещё брала уроки пения у одного заезжего музыканта месяц назад. Худой такой, замученный. Не помню его имени. Жил в трактире у мельницы, а потом уехал в Гренценбург. Почему вы спрашиваете?

— Проверяю все версии.

В этот момент в комнату впорхнула Анна с серебряным подносом в руках. Она поставила перед детективом фарфоровую чашку с блюдцем и вазочку со сладкими булочками.

— Спасибо, — поблагодарил он. — Булочки изумительны!

— Моя дочь печёт, — сказала старуха. — Мозгами бог не наделил, но готовит отменно.

— А Красная Шапочка не могла поехать к маме?

— Я вас умоляю! Она ни разу не выбиралась одна за пределы Тенистого леса.

— Скажите, ваша внучка была с кем-нибудь в ссоре?

— Она у нас тихая домашняя девочка, — Люция с грустью посмотрела на портрет Красной Шапочки на столе. — Много читает, увлекается историей, искусством... Она и ругаться-то как следует не умеет, а вы говорите — в ссоре! Ласковая, робкая... Обо всём мне рассказывала, спрашивала совета...

Дровосек внимательно посмотрел на Люцию:

— Значит, вы в курсе, что Охотник и Красная Шапочка помолвлены?

Старуха помедлила секунду:

— Конечно.

Она нервно сжала в ладони кружевной платок с вышитыми инициалами. И без того бледное лицо стало бело-серым, как подтаявший весной снег.

— Извините. Наш разговор меня несколько утомил. Одной ногой в могиле, сами понимаете. Я могу вам ещё чем-то помочь?

— На этом пока всё, — ответил Дровосек. — Я сообщу, когда появятся новости.

Он поблагодарил хозяйку и вышел из дома. Навстречу ему как раз торопился полицейский-троль Ове.

— Детектив! — выпалил троль и вдруг замер на месте.

Он смотрел как замороженный в окно дома.

Дровосек обернулся — у окна стояла горничная Анна.

— Ове, — тихо окликнул он тролля. — Неприлично так разглядывать девушку.

— Я... я... просто... вот...

— Какие новости от графа? — вернул его на землю детектив.

— Охотник сказал правду, — наконец взял себя в руки Ове. — Он был с графом с утра и до вечера. Но когда граф обедал и отдыхал после полудня, Охотник отлучался куда-то примерно на час или больше.

— Интересно... — протянул Дровосек.

— И ещё... — продолжил троль. — Только что пришло важное сообщение. На границе Тенистого Леса видели Бременских музыкантов.

— А им что здесь надо? — пробормотал детектив. — Возвращаемся в участок, не отставай.

Ове засеменял следом. Когда они вышли на тропу, троль незаметно оглянулся на дом госпожи Эдельштайн. Но Анны в окне уже не было.

Глава 4. Шерстяной браслет

Шеф полиции разгладил перья на шее и задумчиво потёр клюв. К бракам между оборотнями и людьми в Сказочных Землях до сих пор относились с осуждением, а рождённых в таких союзах детей в обществе встречали косыми взглядами. Но в отличие от большинства полуоборотней, шеф Филин не пытался скрыть свою животную половину. Его авторитет в полиции и даже среди преступников был настолько бесспорным, что никому бы и в голову не пришло обозвать его «полуродком» или «недочеловеком».

— Думаешь, музыканты могут быть причастны к исчезновению Красной Шапочки? Дровосек хмуро кивнул.

Во взгляде шефа мелькнула тревога.

Дровосек знал не понаслышке: пять лет назад, когда он только начал работать, детектив Золотая Борода как раз занимался этим делом. Мошенничество, торговля запрещёнными колдовскими книгами и редкими животными с Чёрных Болот... Но чтобы решиться на похищение? Это на них не похоже.

— А исчезновение той девушки три года назад? — напомнил шеф. — Из деревушки на границе со Снежными горами. Как её там звали?

— Эльза?

— Да-да, точно, Эльза. Красивая была девушка. Так и не нашли её.

Дровосек ещё больше нахмурился:

— Их причастность не была доказана.

Он сложил руки на груди и принялся ходить взад-вперёд по комнате.

— Мне не даёт покоя таинственный поклонник-музыкант.

— Ещё один поклонник? — удивился шеф. — А казалось — такая скромница. Ну тогда всё сходится.

Глаза шефа из тёмно-серых человеческих сделались жёлтыми, как у филина. Так происходило всегда, когда его увлекала какая-то мысль или когда удавалось напасть на след. «Вылетает на охоту», — думал про него Дровосек в такие моменты. За время работы в участке он так и не смог привыкнуть к этой особенности шефа.

— Помнишь, с Бременскими музыкантами одно время был связан какой-то парнишка? — продолжил Филин. — Играл на усыпляющей флейте. Может, она с ним и сбежала.

— Может, — неуверенно ответил Дровосек. — Я послал голубя полиции Гренценбурга. Они будут на чеку, если Бременские музыканты появятся. А заодно попытаются отыскать музыканта, который останавливался в трактире у мельницы.

Шеф согласно кивнул.

— Я, пожалуй, прогуляюсь до дома Красной Шапочки ещё раз, — добавил детектив.

По пути он снова заглянул к Белоснежке — вдруг она знает что-то про Бременских музыкантов? Но её не было дома.

В комнате Красной Шапочки царили чистота и порядок. Деревянная кровать аккуратно заправлена, на столе — чернильница, перо, стопки книг. История Сказочных Земель в трёх томах, словарь разговорного эльфийского, «Шедевры живописи эпохи Драконов»... Книги высились ровной нетронутой стопкой. Лишь одна из них лежала отдельно, и посередине был вложен засушенный цветок вместо закладки.

— «Прекрасная Эмма и железный король», — прочёл детектив.

Корешок потрёпан, обложка затёрта... В скольких девичьих руках побывала эта книга? Дровосек улыбнулся — кажется, Белоснежка сказала правду, и Красной Шапочке было не до учёбы.

Он прошёл к шкафу. Внутри висело несколько простых платьев, башмаки тщательно вычищены и расставлены в ряд. А это что такое? Под одеждой стояла неприметная деревянная шкатулка. Дровосек попытался открыть, но она была заперта.

— Интересно, — пробормотал детектив.

Он огляделся в поисках ключа. Посмотрел под подушкой, заглянул в чернильницу. Его взгляд снова упал на книги.

— Ага, — улыбнулся он.

Между страницами «Прекрасной Эммы» он действительно нашёл крошечный ключ. Дровосек осторожно открыл шкатулку. На дне лежали серёжки с камушками, несколько лент и колец. Но внимание детектива привлекли не они. Тонкий белый браслет из шерстяных нитей! Дровосек пошарил в кармане и достал точно такой же.

И тут он понял, что это за браслеты. Воспоминания нахлынули с такой силой, что ноги подкосились, и он невольно сел на край кровати.

Тёмные волосы Леоны лежали на плечах мягкими волнами, и Дровосеку безумно хотелось к ним прикоснуться, но он сдерживался. Знал, что она будет сердиться — нельзя отвлекаться в такой важный момент.

— Одной дорогой тебя судьба вела, — сказала Леона и взяла ярко-жёлтую нить. — Другую для меня жизнь приготовила.

В тонких пальцах Леоны появилась ещё одна, на этот раз тёмно-зелёная.

— А это наша дорога, теперь мы вместе пойдём по ней до самой смерти, — прошептала Леона и ловко вплела красную нитку в тонкую косичку.

— Давай руку, — сказала она.

Дровосек протянул свою ручищу, и Леона обвязала браслет вокруг его запястья.

— Теперь ты.

Дровосек послушно повязал косичку вокруг её хрупкой кисти, не удержался и поцеловал ладонь.

— Наши судьбы сплелись, как корни деревьев, — улыбнулась Леона. — Теперь духи леса не станут противиться нашей свадьбе.

Дровосек тяжело вздохнул и погладил шерстяные браслеты. Невесты, обычно, сами выбирают для них цвета. Красная Шапочка вот решила сплести белые...

Красная Шапочка... Кажется, теперь кое-что прояснилось!

Дровосек засунул браслеты в карман и выбежал из дома. На перекрестье троп он остановился. Здесь рос высокий старый бук. Дровосек прислонил к нему ладони, и дерево отреагировало мгновенно. Его ствол был наполнен тревогой.

— Ты видел, что случилось с Красной Шапочкой?

Дерево заволновалось ещё больше, его листья зашелестели.

— Куда её унесли? — спросил Дровосек.

Детектив знал, что деревья никогда не отвечают словами, но сейчас был особенный случай. И бук это понял. Ладони Дровосека задрожали от напряжения, и в этот момент он услышал в шелесте листьев:

— Гора...

— Спасибо, — прошептал Дровосек и бросился к дому Охотника.

Он бесцеремонно распахнул дверь и замер на пороге. На него смотрело дуло ружья.

Глава 5. Под прицелом

— Не делайте глупостей, — спокойно сказал Дровосек.

Люция Эдельштайн сидела в кресле. Ружьё мужа она держала легко и уверенно.

— Простите, детектив, но всё зашло слишком далеко, — покачала головой Люция. — Положите-ка топор на пол, не шутите с неуравновешенной старухой.

Она кивнула стоящему в углу Волку.

— У меня есть ощущение, что господин Дровосек попытается мне помешать. Так что свяжи его, будь добр.

Волк округлил глаза:

— Совсем из ума выжила, старая? Не-не-не! Я на это не подписывался! Мы договаривались, что я присмотрю за девчонкой! Но нападение на полицейского — это уже слишком!

— Есть предложения, детектив? — спросила Люция. — Или так и будем смотреть друг на друга?

— Давайте лучше спасём вашу внучку, — ответил Дровосек. — Где Охотник?

— В той комнате. Но он ни в чём не сознаётся, — добавила она.

Детектив нашёл Охотника привязанным к стулу. Он вытащил из его рта кухонное полотенце, и тот разразился бранью.

— Никакого воспитания, — не преминула заметить Люция. Она прошла за детективом в комнату и держала Охотника на мушке.

Дровосек достал свой топор и начал осторожно перепиливать верёвки.

— Что вы делаете, детектив? — напряглась старуха.

— Освобождаю господина Охотника. — Только он может нам помочь. И я бы на вашем месте присмотрел за Волком.

Люция вернулась в гостиную.

Входная дверь была распахнута, Волка не было.

— Доигрались? — закричал Охотник. — Я говорил, что не виновен! А теперь преступник скрылся!

— Выяснять отношения будем после, — оборвал его детектив. — Скажите, вы ведь отлично читаете следы?

Охотник кивнул, всё ещё недобро поглядывая на старуху.

— Тогда поспешим.

Дровосек и Охотник выбежали из дома. Люция так и осталась стоять с ружьём посреди комнаты с ружьём. Она раскрыла морщинистой рукой медальон у себя на груди и поцеловала портрет внучки.

— Держись, моя девочка.

Глава 6. Двое в гробу

Дровосек и Охотник остановились перед поросшей травой грудой камней.

— Вы уверены, что не ошиблись?

Охотник кивнул:

— Видите эти продолговатые следы? Недавно здесь везли тачку с чем-то тяжёлым.

Или кем-то, — добавил он и стиснул зубы.

Охотник подошёл к скале вплотную. Провёл ладонями по земле, прислушался.

— Сюда, — он нажал на торчавшую из земли корягу.

Внезапно прямо посреди скалы отворилась дверь. Охотник и Дровосек вошли в образовавшийся проём.

Сначала проход был низким, так что приходилось сгибаться почти вдвое, но вскоре они оказались в просторной шахте, и Дровосек смог выпрямиться. По обе стороны прохода уходили в глубь горы многочисленные тоннели, которые веками выдалбливали гномы Тенистого леса. Шахту освещали серебристые кристаллы на потолке.

Охотник присел и с минуту разглядывал неровный пол.

— В эту сторону, — сказал он. — Надеюсь, нам недалеко. Трудно различить следы.

Дровосек и Охотник пошли, прислушиваясь к звукам шахты. То слышался плеск воды, то вдруг раздавались странные шорохи. Все знали, что здесь своя жизнь, и гостей подземные обитатели не любят.

Впереди послышался металлический скрип. Они ускорили шаг и увидели то, что искали: под высоким сводом пещеры висел хрустальный гроб.

— Если вы подойдёте, я сорву цепь и они упадут, — произнёс женский голос.

— Госпожа Белоснежка, давайте поговорим спокойно.

— А вы ведь мне понравились, детектив, — усмехнулась Белоснежка.

В её лице больше не было прежней мягкости и кокетства.

Дровосек осторожно сделал шаг навстречу.

— Послушайте, я же знаю, что это зеркало надоумило вас. Ведь у вас — то самое зеркало, которое принадлежало вашей мачехе-колдунье? Это опасная древняя магия, она полностью подавляет вашу волю...

— Стойте где стоите! — взвизгнула Белоснежка и протянула руку к цепи. Глаза у неё блестели, она дрожала, словно в лихорадке.

— Вам не понять, детектив, каково это! Когда сначала ты самая прекрасная девушка в Сказочных Землях, но проходит время, и появляется другая, затем ещё одна...

В этот момент Охотник сделал рывок вперёд и сбил Белоснежку с ног.

— Падает! — закричал он.

Дровосек успел удержать цепь, но хрустальный гроб сильно накренился. Охотник бросился на подмогу. Он подпёр гроб снизу, а Дровосек тем временем медленно опустил цепь.

— Где Белоснежка? — выдохнул он.

— Там! — Охотник махнул рукой.

Дровосек бросился в проход и увидел, как Белоснежка свернула в один из коридоров и упёрлась в тупик. И теперь смотрела на него полными ненависти глазами.

— Вам некуда... — начал Дровосек, но не успел договорить.

С диким воплем Белоснежка кинулась на него и впилась ногтями в плечо. Дровосек вскрикнул от боли, но всё-таки исхитрился схватить её за растрепавшиеся волосы и отодрать от себя. Не теряя ни секунды, он сунул руку в мешочек с сонной пылью, висевший у него на поясе, и швырнул щепотку ей в лицо.

Белоснежка обмякла. Дровосек осторожно опустил её на пол пещеры.

Тем временем Охотник вынул из хрустального гроба Красную Шапочку и бережно держал её на руках. Девушка спала крепким сном.

— Детектив, — изумлённо позвал он. — Их здесь двое.

Дровосек достал из хрустального гроба вторую пленницу. Похоже, она лежала здесь давно: волосы отросли ниже колен, ногти были длинные и кривые, как когти птицы.

— Кто она? — спросил Охотник.

— Думаю, эту девушку зовут Эльза. Она пропала три года назад из деревушки в Снежных горах, где раньше жила Белоснежка. — Дровосек тревожно огляделся.

— Нам лучше поспешить наружу. В шахтах слишком опасно.

В подтверждение его слов из глубины горы послышался зловещий гул. Детектив закинул Белоснежку на одно плечо, Эльзу — на второе, Охотник осторожно перехватил Красную Шапочку так, чтобы её голова лежала у него на груди, и они двинулись к выходу.

Глава 7. Послание

Горничная Анна суежилась в гостиной с подносом — расставляла на столе печенье, чай и мармелад.

— Угощайтесь, детектив, — сказала Люция. — Мармелад с пылью из Долины цветочных фей.

— Благодарю, очень вкусно, — ответил Дровосек.

— Вы спасли мою внучку, а я чуть не продырявила вас из ружья. Мне теперь всю оставшуюся жизнь придётся вас кормить, одаривать и боготворить.

Она взяла фарфоровую чашку кончиками пальцев.

— Но если моя внучка не придёт в себя, то это не так долго, — усмехнулась она. — Положите меня в тот самый хрустальный гроб, если свадьба всё-таки состоится.

— Вы не поменяли мнение насчёт Охотника?

— Он хороший парень, — вздохнула Люция. — Честный, смелый. Любит её.

Она сделала паузу:

— Но всё-таки туповат.

Дровосек улыбнулся.

— А зачем вы втянули в историю Волка?

— Хотела, чтобы приглядел за этими двумя. — Пригрозила, что снова подниму дело десятилетней давности, что могут всплыть новые подробности... Согласился как миленький. Вы так его и не нашли?

— Нам незачем за ним бегать. Против него ничего нет. Но он, видимо, решил, что мы что-то откопали. Говорят, его видели на Чёрных Болотах.

— Как вы догадались о Белоснежке? — спросила старуха.

— Она слишком настаивала, что у Красной Шапочки есть ещё один поклонник. Это сбивало меня с толку, пока я не нашёл в шкатулке вашей внучки браслет из шерстяных нитей. Такой невеста плетёт за день до свадьбы. Тогда я понял, что не было никакого поклонника. Охотник и Красная Шапочка действительно собирались

пожениться. Поэтому Охотник был уверен, что с вашей внучкой что-то случилось, когда она не пришла. И вот куда он отлучался днём во время охоты с графом: заканчивал приготовления к свадьбе. В девять вечера они должны были венчаться.

Дровосек положил на блюдце ещё мармелада.

— К тому же в доме у Белоснежки стояли две чайные чашки и печенье. Печенье было свежим, но Белоснежка соврала, что это с прошлой недели.

— Признаться, она мне никогда не нравилась. Но она сорвала внучкину свадьбу, так что я, пожалуй, передам ей мармелад в тюрьму в знак благодарности. Кстати, а что будет с той, второй, девушкой?

— Мы отправили голубя в полицейский участок Снежных гор. Возможно, у неё есть родственники или жених, которые смогут разбудить её поцелуем.

— Но если её никто не поцелует, она что, так и будет спать?

Дровосек кивнул.

— Бедная девчушка, — покачала головой Люция. И, усмехнувшись, добавила: — Мне бы немного этого волшебного снотворного на ночь.

— Мы нашли целый пакет заколдованного чая, которым Белоснежка опоила Красную Шапочку. Могу отсыпать.

— Ах, детектив, — отмахнулась Люция.

— Кстати, меня просили кое-что передать вашей горничной, — вспомнил Дровосек и достал из сумки флакон душистой воды «Фрау Золушка».

Люция Эдельштайн удивлённо уставилась на розовый флакон.

— Наш полицейский, Ове...

— Зелёный парнишка с Севера?

— Он самый, — улыбнулся Дровосек. — В общем, вы передадите подарок? Он не решился прийти сам.

— Ох, молодость, весна, — вздохнула Люция. — Может, и мне закрутить роман? Правда, мне по возрасту подойдёт только ваш Дуб-Гигант.

Когда детектив вышел из дома госпожи Эдельштайн, близился закат. Это было любимое время Дровосека в Тенистом лесу. Пахло цветами и нагретой за день крапивой. Солнце пробивалось сквозь высокие ровные стволы сосен тёплыми золотистыми полосами, и тени деревьев ложились на землю причудливыми фигурами, которые оживали вместе с дуновением ветра. Детектив решил уже не возвращаться сегодня в участок. Он свернул к реке и озеру, чтобы собрать для жены букет её любимых незабудок, и отправился домой.

Он открыл калитку в сад с мыслью провести вечер за чашкой чая под цветущей кроной Леоны, но вдруг почувствовал *это*. Деревья были наполнены тревогой и страхом.

Дровосек бесшумно снял со спины топор и подкрался к дому. В саду никого не было, дверь тоже была заперта. Тут детектив заметил что-то на крыльце. Между двумя досками торчал плотный бумажный конверт.

Дровосек взял его в руки и прочёл: «Детективу Дровосеку. От тайного друга».

Наталья Добаркина



Человековычитание

* * *

вот она моя сторона
мощи её и немощи
режущая пальцы струна
пение всеношной
долгие провода провода
вдоль магистрали жилами
мёртвая в колодцах вода
сделает враз живыми
станций плывущие острова
рек междометия
густо разросшаяся трава
и — лихолетие

* * *

Вода не попадает в ноты,
когда стучит по козырьку.
День замерзает до икоты.
А на соседнем берегу
подожжены макушки клёнов —
контраст с синеющей волной.
Убранство праздничной иконы
напоминает город мой.
И колокольное звучание
вот-вот сорвётся, полетит.
И хоровое величание
преобразит нехитрый быт.

Добаркина Наталья Сергеевна — родилась в 1988 году в Якутии. По образованию фармацевт. Публиковалась в журналах «Огни Кузбасса», «Сибирские огни» и других. Участница международных форумов молодых писателей России «Липки» и проекта АСПИР «Мастерские». Живёт в Иркутске.

В «Дружбе народов» печатается впервые.

* * *

Оставайся на дымном ветру.
Докричись до глухого колодца.
Опалённые ветки в саду
Шелестят: «Никогда не вернётся».

Оставайся в развалинах дней,
Где печная труба покосилась,
Где ползёт по стене муравей,
а подсолнечник так и не вырос.

* * *

дни за окном меняются
рвутся календари
только не возвращаются
люди как снегири
в ветках пустуют домики
полные зимних яств
только сугробы-холмики
да ненадёжный наст
стала как будто полая
выгорев изнутри
и тишина свинцовая
слушай её смотри

* * *

Время вышивает на халате крест,
или это кровь проступает алая?
Сколько их, покинутых нами мест.
Сколько зим и лет — не считала я.

Стоит задремать — слышу чей-то крик.
Помоги мне, Господи, вынести
синеву небес и под сердце штык
по Твоей неведомой милости.

* * *

Идёт игра на человековычитание,
закону математики верна.
И никогда нельзя сказать заранее,
кого сегодня выберет она.

Идёт война — в домах, умах, на улицах.
И чёрной нитью шьётся новый день.
Загадывать нельзя, а то не сбудется.
Но волю дай, и буду я кремень.

Алена Новикова

Самый большой в мире проводник акустического резонанса

Рассказ

Шёл дождь, и хотя таксист два раза подавал назад у тротуара, объезжая лужи, кроссовки Захарии Литвака всё равно промокли, пока он добрался до подъезда. С пальто капало на ковры и на пол лифта, и женщина с дрожащей собакой под мышкой не забыла об этом сообщить, выходя на пятом этаже.

Никто не ответил на первый звонок, как и на второй. Захария нажал на кнопку ещё раз и не убирал руку до тех пор, пока не открылась дверь. Он шагнул в образовавшийся проём, не здороваясь и на ходу снимая с плеча чехол с ракеткой.

— Я не ждал тебя так рано, — сказал Матвей.

Захария молча стряхнул с ног кроссовки и направился в гостиную. Матвей покачал головой.

— Не буду спрашивать, — произнёс он ровно. — Ничего ужасного в этом нет, Захария. Ты в этом году...

Осёкшись, он едва слышно вздохнул и прошёл за сыном. Телевизор работал на максимальной громкости, и голос диктора, потрескивая, докладывал о землетрясении в Сальвадоре. Захария сел на диван и снял с головы повязку, придававшую ему отдалённое, но необходимое сходство с Бьорном Боргом. Повязка была куплена года три назад, и из неё уже начали лезть нитки. Захария провёл рукой по махорчатому краю и положил её на журнальный столик между миской с фисташками и стопкой газет.

— Будут ведь ещё юниорские соревнования, — сказал Матвей. — В категории до шестнадцати лет — в следующем месяце же?

Захария поднял глаза и неотрывно смотрел на него с минуту.

— У тебя в кармане зажигалку видно, — сказал он.

Прикусив губу, Матвей затолкал зажигалку поглубже в карман.

— Говорю же, я не ждал вас так рано, — повторил он, словно извиняясь. — Кстати, — где мама?

Захария потянулся за телевизионным пультом и принялся переключать каналы.

— Вы с ней приехали не вместе?

— Нет, — отозвался Захария. — Мы с ней приехали не вместе.

Алена Новикова родилась в 1999 году в Москве. Окончила МГИМО. Печаталась в журналах «Дружба народов», «Новая Юность», «Прочтение».

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 9.

— Интересно. — Матвей присел на край дивана. — Почему?

— Я взял такси.

Матвей приподнялся и вытащил из-под себя ракетку.

— Я бы на твоём месте обращался с ней поосторожнее, Захария. Она, на минутку, фирмы «Хед».

— «Уилсон».

— А. Да. Вижу, — он покрутил ракетку в руках. — В любом случае, мы ведь купили её только в прошлом месяце.

Захария продолжал щёлкать пультом. Отложив ракетку, Матвей откинулся на спинку дивана и закрыл глаза.

— Ты слишком серьёзно это воспринимаешь, сынок. Это всего лишь отборочная стадия.

Захария смотрел на экран всё с тем же отсутствующим видом. Какое-то время они сидели молча.

— Надо узнать, что с мамой, — сказал Матвей, наконец. — Там, на стадионе, вообще есть телефон?

Захария хмыкнул. Матвей достал из кармана зажигалку и положил её перед собой на стол.

— Пожалуйста, Захария. Не надо грубить.

— На стадионе нет телефона.

Матвей посмотрел на часы.

— Жаль. Очень жаль. На сегодня матчи ведь уже закончились?

Захария пожал плечами.

— Она, должно быть, ищет тебя.

Соединение с треском прервалось. Матвей поморщился.

— Ты что-то сказал, Захария?

— Я сказал, что мне совершенно всё равно.

— Не очень-то это красиво, сынок. Берта — твоя мать. Мы ведь говорили на эту тему — в прошлую пятницу, кажется.

Телевизор по-прежнему трещал, отображая цветастую таблицу передач.

— Что ж, — сказал Матвей. — Если не вернётся до половины седьмого, придётся мне за ней съездить.

Захария фыркнул и столкнул телевизионный пульт с колен.

— Твои? — спросил он, взяв со столика пачку сигарет.

— Да. Да, конечно. Я забыл прибраться, сынок. Давай их сюда.

Захария достал из пачки две сигареты и прикурил их от отцовской зажигалки. Затем протянул одну Матвею.

— Спасибо, — сказал Матвей. Он затаился глубоко и резко, как если бы мечтал сделать это с той самой минуты, как Захария появился на пороге. Потом сказал уже серьезнее: — Мне не слишком-то нравится эта твоя привычка. И маме, к слову, тоже.

— Она не знает.

Поразмыслив пару секунд, Матвей улыбнулся.

— Я ей тоже никогда не говорил, что курю, — он стряхнул пепел в миску с фисташками. — Ну, минут десять-двадцать у нас ещё есть.

Не отозвавшись, Захария сделал затяжку — французскую и весьма профессиональную. Курить он начал в двенадцать лет — в тот же год, когда сбежал из частной школы и когда Берте, наконец, пришлось бросить мечты о получении им кандидатской степени где-нибудь между Ролан-Гаррос и кубком Хопмана.

- Кстати, сынок, — сказал Матвей, — что Ганин сказал о твоей игре? Захария стряхнул пепел с колен.
- Ничего. Ничего он не сказал.
- Ты не стал с ним разговаривать?
- Времени не было. Послушай, я не хочу это обсуждать. Минуты полторы они курили, глядя на таблицу передач.
- Ты не собираешься снимать пальто? — спросил Матвей.
- Не собираюсь.
- Ну, это просто глупо. По-моему, батареи в доме работают исправно... Обожжёшься!

Отведя взгляд от телевизора, Захария потушил сигарету о край миски. Матвей поднялся с места.

- Должно быть, хватит. Твоя мать рассердится, если узнает.

Он убрал зажигалку в карман. Затем, поразмыслив, взял со стола и сигареты. Прошёлся по комнате, на несколько секунд задержавшись у настенного барометра.

- Сними всё-таки пальто, — попросил он. — Пожалуйста. Оно ведь мокрое.

Захария не двинулся с места. Сделав шаг, Матвей схватил с дивана телевизионный пульт и нажал на кнопку. Экран погас.

- Прекращай. В самом деле.

Он затянулся сигаретой, но та уже погасла. Тихо выругавшись, Матвей бросил окурочек в миску.

- Какой всё-таки был счёт, Захария? Что с тобой происходит, я не пойму?

- Ничего не происходит, — сказал Захария. — Абсолютно ничего.

— Хватит, сынок. Мне и без того не очень-то весело. Да, невесело. Что в этом смешного? Ты мой сын, и меня волнует, что происходит в твоей жизни.

Взяв миску в руки, Матвей принялся указательным пальцем гонять по ней окурочек.

— Я понимаю, ты устал. Почему бы тебе не принять ванну? Снимешь напряжение в мышцах, отдохнёшь...

- Кто тебе сказал, что ванна снимает напряжение в мышцах? — спросил Захария.

— Твоя мама. Не надо так на меня смотреть, Захария. Да, тебя обыграли, но не я же это был, честное слово!

- Ещё бы это был ты.

Матвей рассмеялся — довольно и с некоторой долей удивления. Вместе с женой он входил в круг немногочисленных, но преданных поклонников манеры, с которой Захария имел привычку изводить людей, когда был не в настроении.

- Конечно. Разумеется.

Он снова сел на диван и поставил на стол миску.

— Бери орехи, — сказал он. — И раздевайся. Как ты смотришь на то, чтобы вечером пройти до кинотеатра?

- Как думаешь, сколько мне лет?

Матвей вытянул перед собой ноги.

— Думаю, что пятнадцать, хотя ты себя наверняка чувствуешь на тридцать четыре.

Захария поднял «Уилсон» с пола и, сняв чехол, поднёс её поближе к глазам.

- Кто ронял мою ракетку? — спросил он сердито. — Рама вся исцарапана.

— Ты же и уронил, — сказал Матвей. — Швыряешься ими, как будто нам с матерью они достаются даром.

Проигнорировав это замечание, Захария убрал ракетку в чехол. Матвей поднялся, отряхивая руки от ореховой пыли.

— Я всё-таки съезжу на стадион, если ты не возражаешь. Понятия не имею, почему твоей мамы так долго нет. Вдруг она села не на тот автобус?

— Не села, можешь не беспокоиться, — сказал Захария. — У неё есть тысячи дел поважнее. Отвезти полотенца в прачечную. Присоединиться к митингу за освобождение Сектора Газы. Пожаловаться в профсоюз на Артемия Малиновского, этого проклятого дурака. Открыть собственный...

— На кого пожаловаться, сынок?

Захария покачал головой. Вид у него был мрачный — пожалуй, даже мрачнее, чем полтора часа назад при объявлении счёта.

— Артемий Малиновский — что это, чёрт возьми, за имя такое?

— Что за имя... — повторил Матвей, ни к кому, собственно, не обращаясь. Он снял с вешалки плащ. Вытащил из-под телефонного аппарата ключи, сунул их в карман и добавил уже громче: — Кстати, тебе звонили.

— Мне? — переспросил Захария. — Господи. Не говори ничего. Я уже вижу по твоему лицу, что...

— Тебе звонила Марго — или об этом тоже нельзя говорить?

Захария с грохотом уронил ракетку на пол.

— Когда?

— Больше не спрашивай, почему у тебя исцарапана рама, — сказал Матвей. Он подошёл к зеркалу и ловко застегнул плащ левой рукой. — Звонила часа в два — тебя уже не было, а новости ещё не начались.

— Рита, — сказал Захария. — Её зовут Рита.

— Я помню, сынок. Перезвони-ка ей, если время будет. Она в больнице и здорово расстроена. Сломала ногу или что-то в этом роде... Я что-то не так сказал?

Захария подцепил чехол за ремень и бросил ракетку в кресло. Встал, схватил со стола повязку и вышел в коридор.

— Куда ты идёшь? А. Ясно. Не выходи никуда, пожалуйста.

Захария с недоверием посмотрел на него через зеркало. Матвей кашлянул и поправил шарф. Захария развернулся и прошёл в свою комнату, закрыв за собой дверь.

Матвей потуже затянул узел шарфа. Минуты три смотрел на закрытую дверь, не шевелясь. Расстегнул верхние три пуговицы плаща, снял ботинки и прошёл за сыном.

Захария сидел на стуле спиной к письменному столу. На столе рядом с аквариумом стоял телефонный аппарат со снятой трубкой. Теннисный кроссовок соседствовал на кровати с пепельницей, в которой лежала дымящаяся сигарета.

Матвей неуверенно переступил. Склонив голову набок, Захария наблюдал за ним со своей позиции.

— Никогда раньше этого не видел, — сказал Матвей, указав на пепельницу.

Он сделал ещё шаг. Захария продолжал смотреть на него в упор.

— По-моему, мы договорились. Отдай-ка мне сигарету.

— Непременно нужна именно эта? — спросил Захария. — У тебя в кармане целая пачка.

Матвей тяжело вздохнул.

— Кончай дурачиться, Захария. Ты же знаешь, что мы с мамой запрещаем тебе курить.

Он взял пепельницу и потушил лежащую в ней сигарету.

— Я заберу это с собой.

Захария повернулся в его сторону, но не ответил. Из телефонной трубки на столе доносились голоса, плохо различимые и спорящие друг с другом.

— Ты все ещё разговариваешь?

— Да. Я все ещё разговариваю.

Матвей приподнял брови.

— Хорошо, — сказал он глухо. Взгляд его скользил по столу у Захарии за спиной. — Послушай, когда ты последний раз кормил своих рыб?

Захария постучал кончиками пальцев по столешнице.

— Ты опоздаешь.

— Да, да, да. Я уже ухожу, сынок... — сказал Матвей.

Он переступил с ноги на ногу. Захария придвинул к себе телефон и взял со стола трубку. Выразительно кашлянул.

— Ладно. Договорились. Я уже ушёл.

Воздев руки, он направился к двери. Ключи от автомобиля грустно звякали в его кармане при каждом шаге.

— Почему тебя не было на игре?

Захария по-прежнему сидел за столом вполоборота, держа в руке телефонную трубку.

— Я знал, что ты об этом спросишь.

Матвей остановился в дверях.

— Понимаешь, сынок... Это сложная штука.

— Сложная, — повторил Захария. — Сложная, чёрт возьми.

Матвей достал платок и промокнул им испарину над верхней губой.

— Я просто видеть не могу, как ты играешь. В смысле, могу. Не видеть, а... Ох. Я хотел сказать, Захария, я просто места себе не нахожу. Руки трясутся, и...

— Неправда, — сказал Захария.

Матвей шумно втянул носом воздух.

— Мама считает, что ты отвлекаешься, когда на трибуне слишком много народу. Когда мы все приходим.

— Ты всегда делаешь только то, что она скажет.

Матвей потёр лоб.

— Мне очень жаль, — сказал он. — В самом деле жаль, Захария.

Он резко перешагнул через порог и захлопнул за собой дверь с такой силой, что вода в аквариуме закачалась.

Из телефонной трубки доносились гудки. Захария вернул её на место и с сомнением проинспектировал трёх забултыхавшихся золотых рыбок. Самая раскормленная, виляя тельцем, поспешила скрыться в гроте.

— Вот так, приятель, — сказал Захария.

Он протянул руку и постучал ногтем по стенке аквариума. Потом сложил руки на столе перед собой, уткнулся в них лицом и просидел так, не шевелясь, минут пятнадцать. В квартире было темно и тихо.

Около четверти восьмого зазвонил телефон. Его ритмичный звон продолжался с минуту, заставив Захарию открыть глаза, выпрямиться и резким движением снять трубку.

— Это ты?

Захария сел ровнее и зажёл настольную лампу.

— Нет. Комиссар Гордон.

— О, Господи. Ты на него даже не похож.

— Это к делу не относится, — сказал Захария.

— Я думала, ты об этом жутком непромокаемом плаще говоришь... Ох. Или шутка слишком сложная, или я вконец отупела в этой духоте тут, в больнице. Целый коридор людей, все в пальто и все дышат как ненормальные.

За окном уже наступила ночь. Захария выдвинул ящик стола и достал сигареты, зажигалку и пепельницу, идентичную той, что покинула квартиру у Матвея в кармане. Его собеседница молчала. Захария закурил и потёр лицо ладонью.

— Рита? Ты здесь?

— Да. Конечно. Прости, пожалуйста. Только что какая-то женщина вырвала трубку у меня из рук. Она говорит, здесь не центральная телефонная станция.

— Вот это открытие.

— Да-да-да. Ужасно противная тётка. Вообще здесь народу полно. Просто толпа. Подождёшь секундочку?.. Хотя нет, не надо. Только что врач приходил. Тот, который сказал, что у Мити перелом. Он говорит, я могу воспользоваться его телефоном. Так и сказал: «воспользоваться».

— Воспользоваться? Замечательные новости. Крайне любопытно. Поступали ли от него другие предложения? Это важно. Ты должна быть со мной совершенно откровенна.

— Фу, Захария. Не будь таким...

Рита не стала заканчивать фразу. Взяв телефон в правую руку, Захария принялся гонять спичечный коробок по поверхности стола. Этой игрой он был занят около минуты — ровно до того момента, как коробок, столкнувшись с «Большой российской энциклопедией», не полетел на пол. Захария выругался, но даже это не заставило Риту прервать возмущённое молчание. В тишине стало слышно, как дождь за окном обрушивается на асфальт.

Захария встал и переставил телефонный аппарат поближе к себе. Затем наклонился, чтобы собрать рассыпавшиеся спички, снова сел к телефону и попросил:

— Скажи что-нибудь.

— Скажи лучше ты, откуда ты звонишь?

Захария снова сел и откинулся на спинку стула.

— Откуда я звоню? — повторил он. — Да хотя бы из Брисбена, штат Квинсленд.

— Я вообще-то серьёзно. Я знаю, ты там никогда в жизни не был, — она вздохнула. — Я ведь смотрела этот твой Открытый чемпионат Австралии... Что ты смеёшься?

— Ничего. Совершенно ничего. Продолжай.

— Да, смотрела, — она снова откашлялась. — Перезвоню тебе из кабинета, хорошо? Ты ведь из дома разговариваешь?

— А где я, по-твоему, должен быть?

— Ты? Не знаю. В Брисбене, штат Квинсленд.

Захария расхохотался.

— Нет, кроме шуток. Поедешь на этот свой Открытый чемпионат — в следующем году. Или через два года. Честно говоря, я понятия не имею. Профессионалами же не рождаются, правда? А ты непременно будешь... — Она прервалась и тут же добавила шёпотом: — Женщина, про которую я тебе рассказывала, идёт жаловаться в администрацию. Я тебе перезвоню через три минуты.

Захария нажал на рычаг прежде, чем в трубке послышались гудки. Потом встал и весьма профессионально растёр затёкшие ноги. Подумав, отстегнул с правой лодыжки фиксатор. Затем вернулся к столу и, наклонившись, пробежал глазами

статью из «Большой российской энциклопедии». В самом низу страницы, прямо под порядковым номером, шла надпись мягким грифельным карандашом: «Земля — это огромный резонатор».

Прищурившись, Захария с некоторым недоверием снова оглядел страницу. Из окна дуло, и в комнате становилось всё холоднее. Очередной порыв ветра заставил мигнуть настольную лампу. Резко повернувшись, Захария осмотрел её и переставил поближе к подоконнику. Отложил фиксатор. В эту секунду зазвонил телефон, и Захария снял трубку быстрым, как будто заранее подготовленным жестом.

— Вот... Я долго? Ключ в двери застрял. Представляешь, эта женщина пишет на нас жалобу на стойке регистрации. Нас слишком много и мы курим в крыле для некурящих. Не я, конечно, — при папе же нельзя курить, хотя сам он дымит за пятерых. Говорит, дело в том, что Митя — его старший сын и что такие вот переломы, как у него, самые опасные... Меня хорошо слышно?

— Да. Да. Тысячу раз да. Этот треклятый доктор ещё там?

— Он давно ушёл. Он же на работе. Ну, как у тебя дела? Я ещё не спрашивала?

— Нет, — сказал Захария.

Свободной от телефонной трубки рукой он взялся за коробку с кормом, перевернул её над аквариумом и пару раз встряхнул.

— Вот теперь спросила. Как ты? Мы с тобой не разговаривали с того самого раза...

— Как я? Прекрасно. Лучше не бывает.

— У тебя голос просто убитый.

— Все мои меченосцы мертвы.

— Правда?

Захария нахмурился, убирая на место коробку с кормом.

— Их никто никогда не кормит, — сказал он. — Никто.

— Даже Берта?

Телефонный провод натянулся до предела, заставив Захарию вернуться на исходную позицию. Снова оказавшись у стола, он попробовал левой рукой вытащить из пачки сигарету.

— Даже Берта. Три моих анциструса болтаются между небом и землёй. — Он сунул сигарету рот и щёлкнул зажигалкой, но прикуривать не стал. — Всё-таки придётся брать их с собой в Венгрию.

— Ты едешь в Венгрию?

Рыбки толкались у грота, поглощая корм.

— Может, поеду. Будет ещё один парный.

— Матч? А. Ты про чемпионат. Как прошла игра?

Захария снова щёлкнул зажигалкой — на этот раз для удовольствия, чтобы отпустить колёсико в тот момент, когда появится пламя.

— Восхитительно. Просто великолепно. Давно у меня не было такого предсказуемого, механического, проклятоюще скучного...

— Захария. Ты проиграл?

Он швырнул зажигалку на кровать и зажмурился.

— Да, — сказал он медленно, не открывая глаз. — Я проиграл.

Повисло секундное молчание.

— Ладно тебе, — сказала Рита, наконец. Голос у неё был нарочито весёлый. — Брось. Не надо расстраиваться.

— Расстраиваться? Я в полном порядке, — сказал Захария. Он вынул изо рта сигарету и сжал её в кулаке, переломив пополам. — В полном.

— Я же слышу.

Захария отнял трубку от уха и с подозрением посмотрел на неё.

— Вот как.

— Я не шучу. Обижайся, если хочешь, но я просто не представляю, как ты этим столько лет занимаешься. Ты не умеешь проигрывать.

Захария бросил сломанную сигарету в пепельницу, но промахнулся буквально на дюйм. Протянув руку, он сунул её к другим окуркам и потёр пальцем пятно от табака на столешнице.

— Здесь никто проигрывать не приходит, такая уж это игра. Если ты не приходишь быть первым, можешь на корте вообще не появляться.

— Да. Да.

— Что ты киваешь? Понимаешь, да? Ну разумеется.

— А с чего ты взял, что я киваю?

— Слишком хорошо тебя знаю.

— Ох, Захария. Я представляю, как ты злишься, но это сейчас было даже мило, ты в курсе?

Она снова хихикнула. Уголок рта у Захарии едва заметно дёрнулся.

— Хорошо, — сказал он неторопливо и даже с некоторой долей удовлетворения. — Хорошо, ты была права.

— В чём?

— Я ужасно не люблю проигрывать.

— Никто не любит. Ты только в самом деле не расстраивайся. Поедешь в свою Венгрию...

— Знаешь, что хуже всего? — перебил Захария. — Хуже всего, что играл он отвратительно. Слабенько так играл — никаких тебе воллеев или ещё чего. Просто бил по мячу и ждал, когда я ошибусь, — он резко наклонился и рукавом пальто протёр стенку аквариума. — Я и ошибся. Я, чёрт возьми, не умею держать себя в руках.

— Не говори так. Ты тут ни при чём. Никто не может всё время выигрывать.

— Макиной мог. Он был теннисистом — очень известным.

Захария поудобнее взялся за телефонную трубку, из которой не доносилось ни звука.

— Ты ещё тут?

— Да. Я ещё тут. Просто молчу, потому что ты и так сердисься. По одному голосу понятно, до чего ты сердитый.

— Ты бы его видела, этого идиота. Господи Всемогущий! Я и без того наделён весьма скромным запасом терпения, а люди вроде этого треклятого Артемия Малиновского...

— Вроде кого?

Захария сделал глубокий вдох и, выдыхая, одними губами сосчитал от одного до пяти.

— Артемия Малиновского, — повторил он с усилием.

— Поняла. Поняла. Это с ним ты играл сегодня, да?

— Положим. Если мне на что-то везёт, так это на убогих, невежественных, самодовольных кретинов.

Рита молчала. Захария достал из пачки новую сигарету, сунул её в рот и прощупал карманы в поисках зажигалки — безуспешно.

— Господи, — повторил он.

Его взгляд остановился на полке, прибитой над кроватью.

— Захария. Просто скажи, что там всё-таки произошло? Какой счёт был?

Положив трубку на раскрытую энциклопедию, Захария встал и подошёл к полке. Перед фотографиями Махатмы Ганди и Кьеркегора стояла прозрачная фигура из пластмассы, призванная изображать призовой кубок. Свободной от сигареты рукой взявшись за ножку кубка, Захария сдвинул его в сторону так, чтобы лицо Ганди просматривалось со стула, на котором он сидел. Потом вернулся на место.

— Пять-два, шесть-один, пять-два, — сказал он в телефонную трубку. — Ты могла бы спросить меня через неделю, и мне бы даже память напрягать не пришлось.

Откинувшись на спинку стула и положив голову на перекладину, он уставился на портрет Кьеркегора.

— Ты поэтому так злишься? Ясно. По-моему, счёт...

— Да ладно. Брось. Отвратительный счёт. Просто позорный. Я хуже не играл с апреля, а у меня весь апрель, вообще-то, грипп был.

Из трубки донёсся протяжный малоприятный звук. Захария нахмурил брови и отнёс её подальше от лица.

— Что ты там делаешь? — спросил он враждебно.

— Высморкалась. Ну, извини, пожалуйста. Здесь такой холод, из носа просто...

Захария потушил сигарету и бросил её в пепельницу. Потом поставил пепельницу поверх «Большой российской энциклопедии» и постучал по её стеклянной стенке. — Земля — это огромный резонатор, знаешь?

Судя по затянувшейся паузе, своим вопросом он застал Риту врасплох.

— Что ты сказал? Земля — это?.. Телефон здесь какой-то странный.

— Земля резонирует, — сказал Захария. — Земля — это резонатор.

Он отодвинул пепельницу и расстегнул пуговицу у воротника. Затем вытянулся во весь рост — его длинные ноги упёрлись в батарею — и произнёс мрачно:

— В мире есть тысячи вещей — хороших, стоящих вещей, а мы слишком заняты своими треклятыми проблемами и принципами, чтобы обратить на это внимание.

Рита чихнула, предотвратив необходимую паузу. Захария недовольно покачал головой, но говорить ничего не стал. Надвинув повязку пониже на лоб, он щёлкнул по стенке пепельницы. Потом резко встал и сделал несколько шагов — ровно столько, сколько позволяла длина телефонного провода.

— Знаешь, — сказала Рита. Голос её звучал приглушённо и как будто издалека. — Мы все обеспокоены твоей судьбой, если говорить литературно. Отец вообще сказал, что нельзя доверять воспитание детей людям вроде твоей матери.

Захария с удовольствием рассмеялся.

— Как жаль, что она этого не слышала.

— Только не рассказывай ей, ладно? Она и так меня ненавидит. Ты бы слышал, как она со мной разговаривала утром. Как если бы...

— Ты разговаривала с ней утром? — удивился Захария.

Рита помолчала.

— Она мне сама позвонила. Сказала, чтобы я не думала приходить на игру, потому что ты всегда проигрываешь, когда я прихожу, и всё такое.

Захария закрыл «Большую российскую энциклопедию» с таким хлопком, что стоявшая рядом на столе пепельница подпрыгнула.

— Очень интересно, — произнёс он.

— Ты всё-таки обиделся? Я ничего уже не понимаю. Это так плохо, она всё делает, чтобы...

— Да. Да. Это убийственно.

Оба не говорили ничего.

— Ну, она не может проживать за тебя твою жизнь вечно, правда? — наконец спросила Рита.

— Почему же.

— Она, наверное, хотела как лучше.

— Лучше.

— Ну да. Да. Я, если хочешь знать, совершенно на твоей стороне... В следующий раз приду обязательно.

Захария кончиком пальца провёл по тиснению на обложке энциклопедии.

— Да что с тобой сегодня такое, Захария? Ты же злишься, я слышу. Это из-за Берты?

— Тебе наверняка идти пора.

— Ну да. Ну да. Ладно. Ты на меня сердишься?

— Я на тебя никогда не сержусь.

— Это неправда, но мне всё равно приятно. Хорошо. Я тебе из дома позвоню, можно?

— Звони когда хочешь.

— Вот только приеду и сразу позвоню, договорились? Боже. Я здесь столько времени, сижу прямо в пальто и не помню, когда вообще ела в последний раз, — было слышно, как она дует — не то сдувая волосы со лба, не то выдыхая сигаретный дым. — Ну всё. Пока-пока. Папа тебе привет передаёт.

Захария нажал на рычаг прежде, чем в трубке раздались гудки. Скрестил руки перед собой на столе, уткнулся в них подбородком и уставился в тёмный аквариум.

— Что вы знаете о проводнике акустического резонанса, ребята? — спросил он. Упитанный анциструс зашевелил тельцем.

— Ничего, — сказал Захария. — Да ты потерян для человечества.

Он зажёл новую сигарету и закурил, глядя в окно. По потолку скользили лучи фар проезжающих автомобилей.

В дверь позвонили. Захария нахмурился и вышел в прихожую, захватив с собой пепельницу.

— Ты там, Захария?

Звон повторился.

— Нет, — сказал Захария. — Это Махатма Ганди.

— Хорошее время для шуток, нечего сказать, — голос Берты звучал устало. — Открой дверь, будь так добр.

Захария дёрнул задвижку и затыкнулся.

— Почему бы вам не пройтись по улице? — спросил он. — Погода просто отличная. Москва особенно хороша под дождём.

— Ты это слышал?! Ну до чего остроумно. Открой дверь, Захария. Я ещё не всё сказала тебе там, на корте.

— Скажешь в другой раз, Берта. Давай, собирайся. Ты пропускаешь чудесную ночь.

Она позвонила раз, второй. Потом начала стучать. Захария курил, прислонившись к дверному косяку, а стук продолжался, громкий и обеспокоенный.

Владимир Тренин

Кокосовая история с географией

Рассказ

...Снился стройной кокосовой пальме сон о белых равнинах, замёрзших горах и холодном солнце, чуточку выглядывающем из-за горизонта. Чужое солнце не давало тепла, оно поднялось невысоко, скользнуло по верхушкам странных, неизвестных деревьев с колючими ветками, немного похожих на пальмы, и становилось вокруг всё светлее, и холоднее, и холоднее... Адский ледяной белый свет заполнял остатки и закоулки тёплого влажного мира, казалось пальме, что до конца дней не будет ничего, только холод и белые мёртвые птицы, но самое страшное случилось с океаном — он замер и больше не дышал. ...Вздрыгнула, очнулась от кошмара стройная пальма, взмахнула лохматой со сна головой, отломился один её сынок и выкатился на шершавый сухой песок. Океан вздохнул, выдохнул, поднажал, но всё равно кромка самой большой волны не смогла добраться до ореха, с шорохом сожаления вода уходила в горячую кварцевую крошку. Существование кокоса застыло на странной грани: то ли он есть, то ли его нет. Солнце припекало и заливал его тёплый дождь. Влага проваливалась в берег, и не мог пробиться пальмовый росток.

— Об этот орех я споткнулся, когда выходил на пляж вместе с твоей мамой. Вытащил лохматого друга из сухой зоны, положил на край, доступный волнам, сфотографировал для истории, а потом размахнулся и со всей русской дури закинул в океан — доверил кокос рукам-дорогам глобальных течений. Качнулся маятник, наконец, у ореха появился шанс. Случается и в жизни людей подобное, — подытожил Терехов свой рассказ с открытым концом и уже хотел пойти покурить.

— А дальше? — Лида нетерпеливо заёрзала, хотя, казалось, она засыпала мгновение назад.

Терехов каждый вечер нашёптывал дочери истории о птичках, ёжиках, белочках и ёлочках. Обычно, достаточно было начать неторопливо коротенькую сценку, убаюкивая, повторять по два раза некоторые слова, и через пять минут ребёнок начинал дремать.

Тренин Владимир Витальевич — инженер-геолог. Родился в 1977 году. Окончил КГПУ и аспирантуру при ИВПС КарНЦ РАН. Автор книг «Пять ржавых кос», «Исцеление инженера Погодина» и «Ягодные Земли», вышедших в 2020 году; «Король шмелей» (М., 2023). Живёт в Петрозаводске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 2.

Иногда он импровизировал, как акын, черпал сюжеты из окружающей обстановки: дождь ударил в окно, и — вуаля — появилась сказка про маленькую глупую капельку, родившуюся в серой тучке; пошёл снег — и готов рассказ про красивую эгоистичную снежинку. История про кокос не исключение, тоже имела реальную основу. Два месяца назад Терехов с женой ездил отдыхать на Шри-Ланку и на пляже нашёл большой пальмовый плод, который забросил в океан, правда, его кокос вечером прибило обратно к берегу, но ведь сказки так не заканчиваются.

Почему-то сегодня, в холодный день с хлещущей в окна ледяной пургой, он вспомнил про шуршание солёной пены и сиротливый орех, ждущий его на светлой полоске горячего пляжа.

Лида искренне заинтересовалась судьбой кокосика, и надо было как-то выстраивать дальнейшую сюжетную линию.

— Сейчас, секундочку, расскажу, что случилось дальше... «Орех упал в воду, а потом... потом суп с котом», — Терехов судорожно искал варианты жизненного пути кокоса, смотрел на обои с сердечками, восстанавливал в памяти схему течений Индийского океана, — не зря же он два десятка лет назад окончил географический факультет, есть польза: хотя бы дочери рассказать сказку на околонучной землеописательной основе. — ...Значит, так. Кокос принял в свои пенистые объятия Индийский океан. Его отнесло от берега отбойным потоком, и тёплая вода муссонного течения подхватила плод, покрутила, погладила и отдала передачу через сетку экватора южному пассатному течению, с ветерком орешек доехал до Мадагаскара и получил командировку на юг. Но это был не наш юг, не Краснодарский край, а другой — холодный и неуютный. Потрепали, подрезали рыжие кудри западные волны и выкатился орешек на мыс Пьюсегур, что в Новой Зеландии. Спасибо землетрясению в декабре 2009 года, в тот же самый день, когда ты появилась на свет, со дна морского поднялась суша, назовём её Землёй Лидии. Наш кокосик как раз зацепился за кусочек свежего берега.

— И он прорастёт там?

— Нет, слишком плохие условия. Суша, рождаясь, поднимается из недр земли расплавленной, как горячий шоколад, потом остывает, твердеет, покрывается вулканическим пеплом, со временем образуется почва — из птичьего помёта, перегнивших листьев и мёртвых червяков. Это долгий процесс.

— Пап, а что такое помёт?

— Помёт получается, когда птичка и любое живое существо сходит по большому... Странно, ты не спросила про муссонное течение и вулканический пепел, а вот про помёт тебе интересно?

— То есть это — какашки? — Лида прыснула в подушку.

— Получается, так... И не надо смеяться. Между прочим, помёт — органическое вещество, благодаря которому происходит рост травы и деревьев. А зачем нужны растения, вам говорили на природоведении?

— Они очищают воздух, выделяют кислород... Пап, ты рассказывай дальше.

— Хорошо, не будем отвлекаться... Что там с нашим кокосиком?

— Его вынесло на мой берег.

— Это была совсем новая земля, ещё тёплая, неостывшая. Большая волна выбросила кокос на сушу, и опять он задержался между двух миров: вроде живой, а может, и нет. Прорасти он не мог из-за бедной почвы, да и климат неподходящий, и волны теряли силу, не добираясь до его места, — слишком далеко укатился.

— Наш кокосик, прям как колобок, — заметила дочь.

— И правда, Лидуся, тропический колобок. Лежал он очень долго на сорок шестом градусе южной широты... От всех ушёл, да никому не нужен.

Терехов думал, что же делать дальше, и придумал:

— ...Пока его не нашёл мой друг Таратауэнга.

«Это я удачно про аборигена завернул, этакий “рояль в кустах”, прям сюжет сериала по второму каналу», — хмыкнул он про себя.

— Интересное имя, Та-ра-та-та... — пискнула дочь из-под одеяла.

— ...Уэнга, в переводе с языка народа маори значит «многоликий воин, охраняющий землю», — фантазировал Терехов.

Таратауэнга аккуратно положил кокос в багажник своего пикапа и приехал на восточный берег Южного острова Новой Зеландии, показал кокосику короткую дорогу в тёплые места, зашвырнул орех со всей маорийской дури в ещё один океан, который побольше... Кстати, как называется самый большой океан на Земле?

— Тихий, — еле слышно прошептала дочь, не открывая глаз.

— Правильно, Тихий, хотя никакой он не тихий, а очень даже шумный и иногда грохочущий.

Терехов увидел, что Лида дремлет, и закруглил историю:

— Прибьётся кокосик к благодатному острову Уа-Хука, и вырастет из него красивая стройная пальма. Вот и сказочке конец.

Он поправил одеяло, поцеловал дочку и тихонько прикрыл за собой дверь.

Вышел на балкон покурить.

На улице пусто и неуютно, только вьюга гоняла по двору пустые пакеты от чипсов, оставленные пьяной компанией у детской площадки. Озябший Терехов накинул рабочую куртку, висящую на балконе.

Ветер наигрался с мусором и взлетел на пятый этаж, словно хотел задуть раздражавший его мелькающий огонёк сигареты, но не успел. Человек опередил стихию, затушил окуроч в пепельнице и закрыл створку окна, преодолевая напор холодного воздуха. На его лице таяли льдинки, миллионы молекул воды спускались по щеке. Терехов вытер ладонью влагу: «Всё в этой жизни связано, и, возможно, эти самые молекулы выльются слезами на моих похоронах». Иногда его посещали странные мысли.

Он прошёл в спальню. Разделся и прижался к спящей жене. Засыпая, улыбался, вспоминая, как забрасывал непослушный кокос.

На отдыхе все дни похожи один на другой. Утром Терехов открывал нараспашку стеклянные двери, впуская в номер пьянящий тёплый воздух, насыщенный ароматами тропических растений. После завтрака — гулял с женой по пляжу до ближайшего скалистого мыса. На серых покатых гранитных лбах сутились крабы, и тёплые волны взбивали с шипением белоснежную густую пену.

На прогулке в первое же утро им попался большой кокосовый орех. Плод недавно упал и откатился от родительских зарослей в песок. Терехов схватил кокос и, раскрутившись юлой, как метатель молота, с безумным криком на разрыв связей зашвырнул тяжёлый орех в воду.

В следующую прогулку кокос ждал туристов на том же самом месте. Терехов опять запустил его в волны. Он выкидывал этот орех несколько дней подряд. Ошибки быть не могло, это был один и тот же плод с характерным выступом на боку. Может быть, кокос не очень-то и хотел отправляться в далёкое путешествие, прибываясь

обратно к родному берегу, но упрямый человек упорно забрасывал его в бурные воды Индийского океана.

К десяти часам народ подтягивался к бару. Терехов ориентировался по двум пожилым англичанкам в широкополых панамах. Ровно в половину одиннадцатого они заходили в бассейн, медленно брели к стойке по грудь в воде и заказывали шампанское. Значит, пришло время коктейлей.

Спустя некоторое время, появлялся крупный мужчина лет тридцати пяти в сиреневых плавках. Важно вышагивал, беленький и пузатый, с красными пуговицами сосков. На предплечье его красовалась надпись: *Veni, vidi, vici*.

Победитель по жизни поворачивался спиной к загорающим, расправлял взопревшие складки, потягивался всем торсом, наверняка очень красивым, но скрытым от посторонних глаз слоем текучепластичного жирка в три пальца толщиной. На дрожащей гладкой коже между лопаток синели японские иероглифы: 武士道 : бусидо — «путь воина». У этого самурая был один маршрут: плюхнувшись в воду, шумно отфыркиваясь, он подплывал к бару, кряхтя, залезал на табурет и заказывал куба-либре. С алкоголем неторопливый и скучный курортный день становился веселее.

Чуть позже приходил Бруно со своей молодой подругой и, улыбаясь, махал рукой Терехову.

Они познакомились в день приезда, во время послеобеденного ливня. Дождь в районе трёх часов дня — обычное дело для этих мест.

Терехов смотрел на мокрые пальмы и горизонт, подёрнутый серой дымкой. Странное и волшебное чувство, когда ты сидишь в бассейне, и на голову опрокидывается ушат тёплой влаги. По привычке, люди убегали от дождя, закрывались полотенцами, а он стоял по грудь в воде, впитывал в себя новые ощущения, и ему казалось, что ничего лучше нет на свете: стакан хорошего рома, разбавленного водопадом из экваториальной тучи, и океан под боком, отсчитывающий свой ритм. Вода с неба срослась с земной влагой. Стихия дышала, задавая темп мыслям, и рождала новое в сознании.

Под крышей у барных столиков — аншлаг. Люди, зажатые ливнем, теснились, подсаживались к незнакомцам. Начиналась интернациональная вечерняя выпивка. Терехов вылез из бассейна, выжал полотенце, заказал выпить и занял свободное местечко.

К нему вдруг обратился на русском сидящий рядом человек.

— Привет, меня зовут Бруно.

— Григорий, очень приятно.

— Григорий, ты очень похож на моего друга, — заметил Бруно. — Можно сфотографироваться с тобой?

— Давай позже... Кстати, ты хорошо говоришь, почти без акцента.

— Спасибо. Я родился и вырос в Гданьске, школу окончил ещё в социалистической Польше. Мы изучали ваш язык.

Бруно оказался очень разговорчивым человеком. Он рассказал, что получил в Варшаве профессию зубного врача, переехал в Америку, имеет канадский паспорт, а последние двадцать лет живёт в Дубае.

— В Дубае такого дождя не увидишь. Наслаждайся, Бруно! Хотя, прогресс не стоит на месте, я слышал, в Эмиратах научились делать тучи, из которых выпадают искусственные осадки.

Бруно кивал, глотал местный ром и смеялся, довольный, — похоже, Терехов ему понравился.

— Слушай, Бруно, а ты отлично выглядишь, по моим расчётам, тебе должно быть около шестидесяти, а на вид не более сорока.

Бруно кивал и смеялся ещё громче.

— Как ты оцениваешь бардак, происходящий в мире? — спросил Терехов.

— Я канадец, живу в Дубае, у нас спокойно, — Бруно сделал вид, что его не интересует политика.

Разумно с его стороны, ведь в разговоре между поляком и русским надо быть очень аккуратным, слишком много в совместной истории сложных моментов, но выпившего Терехова меньше всего заботила дипломатия, его уже было не остановить:

— Какой же ты канадец? Родился в Гданьске, ты поляк да и не похож на канадца. Я видел канадцев в «Южном парке»: у них маленькие глазки-бусинки, головы дёргаются и рты открываются и закрываются, как хлебницы.

— Ха-ха. Мне тоже нравится этот сериал, хотя некоторые обижаются. Серьёзно, Григорий, я — канадец, в нашем мире немного по-другому: я имею канадский паспорт и давно не поляк... Ты очень похож на моего друга, давай сфотографируемся, покажу ему, вот он удивится, — Бруно не терял надежды сделать общее фото.

— Потом как-нибудь, — Терехов заказал ещё рому.

Пружина общения раскручивалась, становилось теплее... Русский язык Бруно крепчал. Он понимал шутки и различал полутона.

— Русские, они такие, — гоготал Бруно.

— Какие? — прищурился Терехов.

— Вы хотите всего.

— А вы — нет? У поляков был шанс четыре сотни лет назад в Смутное время, не фортануло, не срослось, иначе существовала бы не Российская Империя, а Речь Посполитая от океана до океана. Вижу, обида осталась, — горячился Терехов, говоря неприлично громко, не обращая внимания на косящихся за соседними столиками туристов.

— Да, не срослось, — улыбался Бруно, он, кажется, учил правильную историю в той, другой Польше.

«Мутный он какой-то и акцент деланный, искусственный», — подумал Терехов.

Вспомнил недавние события, возмущившие его до крайности:

— Почему сносите памятники нашим солдатам? Если бы не Красная Армия, не было бы никакого Польского государства, Гданьск, родина твоя, вообще немецкий город. Больше полумиллиона советских воинов погибло, освобождая вас, мой дед, между прочим, тоже там воевал, а вы что творите?

— Это неправильно, — сморщился Бруно. — Я канадец, живу в Дубае, — он заказал ещё рома. Его акцент сделался сильнее. Он стал коверкать слова, будто внезапно забыл язык. — Ты так похож на моего друга, как это по-русски, давай — сделаем один кадр.

Терехов перевёл разговор на футбол. Совместного фото не получилось. Они душевно распрощались, но больше вместе не пили.

Тактичный Бруно не подходил к Терехову, здоровался издалека. Да и некогда ему было. Подруга постоянно выдёргивала зубного врача из бара, забиралась на бортик бассейна, оттопыривала ягодичы, и покорный поляк с канадским паспортом фотографировал её с разных ракурсов.

Молодых красивых женщин отдыхало немного, основной контингент отеля составляли европейские пенсионеры и пожилые индийцы, поэтому Терехов сразу заметил длинноногую изящную девушку в золотистом бикини. Она гуляла без компании. На правом плече её были набиты две короткие строчки. Любопытный Терехов всё время отпуска хотел подойти поближе и прочитать, но так и не решился. В бассейне она не плавала, только в океане. Хотя всех прибывших предупреждали, что спасателей на пляже нет и отель не несёт ответственности за жизнь отдыхающих. Девушка стояла на берегу с полчаса, словно ждала определённого момента, грациозно и медленно заходила по колено, потом по пояс, водила ладошками по воде и долго-долго, задумавшись, смотрела вдаль. Она не боялась стихии, а ведь даже в штиль океан накатывал гигантские буруны, сбивающие с ног, но главную опасность представляли отбойные волны — внезапно возникающие потоки, уносящие воду в океан со скоростью нескольких метров в секунду, — и даже самые искусные пловцы могли утонуть, оказавшись в коварном течении.

Терехов испытал однажды на себе мощь подобного явления. Был обычный день: солнце, лёгкий бриз и всё те же волны, как и вчера. Он зашёл по грудь, и его потащило на глубину. Попытался двигаться к берегу, но тщетно, — он словно попал в горную реку. Конечно, Терехов слышал про тягуны, знал, что единственное спасение — движение поперёк, параллельно пляжу, но стихия застала расслабленного туриста врасплох. Поначалу организм, изнеженный праздным отдыхом, вяло сопротивлялся потоку. Терехов начал выдыхаться, выгребая по диагонали, и до последнего не верил, что это происходит с ним. Только когда его отнесло на сотню метров, он собрался с силами, вырвался на спокойную воду и вылез на сушу далеко от того места, где заходил. Жена не поняла, что с ним произошло. Терехов хорошо плавал, и она не могла и подумать, что жизни мужа грозила опасность. За ужином он рассказал о происшествии, о чём очень пожалел. Супруга строго-настрого запретила ему плавать в океане. Купание теперь напоминало водные процедуры в пионерлагере. Он заходил в воду по пояс, барахтался с детишками у берега. Если его захлёстывало волной с головой, она хваталась за сердце и кричала, что ему пора выходить из воды.

Терехову не сиделось на месте, он обследовал все окрестные деревни. Там, в нескольких сотнях километров от экватора, отец семейства словно помолодел на десяток лет, почувствовал себя первооткрывателем. Его окружали растения и животные, известные только по книгам. Вот хлебное дерево, а вот коричное, гигантские баньяны, мангровые прибрежные леса, банановые заросли — листья размером с зонтик. Наглые обезьяны и повисшие на ветках летучие лисицы с кожистыми крыльями, двухметровые вараны перебежали тропинки, сновали туда-сюда.

— У нас кошки и собаки, а там домашние драконы, гуляющие сами по себе, — шутил Терехов, рассказывая дочери о далёкой стране.

Он нашёл общий язык с местными, утром помогал вытаскивать лодки рыбаков. Аборигены смеялись, думали, наверное, что за блажь нашла на странного чужака. Один пожилой сингал пригласил его к себе домой. Их встретила строгая жена, пузатый добродушный брат и трое мальчиков-подростков. Во дворе гуляли курицы, гуси, утки, козы и важный павлин, который сразу распустил свой волшебный хвост, повысив и без того зашкаливающий градус экзотики, убивая на повал поражённого гостя из северной страны. На пороге дома появился патлатый обнажённый по пояс дед в клетчатом саронге со смуглым малышом на руках.

Маленький сингальский ребёнок потянулся к иностранцу — он ещё не видел белых людей. Их мир только недавно начал оправляться после ковидной истерии. Терехов наклонился и дал потрогать свою сгоревшую щёку и выпцветшую бороду. Малыш засмеялся в восторге. Терехов чувствовал себя счастливым.

Он достал телефон и показал в альбоме фотографии заснеженных лесов и ледяные торосы на Белом море.

— My land and my home, — сказал Терехов.

Его не поняли, хотя хозяин изъяснялся на ломаном английском. Терехов забил слова в переводчик и повернул к полуголым зрителям экран с завитушками на сингальском.

Сингалы переглядывались и недоверчиво качали головами.

На пятый день в отель приехала древняя худая сутулая немка в чёрном пуховике и с чёрным же пластиковым блестящим чемоданом. Терехов с женой сидели в лобби и видели, как она прошаркала к стойке ресепшен. Седые кудрявые волосы, поджатые тонкие губы и прямой нос, — копия Лени Рифеншталь. Старуха сердито оглядела присутствующих, взгляд её стальных глаз остановился на Терехове. Он отвернулся с неприятным ощущением.

— Наверное, ей лет сто, — предположил Терехов. — С прошлого века на кладбище прогулы ставят, а всё туда же — на моря и шведский стол. Какая злая маркиза, наверное, в концлагере надзирательницей служила, загоняла людей в газовые камеры.

— Слушай, может, она всю жизнь детским врачом работала, жизни спасала. Ты чего завёлся? Ну приехала старуха отдохнуть. Что в этом такого? — осадила жена. — Жаль, наши бабули не имеют такой возможности.

— Не знаю, не нравится она мне.

На завтраке он наблюдал, как пенсионерка, похожая на Лени Рифеншталь, долго тянулась за декоративным багетом в хлебном углу. Булка, сделанная из папье-маше или из пластика, служила украшением, но злая упорная немка всё равно хотела именно его, не теряла духа, и в итоге стащила с полки и отпилила себе кусок.

— Слушай, надо ей сказать, что это ненастоящий хлеб, она же сейчас его откусит, — жена толкнула Терехова в бок.

— Да брось ты, вменяемая вроде бабка, ума же хватило сюда приехать. Сейчас сообразит.

Старуха с белыми волосами стрескала за милую душу отрезанный ломоть. Намазала его джемом, тщательно пережёвывала несъедобный материал и проглотила всё без остатка.

— Наверное, это был настоящий багет, просто засохший, — предположил Терехов, успокаивая себя и жену.

До того страшного вечера, старуха себя вела, как и большинство отдыхающих. Занимала с утра место у бассейна и, раскинув руки, часами дремала на лежаке.

Терехов запомнил навсегда разговор в момент трагедии. Они сидели в баре. Жена спросила:

— Почему эта бабка всё такая же бледная, как в день приезда, лежит на солнце без перерыва и ни капельки не покраснела?

— Потому что она мёртвая, а мёртвые не потеют и не загорают, — усмехнулся Терехов. Тогда он пошутил, но позже понял, что в его словах содержалась доля правды.

Крики прервали беседу, к океану бросились люди. Парни в форме персонала отеля вытащили из подсобки лебёдку на раме из нержавеющей стали и поволокли её на берег.

— Кто-то тонет! — крикнул Терехов, рванулся к пляжу, но жена крепко схватила его за руку.

— Не пушу, сиди на заднице... Хватит там и без тебя людей. Только мешаться будешь.

Через пятнадцать минут приехала «скорая», пробежали смуглые медики в белых халатах. Мимо пронесли носилки с телом, небрежно накрытом пляжными полотенцами. Бармен разливал коктейли. Громко играла музыка. Терехов не слышал ничего. Он не отрываясь смотрел на плечо мёртвой девушки, кусок смуглой гладкой кожи с татуировкой в виде четырёх слов, которые смог прочитывать только сейчас:

Right place

Right time.

— Нужное место, подходящее время, — прошептал он.

Немка с белыми волосами поднялась с шезлонга и тоже наблюдала, как уносят утопленницу. Казалось, пенсионерка помолодела, выпрямилась. И ещё важная деталь, поразившая Терехова. Ошибки быть не могло, он видел своими глазами: брезгливое сердитое её лицо изменилось — старуха улыбалась.

Терехов спал, и ему снилось, как бледное вино заката разливалось на непричёсанные пальмы и загоревшие красивые девичьи плечи. Он помнил эти руки. «Интересно, о чём она думала все эти дни? Предчувствовала ли свою смерть? А ведь я мог её спасти».

Океан волнуется раз, и два, и двести. Вроде бы полный штиль, но океан дышит, поднимает зелёные стены воды. У Хроноса игривое настроение, он отсчитывает век не секундами и минутами, а волнами. Терехов заходит в океан и чувствует ход времени, его сбивает с ног кипящая пена дней. Крутится бесконечная плёнка очень старого кино. Он слышит, как стучит железный посох Создателя по гранитной крыше мира. Маленький испуганный краб смотрит на него с каменной глыбы, весь мир смотрит на него, вопрошая:

— Ну что же ты, проснись, наконец!

Терехов открыл глаза. За окном гудела выюга.

Он поцеловал жену в ушко, растормошил:

— Слушай, родная.

— Уже вставать? Сколько времени? — жена потянулась за телефоном.

— Рано ещё... Просто хотел сказать, что старуха эта сердитая — ведьма была. Из-за неё девушка утонула. И часть её жизненной силы немка впитала.

— Какая старуха? Терехов, опять на ночь ужастиков насмотрелся? Не мели ерунды, не пугай меня, пожалуйста. Спи.

— И ещё, мы с этим несчастьем совсем забыли тогда про наш кокос. Он же потом исчез с пляжа. Я надеюсь, всё-таки его отнесло от берега, и попал орех в муссонное течение, может, он и правда давно пересёк экватор, проплыл, наверное, мимо Мадагаскара на юг...

— И что с того... закрывай глазки, спи, мой хороший.

Денис Попов

Примета жизни

* * *

Улеглась шумиха
В глубине души.
Господи, как тихо!
Будто не грешил.

Зреет облепихой
Над рекой закат.
Господи, так тихо,
Что Тебя слышать!

Только трётся оземь
Лодка на мели.
Крестики стрекозы.
Камешки-нули.

* * *

Молча и почти на автомате,
Взгляд не поднимая в синеву,
На могилах бабушки и бати
Выкошу малину и траву.

Посижу, уставясь на портреты.
Помяну батонем с молоком.
Не спрошу, как спится. Их ответы
Не услышу. «Больно высоко

Забрались!» — придёт на ум некстати.
Покурю ещё на посошок.
— Спите с миром, бабушка и батя,
У меня не всё, но хорошо!

Попов Денис Николаевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1979 году в с.Усть-Цильма (Коми АССР). Окончил курсы водителей и курсы охранников. Работает на объектах «Лукойл» в Республике Коми. Автор двух книг стихов: «Лиственничное небо» (Сыктывкар, 2018) и «Птицы ковчега» (Саратов, 2022). Печатался в журналах «Сибирские огни», «Нижний Новгород», «Север» и республиканских альманахах. Живёт в Усть-Цильме.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Крещение

За Покровом деревья нагие,
Как душа за молитвой моя.
Боже, глянь на дороги земные,
Видишь — я?

На одном из распятий дорожных,
Где не пишут ни дат, ни имён,
Это я умираю, безбожник,
Для времён.

Я — стакан с чёрной корочкой хлеба,
И у ног моих два воробья.
И дитя, что наследует небо, —
Тоже я.

Между миром и войной

Когда сквозь мокрый проступает снег
Пятно земли, другое — чуть поодаль,
И красная толстовка пешехода,
Кровь будто на автобусном окне,

Как если б кто-то выстрелил извне,
Надеюсь, Боже, в дождевых разводах,
На полосатом жизни переходе,
Не страшно будет за других краснеть

И мне как современнику войны
И мира, если у одной стены
С последним я поставлен буду первым.

Дай, Боже, не отвесь стыдливо глаз, —
А мир не отведёт — не в первый раз! —
И до конца смотреть в глазницы стерве.

Примета жизни

И снова он дальний, восток,
Недавно ещё бывший близким.
С поклонным на мысе крестом
С цветами в тени обелисков.

Но птиц, воплощающих мир,
И строгость молчащих орудий
Запомню, как ориентир,
Что из лесу тягостных буден

На свет Божий вывел меня.
А свет, хоть на краешке света,
На грани земли и огня —
Хорошая жизни примета.

Алексей Алёхин

Варькины истории

Рассказики, сочинённые внучке

Хнык-Хнык и Плак-Плак

Есть неподалёку от Москвы городок Плаксеево. Маленький такой городочек. Домики жёлтые, белые и красные, а между ними зелёные сады с птичками. На площади старинная пожарная каланча, раньше на ней пожарный сидел, высматривал, не горит ли где. Только он уже давно оттуда слез. Вокруг поля. А ещё там валенки делают, с калошами. На площади ими ряды под навесами уставлены — со стороны кажется, будто целая армия в калошных валенках вышла на парад. Кто мимо на машине едет, остановится, вылезет и валенки покупает.

И стоит там на краю городка домишко старенький. Покосившийся. Весь какой-то пересохший, окна пыльные-препыльные, паутиной затянуты. А ступеньки на крыльце такие грязные, что и не поймёшь, каменные они, кирпичные или деревянные — одна земля. И живёт в этом домике Хнык-Хнык.

А на другом конце городка другой домишко. Тоже маленький, покосившийся, только весь отсыревший. Стены в потёках, на ступенях лужа, и весь до крыши мхом зарос и даже водорослями. В нём живет Плак-Плак.

Они с Хнык-Хныком приятели, можно сказать, друзья. Чуть не всякий день ходят друг к дружке в гости. То есть обычно Хнык-Хнык к Плак-Плаку ходит. Он не очень любит, когда Плак-Плак к нему навещается: наплачет целые лужи, сырость разведёт.

Вот, наденет обычно Хнык-Хнык валенки с калошами, придёт к Плак-Плаку, сядут они чай пить, и хнычут, и плачут.

— Я тут к тебе шёл, — рассказывает Хнык-Хнык, — а вокруг в садах листва, листва, да такая яркая, ну прямо зелень в глазах...

— Ох, — отзывается Плак-Плак, — прямо зелень! Хоть плачь... — и плачет.

— Да, хоть хнычь. А небо-то, небо! Просто синька какая-то, так глаза и режет, так и режет!

— Ой, режет, — Плак-Плак рыдает, — ой, режет...

— А на ветках птицы свистят, — хнычет Хнык-Хнык. — Да так пронзительно свистят, будто сверлят тебя. Я просто весь в дырках, как дуршлаг. — И грязным пальцем показывает на себе, где в нём дырки: тут, и тут, и вон тут.

— В ды... дырках! В ды... ды... дырках! — Плак-Плак заходится и уже третий носовой платок выжимает.

— Да ещё бабочки кружатся так, что голова кругом идёт, — жалуется Хнык-Хнык. — Ну прямо как карусель, сущая карусель.

— Такая карусель, хоть плачь! — Плак-Плак кивает, а у самого с носа слёзы капаяют. — Вот и у меня: такая сырость, такая сырость. Одна книжка в доме была, и та заплесневела. Мышь под шкафом жила — к соседям сбежала. Ты мне, говорит, всех мышат перетопишь. Хоть плачь!

— Ох, хоть хнычь!..

Так они хнычут и плачут и чай пьют. Хнык-Хнык на своей лавке только ножки поджимает, потому что даже в калошах мокро, столько наплакано.

А неподалёку от того городка жила девочка Варенька на даче, с папой и мамой, с дедушкой и бабушкой. Бабушек у неё даже две штуки было, про запас: одна уедет куда-нибудь, так другая с Варенькой играет и возится; другая отлучится, так первая тут как тут. Так что жила она счастливо, никогда не хныкала и не плакала, на горшок просилась вовремя, в куклы играла.

Вот как-то раз говорит ей дедушка:

— А не пойти ли нам с тобой за калитку, по тропинке, вон в тот городок? Хнык-Хныка навестить, утешить.

А Варенька, хотя и не знала Хнык-Хныка, отвечает:

— Давай пойдём. Навестим. Только куклу с собой возьмём.

Взяла куклу, взяла дедушку за руку, и пошли.

Тропинка через поле вилась, потом кончилась, и городок начался. Нашли они тот самый домик в паутине, а дверь заперта. И записка висит на гвоздике: УШОЛ В ГОСТИ.

Варенька-то ещё читать не умела, а дедушка прочитал и говорит:

— Хнык-Хнык в гости ушёл. Только тут неправильно написано.

— А что неправильно? — Варенька спрашивает. — Не ушёл или не в гости?

— Да нет, — дедушка покачал головой. — Ушёл-то он в гости, только слово «ушёл» не так пишется. Ты потом узнаешь. А ушёл он не иначе как к Плак-Плаку, дружку своему. Он где-то на той стороне живёт. Пойдём поищем.

— А как же мы его найдём, если дома не знаем? — Варенька засомневалась.

— Да уж найдём как-нибудь, — дедушка улыбнулся. — По приметам.

Они его и правда скоро нашли: другого такого мокрого домишки в городке не было. На стенах ракушки-мидии налипли, водоросли и мох на крышу захлёстывают, перед крылечком лужа, и из-под двери капает. Дедушка даже Вареньку на руки взял, чтобы та туфельки не промочила.

Постучались, вошли. А там в полумраке эти двое сидят: и хнычут, и плачут. А как дедушку с Варенькой увидели, того пуше расхныкались-расплакались:

— Вот какие девочки бывают! В платицах! С куклой! С хвостиками на голове! Даже с тремя хвостиками! (Это мама Вареньке на макушке ещё один хвостик сделала, чтобы чёлочка в глаза не лезла.) А у нас тут мрак и сырость! Сырость и мрак! Ой, бедные мы бедные, несчастные-пренесчастные...

Варенька удивилась и говорит:

— Зачем же вы тогда в сырости тут сидите? Да у вас и свет в окна не проходит, так они заросли! Дедушка, — говорит, — давай мы с тобой у них приберёмся! Поставь меня вон в те калоши.

Схватила веник и воду всю за порог выгнала. Дедушка окна распахнул, а она их тряпочкой протёрла. Солнышко заглянуло в дом, и всё осветило, и мигом всё высушило. Чашки на столе засверкали. И Плак-Плак первый раз в жизни улыбнулся:

— Ох, как светло, и солнечно, и хорошо! Хоть пл... хоть радуйся, я хотел сказать!

Только Хнык-Хнык пуще прежнего расхныкался:

— Вот, у Плак-Плака так светло, и солнечно, и хорошо! А я-то в пыли и паутине, света белого не вижу, бедный я, несчастный...

— Так давай, — Варенька засмеялась, — все вместе к тебе сейчас пойдём и у тебя тоже приберёмся. Правда, дедушка? И Плак-Плак пойдёт, да?

— Конечно! — согласился Плак-Плак, и во второй раз в жизни улыбнулся.

Так они и сделали. А когда всё вымели и вытерли, Варенька ещё из маленькой леечки дорожку перед домом побрызгала, чтобы пыль прибить. И соседняя травка, совсем было поникшая, спасибо ей сказала.

Кстати, ступеньки, когда их отскребли, оказались деревянными. Из старых-престарых дубовых досок того ещё времени, может, когда пожарный на каланче сидел. И Хнык-Хнык с Плак-Плаком уселись на них, как на скамеечку, в обнимку, и улыбаются.

— Смотри, — говорит Хнык-Хнык, — какое небо синее-пресинее! Как у Вареньки глаза, прямо! Смотри и радуйся!

— Вот-вот, — кивает ему Плак-Плак. — Ну, прямо как Варенькины глаза, такое весёлое!

— Ну и ладно, — Варенька отвечает. — Любуйтесь себе. А нам с дедушкой домой пора. Бабушка ждёт. И малина там, в саду у нас, наверное, новыми ягодками поспела. Надо её поесть.

Взяла дедушку за руку, и они пошли домой. А Хнык-Хнык с Плак-Плаком им вслед махали.

С тех пор Хнык-Хнык и Плак-Плак уже не хнычут и не плачут, а живут и радуются. И Варенька с дедушкой их время от времени навещают. Даже малинки им к чаю приносят. Только немного — той, что от Вареньки осталась.

Да, городок-то тот тоже потом переназвали! Он теперь зовется — Смеялово.

И вместо валенок с калошами там делают босоножки.

Дедушкин сон

После обеда дедушка заснул в своём полосатом кресле на терраске, и ему приснился чудесный сон. Пальмы. Жёлто-зелёные попугаи. Порхают большие бабочки. Гуляют слоны, и скачет весёлый круглый бегемот.

До того красивый сон, что внучкиной плюшевой обезьянке — той, что с клетчатыми заплатками на голове, — тоже захотелось полюбоваться. Она как раз у дедушки за спиной на хвосте висела. И без спросу в его сон запрыгнула.

И вот что натворила.

Сначала побегала по пальмам, покачалась на лианах и даже покаталась немножко на бегемоте, а потом проковыряла во сне дырку. И все через эту дырку улетели и ушли: попугаи, бабочки, слоны, бегемот и пальмы с лианами. Остался только жёлтый песок и голубое небо.

Дедушка страшно рассердился.

— Что ты сделала с моим прекрасным сном?! — закричал он. — Никого нет. Тут какая-то пустыня! Немедленно прекрати!

И он даже затопал во сне ногами.

Обезьянка не очень испугалась, она ведь такая смелая, умеет висеть вниз головой. Но пожалела дедушку. И загнала всех-всех обратно.

И снова сделалось как было: пальмы с лианами, бабочки с попугаями, слоны с бегемотом. И дедушка улыбнулся во сне и принялся смотреть дальше.

А дырку потом заштопали.

Для этого дедушке бабушка приснилась.

Вот только обезьянка повадилась с тех пор забираться в дедушкины сны. И доигралась. Допрыгалась.

Однажды она опять скакала там по всему сну и до того расшумелась, что разбудила дедушку. И он проснулся. А обезьянка так во сне и осталась.

Пришла внучка Варенька на терраску, ищет-ищет свою обезьянку, а та пропала. Нигде её нет. Дедушка тоже ищет, под стол заглядывает, под кресло. А потом вспомнил:

— Варенька! — хлопнул себя по лбу ладонью. — Я же её во сне видел! Наверное, я её там забыл.

— Как! — закричала Варенька. — Мою обезьянку? Любимую?! Забыл?!!

И горько заплакала.

Пришлось дедушке срочно садиться обратно в кресло и засыпать. А когда хорошенько заснул, то он разыскал обезьянку в самом дальнем конце сна. Она там свернулась в тенёчке под слоном — тот, как обычно, стоя спал — и тоже задремала. А что ей снилось, неизвестно, дедушка не стал заглядывать. Наоборот, он обезьянку разбудил и строго-настроено велел, чтоб больше так себя не вела. Не скакала, когда он спит, не шумела. А то вон что выходит. И выпроводил её из-под слона и вообще из сна обратно к Вареньке.

Варенька так обрадовалась!

А обезьянка по-прежнему в дедушкины сны забирается. Но ведёт себя потише. И под дальним слоном вздремнуть не ложится, чтобы её там не забыли. Она шалашик на самом виду из пальмовых листьев построила. Полежать в теньке, когда жара.

Варвара Заборцева



Вон оно как!

Рассказы

Куда поднимается дым

До Рождества оставалось всего ничего.

Мы с сестрой переделали все дела, что только смогли придумать. Пирог состряпали, конфет под ёлкой поели. Принесли по охапке дров и даже подрядили Марью, кошку нашу, их сторожить. Поленья дельненько так сложили под стулом у печи, а её сверху посадили. Кошка и рада, тепло любит. Пускай сторожит, мышей у нас всё равно не водится. А сами бегом до лесных озёр, веток еловых набрать. До чего же пахучие. Хорошо будет в доме.

Да только угораздило нас на дым засмотреться. Дружно топятся печи над нашим угором. Холода стоят что надо, рождественские. А мы про мороз и думушки не думаем. Аж валенки примерзают, а мы все глаза по-над крышей оставили. Сестре говорю:

— Шура, гляди! До чего цветной дым! Ты видишь?

— Вижу-вижу. Никакой он не серый, оказывается...

— Да-да, ты гляди, Шура! У самой трубы дым тёмно-синий, потом серый сголуба, а окончанье даже с розовинкой, аж с небом сливается, видишь?

— Вижу-вижу я. Мне вот другое покоя не даёт...

— Что такое?

— Можешь ли ты разглядеть, куда поднимается дым? — спросила Шура очень солидным голосом. Я даже растерялась.

— Как куда... это... на небо, конечно!

— Ага, ещё скажи, в облака превращается.

— А что, похожи они!

— Ой, до чего ты простая. Кто ж на похожести научные теории строит. Не, тут дело серьёзное...

Заборцева Варвара Ильинична — поэт, прозаик. Родилась в 1999 году в посёлке Пинега Архангельской области. Окончила Академию художеств имени Ильи Репина (факультет теории и истории искусств). Печаталась в журналах «Юность», «Звезда», «Новый мир» и других. Участница проектов СЭИП и АСПИР. Лауреат литературных конкурсов, в т.ч. литературной премии «Лицей» (2023). Живёт в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2023, № 9.

Потом я малёха подумала, не сморожу ли опять какую-то глупость, но не стерпела:

— Дым не уходит бесследно... правда же? Наша бабушка, тётя Зина, дед Никанор да и все на угоре от всей души печи топят. Не может же всё тепло домашнее вот так... без следа рассеяться...

— Тоже так думаю.

Ой, как мне радостно было от этих слов! Сестра у меня умная, значит, и я что-то соображаю. Я на радости разошлась:

— Слушай, а если забраться наверх и самим проверить, куда уходит наш дым?

— Ага, ага, конечно. Верхом сядем на дым и помчимся с проверкой. Так, что ли?

— Ну да, именно так!

— Ага, а на крышу на метле полетим.

— Да ну, что мы, колдуньи какие? Мы сугроб нароем до самой крыши. Снега — хоть до неба ступеньки городи!

Наверное, потом я сказала что-то очень убедительное. Через минуту мы уже строили снежную лестницу до самой крыши. Ясное дело, у задней стены дома, где нет окон. Если бабушка заметит, плану конец.

А план был такой. Заходим погреться. Заметно так ходим-бродим по дому, чтобы бабушка не подумала, что мы весь день на морозе шастаем. Между делом находим верёвку и дедушкину сеть. Как только бабушка соберётся печь затоплять, мы скорее на крышу. Привязываем к сети верёвку с обеих сторон, чтобы нам схватиться. Кидаем сеть на дымное облако, что поупитаннее. И дело за малым: держаться изо всех сил.

Не утерпели, вышли чуток заранее. Тишина на угоре — аж небо хрустит. И мурлычет почему-то...

— Шура, ты слышишь?

Прислушались, плач из трубы идёт. Марьин голос в печи! Только этой беды не хватало.

Марья наша больно ответственной оказалась. Велели дрова сторожить — она и сторожит. Дрова в печь — и она за ними. В тёмной печи разве заметишь чёрную кошку. Бабушка дрова сложила, да, видно, отвлеклась. Захлопнула печь и, видно, снова отвлеклась. Вот и сидит Марья в темнице.

Посидела всего ничего, а страху-то натерпелась. Голоса наши услышала — как поползла по трубе, а тут и мы её встречаем.

Вот и сидим на крыше. Я, сестра и наша чёрная Марья. Дыма дожидаемся.

А он тут как тут. Высоко-высоко поднимается. Сетку бросать доверили Шуру, а я Марью держу, куда её денешь. Шура с первого раза поймала — будто всё детство дым рыболовной сеткой ловила.

Так и летим по дороге дымной. Выше и выше — над угорами нашими, над рекой. Небо темнее Марьи. Но звёзды чем ближе, тем ярче светят.

— Шура, гляди, как светло! Что это, Шура?

— Держи давай кошку крепче, скоро приедем.

И правда. Дым поверху больше не шёл, прямо стелился по белому-белому полю. Будто свечами поле усеяно — до того ярко сияет. Даже ступать боязно, не дай бог что-то раздавим.

— Шура, надо слезать с дымного облака, верно же? Что будем делать?

— Погоди, я думаю.

А Марья долго не думала. Как выскочит у меня из рук — и бегом по белому полю. И надо же — лапы её в белый окрасились.

— Шура, гляди! Теперь у нас чёрная кошка с белыми лапами! Это хоть не опасно?

А Марья бежала себе вперёд, не зная опасностей. Будто чуяла верную дорогу. И мы пошли на носочках по её следам. Не знаю зачем, но на всякий случай.

Я всё по сторонам глядела. И разглядела — никакие это не поля. Дым печной слой за слоем стелется, плотно ложится. Нет-нет да засветится точка ни с того ни с сего. И вдруг — так же внезапно — погаснет.

— Шура, почему же точки гаснут?

— Они вовсе не гаснут, — отозвался голос, мне незнакомый.

Я обернулась и увидела маленького белого волчка. В детстве я жутко боялась того, как ветер воет в печной трубе. Мне казалось, в ней поселился страшный волк. И тут передо мной стоял, конечно, нестрашный, но всё же волк. Ростом чуть выше Марьи. Думаю, сейчас как встанет кочергой наша кошка при виде волка! А она нет, бежит к нему, не боится. Какой-то свой разговор повели. Но у меня терпежа нет. Присела на корточки и спрашиваю:

— Здравствуйте, господин Волк. Скажите, пожалуйста, почему гаснут эти сияющие точки?

Нет бы спросить, где мы и как домой попадать. Я первым делом про точки.

— На землю спускаются. Это ж не просто точки. Это тепло, что людьми натоплено да накоплено.

— А вы, прошу прощения... — не утерпела Шура.

— А мы, волки, стережём тепло это. Да если в каком дымоходе застрянет, всякое бывает, летаем к вам и помогаем, как вы назвали, точке, до нужного человека добраться.

— А что ж значит — «нужного»?

— Это уже не волчьего ума дело. Наше дело сберечь и доставить человеку в тот самый момент, когда для него тепло загорается. Всегда неожиданно-негаданно.

— Печки топят все, а тепло не поровну возвращается? — не унималась Шура.

— Выходит, что нет. Я и не думал об этом... Вы, это, кошку свою берегите. Тепла в ней много. Видите, аж лапки тёплым цветом окрасились!

Марья и правда чувствовала себя как дома.

Волчонок даже не спросил, как мы сюда попали и зачем. Только добавил:

— Домой возвращайтесь по следу вашей кошки. Она вас выведет.

Марья нырнула сквозь дымную пелену. Грудка её тоже сделалась белой.

И мы за её хвостом. По белому следу, что лапы её оставляли.

Долго ли, быстро — на угоре дома показались. Много печей топится. Друг перед дружкой.

Марья быстро наш дом нашла. К самому крылечку вывела.

Тут как раз дядя Витя приехал, молоко привёз. Прямо с вечерней дойки, ещё тёплое.

— Псс, Шура, давай и Марье миску нальём? С Рождеством, наша милая Марья!

Берегиня

— А знаешь, почему облако не тонет в реке?

Сестра моя, хоть и младшая, но с ответом совсем не замешкалась. Будто он давно лежал у неё в кармане, где полным-полно всякой полезной всячины на разные случаи жизни:

— Конечно, знаю. Потому что у него есть своё дело. Облака оберегают небо, чтобы оно случайно не упало на наш угор или ещё хуже — в нашу реку.

— Вот оно как! Если найду своё дело... тоже не буду тонуть в нашей реке, а значит, мигом плавать научусь. Да мне всё на свете нестрашно будет, когда я найду своё дело. Думала, думала и придумала.

А может, моё дело — оберегать сестру?

Шура такая умная, в сто раз умней меня, хотя я выше ровно на один выключатель. Мы чёрточками на стене давно измеряем. В этом деле точность нужна.

Умная, но такая хрупкая сестра у меня. За дровами идём — обязательно занозу схватит. В поле венки плетём — травой умудрится порезаться. Как же её не оберегать. Шуре очень, очень нужен берег, а лучше — бережность.

Бережность... Тут же полюбила я это слово. Оно мягкое, будто овечка у тётки Люси. А звучит оно как! — повторять его хочется. Слово будто волшебное — своим звуком бережёт всю нежность, какая только есть на свете.

Я даже не знаю, умею ли я беречь, живёт ли во мне — хоть немного — та самая бережность...

Думала, думала и придумала. Начну-ка с морковки.

Бабушка никогда не доверяла нам с Шурой сеять и чистить морковку. Говорит, терпение морковке нужно. Без него, привереда такая, расти не хочет. С горем пополам уговорила бабушку поручить мне маленькую грядку морковки. Обещаю-преобещаю, всё сделаю бережно.

Взялась я сеять — всё, как бабушка делает. Высыпала семена в блюдце поглубже, — чтобы ветром не выдувало их. Рядки кочергой начертила, два кулачка между ними отмерила. Вдруг большая морковка придумает вырасти, виришь как поползёт — место в земле нужно. Чего тесниться-то, это вам не укроп с петрушкой.

Рядки водой пролила, чтобы семена быстрее взошли. Тут как с гостями: посуху не держат, чаем надо поить. Земелька у нас не больно гостеприимная, сухая. Может, поласковой примет морковку, если рядки обильно пролью.

Зарывать надо бережно — не сбить семечко. Бабушка говорит, собьёшь его, выскочит морковка мимо рядка — тебе же глаза ломать на прополке, среди сорняка выискивать. Половину с мокрицей и выдернешь, не заметишь.

Вот я и поглаживаю земельку бережно-бережно. Бабушка слова какие-то всегда шепчет, я тоже пошептала, что на ум пришло: «Расти, морковушка, в голову, всем на радость расти, милушка моя».

И надо же — хорошо подросла, дружно взялась.

С прополкой успела, пока мокрица не заглушила. Ай, как полюбила я чистить морковку. Даже веселее, чем с дедушкой в шашки играть. Он мне то и дело поддаётся, я точно знаю, а тут всё по-честному — без поддавков.

Сажу себе, сначала между рядками мокрицу дёргаю, а потом и к морковке потихоньку подбираюсь. Вычищу рядок и налюбоваться не могу: неужели это я такую

красоту сотворила? И главное — сберегла её, красоту. Бабушку позвала, она давай охоть:

— Анделы, кака красивяшша грядка, любо посмотреть!

Закатились белые ночи — морковка скорее в землю пошла. Видно, как и я, тёмных ночей боится. Всё приду к ней, поговорю. Привязалась я даже к своей морковке, но делать нечего, убирать пора.

Ай да морковка, не подвела. Одна другой краше, и крот ни одну не погрыз. Морковки надёргала ведер пять — с моей-то маленькой грядки.

Всю зиму с сестрой хрупостили морковкой. Может, поэтому и зима была солнечная, а морозы терпимые. Или просто мы холод не замечали — на морковкиных витаминах пробегали.

Я и забыла, что сестру хотела оберегать. У меня это само собой выходить стало.

Лепили мы как-то снеговика. У Шуры здорово лицо получается, глаза и улыбку никому аккуратней не сделать. Вижу, что варежки у неё совсем сырые — что я, не сбегаю, что ли, домой за сухими варежками? Зачем ей отвлекаться, пусть и дальше снег оживляет. Гляжу, как Шура старательно красоту творит, и радуюсь. Сберечь надо такие руки, сама-то она разве доглядит за ними.

А вечером мы с бабушкой, мамой и Шурой делали Северную Березину.

Взяли по лоскутку от нашей одежды, и вышла тряпичная кукла. Будет наш дом теперь охранять, как метёлка, ссоры и горести выметать. Вроде маленькая, а какую работу берёт на себя, разве одна управится...

На Новый год я так и загадала. Говорю, березиной хочу быть, решила. Той, кто бережёт.

Конечно, поваром или изобретателем тоже интересно. Они создают разное вкусное и всякое нужное. Но на нашем угоре и без меня столько всего хорошего есть, это же надо кому-то беречь.

У неба много берегинь — это облака, тут мы разобрались. А наш травянистый берег — то затопит его, то мусор какой большая вода оставит. А наш огород — я только маленькую грядку морковки сберегать научилась, огород-то у нас ого-го.

О нашей семье и говорить нечего. Кто сестре напомним летом о панаме, а зимой о варежках? Кто дедушке сказку перед сном расскажет? Да, мой дедушка любит сказки на ночь слушать, но об этом знаю только я. Стесняется он, а меня не стесняется.

А из дома выйдешь — опять березини нужны. Я вот дяде Евсею, соседу нашему, всё хлеб в магазине выбираю — он старенький, видит плохо, а так любит зажарный хлеб, обязательно с корочкой да порумяней.

Ерунда вроде, а ждёт он этот хлеб. Ест да улыбается, улыбается да ест.

А радость, даже такая маленькая, она ещё привередливее морковки, это я знаю. Не сбережешь — пропадёт. А жалко, если мокрице достанется.

Татьяна Муравьёва

Ануш

Рассказ

Глядя на неё, я вспоминаю мамину маму. Маленькая. Я так вижу её — маленькой. Детские ладошки, пальчики. Светло-карие глаза, лучики морщинок вокруг. И взгляд. Взгляд девочки, которая встречает на своём пороге незнакомцев. Чуть смущённый, настороженный и в тоже время любопытный. Её мама всегда говорила: «От чужих хорошего не жди». Так ли это? Именно этот вопрос я вижу в её глазах.

— Ануш джаааан! — кричу я, открыв калитку. — Ай, Ануш джаан!

Из дверей дома высовывается голова другой Ануш — Анушик, той, что назвали в честь бабушки. И только потом откуда-то из глубины дома выходит та, кого я звала. В кипенно-белой косынке и таком же переднике. Значит, я вовремя. Ануш делает сметану. Или творог. Или режан¹. Смущённо смеётся, когда я прошу снять процесс на видео.

У Ануш трое детей. Две дочки и сын. А ещё пять внуков и один внук с чудным именем Людвиг. Восемь лет назад она похоронила мужа с тем же именем, сгоревшего буквально за год от рака мозга. И теперь у неё есть только маленький Людвиг — Люто, — двухлетний малыш с ямочками на щеках, который каждое утро стучит в мои ворота и кричит: «Танаааа!»

Ануш всего пятьдесят два, я смотрю на неё и с ужасом думаю, что её жизнь как женщины закончилась тогда, восемь лет назад. Когда ей было, примерно как мне сейчас.

Больше никогда мужчина не обнимет её крепко, не поцелует. В сорок четыре Ануш суждено было остаться бабушкой, мамой, но больше никогда не быть любимой женщиной. И меня охватывает ужас от слов «никогда не...». Может, потому я вижу в ней свою бабушку, оставшуюся вдовой в сорок, с четырьмя детьми на руках?

Как-то я, как положено соседке, принесла Ануш пирог. Ничего особенного, просто шарлотка. Я удивилась, когда она сперва понюхала, а только потом попробовала.

Муравьёва Татьяна Витальевна родилась в 1975 году в Москве. Окончила факультет психологии СФГА. Работала школьным психологом. В 2019 году переехала в Армению. Живёт в деревне Зар Котайской области.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Армянский национальный молочный продукт. Режан может быть отличной закуской или завтраком.

Я списала это на восприятие. Я тоже сначала нюхаю то, что ем, особенно незнакомое. В другой раз я принесла торт с безе. Тут она даже нюхать не стала, коротко отрезав «я такое не ем». Мне было обидно, — это то, от чего невозможно оторваться. Я даже слегка разозлилась: смотрите-ка, капризничает, или хуже того — брезгует. Я не раз сталкивалась с ревностью хозяек к чужой выпечке, и именно этим объяснила себе её каприз.

И только потом, позже, я поняла причину. Ануш не ест яйца. Ни в каком виде. И выпечку нюхает поэтому. Запах яиц она не переносит.

Ануш дважды хоронила своих детей. Одного — когда тому не было и полугода, крошечного мальчика, умершего от какой-то кишечной инфекции. А ещё девочку, годовалую, которая умерла от сальмонеллёза. И это было не пятьдесят лет назад. Её младший сын почти ровесник моему...

Полдня прошло, и где-то около двенадцати — в деревне время для кофе-мофе. Собираются соседки: сладости, последние новости, потому что это не просто кофе, а кофе-мофе. А для меня каждый раз — новые откровения. Не было дня, чтобы я не услышала хотя бы новую поговорку, слово или ещё что-то, ценность чему знаю только я.

Круг наш узкий. Никого, кроме «ближних». Я, Ануш, Армине и её мама, которую я с первой встречи почему-то зову мам-джан. Хотя всю жизнь я говорила, что мама у человека одна, не понимая, как невестки могут называть свекровей этим драгоценным словом.

У мам-джан шесть дочерей, и теперь ещё я — пстик бала (маленькая детка).

В общем, ничего необычного, просто соседские посиделки. Настроение задаёт Ануш, в минуту меняя его с хмуро-ноябрьского на радостно-солнечное. Ануш пришла в смешной детской шапке своей внучки! Такой, знаете, с двумя помпонами-ушами. Серьёзная Ануш! И, конечно, этот её вид вызывает бурю радости и смеха. Ануш отвечает на мою реакцию улыбкой:

— Ай, Таня, я только искупалась, после коровника, голова мокрая, а свою я постирала! Люто тоже очень смеялся, когда увидел.

И вот, когда мы уже выпили кофе, обсудили погоду, последние фото соседок в фейсбуке, порадовались обновкам Армине, — у меня зазвонил телефон. Я радостно говорю в трубку: «Аннушка, привет», — и выхожу из кухни.

Возвращаюсь с улыбкой: Аннушку я нежно люблю, и всегда рада слышать.

Ануш, видя мою улыбку, спрашивает:

— Это кто звонил? Сестра?

— Почти, Ануш. Не по крови, но сестра. Я два года прожила у неё в Ереване. Видишь, какая я счастливая? У меня там сестра есть, и здесь есть сёстры, и даже мама!

— Армине, у неё что, мамы нет? Там, в России? — тихо спрашивает Ануш, надеясь, что я не пойму, ну или, в крайнем случае, не услышу.

— Есть, как нет? — громко отвечает Армине сквозь шумно льющуюся воду, которой она моет новую порцию фруктов к столу (на столе всегда должно быть много еды).

И тут вступаю я:

— Ануш, у меня две мамы есть, плохо разве? Но моя мама, там, не любит меня так, как мама здесь, — говорю я и осекаюсь. Как-то совсем по-детски вылетела у меня последняя фраза. Но поздно. Недоумение повисло в воздухе.

— Это как, Таня? Разве так бывает? Ты что, ей не звонишь? Или она с тобой не говорит?

— Бывает, Ануш. Звоню, разговариваем. И она меня любит, по-своему, как умеет. Просто по-другому её никто не научил. И потому она так, как мам-джан, не умеет.

— Не понимаю. А кто должен был научить?

— Ну, её мама и мама её мамы. А они тоже не умели...

— Таня, а так, что, бывает? Чтобы мама не умела любить своего ребёнка? Это как?

— Бывает, Ануш, бывает. — Я пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить. Ануш неплохо говорит по-русски, но вряд ли поймёт, если я полезу в дебри детско-родительских отношений. И я пытаюсь по-простому: — Понимаешь, у нас, наверное, не очень принято *целовать детей в попу*. У нас, во времена моего детства, детей воспитывали, а не держали. Понимаешь? (В армянском языке по отношению к детям не говорят «воспитывать», а употребляют глагол «держать», то есть «ухаживать», «охранять», «поддерживать», «защищать».)

— Нет! Ай, Таня, не понимаю.

И тут я пускаюсь в объяснения теории воспитания советских времён, когда важнее всего было — вырастить Человека. Дать ему достойное образование, заложить нравственные ценности, выработать волю и т.д. и т.п. Что *телячьи нежности* (тут, кстати, нам с Армине пришлось отдельно потрудиться с переводом) считались лишними, так как это приводит к *избалованности* (ещё одно слово, перевод которого был непрост).

Ануш смотрит на меня, понимает и не понимает одновременно.

В этот момент мам-джан (которая по-русски практически не понимает), притягивает меня к себе, гладит по голове и ласково приговаривает что-то сюсюкательно-нежное, повторяя «жаль, очень жаль». А потом кладёт мне в тарелку последний кусок сладкой домашней халвы. И я растекаюсь, плавлюсь и наполняюсь любовью. Той самой, что бывает только на кофе и на молоке...

Ануш смотрит на меня так, что я не могу удержаться от вопроса:

— Ануш, я тебя расстроила?

Ануш молчит, но я всё вижу в её глазах, полных слёз.

Она искренне удивлена тому, что на свете бывают мамы, которые не умеют любить своих детей. И бывают дети, почти пятидесяти лет отроду, которых любят чужие мамы.

На том и расходимся. Напоследок Ануш снова веселит меня шапкой. До моего дома мы идём вместе, а потом я смотрю вслед маленькой женщине, что пошла любить своих внуков так, как её научили мама, бабушка и жизнь...

Денис Сорокотягин

Барби

Рассказ

Где же та первая Barbie, попавшая мне в руки (просто подержать, не дыша)?

Где та первая, как выяснилось, ненастоящая Barbie (не было гнущихся коленных суставов, эта привилегия делала Барби фирменной и настоящей), ставшая поистине моей, которой впоследствии я открутил руки и не сразу смог приделать их на место?

Секунда, когда разрушение осмыслено со скоростью этой секунды, и страх, что случившееся непоправимо. Barbie с двумя дырами вместо рук, в эти дыры можно было заглянуть, сказать что-то, попытаться рассмотреть, что внутри сисек, попытаться найти пластмассовое сердце. Тщетно. Пустотно.

Хранились мои ненастоящие Barbie в полиэтиленовом пакете многоразового использования, он был затаскан почти до дыр, с полустёртым рисунком (так сейчас выглядят вечные пакеты из «Библио-Глобуса», кажется, они и нас переживут). Туда же, в пакет, складировались связанные и сшитые мной платья, всевозможные аксессуары: розовая неоткрывающаяся сумочка, серёжка-гвоздик (одна, — всё-таки дыра в пакете), каблочки, флакончик духов (карамельный аромат, вот бы сейчас брызнуться!). Кукол мне привозила мама с торговой базы игрушек (по моему запросу). Речь идёт о позднем детсадовском возрасте; тогда, наверное, во мне и зародилась мысль, что из этой коллекции Barbie (шесть-семь сестёр, калейдоскоп характеров и типажей) можно сделать настоящий кукольный театр с ситуациями, с неминуемым конфликтом с самой первой секунды игры, с праздношатаниями по детсадовским набережным-подоконникам. Моими подружками-ассистентками стали рыженькая Настя и блондинка (не помню имени и врать не хочу, но в неё я, кажется, был впервые влюблён, помню, мы улыбались друг другу, наши Barbie-подружки сразу же сошлись характерами и были не прочь перегрызть косточки Настиной безвкусно одетой Barbie. Мы даже ссорились, расходились по углам, заводили знакомства на стороне, но потом вновь объединялись в трио; это были нежные ссоры. Для меня эти вымышленные розовые миры Barbie были убежищем от реальной, не всегда радующей жизни, всплесками неповторимой (никогда) первозданной радости. Наверное, такой восторг испытывает ребёнок, поняв, что умеет ходить. Как ещё объяснить это ощущение?

Позднее, когда я был уже подростком, в подвале хрущёвки (где я и жил), мы вместе с подружками открыли Музей кукол: собирали всем двором будущие экспонаты, отмывали, очищали, чинили, наряжали и выставляли на всеобщее обозрение.

Сорокотягин Денис Андреевич — актёр театра и кино, режиссёр, драматург, художественный руководитель «DAS-театра», педагог по актёрскому мастерству и вокалу. Родился в 1993 году в Екатеринбурге. Окончил Свердловский мужской хоровой колледж (пианист) и Екатеринбургский государственный театральный институт. Печатался в журналах «Знамя», «Нева», «Новый мир» и других. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 4.

К нам приезжало местное телевидение, мы давали интервью, как самые настоящие взрослые; застигнутые вопросом врасплох, говорили какую-то невнятную глупость. Но речь не об этом. Для статусности коллекции (мы тогда ещё не знали таких слов, но понимали, что так будет точно круче) нам были необходимы «самые настоящие» Barbie (с уже упомянутыми коленными суставами). Такие были у другой Насти и у Даши (тоже подруги детства, дорогие, привет, вы ведь тоже что-то помните?). Было не так-то просто договориться с владелицами о взятии их кукол в «аренду» — три красотки Barbie стояли как вся наша выставка вместе взятая (нам так казалось), но мы сошлись на том, что Barbie будут экспонироваться в подвале (Музее) не больше месяца. Мы отвели им специальное место: узкий проход между стеной и чешской стенкой, позволяющий контролировать подход (строго по одному) к нашим уникальным экспонатам. И, конечно, фирменное «не трогать руками», покровительственно произносимое нами — юными зрителями. А всем ведь так хотелось поддержать, пощупать, проверить, настоящие ли — они!..

Однажды в подвале случился разрыв трубы, и помещение нашего Музея затопило «понятно чем». О чём я подумал в первую секунду? Секунду, когда неизбежное случилось и нет возможности ничего изменить?.. — как там Barbie Даши и Насти. Они чудом спаслись от «понятного чего» благодаря своему привилегированному положению (шкаф как-то уберёт). Особенно пострадали текстильные куклы. Мы вынесли их на улицу и повесили сушиться на крепкие ветки тополей. Помню, среди «промокашек» была кукла, которая должна была отправиться в Беслан (шёл 2004 год, нам по одиннадцать, я что-то понимаю, точнее, что-то чувствую, низ живота сжимается от страха при взгляде в глаза этой кукле), но почему-то не отправилась и осталась у меня и теперь висела на ветру, а настоящие Barbie в целости и сохранности в день протечки вернулись к своим владелицам.

В этом году моя мама наводила порядок в нашем подвале нашего дома (правлением дома было принято решение убрать так называемые кладовки, — пожарная безопасность, захламлённость, все дела), и нашла пакеты с теми «музейными» куклами. Нет, Barbie среди забытых экспонатов не было: девчонки наверняка уехали в своём кабриолете в какую-то страну малиновых закатов. Мама выслала мне фото с куклами советского периода: с отвалившимися руками, свалёнными волосами, перемазанными землёй. Это всё напоминает какую-то детскую, но страшную игру в войну. В контексте сегодняшнего дня эти фото потянули за собой вереницу других изображений реальной трагедии, происходящей на наших глазах.

Если бы мы... нет, лучше так: если бы я был ребёнком не начала двухтысячных, а нынешнего времени, играл бы я в Barbie, придумывал бы кукольные спектакли? Наверное, нет. Куклу мне с лихвой заменили бы телефон и планшет.

Когда я пишу этот текст, смотрю на свои носки розового цвета. И понимаю, что это и есть та часть моего сохранившегося детства. Через эти розовые носочки, как через каплю, можно увидеть меня сегодняшнего.

Да, и мои коленные суставы уже пытаются пародировать тот самый звук фирменных Barbie. Вот только с вечной голливудской улыбкой что-то не задаётся. Знаю, кого-то это бесит, глядя на идеальную, такую безоблачную кукольную жизнь, а меня, наоборот, эта улыбка терапевтически обнимает, хотя она и не такая искренняя, как нам кажется.

А я всё жду, что где-то там, за поворотом, покажется белоснежный пони с радужной гривой и увезёт меня в какую-нибудь прекрасную страну будущего (в мою страну), где не будет разрывов и «понятно чего».

Как нам хочется вдруг измениться, но мы остаёмся в привычных координатах, обозначенных штриховкой нашего детства. Вот и мир точно так же.

Эгвина Фет

Предположим...

Рассказы

Мой дедушка — супергерой

Во всех самых ранних воспоминаниях так или иначе всегда всплывает вата. Ватой набиты разные звери, вату окрашивают в зелёный, вата становится изумрудно-бурой.

Предположим, мне три года и у меня проблемы с колёсами. У брата они не переводятся, у него автопарк. И пока у него автопарк, у меня есть колёса. Всё кончилось аппендицитом. Колёса и всё, что накопилось, вытащили, но врач забыл внутри какой-то инструмент и вату, началось воспаление, и нитки пришлось распарывать.

Предположим, мне четыре, теперь я живу у бабушки и дедушки. И пока они не видят, я катаюсь задом-наперёд на коляске. Потом я лежу посреди двора на животе. Потом бабушка выкладывает мне лицо ватой в облепихе. Дедушка прижимает меня к себе и бежит по улице. Потом я лежу на столе, дедушка держит меня за руку, тётка с огромными руками вдавливают меня в стол, а вторая — толстой иглой пришивает лоскут подбородка на место, как было.

Никто на улице не хочет больше со мной играть, только дедушка. Дедушка говорит, что в такой ситуации, как у меня, мне стоит научиться читать.

Предположим, мне пять, и в пятый раз я читаю рассказы Толстого для детей, но это не помогает мне сдружиться с детьми. Вместо детей как-то раз дедушка приносит мне петуха с цветным хвостом в компании трёх куриц. Курицы белые и похожи на вату. Они очень мягкие и тёплые. Они летают, но не отрываясь от земли. Курицы Аглая, Александра, Аделаида и петух Петя теперь живут с нами вместе. Дедушка назвал их в честь своих сестёр. Я об этом ничего не знаю, потому что я даже не знаю, как зовут дедушку. Мне кажется, его так и зовут, как зову его я, хотя бабушка зовёт его Захарович.

Курицы и Петух проживут с нами до самой своей старости, пока однажды утром дедушка не объявит нам с бабушкой, что наши Аглая, Аделаида, Александра и Петя уехали в Будапешт. В Будапешт к тому моменту уехали очень многие: несколько наших соседей, соседские собака Тузик, кот Кузя и даже коза Дора. Из Будапешта ещё никто не возвращался.

Предположим, мне шесть, у меня много друзей, и я сижу на речной кладке. Я не захожу в воду, потому что не умею держаться на воде, которая не содержит хлорки. Только хлорка в бассейне держит тело на плаву. В следующую минуту я уже в воде. Я не могу понять — я вниз головой или вверх, потому что я уже довольно далеко от поверхности. Кажется, я уже стою ногами на дне, мне нравится, что дно твёрдое

Эгвина Фет — поэт. Родилась в 1984 году. Живёт в Ставрополе. По образованию учитель истории, кандидат политических наук, редактор научного журнала KANT, финалист литературной премии «Лицей» имени Александра Пушкина (2019), литературного конкурса на соискание премий Правительства Москвы имени Корнея Чуковского (2022).

и надёжное, я планирую ещё немного постоять. Где-то там — над — плавает вата, отсюда она неразличима, но это всё равно, что различима. Теперь я поднимаюсь на поверхность, это происходит само собой, как будто внутри меня вата, которая разбухла и выталкивает на поверхность. Потом все меня поздравляют с тем, как мне повезло, что вовремя хватились и вытащили. Но я думаю, это потому, что внутри меня вата.

Предположим, мне девять. Завтра я собираюсь ехать к бабушке и бабушке. Я больше не хочу возвращаться обратно осенью и останусь потом у них.

Первый день лета. Я сижу под столом. Уже вечер. Никого ещё нет дома. Утром от бабушки пришла телеграмма: Захарович умер.

Но я знаю, что он просто уехал в Будапешт.

Кто мы и на сколько

В итоге (осенью) мы поехали в музыкальную школу. Большую часть времени мы занимались тем, чтобы удержать яблоко. «Представь, что ты держишь яблоко и только после этого можешь взять ноту». И я представляю. Я представляю самое большое яблоко. Когда мы доходим до последней ноты, мы убираем яблоко в ящик.

Мой папа запирает все звуки в чемодан после своих музыкальных тренировок. Всю неделю он работает композитором. И когда он надевает усы, шляпу и полосатый костюм, мы уже знаем, что он едет в Болгарию на гастроли.

Мама чистит рыбу. Я хочу знать всё о рыбе: водится ли она в наших водах, и вообще всё о рыболовстве. Наш дедушка знал всё об этом, когда брал лодку и уходил на середину реки. С тех пор, как его не стало, тема рыбы витает в воздухе нетронутой и рыба скучает на столе, уложенная на фарфоре.

Помимо рыбы, есть много других тем, которые нельзя доставать из ящика.

Например, никто в доме не говорит о поляках. Потому что родители папы за что-то на них обижены, и мы не можем позволить себе быть поляками, тем более раньше, тем более сейчас. В конце концов, эта скользкая тема — почти как рыба — была исключена из меню.

Помимо поляков, никто не говорит о том, куда делась наша кошка, тело которой мы нашли в снегу на балконе, когда вернулись домой. Никто не говорит о том, какие часы она провела перед тем, как совсем остыла.

Помимо кошки, никто не станет распространяться о том, почему мы с братом так и не освоили музыку, которая всё время двигалась туда-сюда по комнатам, выбираясь из чёрного ящика с проигрывателем.

И хотя больше всего меня беспокоит наша кошка, мне хочется думать, что все эти темы связаны между собой проблемой выбора. Скажем, когда я иду в школу с нотной тетрадью, я уже знаю, что мне не удастся удержать яблоко и что это непременно расстроит Аргентину Адольфовну, и меньше чем через четверть часа она будет колотить моей рукой о клавиши. Но я всё равно иду в школу, чтобы порадовать папу.

Предположим, когда мама ставит на плиту рыбный противень, она не собирается прикасаться к готовому блюду, но она полна решимости порадовать нас в это воскресное утро перед походом в парк.

В парке мы, скорее всего, встретим много разных кошек, и притом, что их наличие не восполняет нашей утраты, нам приятна их компания. В отличие от незнакомых мужчин возраста нашего дедушки, которые, как и кошки, будут прогуливаться по парку и сидеть на скамейках.

В общем это всегда довольно трудный вопрос: кто мы и насколько осведомлены о том, что составляет счастье других. Особенно если это наша кошка, которой, по словам её доктора, оставалось пару недель до того, как мы уложим её изнурённое болезнью тело в картонный ящик.

Мария Габрилович

Объяснение в любви

Моё славное несладкое детство

Начну с того, что родилась я от большой любви двух совершенно несовместимых очень талантливых людей. Они не могли быть вместе и не могли вместе не быть. Их отношения были страстными, бурными, порой буйными, полными изысканной фантазии и бессмысленной ревности.

Вот от этого человеческого жара родилась я.

Мое рождение, как говорила мама, принесло ей работу. Незаслуженно невостребованная актриса стала очень популярна. Предложения о новой работе, новых ролях буквально посыпались.

Она была абсолютно счастлива. Мама не отказывалась даже от самых маленьких ролей, боялась «сглазить судьбу».

Позже она говорила: «Любовник может предать, муж может предать, друзья могут предать. Не предаёт только работа».

В это же время папа, который жил жизнью в основном светской, бездельничал и пижонил, начал снимать «своё» кино и впоследствии стал известным режиссёром-документалистом.

Она снималась, он снимал.

Родители колесили по стране, писали друг другу записочки, письма, посылали телеграммы.

Они всё время расставались, а я жила в разлуке с ними.

Нас у мамы было трое: моя старшая сестра Зина, мамина младшая сестра Вера, которая переехала к нам шестнадцатилетней после смерти бабушки, ну и я.

Зина тоже жила с бабушкой, маминой мамой, до её смерти, приезжала домой на каникулы. Но этот период я помню плохо.

Рождалась я долго и сложно. Все ждали мальчика Гришу 23 февраля. Я всех подвела, родилась Машей 24 февраля.

Первую мою няню нашла нам бабушка, папина мама. Не то чтобы нашла, а отдала свою помощницу по хозяйству, замечательную и добрую бабу Маню. Баба Маня прожила с нами довольно долго.

Я подрастала и, когда мне исполнилось года три, у нас с ней налачился бизнес. Мы с бабой Маней собирали бутылки, мыли их в отдраенной мамой до снежно-белого

Габрилович Мария Алексеевна родилась в Москве в 1965 году. Мама — народная артистка РФ Майя Булгакова. Папа — режиссёр Алексей Габрилович. Дедушка — прозаик и сценарист Евгений Габрилович. Окончила МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности правоведение. Адвокат Московской Адвокатской палаты (Коллегия Адвокатов «Карабанов и партнёры»). Почётный адвокат РФ. В «ДН» публикуется впервые.

цвета ванне, а потом, простояв не меньше часа в длинной очереди, сдавали в приёмном пункте. Моя роль в бизнесе была главной. Я высматривала бутылки в кустах, ловко ныряла за ними и передавала в сетку бабе Мане. В конце рабочего дня, после получения денежек за бутылки, мне покупались мороженое или шоколадка. Все были довольны.

Пока... пока проезжающая на «Волге» мимо длинной очереди в пункт приёма бутылок бабушка Нина не заметила нас с няней. Стоит ли говорить, что бабушка не связывала моё будущее со сбором стеклотары. Няня была уволена.

Вслед за бабой Маней появилась тётя Тоня.

Её я полюбила больше всех. Тётя Тоня проработала у нас, гаверное, лет семь. Она жила в нашей квартире и заслуженно считалась членом семьи. Родители дома практически не бывали: частые командировки или почти круглосуточная работа в Москве. Поэтому все тяготы по ведению хозяйства и моему воспитанию легли на плечи няни. Характер у неё был достаточно жестким, и воспитывала она меня в строгости.

— У нас, у кубанских казачек, не забалуешь, — часто повторяла Антонина Тимофеевна.

Но, надо сказать, меня она очень любила и относилась ко мне как к родной.

Тётка она была простая, деревенская, могла сутками ходить по Москве и восхищаться столицей. Обожала салют, на котором мы с ней во весь голос орали: «Уря!»

Ещё она была фанаткой игры в хоккей, болела за ЦСКА. Перед каждой трансляцией хоккейного матча тётя Тоня жарила большую сковородку картошки с луком, и мы с ней садились у телевизора и вопили: «Шайбу, шайбу!», а если любимая команда забивала гол, то на весь дом кричали наше дружное «уря!». Иногда папа покупал ей билеты на стадион ЦСКА, и более счастливого человека, чем тётя Тоня, на стадионе я, пожалуй, и не вспомню.

Я безумно влюбилась в хоккеиста Виктора Кузькина. Предполагаю, что всё же из-за фамилии. В его честь был назван мой первый хомяк, а папа сочинил стишок:

Живёт на свете Кузькин,
Товарищ он Маруськин,
Назло соседке Тоське,
Назло соседке Люське,
Маруську любит Кузькин,
А Кузькина — Маруська!

Тётя Тоня провожала меня в школу и везла обратно на трамвае. Каждый раз, когда попадался счастливый билет, она его тут же съедала, поэтому ей нечего было предъявить контролёру, который непременно в этот день совершал обход трамвая и её штрафовал. Придя домой, записывала в маминой тетрадке расходов: «штраф — 1 руб.». Мама возмущалась, почему она должна оплачивать Тонины штрафы, и просила не есть билеты до выхода из трамвая. Но тётя Тоня считала, что если сразу не съесть, желание не сбудется.

Наверное, её желание сбылось. Я была классе в четвёртом, когда она вышла замуж и покинула наш дом. Первое время она приезжала к нам раз в неделю, скучала очень. Привозила мою любимую клюкву в сахаре. Потом приезжать перестала.

С уходом тёти Тони начались наши мытарства.

Бедная мама! Находясь в бесконечных командировках, она порой по нескольку дней не могла связаться с домом. Сердце её изболелось.

У няни, которая появилась у нас после Тони (имя я уже не помню), была мечта выйти замуж за военного. Она брала нас с Зиной на вечерний сеанс в кино, лелея надежду познакомиться там с мужчиной своей мечты.

И однажды счастье ей улыбнулось!

Новому другу она сказала, что мы племяшки, которые временно живут в её квартире. Мужчина оказался домовитым, хозяйственным и, оглядевшись, принялся делать ремонт в коридоре.

Вот за этим славным делом, в пилютке из газеты, его и застала мама, вернувшаяся из очередной командировки.

Уставшая, голодная, соскучившаяся по дому... А тут такое! Скандал.

Ремонт закончен не был, выгнала обоих.

Следующая няня, тётя Люба, была принята на работу теперь уже только по рекомендациям. Соседка, москвичка. Вот кому можно доверить детей и хозяйство.

И действительно, первое время тётя Люба со всем справлялась, я начала к ней привыкать. Но она... запила.

Представьте: приходит ребенок лет двенадцати-тринадцати из школы, а в кухне на полу лежит пьяная описавшаяся няня. Крепко спит.

Вот что с ней делать? Мама-папа-отчим... а в Москве никого.

Только дед. Дед, который знал толк в человеческих душах, в человеческих доблестях и пороках, но совсем ничего не смыслил в пьяных нянях.

Звоню:

— Дед, тут няня пьяная, что делать?

— Милая (так дед обращался ко всем лицам женского пола), ну чем я могу помочь? Попробуй её разбуди.

— Пробовала, не будится!

— Можно попытаться вызвать вытрезвитель.

Приехали сотрудники вытрезвителя, няню забрали. Я всё за ней помыла. Маме ничего не сказала, иначе бы она с ума сошла.

Через два дня няня Люба вернулась как ни в чём не бывало. Она просила, её простили. Но это повторялось. Пришлось с ней расстаться.

Как-то раз мне позвонила моя закадычная подруга, Ира Сировская, и я, чтобы мама не поняла, куда мы намылились, стала с ней говорить по-английски. Для мамы это было, мягко сказать, неожиданно. Когда-то она учила немецкий, но вот английский совсем не знала. Снявшись в замечательном, но, к сожалению, забытом фильме «Перевод с английского», она мастерски произносила: «I'm glad to see you again», — но на этом всё.

Мама вызвала папу для принятия решения.

— Алёша, — сказала мама, — если твоя дочь стала такой хитрожопой, то никакая няня ей уже не нужна.

Вот так и закончилось моё славное несладкое детство.

Але-он!

Дом, где я жила с рождения, разделён на несколько корпусов. Первый корпус — жилищный кооператив под названием «Актёры кино и драмы», корпус второй — ЖСК «Артисты цирка».

У каждого корпуса — свой большой двор, засаженный яблонями и разными другими деревьями. Сейчас почти всё пространство застроено стоянками и гаражами. Но тогда у нас, маленьких, было такое раздолье для игр в прятки, казаки-разбойники и всякие догонялки. Требовалось только крикнуть: «Я у циркачей!» — и маме можно за меня не тревожиться. Наш актёрский двор был славен девчонками, тогда как двор циркачей — мальчишками. Ребята с ранних лет выходили с родителями на манеж, ездили на гастроли и школу посещали редко. Они даже зарабатывали какие-то

небольшие деньги, тогда как мы, иждивенцы, ежедневно с переполненными ранцами распозлались по учебным заведениям.

Во дворе у соседей всегда можно было встретить цирковых красавиц, стройных, с ярким макияжем, волосами, окрашенными в чёрный, белый или рыжий цвет. Женщины шеголяли на высоких каблуках, держа под мышкой модно подстриженных карликовых пудельков. Казалось, что в любой момент хозяйка произнесет заветное: «Але-оп!» — и собака выполнит затейливый трюк. Мужчины у цирковых красавиц — им под стать. С прекрасными мускулистыми фигурами и какие-то шумно-праздничные. Ещё во дворе у циркачей всегда отдельной небольшой компашкой собирались лилипуты. Маленькие люди были очень хохотливые и словоохотливые. Своими звонкими детскими голосами, увидев тебя, издалека кричали: «Маша, как дела в школе, какие оценки? Пятёрку сегодня получила?»

В корпусе циркачей есть арка-въезд во двор. Когда-то в оконном проёме, расположенном прямо над этой аркой, в тёплое время года можно было увидеть маленькую обезьянку. Она сидела на подоконнике, всё время что-то жевала, а шкурки и огрызки бросала на улицу. Я не знаю, делала ли обезьянка это нарочно, но корки и скорлупа от орехов всегда попадали точно в цель, прямо по макушке входящего во двор. Со временем мы научились обезьянку обходить, крадучись вдоль стены дома. А потом обезьянка куда-то исчезла. Мама сказала, что она уехала на гастроли. В Париж.

У одного из дрессировщиков жил маленький медвежонок. Совсем крошечный. Дрессировщик выгуливал его во дворе на поводке. Нам разрешали с мишкой играть, но аккуратно, чтобы он своими острыми молочными зубками не поранил наши руки. Однажды мишка сорвался с поводка и забрался на дерево. Слезть не мог, сидел на ветке и плакал от страха. Я даже помню этот звук — такой умилительно-грустный рык, сбивающийся на вой. Вокруг дерева бегал дрессировщик и, нервно жестикулируя, объяснял собравшимся детям и лилипутам, что медведь не кошка, если наверхнется с дерева, уж точно костей не соберёт. И тогда горе ему, дрессировщику, полный аллес капут! Срочно был вызван пожарный наряд. Однако к мишкиному дереву пожарная машина подъехать никак не могла. Решено было подставить длинную-предлинную пожарную лестницу. Дрессировщик грустно, почти прощаясь, посмотрел на детей и лилипутов и, громко матерясь, полез за своим питомцем. Пожарные крепко держали лестницу, а для мишки растянули специальный брезент — на случай, если он сорвётся с ветки. Но всё обошлось. Какое-то время мишка по-прежнему на радость нам гулял во дворе, а потом переехал жить в цирк.

Когда простужаются слоны, им дают выпить коньяку. Слоновья инфлюэнция отступает, и гиганты животного мира быстро идут на поправку. Неудивительно, что самым весёлым во дворе у циркачей был дрессировщик слонов: у него всегда были коньяк и маленькие рюмочки. А закусывали яблоками, срывая их прямо с дерева. Когда созревала смородина, растущая в глубине двора, то «слоновье зелье» заедали спелой ягодой.

Весело было. Носились дети, хохотали лилипуты, ухоженные цирковые звёзды садились в американские длинные машины и уезжали украшать собой арену цирка. Але-оп!

Вот и я, когда приболею, пью коньяк. Совсем не помогает.

Значит, я не слон.

Стрелин

Когда *других* маленьких детей за плохое поведение должен был отругать дядя милиционер или могла забрать на перевоспитание Баба-Яга, мне грозили Стрелиным.

Несмотря на мою ангельскую внешность, ребёнком я была вредным. Родители довольно часто хватались за ремень, но я забиралась под диван, в самый дальний уголок, куда взрослые никак не могли пролезть, и оттуда громко кричала:

— Бейте меня сколько хотите. От своей мамы совсем не больно!

Даже лёжа под диваном, я чувствовала, как мама улыбалась.

Воспитательный процесс на этом завершался.

Когда я плохо ела, не убирала за собой игрушки, скандалила («габриловичская порода» или «Алёша, твоя дочь надо мной издевается, сил моих больше нет»), мама грозила отдать меня Стрелину. Жить с ним мне совсем не хотелось. Почему-то чудилось, что дядя Стрелин заставит чистить картошку, перебирать гречневую крупу и мыть полы в его квартире. Образ несчастной Золушки не покидал меня.

— Мама, когда ты меня отдашь Стрелину, ты же будешь меня навещать?

— Маша, навещают девочек послушных, а ты не слушаешь маму, капризничаешь и не хочешь учить стихи к празднику. А Стрелин с тобой быстро справится.

— Мама, а ты точно знаешь, что Стрелин меня возьмёт к себе?

— Конечно, он умеет ладить с непослушными девочками и мальчиками.

Павел Васильевич Стрелин был известным советским киноактёром. Но мне он запомнился как самый главный в нашем доме человек: Стрелин был председателем ЖСК «Актёры кино и драмы».

Павел Васильевич был мужчина представительный. Всегда до блеска выбрит, одет в костюм и шляпу. Образ его дополняла трость. Выходя во двор, он тут же попадал в окружение народных и заслуженных красавиц отечественного кино, решающих неотложные вопросы по управлению кооперативным домом.

Я стала внимательней присматриваться к Стрелину. Он казался очень строгим дядечкой, и трость его превратилась для меня в волшебную палочку колдуна. Главное — надо было сделать так, чтобы он не захотел забирать меня у мамы.

И вот однажды я застала Павла Васильевича сидящим на лавочке возле дома и читающим газету «Правда». И решила с ним поговорить.

— А вы кого больше любите к себе брать: мальчиков или девочек?

Стрелин удивлённо посмотрел на меня:

— А зачем мне кого-то к себе брать?

— Чтобы воспитывать и потом возвращать в семьи.

Стрелин был в недоумении от услышанного.

— Маша, вот и Оля Голованова вышла гулять. Иди с ней поговори.

Беседовать с Волей, я так её называла, совершенно не хотелось. Мне надо было постараться сделать так, чтобы Стрелин не стал меня забирать к себе.

— А вы заставляете детей чистить картошку и перебирать крупу?

Павел Васильевич помрачнел и начал оглядываться по сторонам в надежде, что кто-то из соседей выйдет из подъезда и он сможет от меня отвязаться.

— Маша, каких детей я должен заставлять чистить картошку?

Я решила, что Стрелин не хочет мне рассказывать правду о том, что некоторые родители отдают ему детей на перевоспитание. Это же большой секретик, тайна взрослых.

— А вы можете своей тростью колдовать?

— Нет, не могу.

Я уже явно начала раздражать Стрелина.

— Знаете, вот если я перееду к вам жить, то я совсем не умею мыть полы. Мама меня называет неумехой и неряхой.

— Маша, а почему, собственно, ты должна ко мне переехать? Ты ведь живёшь со своими родителями. Они тебя любят и никому не отдадут.

— Мама тоже иногда говорит, что любит меня до смерти, но, если и отдаст, то только вам. Вы единственный сможете со мной справиться. Даже участковый не сможет, а вы сможете. Ещё меня надо в садик водить и стихи со мной учить. У нас концерт скоро. А мама вам не говорила, нянька моя тоже к вам переедет?

— А почему это вы все должны ко мне переезжать?

Стрелин быстро засобиравшись, сложил газету, спрятал очки, подвинул к себе трость.

— Мама сказала, что если я буду плохо себя вести, то она отдаст меня вам. А я веду себя не очень хорошо. Так что отдаст, наверное.

Стрелин поднялся с лавки и строго на меня посмотрел.

— Маша, передай своей маме, что ни тебя, ни няньку твою, я к себе брать не собираюсь.

Как же я была рада его словам! Я тут же помчалась домой рассказать маме эту новость.

— Мама, мама, — громко кричала я, взбегая по лестнице на третий этаж. — Стрелин отказался меня брать. Он сказал, чтобы я тебе это передала. Я ему не нужна, а нужна только тебе.

Мама засмеялась своим заразительным смехом. Потом вдруг задумалась:

— Господи, Маня, как я теперь во двор выйду?..

Большой белый пёс

С большим белым псом я познакомилась по дороге из школы. Он тщательно обнюхивал дерево, кружась вокруг ствола. Я попыталась привлечь его внимание, ласково позвав несколько раз:

— Собака, знакомиться будем? Ты лапу давать умеешь?

Пёс не откликался, он был занят. Тогда я подошла поближе и села перед ним на корточки. Пёс внимательно посмотрел и вдруг, завиляв хвостом, бросился облизывать. Лицо, шею, руки. Было похоже, что он меня умывает. Вытирая лицо рукавом школьной формы, я смеялась и трепала его по мощной спине. В голове звучал мамин голос со всеми хорошо известными мне интонациями: «Маня, ты точно не будешь больше трогать дворовых собак? Пообещай. Сколько можно уже всякие болячки хватать! Дождешься, ещё и уколы от бешенства в живот придётся делать». Ответ у меня был готов. На большой белой собаке был ошейник. Значит, она не была дворовой и больной. Мы зашлись с псом в игре. Бегали друг за другом, катались по траве, он чуть-чуть прикусывал мою ладонь и тихо таял, требуя продолжения баловства. Я назвала его Снежок. Немного похож на лабрадора, только больше по размеру, а морда как у овчарки, острая, хвост длинный и пушистый. Но надо было домой.

Пёс пошёл за мной к подъезду. Он вежливо забрал у меня мешок со сменной обувью и понёс его в зубах. Я не могла пригласить его в квартиру. Нянька бы ни за что не пустила. Я попросила Снежку подождать меня. Няня Тоня хлопотала на кухне: «Садись обедать, а потом сходи за хлебом, ни кусочка не осталось. Руки помой».

Но какой тут мог быть обед, если меня на улице ждал голодный Снежок?

— Ты мне сколько котлет положила?

— Две.

— Давай три. Я очень голодная, с тренировки же. И макарончиков побольше.

Няня удивлённо на меня посмотрела, но просьбу выполнила. Поставив передо мной тарелку, тётя Тоня (ух, повезло нам со Снежком) вышла в комнату: звонил телефон. Я слышала, как она разговаривает с мамой.

— Да, всё хорошо. Маша только зашла. Сидит ест. Котлеты. Аж три попросила. Да, голодная как собака пришла, с гимнастики своей. Да, хоть есть начала, а то ничего, кроме конфет и яблок. Да, я с курицы кожу сняла, фарш накрутила. Чтобы ей диетические. Но свинину добавила. Да, добавила, чтобы посытней. Почему не надо было? Так, а что за котлеты без свинины? Так кто это есть будет? А так три попросила! Уж съела, наверное. Сейчас позову. Маша, иди, мама звонит.

— Мам, ты когда приедешь? Только через неделю...

Котлеты с макаронами для Снежка уже были упакованы в пакет. Очень хотелось уговорить маму взять собаку к нам, но по телефону это было бесполезно. Целую неделю теперь ждать, когда мама вернётся. А где же Снежок станет ночевать? Столько проблем на меня навалилось. Но пора было бежать кормить друга. Снежок ждал меня в саду у подъезда. Мы с ним забрались под стоявшую во дворе горку (там мы часто собирались с девчонками) и разделили трапезу. Я съела половину котлетки, Снежок слопал всё остальное. И всё равно было понятно, что он ещё голоден. Но у нас были деньги, и мы отправились в булочную. Понимаете — я и моя большая белая собака! Наконец-то у меня была своя собака. Мы шли по улице и улыбались. Снежок нежно прикусывал моё запястье, чтобы все понимали, что мы вместе, мы — друзья. В магазине я купила «орловский» для няньки и две булки для себя. Булки Снежок смолотил за одну секунду, аж повизгивал от удовольствия. Занеся хлеб домой, вернулась к Снежку. Я ему рассказала о том, что он самый замечательный пёс на свете, самый добрый и самый умный. Он меня внимательно слушал, лизал в нос и старался дать сразу две лапы, чтобы доказать мне свою преданность и верность. Я уговорила Снежка пожить пока во дворе и подождать, когда вернётся мама. Я пообещала ему, что непременно упрошу её взять его к нам. Если же мама наотрез откажется, то я соберу свои вещи, разобью копилку и мы отправимся с ним... Куда мы отправимся, я так и не придумала. Но, скорее всего, на море.

Моя радость продолжалась дня три. Утром Снежок встречал меня у подъезда, я угощала его бутербродом. Возвращаясь из школы, находила пса рядом с нашим двором. Я звала его, и он со всей прыти мчался навстречу. Хвост его от восторга отваливался, он поскуливал, пытаясь прыгнуть повыше и лизнуть прямо в нос.

Нянька была довольна моим аппетитом, мама с недоверием слушала её рассказы, а я была просто счастлива. Ведь теперь у меня была собака.

Неожиданно Снежок пропал. Я обошла все дворы, сорвала голос, криком крича его имя, расспрашивала прохожих и не переставая плакала.

Нянька боялась, что я переела, мама была уверена, что я нахватала двоек, и никому из них даже в голову не приходило, что у меня пропала собака.

Прошла, может, неделя, может, две, но как-то раз на улице, недалеко от нашего дома, я встретила своего Снежка. Он был «привязан» поводком к дядькиной руке. Дядька шёл неторопливо, пёс плёлся за ним.

— Снежок, — тихо позвала я.

Пёс оглянулся, вздрогнул и завилял хвостом.

Он хотел было рвануть в мою сторону, но мужчина резко осадил: «Ну, всё, Викинг, погулял уже, хватит». И вдруг, нежно так: «Как ты нас напугал, как расстроил, бесовестный! Аня так плакала». Пёс притих, виновато посмотрел на меня, затем на дядьку и пошёл за поводком. Моя детская мечта удалялась, исчезала на глазах...

Велосипед

Дедушка подарил мне двухколесный велосипед. Ну, как подарил... Будучи человеком, честно говоря, прижимистым, он всегда заметно сникал, когда мой отец начинал разговор со слов «папа, надо бы Машке купить то-то» или «отправить её туда-то». Деда, сидя в своем любимом кресле, как-то по-особенному разводил руками и, обаятельно улыбаясь, говорил:

— Алёша, а почему этот счастливый билет выпал опять мне? Чем я заслужил такую честь?!

— А заслужил ты её, папа, тем, что ты старше нас с Майкой и мудрее. Да и зарабатываешь значительно больше. — Таков был ответ моего отца старшему поколению.

В результате этой убедительной беседы деду ничего не оставалось, как идти снимать деньги с книжки.

И вот велик был куплен. Как назывался этот двухколесный красавец, я не помню, но был он белого цвета с красной полосой.

Я на него наглядеться не могла, смотрела и гладила его по железной раме. И ждала-ждала выходных, когда у папы будет время научить меня кататься. Родители тогда уже разошлись, но жили в домах, стоявших друг напротив друга. Окна папиной квартиры выходили на мамины окна, что, безусловно, делало личную жизнь каждого из них вовсе не личной. Поэтому говорить о том, что они жили совсем порознь, было бы неправдой.

И вот наступила долгожданная суббота. Папа, как и обещал, пришёл рано утром, взвалил на себя велик, и мы отправились учиться. Он старательно объяснял мне, как удерживаться на велосипеде и управлять им. Я внимательно слушала, но с велика все же сваливалась. В последний момент он ловко меня подхватывал и усаживал обратно на сиденье.

Часа через два он вернул меня маме всю в слезах, заодно вручив ей бинт и пузырёк зелёнки.

— Завтра ещё попробуем, — устало пообещал он.

И назавтра он пытался меня выучить, я старалась внимать, но у нас ничего не получалось. Я разревелась от досады, и папа привел меня к маме со словами:

— Крокодила легче научить на велосипеде кататься, чем твою дочь!

— А ты много крокодилов научил? — тут же нашлась с ответом мама.

— Вот сама и попробуй научить ее. Зря купили этот велик.

Бросать вызов нам, Булгаковым, было нельзя. Особенно мужчине, тем более если он бывший муж и папа дочери, — запрещено исторически.

Мама вытерла мне слёзы, забинтовала опять сбитую коленку, красиво оделась, и мы вышли на улицу. Она внимательно оглядела велосипед. Я почему-то уверена, что она никогда сама не ездила на велосипеде. Однако мама мастерски выправила сиденье, опустила руль под мой рост, протёрла раму, чтобы блестела, иначе она просто не могла, усадила меня на велик, прошептала что-то велосипедному богу, и я поехала. Она лишь немного придерживала меня за сиденье, а потом совсем отпустила.

— Маня, спину держи! И красиво, доча, поехала гордая и с улыбкой, и пусть все Габриловичи там... тарам! — Мне вслед раздался изысканный булгаковский мат.

Убедившись, что я истинная веловсадница, практически «родилась в седле», мама поднялась домой. Она тут же позвонила отцу и объявила, что если возникнет такая необходимость, то она не только крокодила, ну и его крокодилиц запросто обучит обращаться с велосипедом. Мама не могла упустить возможности напомнить о папиных девушках.

Конечно, все дни напролет теперь я гоняла на велике. Как-то мама, выглянув в окно, попросила меня съездить в дальнюю булочную купить хлеб. Из окна она бросила мне пакет и кошелёчек с мелочью.

Поехать тогда на собственном велике за хлебом — это как сейчас на личном rolls-royce'е в соседний дом в аптеку за аспирином.

Как никогда радостно, я помчалась выполнять мамину просьбу. Припарковав свой транспорт у хлебного, я гордо вошла в магазин. Выстояв очередь, вышла из магазина — велика нет. Украли. Я металась, плакала, зывала к прохожим, но бесполезно. Велик растворился в московских дворах. Я сидела на ступеньках булочной и рыдала. Незаметно ко мне подошла мама, обняла меня, и мы поковыляли домой.

Оказалось, что меня уже два часа как не было, и мама пошла меня искать.

То, что мне причиталось за разгильдяйство и неумение беречь вещи, я, разумеется, получила! Нравоучения и выговоры меня никогда стороной не обходили. Сначала мама, потом папа, снова мама и снова папа...

И вот, как вчера, вижу деда: он сидит в своем любимом кресле, по-особенному, по-габриловички разводит руками и, обаятельно улыбаясь, произносит: «Алёша, ещё один велосипед?! Второй за месяц?! А почему всё-таки опять я оказался тем счастливецом, который должен его купить? За что, Алёша, мне так постоянно везёт?!»

А потому, деда, что мама сказала папе, что с тех пор, как я гоняю на велике с утра до вечера, я хоть немножко стала есть.

Кубанские казачки на станции Выселки

— Маша, тебе какая нравится больше: та ярко-розовая или синяя?

— Не знаю. Долго нам ещё тут стоять?

— Маша, ну что поделаешь, ведь гостинцы надо купить.

Мы стояли в длиннющей очереди за нейлоновыми комбинациями с кружевом. Первый раз родители отпускали меня на каникулы на родину тёти Тони, в Краснодарский край. Антонина рассказала маме про речку и лес, полный грибов, про фрукты, свежий воздух и гостеприимство её родной сестры Елены Тимофеевны. Для неё и ещё для какой-то подружки мы и выбирали нижнее белье невероятно яркой расцветки.

— У нас в сельпо такой красоты нет. Так что, Машенька, потерпи, пожалуйста. Скоро наша очередь подойдёт.

Мама, собрав полную сумку московских деликатесов, провожала нас на вокзал.

— Антонина, заставляй Машку читать. Ты видела, сколько ей на лето задали? Пусть осилит хоть половину.

Наш с тётёй Тоней нехитрый багаж и состоял-то из гостинцев и книжек, заботливо собранных мамой.

И вот ранним утром мы сошли на перрон станции Выселки.

— Знаешь, Маш, всегда хотела принести краску и перекрасить Выселки в Васильки, — радостно призналась моя няня. — Может, когда-нибудь так и сделаю.

На станции нас встречала тётёи-Тонина сестра Лена. Она подбежала к нам, сёстры обнялись и расцеловались. Елена дала Антонине ключи от дома, а сама вернулась к своим вёдрам: надо было продать только что собранную черешню.

Тётя Тоня открыла ворота и вдохнула полной грудью:

— Вот я и дома.

Во дворе к нам кинулась лохматая, никогда не мытая и ни разу не чёсанная собака с гордым именем Марс. Пёс ликовал, падал на спину, ползал на брюхе и лизал нам руки.

Дом тёти Лены был просторным. За домом разбит огород, дальше — большой фруктовый сад. За садом — курятник.

Распорядок моего отдыха на просторах Кубани быстро определился.

Подъём в шесть утра. К этому времени хозяйки уже подоили корову и отправили её гулять на луга, выпустили на улицу кур и гусей, напекли оладушков и, опрятные, в белоснежных накрахмаленных косыночках, сидели за столом и пили парное молоко. После завтрака мы отправлялись собирать черешню и абрикосы, потом шли на станцию. Сёстры сидели на стульчиках и продавали фрукты вёдрами, а я бегала вдоль остановившихся на полустанке поездов, держа в одной руке кулёк с семечками, в другой — с черешней:

— Кому ягод? Кому семечек жареных! Граждане, покупайте! — звонко и зазывно кричала я на весь перрон.

Знаете, пассажиры покупали мой нехитрый товар, и я, радостная, бежала к своим тёткам, торжественно вручая им вырученные монетки. Потом тётя Лена ехала куда-то на работу, а мы к обеду возвращались домой.

Если нам не удавалось продать всю ягоду, няня сразу начинала варить варенье. И тогда кухню наполнял сладкий запах, который я ощущаю до сих пор. Тётя Тоня снимала пенку и подавала мне её в розетке вместе с ломтем белого хлеба. А вечером мы садились на лавочку возле дома и лузгали жареные семечки, слушая новости села от проходящих мимо соседок.

Как-то я проведала, что сёстры собираются варить куриный бульон и утром им надо будет забить одну из птиц. Убийства представителя семейства новонёбных я никак не могла допустить. Вечером, когда сёстры подрёмывали у телевизора, я пробралась к курятнику, разбудила и выгнала птицу в огород. Куры громко кудахтали, выражая свое недовольство столь поздней прогулкой, а наглый гусь ушипнул меня за попу. Это было очень обидно. Я же его спасала, а он... Со слезами на глазах я забежала в дом. Вмиг пробудившиеся сёстры, недобро на меня посмотрев, выскочили во двор. Громко хлопая в ладоши и матерясь, они пытались метлой загнать разбегающихся по саду птиц в курятник. Ошарашенные куры прятались в капустных грядках. Несколько самых заполошных попытались взлететь и шлепнулись на землю. Орал как резаный петух, шипели индюки, гоготали гуси, а я тихо всхлипывала, потирая кулачком больное место.

На следующий день в качестве наказания меня не взяли торговать ягодами на платформу, а велели читать книжку или написать письмо маме. Но я целый день играла с соседским мальчиком и безуспешно дрессировала лохматого Марса. Когда меня простили, мы с тётей Тоней поехали в Краснодар, в кинотеатр, смотреть «Фантомаса». После фильма няня два дня спала, не выключая свет, а потом пугала нас с тётей Леной, выскакивая из-за угла, и, подражая Фантомасу, смеялась: «Ах-ха-ха!» Но со своей шестимесячной завивкой на покрашенных хной волосах она совсем не походила на героя фильма, и мы её совершенно не боялись.

А ещё я с сыном тёти Лены ездила на речку купать коня.

Жеребец громко ржал, бил по воде копытом, разбрасывая по сторонам тину и водоросли. Только на картинке купание лошадей выглядит красиво, а на самом деле ничего романтического в этой процедуре нет. Мокро.

Как-то мы попали на похороны. Хоронили молодую девушку. Она была одета в свадебное платье. Няня сказала, что она умерла от любви. По правде, я не поняла, как это может быть, а тётя Тоня мне так и не объяснила. Гроб с телом девушки везли на телеге. Телега бултыхалась по кочкам, и мне казалось, что гроб вот-вот упадет. Было жутковато. Может быть, от тряски, или я не знаю от чего, но из носа у покойной потекла кровь, и толпа провожавших её в последний путь охнула и остановилась. Женщины зарыдали, мужики повынимали из карманов пиджаков заначки...

Однажды сын тёти Лены позвал прокатиться с ним на новеньком мопеде. Я аж завизжала от радости: таким интересным приключением это показалось. Но довольно быстро он не справился с управлением, и мы свалились в грязнучую канаву. Возвращать меня в таком виде юноша не посмел и помыл из ведра колодезной водой. Я слегла с соплями.

Меня опять не брали на станцию продавать фрукты, а заставили написать письмо маме. Вот обо всех своих приключениях я маме и написала.

— Хозяйка, тебе телеграмма из Москвы! — громко кричал за оградой почтальон.

Сёстры выбежали к калитке. «Антонина зпт отправляйтесь с Машей в Москву тчк Ей надо садиться за книжки тчк Майя».

Стоял июль месяц. Мне было лет девять.

Мамины носочки

Мама была удивительной хозяйкой и невероятной чистюлей. После командировок, долгих переездов и беспокойных перелетов, едва успев войти в квартиру, она тут же принималась её драить. Мама вылизывала каждый уголок в доме, протирала сухой салфеткой книжки в собранной ею с любовью библиотеке, полировала тряпочкой каждую паркетину. На кухне варился борщ, жарились котлеты, под крышкой настаивался компот из сухофруктов. В духовке подрумянивался пирог с капустой или яблоками.

Стирка, проверка дневника — крик, звонок отцу, глажка. Гладила мама филигранно. Рюшечки, складочки, стрелки, плиссе, гофре. Утюг в маминых руках творил волшебство. А ещё мама обожала штопать. Она штопала всё, даже то, что давно надо было выкинуть. Но нет. Все потёртости тщательно чинились. Видимо, маме это доставляло какое-то удовольствие, успокоение, разрядку. Она брала деревянную ложку, специальные нитки, надевала очки и с видом профессора усаживалась в кресло, предварительно положив перед собой мои шерстяные колготки, Петины носки, стёртые на локотках старые свитера. Даже после того, как отчим стал привозить из Вены элегантные кожаные заплатки на рукава, мама, прежде чем эти заплатки наклеить, аккуратно заштопывала прохудившиеся места.

Но мама никогда не шила и не вязала. У нас в семье рукодельницей считалась Зина, которая умело кроила разнообразных фасонов платья и юбочки, ловко орудовала спицами, изобретая новые рисунки на шапочках и шарфах.

Как-то вернувшись домой, я застала маму с журналом, в котором была напечатана инструкция по вязанию носков.

— Ты что, вязать собралась?

— Да, а что ты так изумилась? Свяжу вам всем носки.

— Мам, да полно у всех носков. Зачем тебе это нужно!

— Ой, Маня, тебе лишь бы ничего не делать. Нужно — не нужно. Мамой связанные носки всегда теплее.

— Ладно. Вяжи, если хочешь.

И мама стала вязать носки. Мотки шерсти катались по полу, а спицам явно было неуютно в её красивых руках. Мама никогда не чертыхалась, но по квартире периодически проносился изящный булгаковский мат. Пару раз я заставляла маму у мусорного ведра. Отцепляя себя от шерсти, она хотела отделаться от вязанья раз и навсегда, но собирала волю в кулак и тащила свое рукоделие обратно к креслу. Уютно устроившись, накрыв ноги пледом, мама в который раз приступала к новому для себя хобби, распуская и собирая непослушные нити. В результате пара носков была связана. Но двое из этого дуэта вовсе не походили друг на друга. И по размеру, и по рисунку, и по высоте они были разные. Мама отпаривала их над кипящим чайником,

растягивала на стеклянной банке, с силой всовывала в них мою ногу. Наконец-то изделие приобрело нужную форму и даже пришлось мне по размеру.

— Маня, а примерь с сапогами. А с коньками. А ещё с лыжными ботинками. Не груби! Тебя же мама просит. Вот ведь как хорошо, ты только полюбуйся! А ты меня ругала. Ножкам тепло? Теперь Петюне надо связать и Зине.

— Мам, не надо никому ничего больше вязать. Совсем без нервов останешься.

— Маш, ну посмотри, какие симпатичные носочки получились. Ты только не забывай их носить. От мамы же теплее.

К счастью, мама больше не вязала. Она по-прежнему чинила одежду, хоть мы в этом совсем не нуждались, до блеска натирала уличную обувь, непревзойденно разглаживала хлопчатобумажные кофточки, а с её умением отутюживать плиссированные юбки вряд ли кто-то смог бы сравниться. Но спицы, крючки и мотки шерсти из дома были выселены навсегда.

Корова времени слизала мои носочки своим беспорядочным и шершавым языком, но память о том, что от «мамы всё теплее», осталась навсегда.

Мама и Ленин

Мама была фантастическим острословом и обладателем особого булгаковского юмора. Саркастичная, с изящно окрашенной исконными русскими словами речью, она всегда была душой компании. Обожала розыгрыши, мгновенно придумывала разные смешные выходки и шутки.

В одном из документальных фильмов о маме актриса Лариса Лужина вспоминала, как мама выпросила в каком-то клубе обшарпанный портрет Ленина и привезла его домой. Я тоже хорошо помню эту историю.

Вы ездили по городам и весям с премьерным показом фильма «Так начиналась легенда». Фильм был о детстве Юрия Гагарина. Лужина играла маму космонавта, а ты его учительницу. Ещё по гастролям с вами ездил мальчик, который играл Гагарина (Олег Орлов). Юного актёра сопровождала его мама, а ты брала с собой меня. Зрители и руководители провинциальных театров принимали вас безумно радушно. Накрывались столы, дарились огромные букеты цветов и ненужные сувениры. Ваши поклонники обнимали и расцеловывали вас, плакали от счастья оказаться так близко к вам, таким известным и любимым. Конечно, вы уставали от общения и рассказов о своей киношной и некиношной жизни. Сколько же было разного рода придумок и фантазий!

Роняя слезу, ты могла поведать незнакомой тётке о том, как тебе изменяет муж. И уже через минуту ты становилась для неё в доску своей.

Она переживала только что придуманную тобой историю, аккуратно зажав в ладони твою руку.

Помню, однажды кто-то из работников кинотеатра спросил:

— Майя Григорьевна, а Лариса Анатольевна Лужина заслуженная или народная артистка?

— Заслуженно народная, — ответила ты. Так вас и представили публике: народная артистка Майя Булгакова и заслуженно народная артистка Лариса Лужина.

Как-то в одном из сельских клубов ты увидела давно забытый, покрывшийся пылью, в разваливающейся на части облезлой раме портрет Ленина. Думаю, что вы всё-таки хорошо выпили на банкете, потому как ты, наклонившись к уху руководительницы театрального кружка этого клуба, грудастой блондинке-хохотушке, шепнула: «Мне очень нужен этот портрет. Не могли бы вы мне его продать?» Женщина потеряла дар речи, но спросить, зачем тебе понадобилось это «произведение искусства», не посмела. Раму на скорую руку сколотили, а вот от упаковки портрета в целлофан ты отказалась. Я не сомневаюсь, что ты оставила бы его в номере гостиницы, но

услужливая принимающая сторона занесла «шедевр» в поезд, попросив проводника проконтролировать его доставку до Москвы.

Утром у вагона тебя встречал Петя, которому проводница с чувством выполненного долга вручила портрет вождя. И он как дурак, с серьезным выражением лица нёс этот портрет вдоль перрона. Отчим всегда умел тебе подыграть. Вы же с Ларисой с высоко поднятыми головами шествовали за ним в образе идейных сторонников ленинизма.

Никому не нужный портрет приехал к нам домой. Дня два стоял в кладовке, и ты вытирала с него пыль. Ты просила меня отнести портрет в школу, но в школе мне сказали, что изображений Ленина в учебном заведении хватает и новых пока не требуется. Однако с портретом надо было что-то решать. Он занимал много места. Как-то ночью вы отнесли его в соседний подъезд и поставили у двери твоей подруги, актрисы Олеси Ивановой. Похоже, она быстро поняла, от кого презент, и утром портрет уже стоял у наших дверей. Потом у тебя возникла идея осчастливить им нашу лифтершу тётю Катю. Та уже согласилась было забрать, но дети тёти Кати как-то сумели её отговорить, убедив, что на стене висят иконы и места для портрета Ленина совсем не осталось. Портрет опять перекочевал в кладовку. Взять и выбросить его на помойку в голову никому не пришло.

Выход отыскался неожиданно. У мамы была приятельница Надя по прозвищу Белка, известная на весь район Аэропорт тем, что у неё в любое время можно было купить водку, шампанское и закуску с мизерной, просто смешной наценкой. Белке важна была не прибыль, а общение. Она и забрала потрёпанный портрет Ленина, сказав, что её муж по прозвищу Гвидон (почему Юру прозвали царским именем, я уже не помню), отнесёт его в красную комнату завода, где он работал токарем.

— Райка, представь Гвидона, с его похмельной красной мордой, — звонила мама подруге. — Как он пытается втиснуться в семь утра в битком набитый автобус с портретом Ленина!..

— Майя, умоляю, перестань! Сейчас умру от смеха!

Коля Данелия, или Почему я не стала великой актрисой

— Дочь, — любила повторять мама, — больше никаких актрис, никаких театральных и киношных вузов, никаких творческих мастерских. Никогда! Поваром, геологом, врачом — пожалуйста. Но только не актрисой!

Мама была житейски необыкновенно мудра. Она понимала, что она счастливый человек, востребованный профессией, но ей были известны и иные — трагические судьбы. Актёрская профессия — это не только талант и адский труд. В первую очередь — это везение. Везение, которое тебе дарит судьба, Господь Бог, сложившиеся обстоятельства...

В восемь-девять лет было совсем не понятно, зачем мне эти ежедневные мантры. Но мама знала, почему она бесконечно их повторяет. «Машка, ты вертлявая, у тебя длинные ноги, худые, правда, ты — с харизмой, но... ты никогда не станешь актрисой. Ты — не трудяга... Ты захотела стать водителем трамвая, стань, дочка! Кем угодно будь, только не актрисой».

Но я росла. Была довольно обаятельна, непосредственна и часто с мамой ходила в ресторан Дома кино. Это была её тактическая ошибка. На следующий день нам непременно звонила ассистентка какого-нибудь режиссера и вкрадчиво произносила:

— Майечка, давайте вашу Машу попробуем на роль девочки Клавы (Иры, Насти). Она так похожа на нашего героя (киношного «папу» то бишь).

— Ну, хорошо, попробуйте, — вежливо отвечала мама.

— Майечка, Машенька очень органична. Мы её утвердили!

Но судьба Машеньки мамой была уже решена.

На три месяца в пионерский или спортивный лагерь. На три!

— Дочь, это же так здорово: председатель совета отряда, новые речовки, песни у костра... А Паша Рябов, он же тоже едет!

— Мам, а как же кино?

— Маня, твоего «папу» не утвердили на роль. А на того актёра, который прошёл пробы, ты совсем не похожа. Да и сценарий, дочка, так себе! Ни к чему тебе с этого начинать, не-за-чем! Ты только не расстраивайся. В следующий раз непременно всё получится.

Я, если честно, никогда и не печалилась.

Может, только раз, когда «не прошла» на роль девочки, которая в десять лет мастерски по горам водила машину, лихо скакала на лошади и за один день перебила всех бандитов. «Казахфильм» снимал.

Не хвастаюсь, но меня утверждали на роли и довольно известные режиссеры, но итог был неизменный: «Машенька заболела» или «отец увез Машу отдыхать».

Пока... Пока в нашей творческой жизни не появился Коля Данелия. Сын Георгия Данелии и Любви Соколовой (тёти Любы), наш сосед.

Поверите, я вряд ли когда встречала более красивого и харизматичного молодого мужчину. Я для него — малышка, девочка-соседка. Он для меня — принц из сказки.

— Майя Григорьевна, у меня защита. Для диплома надо снять фильм-короткометражку. Можно мне Машку на съёмки взять?

Мама в обмороке, но соседу как отказать?

— Коленька, конечно. Но она через две недели в лагерь уезжает.

— Так это не беда. Привезу, отвезу, накормлю. Вы только не волнуйтесь.

Как же тогда запаниковала мама. А вдруг мне понравится сниматься в кино?!

Успокаивала она себя тем, что у Коли чудесным образом изменятся планы и он обо мне забудет.

Но как-то летним утром Коля позвонил нам домой и попросил меня спуститься во двор. Я, конечно, как могла, разделась, но киногруппа (Коля и оператор) забраковала мои наряды:

— Машка, а есть у тебя что-то попроще? Такое, во что все дети одеваются.

Пробы я прошла, но мама, как и обещала, отправила меня в пионерский лагерь.

Однако она недооценила Колю. Он на такси приезжал за мной в лагерь, и мы ехали на съёмочную площадку.

Роль была нехитрой. В белой футболке с дельфинами и синих шортиках с якорями на кармашках я увлеченно играла в мячик на детской площадке. В это время ко мне подходил киношный «папа» и просил прощения за то, что полюбил другую женщину и хочет уйти от «мамы». Я должна была плакать, а он должен был меня жалеть. Справлялась с задачей я так себе: в мячик играть хотелось, а плакать ни в какую. Озвучивать снятый материал совсем не понравилось, что не могло не обрадовать маму: тогда без озвучки стать актрисой было практически невозможно.

После того, как фильм был завершён, Коля сказал маме, что мне причитался гонорар, но мы его прокатили на такси.

К сожалению, никто эту дипломную работу Николая Данелии не видел...

Я помню Дом творчества кинематографистов «Болшево». Я отдыхаю со своей старшей сестрой Зиной. Ночью стук в окно. Под окном стоит Коля с шампанским, смеётся, приветственно машет рукой. К кому он приехал? Они с Зиной пьют шампанское, смеются и курят в форточку. Я уснула. Проснулась, Коли нет. Уехал в Москву.

Когда мы встречались во дворе дома, он целовал мне руку. Я такой нелепый подросток, а он такой статный красавчик... Было забавно. Нет, я никогда не была влюблена в Колю, я им любовалась. Он был необычайно, невероятно, феерически хорош собой. Когда Коля на такси подъезжал к подъезду, посмотреть на него из своих комнатушек выходили наши вахтёрши, а на балконы выплывали народные красавицы советского кино. Казалось, даже голуби вылетали из своих гнёзд, чтобы бросить на него взгляд с высоты птичьего полёта. Сногшибателен!

Коля рано женился. У него родилась дочь. Маргарита Николаевна.

Мы долго не виделись.

Как-то раз мы ужинали с мамой в ресторане Дома кино. Я уже училась в МГУ на юриста, об актёрской карьере было напрочь забыто.

Вдруг к нашему столику подошел, улыбаясь, Коля:

— Майя, я пришел к вам свататься!

Кто-то может представить, что со мной стало в этот момент?

От удивления и смущения я буквально сползла под стол. Моя смелая мама, кажется, сползла под стол вслед за мной. Но она быстро справилась с эмоциями:

— В каком смысле, Коленька?

— Майя, из вашей Марии получится великая актриса. Я это всем докажу. У меня большой проект. Отпустите её ко мне сниматься. Вы увидите, я открою в ней талант, равных которому нет!

— Да-да, — слабо откликнулась мама.

Коля, Коля, как тётя Люба пережила твою смерть?

Как мы все пережили, что ты так рано ушёл. Как не хватает в этом мире таких, как ты.

Я вспомню твои стихи, можно?

Я прекрасно это начал,
Я прекрасно это кончу,
Для друзей себя растрочу,
Для себя себя закончу!

Коля, дорогой, больше никто меня в актрисы не звал. С твоим уходом закончилась и моя актёрская эра.

Как я не стала известной гимнасткой

Родилась я у мамы очень маленькой и слабенькой. Часто болела. Насморк, кашель, больное горло чередовались с ветрянкой или свинкой. Мне было лет пять, когда нас посетила участковый педиатр. Она осмотрела меня и, выйдя с мамой в коридор, спокойно сказала:

— Майечка, держитесь. Машенька нежилец, вряд ли до школы дотянет.

Мама проводила ее. Закрыла за ней дверь. Смахнула накатившую было слезу... а дальше мир услышал такой мат, который не так часто доводилось ему слышать. Доктор, помимо иных эпитетов, была названа б...ю международного масштаба. Обычно мама так называла или роскошных женщин свободно-раскованного поведения, или вот таких дур, как наша эскулап. В последнем случае этот словесный пируэт определял полную ничтожность и недалёкость адресата.

Так мы и жили. Я болела, меня лечили. До школы я всё же дожила, даже сдала вступительный экзамен в одно из самых престижных учебных заведений Москвы, но болеть не переставала.

Как-то раз, когда мне удалось между болезнями добраться до школы, в нашу классную комнату вошли две очень красивые девушки с изящной балетной осанкой: — Девочки, кто хочет пойти в секцию спортивной гимнастики?

Мы с одноклассницами замерли. Никто из нас о спорте и не мечтал. Мне же вполне хватало уроков по фигурному катанию, которые я получала от закадычной подруги Иры Сировской. Я уже умела делать «пистолетик», какой-то элементарный прыжок и «змейку», ощущая себя королевой льда.

Девушки-тренеры, придирчиво оглядев наш класс, попросили подойти к доске нескольких девочек, в том числе и меня.

Тренеры ловко проверили нашу растяжку и гибкость, а затем попросили телефон родителей, чтобы с ними связаться.

После того, как маме позвонили и сказали, что я прошла в гимнастки, в доме появился повод позвать гостей, накрыть стол и выпить за первый мой жизненный успех.

К величайшему маминому сожалению, она должна была отправиться в командировку, и честь отвезти меня на первую тренировку досталась отцу.

К этому времени родители уже вместе не жили, но мама так и не научилась относиться равнодушно к личной жизни папы. Несмотря на счастливое замужество, отношения папы со слабым полом не переставали её интересовать.

Взяв чешки и спортивный купальник, мы с папой отправились на стадион «Юных пионеров», что находился в Боткинском проезде. Тренер, Людмила Михайловна, ловко ухватив меня за талию, водрузила на перекладину:

— Давай подтягивайся, я посмотрю.

Все дальнейшие манипуляции тренера со мной вызвали у папы одновременно страх, недоумение и, наконец, гордость.

После того, как я спокойно подтянулась на брусках больше двадцати раз, тренер, обращаясь к папе, сказала:

— Смотрите, я её только за пяточки поддерживаю, а она, настоящая силачка, вцепилась в жердь и тянется... Смотрите, какая она у вас гибкая. Удивительный ребёнок!.. Она в мостике руки сразу к ножкам подтягивает. Вот это находка.

Папа был, во-первых, поражён тем, что из вечно болеющего, сопливого ребёнка прямо на его глазах я превратилась в будущее советского спорта, а во-вторых, он был очарован красотой и необыкновенным обаянием молодого тренера.

Так в один и тот же миг начались его роман с Людмилой Михайловной и мой путь в большой спорт.

Тест на гимнастку прошла и моя одноклассница Ира Соловова. Жаль, что она очень боялась падать с бревна, и её родители не стали рисковать здоровьем дочери. У нас же гордость отца за чадо росла ежесекундно:

— Вы только посмотрите, — ворковала тренер, — у неё нет чувства страха. И боль спокойно переносит. Падает, видно, что ударилась, но встаёт и пробует дальше. Какая усердная и терпеливая девочка.

Через три тренировки мама поняла всё о внезапно нахлынувшей любви папы к спортивной гимнастике.

— Петя, — обращалась она к отчиму, — ну ты только посмотри, Алёша даже в детской секции умудрился бабу себе найти.

Петя прекрасно знал, что означает этот взгляд маминых колдовских глаз. А именно то, что на тренировки, как бы ему ни хотелось, водить меня он не будет. Только соревнования и только из бинокля.

Тем временем мои успехи росли и множились. Я очень старалась, а главное — совсем перестала болеть. Меня пригласили поехать в спортивный лагерь. Папа раз в неделю меня навещал. То один, то с друзьями. Ему всегда там были рады. Но, если честно, понимая сейчас все нюансы его регулярных визитов, я не могла не замечать его восхищённых глаз, когда его маленькая Машка пробегала быстрее всех пять

километров, купалась в ледяной речке, отжималась и подтягивалась немислимое для него количество раз. Чувствовалось, что он даже как-то по-пацански пасовал передо мной. Пытался повторить мои достижения, когда никто его не видел. Но куда там!

Роман с тренером постепенно сошёл на нет, а меня как способного спортсмена перевели в ЦСКА к замечательной Софье Муратовой. Все тренировки в ЦСКА, соревнования и полученные разряды я вспоминаю как серьёзный спорт, работу, труд.

Папа на тренировки меня уже не сопровождал. Мотивировал тем, что я уже взрослая и могу самостоятельно добираться до стадиона. Мама, когда видела меня раздетой, очень переживала: я с ног до головы была покрыта синяками и ссадинами. Но родители также понимали, что наконец-то закончились мои бесконечные болезни.

Мне повезло, и за пять лет серьёзного спорта у меня не было ни переломов, ни растяжений, никаких серьёзных травм.

В это же время в ЦСКА появилась настоящая звезда — великая Елена Мухина. Весь тренерский состав переключил своё внимание на неё. Она была чудом, а для нас, малышей, она стала настоящим кумиром. Мы во все глаза наблюдали за её тренировками, поражались неистовой силой воли, мастерством и терпением. Она — это настоящий герой спорта.

У неё была тяжелая судьба, трагическая. Лена рано потеряла родителей и жила с бабушкой в панельном доме около Ленинградского рынка. Очень многого добилась к своим шестнадцати годам. Готовясь к Олимпийским играм, она на тренировке получила травму позвоночника. Дальше — инвалидное кресло и смерть в забвении.

Меня же, схватив в охапку, перевели в гимнастику художественную.

После драйва спортивной гимнастики, художественная была мне скучновата.

Но я старалась. Эти булавы, ленты, мячи и очень жёсткий тренер Зотова Людмила Петровна.

Как-то она пригласила меня в тренерскую комнату и сказала слова, которые, несмотря на прошедшие годы, я очень хорошо помню:

— Машка (она всех девочек называла Машка, Ленка, Олька, Ирка), ты никогда не станешь большой спортсменкой. Ты не без способностей, но у тебя нет цели выбиться в люди, сделать себя, соорудить. Тебе всё дали родители. Самые лучшие спортсмены — это детишки из детских домов и бедных семей. (Так, по крайней мере, было в то время.) Они понимают, что это их единственный шанс. Они стараются, им это надо, а тебе нет. Тебе надо думать об институте, преподавателях и учёбе. Вот посмотри, Королёва. У них четверо детей в семье. Мама — проводница поезда. Лене уже четырнадцать, а она ещё писается. Что ей остаётся? Только тренировки, тренировки, тренировки. Учиться она не сможет и не умеет. Так что, пойми, на тебя никакой надежды.

Тем не менее Людмила Петровна уделяла мне достаточно много внимания. Мы с ней ставили произвольные программы, по сто раз отработывали связки и диковинные элементы, бесконечно работали над ошибками. Я справлялась практически со всеми предметами. Я неистово трудилась над растяжкой, которая давалась мне большим трудом. Буквально приходилось спать в шпагате. Я не могла никого подвести — так меня воспитала мама. В пятнадцать лет я стала кандидатом в мастера спорта по художественной гимнастике и начала работать над программой мастера.

Но... но мне уже пятнадцать лет и, по мнению родителей, надо больше думать об учёбе. Факультативы, частные уроки, невероятный объём заданий на дом. Я стала опаздывать и даже пропускать тренировки. Людмила Петровна сильно ругалась, не разговаривала, игнорировала меня.

Я понимала её: она в меня столько сил вложила, я же всё променяла на иное будущее...

— Как ты так можешь, Машка? Послала к черту аккомпаниатора, которая из-за тебя приехала, меня, гимнастику, все эти годы!

Что я могла возразить?

Людмила Петровна взяла скакалку и ударила меня несколько раз.

Больно ударила. Но я не почувствовала боли.

Больше на тренировки я не ходила. Тренер звонила маме, настаивала на моём возвращении. Скорее всего, я не была безнадежна для гимнастики. И это был мой первый выбор. Моя первая драма...

Вот так закончился мой путь в большой спорт. К маминой радости.

Ароматы из детства

Наверное, у каждого в памяти сохранились запахи из детства. Они обязательно с чем-то связаны или о ком-то напоминают. В них таится что-то неуловимое, заветное и очень родное.

Я хорошо помню аромат маминых духов Ma Griffe. Свежий, лёгкий, молодой. Запах маминого гардероба. Когда её долго не было дома, я куталась в её платья. Крепко-крепко прижимала их к себе и не хотела отпускать. Могла уснуть, накрытая её нарядом.

Прекрасно помню вкусный запах только что выглаженного мамой моего пионерского галстука. (Мама использовала душистые пшикалки, чтобы его накрахмалить.)

Помню запах открытых чемоданов, которые вернулись из далёких капиталистических стран. Это был ни на что не похожий, очень изысканный запах. Аромат гостинцев. В него хотелось окунуться и вынырнуть уже наряженной в обновки.

А как забыть запах новых светло-коричневых сапожек из тончайшей кожи, привезенных отчимом из Вены? Мама поставила перед моей кроватью стульчик, накрыла сиденье тканой салфеточкой, а сверху на неё положила подарок:

— Маня, просыпайся. Смотри, что Петя тебе привез.

Я, конечно, всегда ждала собаку, но сапоги на какое-то время могли заменить щенка.

И всё-таки, наверное, главный запах детства — запах воскресного завтрака. Я попробую его описать.

Он как купаж свежесваренного кофе и поджаренных сэндвичей, с нотками сигаретного дыма от Петиного халата, о который ты ласкаешься носом, выражая утреннее приветствие.

Улыбка отчима и его плавные, неторопливые движения.

Запах мамы, крайне редко позволяющей себе нежиться в постели с «Иностранкой» в руках. Ты подползаешь к ней, она гладит тебя по волосам, распутывает их, ещё сонные.

Недолго. Отправляет чистить зубы. Фруктовый запах моей детской зубной пасты с рыжей девочкой на тюбике.

Петя зовёт всех завтракать. Я, как наяву, до сих пор слышу его голос. Ощущаю, как дотрагиваюсь до нашего круглого стола на кухне. Мама, не успев выйти из спальни, уже придумала себе уйму дел. Отчим пытается её унять, убедить хоть раз в жизни отдохнуть, расслабиться. Не мчаться на вокзал, в аэропорт, чтобы погрузить «рабочую» сумку в ожидающий её автомобиль.

— Майя, брось всё. Поедем погуляем.

Но мама уже собрана, беспокойна, хотя пока ещё домашняя.

И вот ритуал воскресного завтрака начинается.

Петюня выкладывает из ростера зажаренные сэндвичи. Мои любимые. С сыром и докторской колбасой. Заворачивает краешек бутерброда в салфетку, чтобы

не обожгло пальцы. Предупреждает, что горячие. Сыр ещё не успел застыть и медленно стекает на тарелку. Ты подбираешь его вилкой и укладываешь сверху тоста. Хлебушек хрустит. Наслаждение. На плите бурлит и выплескивается из итальянской гейзерной кофеварки кофе. Петя делает огонь потише. Ставит ковшик, подогреть молоко.

Отчим был большим мастером по приготовлению яиц. Сначала он ими жонглировал. Мама с ужасом, а я с восторгом смотрели на это представление. Потом специальной штучкой с иголочкой, привезенной из Вены, он делал в яйце малюсенькую дырочку, чтобы оно не трескалось при варке. И дальше, на наш вкус: яйцо вкрутую, всмятку, в мешочек. Какое пожелаете, может быть, пашот? Дополняли штучку с иголочкой песочные часы, отмеряющие время варки яиц. По ним Петя определял, какое яйцо надо вынуть пораньше, а какое оставить в кипящей воде. Затем Петя аккуратно вставлял яйцо в специальную подставочку и острым ножом ловко срезал у него кончик. И наконец серебряной чайной ложечкой доставал белок из образовавшейся крошечной «чашечки», присаливал его и с аппетитом съедал. Петя любил рассказывать историю о вечном споре немцев и австрийцев о том, с какого конца следует всё же начинать есть яйцо: с острого или тупого. Я не знаю, существовал ли такой спор на самом деле, или ему это навевали «Путешествия Гулливера», и я не помню, с какой стороны начинал есть яйцо австриец Петер. Но кажется, что с острой.

Завтрак подходил к концу.

Петя доставал из халата синюю пачку сигарет фирмы Astor, оглядывался по сторонам в поисках зажигалки. Не находил. Брал спички, закуривал. Мама же, непоседа, вскакивала мыть посуду, драить плиту и прибирать со стола.

Завтрак завершился. И я помню запах окончившегося блаженства, неги, беззаботности. Запах детства.

Второго июля 1994 года ушел наш любимый Петечка. Никогда не привыкну к слову «отчим».

...Вдруг захотелось, совершенно внезапно, вдохнуть тот запах, почувствовать вкус из детства. Купила белый хлеб и колбасу. Достала ростер, Петину кофеварку, штучку с иголочкой, положила на стол айфон с секундомером. Песочные часы смыло временем. Подбрасывать яйца вверх не стала. Решила на этот раз обойтись без долгой процедуры оттирания липкого белка от стен, мебели и пола после неудачной попытки, подражая Пете, пожонглировать сырыми яйцами.

Колготки

— Маняша, доченька, просыпайся! В садик пора. Детки тебя уже ждут. Елена Борисовна звонила, спрашивала, когда ты придёшь, на заболела ли. Маняша, а что ты плачешь? Что такое, с утра не в настроении? Какая война, доча? Ну кто тебе рассказал такую глупость?

— Мама, если война начнётся, папа пойдёт воевать?

— Конечно, пойдёт. Какая же война без твоего папы.

— А у него пистолет есть?

— Есть.

— А каска?

— Вместо каски он наденет твой горшок.

Я недоверчиво посмотрела на свой горшок. Жёлтый, с красными цветочками на белой крышке.

— Мама, а мы останемся живы после войны?

— Конечно, Маняша. Вставай, доченька. Вот, надень колготки тёпленькие, только сняла с батареи.

Зазвонил телефон.

— Алло! Рай, Машку бужу. Как тяжело просыпается. В садике нормально встаёт, а дома ни в какую. Анюта твоя как, легко поднимается? Повезло тебе. С Машкой целая мука. Вся в отца. Он тоже еле раскачивается с утра. Сейчас её отведу в садик и тебе наберу. Нет, не на всю неделю. В среду Антонина её заберёт домой, а в четверг обратно в сад, до пятницы. Я сегодня в ночь улетаю. Ой, как скучать по ней буду. Каждый вечер, Рай, плачу, что без меня растёт. И вот этот габриловичский характер! Даже на горшке сидит как барыня. Ой, ладно, сейчас заведу. Маняша, собирайся, пойдём скорее в садик...

— Доча, в школу пора! Маня, вставай! Будильник давно прозвенел. Ты же хотела стать водителем трамвая, так они в пять утра уже на работе, а ты в семь встаешь с трудом! Всё, копец карьере вагоновожатой.

Зазвонил телефон.

— Привет! Рай, сил никаких не хватает! По часу её каждое утро бужу. Вся в отца. Я ей тёпленькие колготы подаю, а она их наденет и опять спать ложится. А я ей подарок вчера сделала. Духи французские. Кто? Маша оценила? Когда Габриловичи что оценить могли! Вечером в Ленинград уезжаю, сумку дорожную уже собрала, всё ей перегладила, а она себе спит. До полуночи со своей Сировской по телефону разговаривала, теперь её не поднять. Рай, всё понимаю, что надо рядом с ней быть! А работать кто будет?! Ой, Рая, Рая. Сейчас на рынок побегу, борща им наварю, рататуй сделаю, компот с утра уже приготовила. Так она же ничего не жрёт! Колбасу и хлеб. Кому я всё это делаю?! Ещё квартиру убрать, постирушка, прачечная. Ой, Рая, не заводи меня с утра!

— Маша, просыпайся. Сколько раз можно повторять! Тебе же на занятия пора. Маша, вставай!

Зазвонил телефон.

— Ох, Рая, никак поднять её не могу. Сил моих больше нет. В институт опаздывает. Пришла в два часа ночи. С Юрой своим где-то гуляла. Вся одежда прокуренная. Нет, не таится, сказала, что курит. Вся в Алёшу. Я же никогда на курила. Рая, я всё понимаю, она уже взрослая. Но пока домой не придёт, я не сплю. Нет, не звонит, не предупреждает, сколько её ни прошу. О чем ты? Габриловичская порода, издевательская. Вылитый отец! Во всем. Хоть бы капля от меня! Я ей, здоровой лошади, колготки на батарее грею и тёплыми подаю, а от неё спасибо не услышишь. Ему тоже носочки гладила, трусики, и такое же безразличие, всё как должное. Ой, Рая, хватит. Сейчас заведу. Завтра в семь утра самолёт. Сейчас квартиру надраю, котлет нажарю и побегу в парикмахерскую себя в порядок приводить. На неделю же уезжаю. Кто Машку будить станет, не знаю. Да ей твои звонки, даже не услышит. Вроде встала.

— Маша, колготки на батарее. Тёпленькие.

Мама! Двадцать шесть лет без тебя. Ты только не волнуйся. Просыпаюсь за пять минут до будильника, колготки на батарее, котлеты в холодильнике, и мужские носки я тоже глажу. И я очень даже Булгакова... пока во мне спит Габрилович.

Мама-мама...

Классический сюжет

*Школьная программа: книга на всю жизнь —
и так и не прочитанная. Почему (тогда, потом и сейчас)?*

*В обсуждении участвуют: Вера Богданова, Валерий Былинский,
Алексей Варламов, Александр Григоренко, Максим Гуреев,
Андрей Дмитриев, Елена Долгопят, Денис Драгунский, Анна Козлова,
Илья Кочергин, Александр Мещеряков, Кирилл Рябов,
Алексей Сальников, Антон Секисов, Роман Сенчин*

Вера Богданова, прозаик (г. Москва)

«Павел Чжан — абсолютный Раскольников»

Книги из школьного списка по литературе всегда были для меня тягостным чтением. При одном взгляде на стопку книг, заданных на лето, мне становилось дико скучно. Я любила жанровую прозу: зачитывалась Дюма, после Кингом и Брэбери, Сапковским и Буджолд. Ну и вообще, одно дело, когда ты сам выбираешь, что тебе читать, и другое — когда выбирают за тебя, не считаясь со скоростью твоего развития и предпочтениями. Самыми невыносимыми в программе казались былины и древнерусская литература в целом. Я понимала, что они важны для исследователей разного толка, что это памятники культуры и о них действительно нужно иметь представление для расширения кругозора. Но дочитать, например, «Поучение Владимира Мономаха» не смогла: 1) даже я, которая читала с трёх лет всё, что содержало буквы; 2) даже отрывок, приведенный в учебнике; 3) даже в средней школе, не говоря уже о младшей.

В школу я ходила в период с 1992 по 2003 год, и за это время программа успела измениться. В списке литературы больше нет «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского, а это была одна из лучших книг: забавные истории о жизни обычного школьника, которые учили сопереживать и мечтать. Возможно, сейчас кому-то они покажутся наивными, но даже мой сын читал их с большим удовольствием — а он упал от моей яблони максимально далеко, в соседний математический огород: любит компьютеры и читает только под угрозой того, что у него заберут мобильный телефон. Для него это был взгляд в другое детство — без ноутбуков и смартфонов, без иной, виртуальной, реальности, в которую ты в любой момент можешь провалиться. Реальность того времени была плотнее и *реальнее*. Она была одна, в конце концов.

Я очень любила «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мёртвые души» и «Нос» Гоголя: переплетение фольклора, сатиры и горькой реальности, высокого стиля и разговорной речи. Гоголь — величайший стилист, тонко подмечающий язвы общества и высмеивающий пошлость и лицемерие. И все это до сих пор остается актуальным. Важным для меня стало «Преступление и наказание» Достоевского: злой промозглый роман о сумраке в умах и душах человеческих. Достоевский создавал мастерски точные психологические портреты с помощью незаметных на первый взгляд деталей, особенностей внешнего вида, диалогов и монологов. Борьба добра и зла внутри человека, неоднозначность любой личности близка мне не только как читателю, но и писателю тоже. Нет чёрного и белого, нет идеальных людей. Мне интересно рассматривать причины тех или иных поступков, обстоятельства, которые могут по-разному направить нас и изменить всю последующую жизнь. Например, Павел Чжан из моего романа «Павел Чжан и прочие речные твари» — абсолютный Раскольников, перед которым стоит выбор без выбора: жить свою жизнь дальше или же остановить преступника, совершив преступление самому. Были ли у него варианты? С одной стороны, да, он мог не убивать, найти иной способ для достижения цели. Но, с другой стороны, исходя из его внутренней логики, выбора не было — Чжану *хотелось* совершить преступление. Хотелось отомстить и сделать это своими руками.

Но если бы нужно было выделить из всех книг в школьной программе одну, самую значимую для меня, я бы назвала сборник «Мещерская сторона» Паустовского. Больше ни у кого я не встречала настолько щемяще настоящего и не избитого до пошлости описания природы средней полосы России, а именно Рязанской области. В детстве я каждое лето проводила в тех краях. Глухие сосновые леса и болота, озёра с черной тихой водой в чаще, поля с высокими травами, по осени пустые и пожелтевшие. Прозрачные зимние ночи, время в которых будто замерзло, но есть островок тепла — дом, где тебя всегда ждут и куда приходят гости. Всё это очень знакомо, всё это — неотъемлемая часть меня, запечатленная Паустовским. И «Мещерская сторона» — это та книга, которую я буду перечитывать снова и снова.

Александр Бушковский, прозаик (г.Петрозаводск)

«Такие герои в земле лежат,
а мы вот на диванах...»

В школе я учился не очень, но книжки читать любил. У меня была лучшая учительница литературы на свете. Никто не вёл урок интереснее и строже, чем она, и никого (из учительниц) не было красивее. Мне очень хотелось удивить ее каким-нибудь своим сочинением, но это долго не получалось. Потому что сочинения мы писали по произведениям, которые изучали в рамках школьной программы, а они, как бы интересно ни рассказывала о Чехове или Шолохове Лариса Ивановна, почему-то меня не цепляли.

Например, в «Капитанской дочке» меня интересовала только история любви Петруши Гринёва и Маши Мироновой. Ещё бы, тут столько волнующего! И глаза, и смущённый румянец, и коса до пояса. Дуэль, рана и разлука. Героическое спасение и верность до гроба. Какой уж тут тулупчик заячий и при чем здесь причитания Савельича?

Понять же и осознать, какую нужно иметь стальную волю, честь офицера и верность присяге, чтобы ответить маньяку-кровопийце вслед за своим казненным только что командиром: «Ты нам не государь, ты, дядюшка, вор и самозванец», —

и тут же быть повешенным, я до сих пор не могу. Да и никто не может. Такие герои в земле лежат, а мы вот на диванах.

Однако я отвлекся. Сочинения по «Поднятой целине» мне не давались, и учительница сказала: «Ну что ты мучаешься? Напиши о том, что тебе нравится». Хотя я и не читал еще, но мне ужасно нравились названия: «Прощай, оружие!» и «Осквернитель праха». «Рановато пока», — сомневалась она. Я захотел было по рассказам О.Генри, в крайнем случае по «Приключениям Тома Сойера», как вдруг она подняла указательный палец и воскликнула: «Точно! Марк Твен! Только не Том Сойер, а Гекльберри Финн! Потому что именно из него вышли все эти хемингуэи и фолкнеры, да и вообще вся современная американская литература». Возможно, это произнёс до неё кто-то из великих, но лично я услышал от моей учительницы литературы.

Поначалу, видимо, после Тома, героя романтического, удачливого в приключениях, любви и обретении богатства, простоватый, практичный и осторожный Гек мне не заходил. Ну что это за сравнение: «вспотел, как индеец»? Как он может так презрительно отзываться об отважных чингачуках и оцеолах, коренных жителях Америки? (Один мальчик у нас говорил: «Овцеола, вождь семиногов».) Или описание Геком своей трапезы: «То ли дело куча всяких огрызков и объедков! Бывало, перемешаешь их хорошенько, они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче».

Но постепенно всё стало на места. И выяснилось, что в книге есть всё что хочешь. Даже спустя почти сорок лет после первого прочтения ничего не пропало. Только прибавилось. Есть лихой сюжет с приключениями, погоня и триллер. Травелог — путешествие по огромной реке, как по жизни. Есть настоящая дружба и борьба за права негров. Есть боевик с вендеттой, ужас, смерть и печаль. Есть юмор с иронией и философией — Герцог и Король. (Понятно, что вдохновило Ильфа и Петрова на некоторые перипетии Остапа и Кисы.) Есть хеппи-энд, в конце концов, и это важно!

И главное — есть язык. Сэм Клеменс, конечно, молодец. Но низкий поклон Нине Дарузес. Любой уважающий себя читатель знает это имя. Боюсь, если б не она, мы думали бы, что Маугли — это молодая лягушка, а Белый Клык — собачий зуб. Мы меньше любили бы Вождя Краснокожих и презирали шакала Табаки. Друзья, читайте английскую и американскую литературу в переводе Нины Леонидовны! Не пожалеете.

Теперь о грустном. Мне не везёт с Достоевским. Точнее, с одним из его главных романов. «Бесов» я прочёл не отрываясь. «Идиот» сперва меня захватил, а потом я отлистывал по несколько страниц и ждал, искал глазами, ну когда же он её зарежет. Рогожин Настасью Филипповну. А «Преступление и наказание» так оказалось тяжело, что я до сих пор боюсь за него схватиться. Но, слава Богу, у Него обителей много, и даже, возможно, найдутся для тех, кто пока «Преступления» не осилил.

Валерий Былинский, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Возвращение в океан

Сколько себя помню, в детстве я все время читал. На двор из нашей девятиэтажки меня было не выгнать, книги всегда были интересней какой-то там банальной жизни за окном. Хотя, конечно, иногда предки меня все-таки погулять во двор выгоняли, ведь в те идеалистические советские времена можно было сбежать из дома на несколько часов, и никто о тебе не беспокоился — родители знали, что ничего с их чадом не случится. Например, на Кубе, где я жил с отцом и матерью два года — с восьмого по девятый класс — мы с друзьями сразу после школы хватали пики, ласты, маски, трубки, подводные ружья и уходили на несколько часов охотиться в океан. На рифах

мы ловили рыб, лангустов, кальмаров и возвращались домой затемно. Никто нас не ругал, и кстати, я совершенно не помню: когда же мы учили уроки?

Сегодня я всерьёз полагаю, что те мои плавания в Мексиканском заливе тоже были чтением книг. Потому как — ну что такое книжки в моем детстве и подростковом возрасте во времена СССР? Романтика и приключения, и ничего более. Толстого и Достоевского я в школе ненавидел, Пушкина читать заставляла бабушка, Чехова вообще не помню, хотя его рассказы мы вроде проходили... Я предпочитал Уэллса, Фенимора Купера, Александра Беляева, Жюль Верна, Джека Лондона. Да, позже русскую классику я таки прочитал, и еще как, запоем, — но это когда мне уже было за двадцать. А вот самой первой, жутко интересной книгой в первом классе для меня стала повесть «Капитан Сорви-голова». Потом сразу — «Всадник без головы», тут же — «Приключения Робинзона Крузо»... Класе в третьем я был сражён наповал «Островом сокровищ» Стивенсона. И пошло-поехало: никаких унылых советских будней, только приключения на затерянных островах, индейцы, сокровища, пираты.

Еще, помню, произвёл впечатление Носов с его «Незнайкой на Луне». Потому, наверное, что это было путешествие в загадочный и опасный капиталистический мир...

Какие я книги пропустил... Да никаких! Потому что уверен: то, что тебе по-настоящему в определённом возрасте необходимо — ты обязательно получишь. Вот не читал я, к примеру, «Мушкетёров» Дюма или Стругацких — и не жалею. Полистал как-то уже лет в тридцать — не мое. Никаких там «Денискиных рассказов» в глубоком детстве я тоже не помню. То, что происходит в советском быту с такими же мальчишками, как я, — что может быть скучнее!

Что там еще... Какая книга из детства осталась со мной на всю жизнь? Сейчас подумаю. Может, «Остров сокровищ»? Нет, этот гениальный роман я снова никогда не открою. То, что вызывало восторг в десятилетнем возрасте, преступно опошлять перечитыванием в пятьдесят с лишним. Да ни за что! Пусть остается в памяти сердца.

Что еще... А-а-а! Вспомнил! Те книги, что я жадно читал, ныряя в океане близ Гаваны в восьмом классе, — вот они, пожалуй, остались со мной навсегда. И сейчас я нередко перечитываю тот свой морской, родом из детства, вечный роман. Он у меня всегда под рукой — несмотря на то, что за питерским окном сейчас дождь и слякоть, а вместо прозрачного океана на горизонте мелкий и мутный финский залив. Прививка свободой — это, знаете ли, навсегда.

Алексей Варламов, прозаик (г. Москва)

Прививки от взрослых болезней

Если честно, в такой формулировке мне трудно дать конкретный ответ. Нет ни книги на всю жизнь, ни книги, так и не прочитанной, по крайней мере, из школьной программы. В ту пору, когда я учился в школе, литература как предмет меня не слишком занимала — в отличие от географии, истории, языков. И к текстам в школьной программе отношение было довольно ровное. В сущности, и «Капитанская дочка», и «Мёртвые души», и «Война и мир» оставили меня тогда равнодушным. Ну да, читал, проходил, отвечал на вопросы, писал со скукой правильные сочинения, но не более того. Единственное исключение — «Преступление и наказание», да и то, потому что в этом романе угадывалось нечто «оппозиционное». Все-таки по отношению к советской идеологии в целом русская классика была безразлична и на мой тогдашний взгляд не вступала с ней в противоречие. Она ее как бы не замечала, не знала о ней или знала, что рано или поздно советское пройдет, а Пушкин и Толстой останутся.

Иное дело — Достоевский. В нем был виден «антисоветчик». Он отрицал то, чему нас учили на уроках обществоведения, и это было интересно, потому что было другим, непохожим.

Я оценил книги из школьной программы позднее, но все же полагаю, что первое поверхностное знакомство с ними не было ни лишним, ни бессмысленным. Всё равно что-то в человеческую душу западает. Возможно тогда мы этого не осознаем, но потом оно дает о себе знать. Чувство стиля, языка, какие-то детали, сравнения, эпизоды. Мне, скажем, в целом был непонятен «Онегин», но начало восьмой главы — «В те дни, когда в садах лица...» — завораживало. Я не понимал ни «Тамань», ни «Бэлу», но что-то меня тревожило, когда я их читал. Нравился Андрей Болконский и не нравился Пьер. Казался ужасно скучным Чехов, но нравился его язык. И потом, когда я перечитывал эти романы, повести, рассказы в университете и после, я поражался, как они бездонны, изменчивы, обманчивы, сколько смыслов и ходов в них запрятаны, как меняется мое к ним отношение.

В этом, правда, есть какая-то загадка. Как написать так, чтобы оно было живо и много лет спустя? Какие секреты они знали? Почему одни книги остаются в своем времени, сгорают, падают, а другие вращаются вокруг нас? Или мы вокруг них. В чем тут дело? В языке? В стиле? В приемах? В судьбе? У меня нет ответа, но почему-то кажется, что не прочитай я их тогда, этого чувства удивления не было бы. Прививки от взрослых болезней надо делать в детстве.

Александр Григоренко, прозаик (г. Дивногорск)

«Так русский человек служит, любит, умирает, бунтует»

На всю жизнь остались «Преступление и наказание» и «Капитанская дочка» — последнее даже больше... Главные персонажи — за исключением, разумеется, Швабрина — для меня идеальный образ русского человека ныне и присно и во веки веков. Так русский человек служит, любит, умирает, бунтует. Класе в седьмом задали нам сочинение о любимом герое повести, и я уже собрался было писать про капитана Миронова и его жену: меня зачаровывала их простота и верность (которую я тогда вряд ли смог бы описать), и от слов «свет ты мой, Иван Кузьмич, удалая солдатская головушка, не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие... Унять старую ведьму...» — горло перехватывало, и сейчас перехватывает... Но нас заранее предупредили, что любимым героем должен быть Пугачёв, иначе выше тройки не ждите, а за тройку могут на хоккей не пустить, поэтому я и пошел путем конформизма, недостойным литератора. Однако, несмотря на эту измену, все упомянутое выше — осталось и стало даже не убеждением, а некой частью кровеносной системы.

Пугачёв, кстати, мне тоже нравился, только я тогда не понимал четко — чем именно. То, что он «за народ», конечно, замечательно, я ведь тоже за народ, я, наконец, и сам — народ. Но картину портила его глупая жестокость. Зачем он вешал хороших людей? Вешал бы плохих... Много лет спустя, открылся секрет этой привлекательности в эссе Марины Цветаевой «Пушкин и Пугачёв» — два антагониста, соперничающие в благородстве, очаровывают всех и всегда.

Что касается «Преступления и наказания», то роман остался во мне как загадка, разгадывать которую интересно, страшно и невероятно важно, ибо она касается самой сути человека, и потому не жалко потратить на нее жизнь. Вот понемногу и трачу. На мой взгляд, великая литература отличается от обычной, в том числе вполне

качественной, прежде всего своей многомерностью, ее можно исследовать как собственно природу, в то время как обычная являет собой прекрасное лесное озеро глубиной два сантиметра.

Не остался во мне, как ни странно, всё тот же Пушкин, а именно «Евгений Онегин». Полностью, по-честному я прочитал его совсем недавно, в 55 лет, на нижней полке плацкартного вагона. Причина такого опоздания в том, что мне изначально не интересна жизнь декоративных собачек. Аристократ, который не воюет, не философствует, не правит, или хотя бы не зверствует над простолюдинами, а всего лишь живет в свое удовольствие за счет труда других, — для меня именно такая собачка. И потому я не мог — да и теперь не могу — убедить себя, что у него возможны какие-то трагедии. У собачек трагедий нет, есть блажь, удовлетворенная или не, и потому мой организм не принимает не только героев стихотворного романа, но и Анну Каренину, оперетты Кальмана, кинематограф Висконти — не принимает при полном рассудочном знании, что это изделия великих мастеров.

Одно время я всего этого стеснялся, полагая, что булькает во мне затаенное классовое сознание. Но сам по себе «Евгений Онегин» — сильнейшее предостережение об исторической нежизнеспособности класса, который не только паразитирует, но находится в культурном и, наконец, языковом антагонизме с народом. Пушкин, обрамляя предисловием переводчика послание Тани, не умевшей по-русски написать «я твоя», видимо, догадывался о такой грустной перспективе. К которой затем подтягивали нашу революцию, но ведь так бывало и раньше, и не у нас. В Японии сороковых годов XIII века аристократов свергли самураи, в то время — слуги, мужичье с оружием. Языком аристократии был китайский, книги, мода — всё оттуда. Вряд ли Пушкин об этом знал, но что-то такое чувствовал...

Максим Гуреев, прозаик (г. Москва)

В поисках загадки, или Опыт ожидания

Правильно, оказавшись на рейсе Москва — Махачкала, или Москва — Владикавказ, взять с собой в дорогу томик Михаила Юрьевича. В том смысле, что это как бы само собой напрашивается. Кому-то, впрочем, сие может показаться трюизмом, мол, кого как не командира отряда пластунов (спецназовцев по-нынешнему) М.Ю.Лермонтова читать по пути на Кавказ. Его и читать, но вовсе не потому, что там воевал героически, а потому, что как никто другой из русских писателей (по моему мнению) постиг он эту землю, ведь лежал на ней, таился в ней, подолгу смотрел в небо, ведь оно тут совсем близко.

Сначала перечитывал «Героя нашего времени» автоматически, просто привык наблюдать знакомые картины, переживать выверенные до мелочей эпизоды, вслушиваться в монологи и диалоги, где каждое слово уже давно было больше, чем слово, но фрагмент, житие, иероглиф.

А вот когда в начале 2000-х впервые поехал на Кавказ, то сразу и понял причину этого подсознательного влечения к тексту Михаила Юрьевича — он зазвучал и ритмически оформился так, как тут (в горах) все звучит на протяжении многих веков, как все ритмизовано тут и веками, из рода в род, из поколения в поколение установлено.

В Москве этого было не понять, не усвоить...

То есть получается, что роман (или повесть) перемещается не только во времени, для классического текста это нормально, но и таинственным образом

в пространстве. Особенно в станице Тамань это становится очевидно, когда теплой сентябрьской ночью выходишь на берег залива, оглядываешься по сторонам и видишь слепого, сидящего у воды. Далее по тексту: «...Я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочесть на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел на него с небольшим сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его, и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление».

Что же касается до книг, которые так и не осилил, то тут почему-то сразу на память приходят «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». И вовсе не потому не дочитал, что роман не нравился, скорее, напротив, нравился, выглядел легко, даже лихо написанным, а потому отложил книгу, что сразу про нее все понял. Поиск загадки, тайны не увенчался тут успехом, что вызвало досаду в первую очередь от того, что не хотелось думать о себе лучше, чем об авторе, а приходилось. Совершенно неожиданно сработала известная русская интенция «а я могу, и не хуже». Дерзко, но для того, кто уже замыслил взять в руки перо, — закономерно.

Умение найти загадку (не загадывать ее) и понять, что разгадать ее невозможно, — дорого стоит, это тоже своего рода амбиция. Например, амбиция пластуна М.Ю.Лермонтова, который лежит на каменистом откосе Аргунского ущелья и пристально всматривается в таинственные мерцающие сумерки. Он не знает, что его ждет, но он уверен, что именно это ожидание, зафиксированное на листе бумаги, и есть текст, который закончится, неведомо когда и где.

Если закончится, конечно...

Андрей Дмитриев, прозаик (г. Москва)

«Что я навсегда пропустил в 5-м классе...»

Вопрос озадачил. Прежде чем ответить на него, мне пришлось вспомнить, что собой представляла программа по литературе, принятая в 1960 году, по которой училось мое поколение школьников. После школы я учился на филфаке, окончил ВГИК, и неудивительно, что одна школьная и две вузовские программы как-то склеились в моей памяти.

Попросил у интернета эту память освежить.

Говоря о школьной программе, мы имеем в виду уроки по литературе в 8—10-х классах, когда литература преподавалась в своей исторической последовательности. В перечне произведений, упомянутых, к примеру, «Арзамасом», я не нашел ни одного, которое не было бы мною прочитано хотя бы один раз. За исключением разве что «Коняги» Салтыкова-Щедрина. Ума не приложу, как так вышло, и чем «Коняга» провинилась предо мной.

Я решил заглянуть в хрестоматии для разных классов школы. Увы, пока не нашел ни одной для 8—10-х классов, но был потрясен тем, как формировалось представление о литературе у школьников 5—7-х классов. Историческая последовательность в этих хрестоматиях, понятно, полностью проигнорирована, вместо нее — хаотичный произвол составителей, но зато этим составителям удалось меня пристыдить: из предложенного ими я много чего не читал и вряд ли когда-нибудь прочту.

Вот, к примеру, что я навсегда пропустил в 5-м классе (привожу в предложенной составителями последовательности):

Пришвин — «Перелёт»; Шолохов — «В лесу осенью»; Пришвин — «Зазимок»; Бонч-Бруевич — «Наш Ильич»; С.Михалков — «В музее Ленина»; Ю.Герман —

«Восстание в тюрьме» (из рассказов о Ф.Дзержинском); И.З.Суриков — «Весна»; Лебедев-Кумач — «Мы Родину славим трудом».

А вот это прошло мимо меня в никуда уже в 6-м:

Демьян Бедный — «Кларнет и рожок»; С.Михалков — «Слон-живописец»; И.З.Суриков — «Доля бедняка»; А.И. Пантелеев — «На ялике»; А.И. Куприн — «Тапёр»; М.Горький — «Симплонский туннель»; С.Т.Аксаков — «Лебедь»; Н.С.Тихонов — «Сами»; М.Исаковский — «Дума о Ленине»...

Оговорюсь, что Пантелеева, Куприна, Аксакова, Горького, даже Исаковского я в целом высоко ценю, но составителям этой хрестоматии, а значит, и их выбору я в целом не доверяю. Остается лишь гадать, насколько были готовы тогдашние пяти-семиклассники к восприятию литературы хотя бы на уровне дальнейшей школьной программы, если предположить, что иного доступа к литературе, кроме как в подобных хрестоматиях, они не имели...

Елена Долгопят, прозаик (посёлок Лесной, Московская область)

«Мог стать героем на войне, но был ли он хорошим человеком?»

Я читала всё: и «Молодую гвардию», и «Что делать?», и «Героя нашего времени», — такой я была всеядный читатель, меня только передовицы в тогдашних газетах могли уморить. А книги школьной программы увлекали. Хотя и в разной степени. Особенно я полюбила «Героя нашего времени». В «Молодой гвардии», к примеру, было совершенно ясно, кто герой (и значит — хороший человек), а кто предатель (и значит — плохой человек). Печорин вполне мог стать героем на войне, но был ли он хорошим человеком? Нельзя сказать однозначно.

Печорин был странный. Сложный. Он занимал мои мысли. Я думала о нем как о действительно живом человеке. Он как будто выступал из книги и смотрел на тебя. Прочие герои меня не видели, их мир был замкнут.

Но самое сильное впечатление произвела другая книга.

Со школьных времен сохранилась тетрадка (была толстая, стала тонкая, много листов утратила) в серой, клеенчатой обложке. В этой тетрадке полно отрывков из «Войны и мира». И про княжну Марью, и про князя Андрея, и про Наташу, и даже про Наполеона. Про самоуверенность немцев, французов, англичан, итальянцев и русских (русский ничего не знает и знать не хочет). Про Николая (можно убить и быть счастливым). В отошавшей этой тетрадке немало математических формул (загадочных для меня сегодняшней). Есть какие-то мои умствования. Есть отрывки из других книг. Но «Война и мир» — на первом месте.

Я читала ее летом, на каникулах, в Муроме; страшно рыдала, когда убили Петю.

Все герои были живыми, я не могла их иначе воспринимать (как вымысел). Они и сейчас живые для меня. Потому что жили полной жизнью. И в моем воображении тоже. Толстой вдохнул в них душу.

Я несколько раз перечитывала «Войну и мир». В больнице, например, в городе Пушкино. Морозище, сосны за окнами, в окнах щели; мы заталкивали газеты, чтобы не дуло. И вот я читала, забывала о себе, мир оказывался велик, и все в этом мире бессмертны, даже погибшие, не дожившие до финала, до последней точки в последнем предложении.

В прошлом году я сделала операцию на глаза. Читать нельзя, и я слушала «Войну и мир» в исполнении Александра Клюквина. Это было забавно, потому что

до этого я слушала в его исполнении «Гарри Поттера». Так что они все говорили его голосом (точнее, голосами; Клюквин умеет и любит менять голос, интонацию). И поначалу мне казалось, что я слушаю какое-то странное продолжение «Гарри Поттера», но это длилось недолго.

Дело не в этом. Слушая Клюквина, я уже не пропустила в этом мире войны.

Нет, я и в школе читала про небо Аустерлица (и про гибель Пети, если вы не забыли). Но я не читала про все эти перемещения войск. Или читала невнимательно (быстрее, быстрее, к Наташе, как она там). Но Клюквина я слушала внимательно. Закрывала глаза и слушала. И, как ни странно, мне было не скучно.

То ли поумнела, то ли постарела.

P.S.

Сегодня утром мы с мамой сидели на кухне. Октябрь, ветер, дождь, бог знает что творится в мире. Мама принесла потрепанного «Евгения Онегина» и прочитала мне: *театр уж полон, ложи блещут...*

Чудо. Магия. А волшебная палочка — гусиное перо.

Денис Драгунский, прозаик (г. Москва)

Александр Сергеевич и Николай Гаврилович

Школьная классика, которая со мной на всю жизнь, — это «Евгений Онегин». Почему, за что я так полюбил этот роман в стихах? За изящество. Онегинская строфа (я даже об этом писал сочинение) — капсула жизни, одновременно лирика, драма и басня — две финальные строки завершают подробное, но ясное высказывание. Онегин — это водопад толкований и комментариев. Не только брежет и боливар, но и: почему у Ленского отдельная могила? «У ручья в тени густой», а не на кладбище, как положено? Потому что дуэли запрещены, и его смерть оформили как самоубийство, а самоубийц на кладбище не хоронят, — так сказала одна умная девочка. Но вообще — говорили мы все — смерть Ленского была запрограммирована. Они с Онегиным давно поссорились. Он на Онегина злился из-за Ольки. Онегин сказал, что Олька толстая, красноречивая и глупая. А Ленский обиделся и стал ругаться. Как там у Пушкина:

Владимир «Сука!» отвечал
И всю дорогу взад молчал.

Вот он ему и припомнил. Онегина не ссучишь!

А у меня — личная благодарность Онегину. Я был в восьмом классе. Папа мне вслух читал роман Пушкина, объяснял непонятные слова и вдруг спросил: «Как ты думаешь, сам Евгений Онегин был образованным человеком?» Я, надменный советский школьник, ответил: «Ну что ты! Какое там! Молоденький поверхностно начитанный светский франт!» Но папа сказал: «Бог с ним, с Адамом Смитом, а также с Гомером и Феокритом. А знаешь ли ты *довольно по латыни, чтоб эпиграфы разбирать?* Помнишь ли ты, *хоть не без греха, из Энеиды два стиха?*» Я страшно разозлился и прямо назавтра купил учебник латыни, но скоро понял, что в одиночку не справлюсь. Тогда мне нашли учительницу латинского языка. Дело кончилось филфаком МГУ, отделением классической филологии.

А Чернышевский пролетел.

«Что делать?» — наверное, единственная книга из программы, которую я не осилил. Не мог. Открою, две страницы почитаю — и снова закрою. Не лезет. Даже всякие соблазнительные для школьника штучки меня не интересовали — например, такие: *Сторешников воображал себе Верочку в разных позах и хотелось ему, чтобы эти картины осуществились. Не осуществит их в звании любовницы — пусть осуществляет в звании жены; главное дело не звание, а позы, то есть обладание.* Уж слишком глубоко эти позы тонули в социализме.

Мне кажется, мало кто из нашего класса прочитал эту книгу. Ну и хорошо, а то бы она кого-нибудь перепახала, как Володю Ульянова, — и ой-ой-ой. Зато в учебнике была картинка — Чернышевский сидит в Петропавловской крепости, в тюремной камере, за столом, и пишет свою книгу. Мы рисовали на столе бутылку и стакан и писали: «Великий русский демократ в поисках сермяжной правды». Или вырезали эту картинку и подклеивали к знаменитому портрету Некрасова кисти Крамского — где больной поэт лежит на диване весь в белой пижаме — и надписывали: «Умиравший Чернышевский у постели выздоравливающего Некрасова».

Сильнее всего я боялся, что на вступительном экзамене на филфак мне попадется «Что делать?». Но — повезло. Там был Гоголь. «Мёртвые души» я люблю так же сильно, как «Евгения Онегина», но уж ладно, об этом в другой раз.

Анна Козлова, прозаик (г. Москва)

«С недоверием я открыла эту книгу и пропала»

В школу я пошла в 1987 году и имею честь принадлежать к последнему поколению детей, принятых в пионеры.

С самого начала, с самого первого дня стало понятно, что уроки «чтения» существуют для того, чтобы вызвать стойкую неприязнь к чтению как процессу и литературе как феномену человеческого самовыражения.

Читать приходилось рассказы Бонч-Бруевича о Ленине, абсолютно лишённые смысла, юмора и сюжета. Каждый рассказ был просто призван проиллюстрировать, что Ленин гораздо умнее и смекалистее тех, кто чинил ему козни.

Тогда, конечно, я не задавалась вопросом, как такой умный и хитрый Ленин загремел в тюрьму, где ему пришлось «кушать чернильницы», и в этом смысле точно попадала в школьный советский мейнстрим.

Литература существовала исключительно как иллюстрация исторических процессов. Ещё она могла описывать природу (это самое мучительное) и повадки животных.

Создавалось впечатление, что людям, чьи произведения попали в школьную программу, просто нечего было делать.

Сколько можно писать про угнетение рабочего класса и крестьянства? И, главное, зачем, если и так всем было давно ясно, что и тех и других страшно угнетали?

Была ещё одна ветвь чтения, призванная демонстрировать, что не только в бывшей России мучили рабочий класс и крестьянство, но, скажем, и в Монголии не все с этим обстоит гладко, да и поэты Средней Азии любили понять про притеснения и попутно восхититься красотой родного края.

Дома мне были доступны сокровища.

Я читала сказки народов мира, в моем распоряжении наличествовало собрание сочинений Гофмана, «Фауст», Джеймс Крюс, Томин, на худой конец.

Помню, что как раз во втором классе я обманулась названием «Остров пингвинов» Франса, рассчитывая, что там будет про приключения пингвинов, но там была скучная политическая антиутопия, и прочла я роман только в университете.

При этом, что любопытно, Акутагава в этом возрасте шел очень и очень хорошо.

Сломить мое презрение к школьной программе смог «Герой нашего времени».

Пушкиным насильовали так, что ты уже не мог вникать в суть им написанного, «буря мглою» были выжжены кочергой на печенке.

А Лермонтов мощно укреплялся в сознании словами «погиб поэт, невольник чести».

Работало и работает, скажу я вам. До сих пор я помню наизусть «На смерть поэта» и гимн Советского Союза, при том что гимн России я так и не смогла выучить.

Помню, что классе в пятом или шестом встала необходимость прочитать «Героя нашего времени» под страхом, естественно, двойки. Что кто-то будет читать добровольно, наши педагоги не верили, если, конечно, речь не шла о «похабщине».

С недоверием я открыла эту книгу и пропала.

Это было настолько прекрасно и настолько соответствовало моим собственным, тогда еще слабо проявленным, представлением о жизни, что на Лермонтова я посмотрела совершенно иными глазами.

У меня впервые возникло некое личное, не от родителей, сомнение, что человека, способного так писать и так видеть, очень сильно волновало угнетение крестьян и что именно этому обстоятельству он посвятил свой гений.

Несмотря на то, что на уроках литературы весь роман нам подавался через Максим Максимыча, а Печорин порицался, я отлично понимала, что Максим Максимыч в силу своей примитивности не может быть героем такого великого произведения.

И что речь идет не о распущенности отдельного Печорина, а о том, что есть человек, как устроена его душа, в которой в равных пропорциях наличествуют и свет, и тьма.

Любовь к этому роману я сохранила на всю жизнь. И сколько бы ни переезжала, всегда брала с собой «Героя» в белой глянцево-обложке с обманчиво кротким портретом Лермонтова под заглавием.

Илья Кочергин, прозаик (деревня Кривель, Рязанская область)

Последствия аллергии

Я часто радуюсь невозвратности моего ушедшего счастливого детства. Почему-то нет ностальгии. Полная семья, любящие родители, несменяемые лозунги несменяемого мира, солнце, целыми днями бьющее в окна уютной московской двушки в Тёплом Стане. Потом английская спецшкола, где за десять лет учёбы видел всего пару вялых драк. Всё это, наверное, очень важно для начала жизни. Но тем труднее тебе потом, когда ты покидаешь свой уютный парник и пытаешься высадить самого себя в открытый грунт.

В английской спецшколе моего детства дети находились в полной безопасности, единственное, что им могло грозить — аллергия на некоторые предметы и отвращение к общественной жизни. Я подхватил оба заболевания, и жалче всего, что у меня возникла стойкая аллергия на русскую литературу, которую я лечил довольно долго.

К докторам не ходил, занимался самолечением. Пугающего Достоевского в тридцать лет пытался сочетать с влюблённостью, чтобы создать положительные ассоциации. Толстого по очереди читал вслух с сыном в деревне вечерами, радуясь

семейному теплу. До «Капитанской дочки» — до её осмысленного, радостного и неторопливого проглатывания — дозрел на пятом десятке. Стихи некоторых советских поэтов слушал от лесников у таёжных костров, Айтматова обсуждал с колхозным конюхом-алтайцем на охоте. Что-то наверстал в Литинституте, что-то заставил себя прочитать волевым усилием.

Но до чего так и не заставил себя добраться — до Пришвина с Паустовским. Слышу эти фамилии, и сразу в ушах раздаётся жужжание ламп дневного света, в глазах встают портреты классиков на стене, тоска крашенных казённых стен и ненавистные упражнения из учебника русского языка с цитатами из них, в душе появляется тоска обречённости перед контрольной.

Поэт Комаров недавно предложил мне осилить Пришвина вместе, восполнить зияющий пробел, так сказать. Вместе не так страшно. К тому же в этом году был полуторавековой юбилей этого писателя. Давай восполним и обсудим?

Но нет, не получается, хотя я и согласился на это предложение. Что же мне мешает? Взялся писать этот текст и задумался об этом.

В моей семье химиков-технологов к гуманитариям относились подчёркнуто толерантно, как и положено относиться к неполноценным людям — не стоит их обижать, людям и так сильно не повезло в жизни. Но пренебрежение не утаишь. Такое же, наверное, отношение к этим писателям — несколько пренебрежительное — осталось у меня с нежного возраста. Дескать, великие умы берутся рассказать нам о человеке и через изображение человека, ибо человек — мера всех вещей. А второстепенные занимаются второстепенными темами: природой, птичками и цветочками. Первых ты должен читать, чтобы прокачать культурность, вторые — необязательны.

Не ожидал от себя такого признания. Я, человек, который прожил свой «золотой век», работая лесником в заповеднике, который уехал из Москвы в деревню и считает, что во многом через природу и осознание своего места в ней мы можем деколонизировать себя, выкарабкаться из опостылевшего модерна и перестать как пироманы любоваться очищающим огнём постмодерна. Выкарабкаться и сказать, наконец, что-то свежее, новое. Взять и вот прямо сказать это новое и честное, без постиронии и постпостиронии.

Считать-то я так считаю, но почему-то жалею свои силы и время на тех, кто в крошечном двадцатом веке смог увидеть в литературе что-то кроме человека, его идей, эмоций и свершений. Стараюсь, наверное, быть эффективным — жизнь коротка, а обязательных к прочтению писателей много. На ком-то нужно сэкономить.

Меня опечалило это осознание, скажу честно. Пойду всё-таки открою дневники Пришвина. А вдруг они окажутся книгой на все времена? Хотя сомневаюсь, что бывают такие книги, да и как проверишь — не будешь же сравнивать «Моби Дика» и эпос о Гильгамеше.

Александр Мещеряков, переводчик (г. Москва)

«Круг чтения я определял сам»

В первом классе я бойко озвучивал букварь, но читать ещё не полюбил. Мама, которая мыла раму, не вызывала желания открыть другую книжку. Тем не менее за отличную успеваемость и примерное поведение наша учительница Анна Павловна Косицкая после окончания первого класса подарила мне «Рассказы о зверятах» Чарушина. Июнь 1959 года выдался холодным и дождливым, и, хотя мы жили на привольной даче, гулял я мало. Тогда-то я и прочёл от начала до конца эту свою первую

книжку с зелёной обложкой и чудными рисунками и вдруг понял, что поставленные в правильном порядке буквы вызывают ветер, способный разгонять тучи. Действительно, с последней страницей настали солнечные деньки, и я зажил на улице. Но зимой заболел свинкой. Уши болели ужасно, голову забинтовали и утеплили. Утопившись в перине, я разглядывал «Весёлые картинки», перебирал сухими губами истории из «Мурзилки». Журнальчики убивали лихорадочное время, лечили меня. После свинки до самого десятого класса я не пропустил по болезни ни одного школьного дня, но теперь мне уже не требовался предлог, чтобы открыть книжку. Так что я успел прочесть не так мало. Сидя у подоконника, развалившись на диване с неудобными для головы валиками, укрывшись с фонариком под одеялом... Прочтя Свифта, я усаживался обедать и воображал себя Гулливером: ножка курицы представлялась мне быком на вертеле, а рисинки — зажаренными овечками. Читая Бианки, я хотел стать добрым зоологом, наблюдательным фенологом... Круг чтения я определял сам, что сильно раздвинуло границы моей свободы.

Когда закончилось детство и я вступил в пубертатный возраст, я стал дерзить и хуже учиться, казалось, что меня никто не понимает и не любит, мне хотелось избавиться от самого себя, сердце и головной мозг не поспевали за ростом конечностей. У меня обнаружили сердечные шумы, врачаха строго-настрого запретила заниматься спортом, велел через несколько месяцев снова явиться на осмотр. Возвращаясь после уроков домой, я грел щи и котлету с макаронами, заваливался на диван и читал. Стивенсон одаривал меня стакселями и брамселями, пиратами и ромом. Дюма заставлял делать выпады воображаемой шпагой. Индейцы Майн Рида с непроизносимыми именами гнали бизоньи стада прямо на диван. После Джека Лондона мне захотелось податься в старатели, заболеть цингой и вылечить её хвойным отваром или картофельным соком. Прочтя Луи Буссенара, я мечтал поучаствовать в бурской войне, побыть ненадолго убитым или хотя бы раненым. Никогда в жизни доля иностранной словесности в общем объёме чтения не была так велика, как тогда. Всё-таки странно, что русские писатели хорошо сочиняют для детей и взрослых, а для юношей умеют плохо.

Я и сам по себе любил читать, но учительница литературы, Евгения Леонидовна Шиманович, с ласковым прозвищем Геша, давала направление, называла имена, о которых у нас дома и не подозревали: Цветаева и Мандельштам, Булгаков и Хармс. Евгения Леонидовна была молода, с чёрным пушком на верхней губе и гладкой желтоватой кожей, которую тянуло потрогать. Глаза-бусинки и чувствительный любопытный нос делали её похожей на сказочную мышку из детской книжки с картинками, нарисованными добродушным художником. Такую мышку хочется немедленно угостить сыром. Вместо этого приходилось обходиться тюльпанами на 8 марта.

Когда Евгения Леонидовна вызывала к доске, я с выражением читал «Онегина» непосредственно ей. Ей, похоже, этот текст нравился. Как-то раз она попросила меня почитать вслух в классе «Ревизора». Это была сцена, когда объявляется, что от заседателя разит водкой, поскольку мамка в детстве ненароком ушибла его. Во время чтения мне стало так уморительно, что я непритворно свалился со стула вместе с книжкой, которую продолжал озвучивать, уже катаясь по полу. Стоя на своём учительском месте, Евгения Леонидовна тоже от души засмеялась, мы смеялись вместе, это было счастье. Она была единственным учителем, у которого я бывал дома, ещё учась в школе.

Евгения Леонидовна хвалила меня и поддерживала убеждение, что у меня есть литературные способности. В последних классах я уже пописывал ужасные упаднические стихи, зачитывался Блоком. «Уж не мечтать о нежности, о славе, // Всё миновалось, молодость прошла! // Твоё лицо в его простой оправе // Своей рукой убрал я со стола». Когда я томно читал стихи на вечерах самодеятельности, девочки

рдели и млели, но одноклассники дружно ржали. От окончательного мужского презрения меня спасало только то, что я был капитаном сборной школы по ручному мячу и бегал быстрее всех.

В последнем классе литературу преподавала уже не Евгения Леонидовна, а Петруша (Пётр Георгиевич) с жутковатой фамилией Волкоедов, которая так не вязалась с изящной словесностью. «Шолохов прекрасно описывает природу — сразу видно, какое это время года», — втолковывал он. Пётр Георгиевич был раздраженный контузией фронтовик с тёмной кожей, подкопчённой взрывами снарядов и табачным дымом. На этом фоне слегка выпученные белки казались особенно белыми. Пётр Георгиевич учил «по учебнику», вольнодумства не поощрял, а я им бахвалился. В сочинениях записывал Горького в графоманы, позднего Маяковского не признавал, нахально заявляя, что лучше бы он остановился на «Облаке в штанах», а перед хихикающими одноклассниками гордо декламировал: «Вам ли, любящим баб и блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре блядям подавать буду ананасную воду!» Петруша ярился от моих сочинений, яростно подчеркивал нахальные пассажи, тетрадь краснела. Но с моей грамотностью он ничего поделывать не мог и не хотел. Вот я и получал за грамотность «пять», а за содержание — «тройк» или даже того меньше.

Недавно я впал в детство и перечитал Джека Лондона. «Сердца трёх» оказались полным бараклом, а вот от ранних рассказов снова повеяло северным ветром, несущим скупой мужской восторг.

Кирилл Рябов, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Пушкин — великий русский гений. Вот и всё»

А сколько мне было? Лет десять? Пожалуй, десять. Бабушка заставляла читать ей вслух «Капитанскую дочку», а я умирал со скуки. Хотелось бежать на улицу, играть в футбол, в прятки, во что угодно, Господи, но лишь бы не сидеть на диване, источающим затхлый запах, и не читать эту муть. Сказал бы кто, что спустя ещё лет десять эта книга станет моей самой любимой на веки вечные, никогда бы не поверил. Но так случилось. Как? Не знаю. Пушкин — великий русский гений. Вот и всё. И добавить тут нечего. Я перечитал «Капитанскую дочку» раз... Да не знаю даже. Не считал. Ещё и послушал аудиокнигой. Не любитель такого формата. Но в исполнении Иннокентия Смоктуновского это звучит чудесно, волшебным. И вот прямо сейчас, при написании этого незатейливого текста, включил фоном «Капитанскую дочку» и залип, дальше писать невозможно. Потому с большой неохотой нажимаю на паузу, включаю фоном любимую мою группу Khruangbin и продолжаю.

Как известно, люди в мире делятся на две категории. Те, кто читал «Анну Каренину» и те, кто делают вид, что читал. Признаюсь, я в категории тех, кто делает вид. Совсем не помню, чтобы в школе этот великий роман был в учебной программе. Ведь наверняка был. Но, впрочем, кто его знает. Учился я в девяностые годы, программа то и дело менялась, учителям, которым не платили зарплату, было интересно лишь прокормление семей. Это отдельная история. Но вкратце. В начале моего учения Владимир Ильич Ленин был великим вождём, почти что нашим Иисусом Христом, а спустя год он вдруг превратился в человека, убившего Россию. Успел я попасть в октябрюта, а спустя год носить на лацкане звездочку с юным Володей Лениным стало позорно. Короче говоря, всё менялось постоянно. Тут, наверно, и «Анну Каренину» каким-то образом вымело из учебной программы. Совсем не помню ее. Впрочем, дело тут, возможно в том, что сам я слишком часто прогуливал уроки.

Любил, знаете, вместо школы сесть в трамвай и кататься часами по городу. А город мой прекрасен, невозможно налюбоваться. Потому мог и пропустить. Ну а дальше столько прочитал и послушал про роман, что читать его вроде бы уже и смысла не было. Глупо, конечно. Сам понимаю. Потому не далее как позавчера зашел на один известный сервис, торгующий всем на свете, от зубочисток до автомобилей, и купил «Анну Каренину».

Хочу ещё про одну книгу рассказать. Ее точно не было в моей школьной программе. Но ее читали все мои знакомые, друзья и приятели. А я не читал. И все мои знакомые, друзья и приятели, узнав об этом, сильно удивлялись и удивляются. Это повесть Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Всего Сэлинджера прочитал, а вот эту повесть не читал. Была такая история. В свое шестнадцатилетие зашел я в книжный магазин, денег имелось на одну книжку, выбирал я, выбирал и выбрал «Заводной апельсин». А потом уж время как будто ушло, читать «Над пропастью во ржи».

Алексей Сальников, прозаик (г. Екатеринбург)

«Фокус в том, что загадка не разрешается с возрастом»

Не ручаюсь за точность цитаты, но обнаружил у Чехова замечательную фразу, которой спешу запоздало поделиться: «Русская публика не верит в справедливость, раздающую пощечины». К чему это? Да просто так. Потому что речь пойдет о Достоевском.

Так получилось, что он, как только появляется в школьной программе, так из нашей жизни и не уходит, хотим мы этого или нет, а становится чем-то вроде осей координат для дальнейших культурных переживаний в жизни, и все последующие впечатления от книг, фильмов, пьес — находятся в разных частях нашей души, порой сдвигаются относительно друг друга, но точкой отсчета всему этому движению служит история про убитую старушку-процентщицу. (Кстати, заметьте, процентщица — феминитив, естественно появившийся еще задолго до того, как за них принялись, а затем бросили бороться).

Возможно, «Преступление и наказание» вовсе не образец изящной словесности, всё тут не так, чтобы читать было комфортно: в каморке Родиона постоянно толкотня, сам он бродит по Петербургу, впадает в горячку, страдает, и многие вокруг страдают, заламывают руки, стушевываются, спорят ни о чем, треплют нервы другим, а прежде всего самим себе, и всё это как будто без надобности. В Петербурге жароша, Раскольников шатается по городу в пальто и вроде бы ни разу не моется за все время романа. И ещё в школе, даже если читаешь роман фрагментарно, лишь для того, чтобы подготовиться к сочинению на четверку, всё равно проникаешься этой вот болтовней, жаром, мельтешением говорливых персонажей. Школьником наталкиваешься на этот роман, как на стену, с абсолютным непониманием, для чего это обсуждать, ведь и так понятно, что Родион Романович неправ. Фокус в том, что загадка эта не разрешается с возрастом, пусть некоторое понимание поднятых вопросов (или иллюзия этого понимания) отчасти и возникает.

Есть отдаленное сходство с партией в настолку «Подземелья и драконы» в этих обсуждениях литературы в школе, в компании. Разве что вместо подземелий у нас жизненные ситуации и экзистенциальные вопросы, а вместо драконов отдельные персонажи. Сценарий «Преступления и наказания» — один из самых сложных,

и тем-то он и прекрасен. Считаю, нам очень повезло, что именно в нашей литературе есть это произведение, которое мы можем воспринимать без перевода, так сказать, из первых рук понятной нам речи, в некотором смысле играть в этот роман, начиная с подросткового возраста, счастье не принимать его, не принимать автора этого романа, упрекать его в лудомании, болезненной ревности, зависти к Ивану Сергеевичу, но чужими от этого не станут ни тексты, ни сам Фёдор Михайлович.

Мы как-то словесно сцепились с супругой прямо во время вечеринки с друзьями по причине того, что Лена сказала, что в школьной программе по литературе нужно что-то менять, сделать ее более понятной для детей, я стал брызгать ядом, предлагая тогда и арифметикой заниматься до одиннадцатого класса, причём не выходить в счете за пределы пяти десятков, можно оставить только сложение и вычитание, никаких дробей, биологию можно отменить, а оставить только природоведение, вот тогда-то все всем будут довольны.

Как же она веселилась потом, когда выяснила, что я не читал «Евгения Онегина» дальше первой главы. В свое оправдание могу сказать, что зато первую я знал когда-то наизусть, но это оправдание слабое. Но, что поделать, не могу себя пересилить, и всё. Видимо, дело в том, что знаю, какие там дела творятся дальше, не понимаю, в чем причина конфликта Ленского и Онегина (скажете — Татьяна, так какая это причина?), мне с детства не нравилась вся эта дурь с дуэлями, которая русскую литературу не доводила до добра. Не знаю, как-то хватало того, что в свое время пролистал до письма Татьяны Евгению, выучил, забыл, что там дальше первых двух строк. Запомнил замечательное «Татьяна в лес, медведь за нею», что в настоящее время вызывает в голове почему-то комичные кадры из мультсериала «Маша и медведь».

Каюсь, как Раскольников перед всем честным людом.

Антон Секисов, прозаик (г. Санкт-Петербург)

«Когда слышу имена персонажей, охватывает тоска»

«Преступление и наказание». Прочитал его на пару лет раньше, чем следовало по школьной программе, и это был сильный ожог. Когда началось погружение в лихорадочный мир Раскольникова, у меня самого поднялась температура, я читал, забыв об обеде (чего со мной никогда не случается), и, когда наконец явился на кухню, бабушка сообщила, что у меня как-то странно блестят глаза. Правда, перевалив за середину книги, подустал от этих метаний и истеричной взвинченности большинства персонажей и дочитывал из-под палки: но запал первых десятков страниц был очень мощным. С тех пор навсегда полюбил Петербург и тогда же, вероятно, если не понял, то впервые почувствовал, о чем хочу писать сам: о странных нервных героях, абстрактных идеях, которые овладевают людьми, о пограничных состояниях между сном и реальностью. Перечитывал этот роман раза три-четыре.

Розанов говорил о Салтыкове-Щедрине так: «Не читал, и этим многое спас в душе своей». Раньше я комплексовал по поводу каких-то непрочитанных книг, но потом уговорил себя думать так, что это, может, и к лучшему. Если что-то интуитивно читать не хочется, то и не стоит. Вот так у меня, например, с «Тихим Доном» Шолохова. Не сомневаюсь, что это великий роман, но также абсолютно уверен, что во мне он не отзовется и даже, быть может, окажет негативное влияние. Почему-то, когда слышу имена персонажей: Мелехов, Аксинья, — сразу охватывает тоска. Простите, если кого-то оскорбил или привел этим в ужас.

Роман Сенчин, прозаик (г. Екатеринбург)

«В школе нам литературу преподавали невкусно»

Я учился в школе в 1979—1989 годах, и школьную программу по литературе того времени не помню. Отдельные произведения. Да и в то время, кажется, не очень ею интересовался — читал то, что мне нравилось, что сам считал важным. Зачем книги по школьной программе лет в одиннадцать-двенадцать, когда есть Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, а потом, лет в четырнадцать, — Шукшин, Распутин, Андрей Платонов, Леонид Андреев...

Два раза за школьные годы прочитал «Тихий Дон», которого не было тогда в школьной программе, а «Поднятую целину», которая была, только первый том, второй же, в основном из-за обилия там деда Щукаря, стал вызывать у меня протест, и я бросил.

Вообще чувство протеста у большинства подростков обострено, и заставить их следовать школьным программам почти невозможно. Да и не могу представить подростка, осиливающего «Войну и мир». Есть реальная жизнь вокруг, улица, а теперь компьютер с его огромным миром. «Война и мир» и подобные произведения — для взрослых людей. Хотя каким-то образом приучать к чтению необходимо, а приучить можно только в подростковом возрасте. Человек, не читавший лет до пятнадцати, вряд ли в тридцать-сорок станет читателем...

Что касается ответа на вопрос, то очень важным произведением, прочитанным в рамках школьной программы именно в то время, когда его проходили, стал рассказ Льва Толстого «После бала». Он меня буквально потряс не столько художественным языком (Толстой долго казался мне скучным, не умевшим писать гладко, да и попросту грамотно), а тем, что продемонстрировал одного и того же человека в разных ипостасях (хотя этого слова я тогда наверняка не знал) — на балу, с дочерью, он внимателен, нежен, а на работе... В общем, два разных человека в одной оболочке.

И до прочтения «После бала» я встречал такое раздвоение, а уж после, по ходу жизни — десятки и десятки раз. Да и в себе я это нередко чувствую и пугаюсь.

Рассказ Толстого я перечитывал с тех пор несколько раз, и он становится для меня всё важнее, ранит всё острее.

А из непрочитанного... Просматриваю сейчас школьные программы по литературе разных лет и вижу, что почти всё читал, а то, что не читал, — читать не тянет. Но есть одна книга, которую всё время хочу прочитать целиком и никак не могу. Это «Что делать?» Чернышевского.

Верю многим отзывам людей и прошлого, и настоящего, что это важная книга, помню слова Ленина: «Роман “Что делать?” меня всего перепахал». Надо бы прочитать от начала и до конца...

В школе нам литературу преподавали невкусно да и не стремились к тому, чтобы мы читали. Из больших вещей велели прочитать и пересказать эпизоды. Ну и четвертый сон Веры Павловны, и спящий на гвоздях Рахметов скорее забавили, чем вызывали любопытство и желание заглянуть в эту книгу глубже.

Предложение написать о прочитанном и непрочитанном вызвало у меня новый приступ заглянуть. Сильный. Что ж, пора — шестой десяток идет.

Михаил Павловец

Читать или проходить

Коллега несколько лет назад поделилась замечательной цитатой из сочинения ЕГЭ по литературе: «И ведь я сам, прочитав произведение Льва Николаевича Толстого “Война и мир” и проникшись романом, начал невольно подражать одному из главных героев — поручику Ржевскому...» Конечно, витализм и жовиальность анекдотического поручика могут служить образцом для подражания подрастающему поколению! Однако, отсмеявшись, большинство читателей, конечно, возмутится тем, что автор сочинения не прочитал «Войну и мир», но о романе рассуждает. Заметим сразу — нынешний формат ЕГЭ не оставляет ему альтернативы: старшеклассник лишен права выбрать для своих размышлений другое произведение Толстого или другого писателя, которое читал, но, вытащив несчастливый билет, вынужден выкручиваться из неловкого положения.

Мне же кажется, гораздо хуже в этой ситуации, что юный автор хочет понравиться эксперту ЕГЭ, говоря о том, во что сам ни минуты не верит. Вот еще характерная цитата — на этот раз из так называемого итогового сочинения, которое все 11-классники принуждены писать в декабре, чтобы получить допуск к ЕГЭ, скажем, по математике и русскому языку: «Отдельно стоит сказать о средствах художественной выразительности, которых в “Русалке” огромное количество. Меня всегда интересовали замысловатые сравнения, ёмкие эпитеты и метафоры, так как они расширяют словарный запас и помогают развивать речь, делать ее разнообразнее и красивее»... Очевидно, что это не прекрасный юноша полюбил пушкинскую «Русалку» за то, что в ней «замысловатые сравнения и ёмкие эпитеты» и она помогает ему «развивать речь» — это он пересказывает понимание предмета «литература» теми, кто сочиняет этот предмет.

Очень интересно и очень горько, какими, судя по этим двум цитатам, видят нас, взрослых, своих учителей и экзаменаторов, наши ученики — пусть не все и не всех. Похоже, видят они нас довольно ограниченными существами, искренне верящими, что можно «делать жизнь» с героев литературной классики, воспринимать их как образцы для подражания. Считающими, что читать классику стоит ради «развития речи» (это как в ресторан идти с мыслью о инициировании пищеварительных процессов). Или того хуже — видят они нас измученными лицемерами, которым давно уже ничего не надо от подрастающего поколения, кроме как умения связно и без излишних ошибок произносить правильные речи о «духовности» и «патриотизме», «цельности натуры» и «нравственных исканиях», «выразительном русском языке» и «развитии речи», — никак не соотнося произносимое с тем, как строится его личная жизнь за стенами школы.

Михаил Павловец — филолог, преподаватель словесности. Родился в 1972 году. Окончил МПГУ. Кандидат филологических наук, доцент школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, учитель словесности Лицея НИУ ВШЭ, автор более 150 публикаций по истории русской литературы XX века — поэтического авангарда, неподцензурной литературе, современного литературного процесса, а также глав школьных и вузовских учебников и работ по истории литературного образования в России.

Кажется, о похожем писал в своей нашумевшей книге «Это было навсегда, пока не кончилось» Алексей Юрчак, когда определил бахтинским словом «вненаходимость» способ существования позднесоветского человека, который ритуально посещал партийные собрания и там ритуально поднимал руки или зачитывал бравурные отчеты, а потом возвращался к себе на кухню и за рюмкой чая бранил советскую власть и крутил ручку транзистора, ловя западную музыку или западные «голоса». Впрочем, прототипом модели такого рода «двоедушия» можно посчитать и «тёмное царство», изображенное А.Н.Островским в его драме «Гроза» (увы, одним из наиболее нелюбимых школьниками произведений школьной программы).

Напомним, автор консервативного «Московитянина» и человек далеко не либеральных взглядов, Островский долгое время писал о том, как патриархальный уклад сопротивлялся чужеродным влияниям («Не в свои сани не садись»; «Бедность не порок»), пока с горечью не признал: милый его сердцу купеческо-мещанский «домострой» остался прекрасной сказкой, выродившись в «тёмное царство» городков вроде Калинова, где отчаявшиеся бороться за сохранение прежних устоев «самодуры» готовы довольствоваться требованием об общем лицемерном следовании внешним установлениям и правилам приличия, тогда как незримо для посторонних глаз, за высокими заборами, можно жить как душе угодно. Именно в это «общество спектакля» и попадает Катерина, которая выросла в семье, где, судя по ее воспоминаниям, праведность и благолепие были непоказными и нелицемерными.

Все это становится понятно, если наложить ситуацию драмы «Гроза» на современную ситуацию с литературным образованием.

Получившая домашнее образование девочка Катя попадает в класс к Марфе Игнатьевне в школу, где директором — Дикой. Катя с детства привыкла читать много и только «классику» (другого дома не водилось), однако Кабаниха, у которой сердце болит, что молодёжь не читает, изводит её подозрениями и придирками — гоняет по текстам, ищет шпаргалки, подозревая в нечестности, заставляет писать сочинения по образцу типа «луч света в тёмном царстве», но запрещает высказывать свое мнение: сначала, мол, научись великих гениев понимать да без ошибок их мысли излагать, потом, при необходимости, получишь право и на свою точку зрения. Несчастлива Катя, особенно когда попадает ей в руки запретная книжка, каких дома и не водилось, но несчастна и Кабаниха, ведь она не со зла свирепствует — бьётся за то, чтобы спасти свой предмет, спасти молодёжь от невежества. Учит её Феклуша на страницах «Литературы в школе»: «Последние времена пришли, Марфа Игнатьевна, по всем признакам последние!» Другие ребята в классе, и Тихон, и Варвара давно приспособились к этой ситуации, научились, не читая книг, ловко пересказывать Кабанихе её же собственные слова (благо, ничего другого она уже и не спрашивает). Хуже прочих приехавшему из Москвы Борису (именно из его рук Катерина получила запретную книжку!): литературу Борис изучал в школе IV, где из списка 400 произведений выбираешь сам 15 для изучения, но чтобы продолжить обучение в западном университете, нужны деньги, а они в руках Дикого — приходится угождать дяде, делая вид, что готов прочитать всю его старинную библиотеку.

Финал Катерины мы все помним, но вот, в связи с вышесказанным, есть у меня несколько вопросов. Вопрос по «Грозе»: а не сочинила ли Катерина райскую жизнь в доме матери? Вернее, не сочинил ли Островский тот блаженный мир патриархального уклада, что царил в родном доме Катерины, сформировав в итоге её цельную, бескомпромиссную натуру, обречённую в «тёмном царстве» разложившегося домостроя? И существовал ли он когда-нибудь где-нибудь в таком идеальном виде, кроме фантазий своих адептов?

Но больше меня волнуют вопросы собственно по литературе как школьному предмету: действительно ли был этот мир тотально и повсеместно читавших прежде всего программные произведения советских школьников — за рамками тех избранных, особых школ, в которых учились те, кто сегодня с тоской вспоминает эти школы? Есть ли у нас результаты объективных социологических измерений, желательно —

сравнительных, которые бы показали динамику развития подросткового и молодежного чтения хотя бы за последние полвека? Не выдаем ли мы желаемое за действительное, вспоминая, как много читала советская молодежь, — как и те, кто с ностальгией вспоминает изобилие советских магазинов и высокое качество и массовую доступность товаров народного потребления в СССР?

Одна из немногих «духовных скреп», объединяющих наше сильно атомизированное общество, — это общественный консенсус по вопросу ценности чтения как особой культурной и образовательной практики. Я сам его во многом разделяю — но при этом отдаю себе отчет, что ни как форма культурного досуга, ни как способ получения знаний книга давно уже не играет ведущей роли в нашей жизни. Кино, компьютерные игры и соцсети выиграли соревнование за интерес и внимание не только подрастающего поколения, но и поколения его родителей. Образовательное чтение если же и остается — то это чтение в интернете, на огромном количестве информационных и образовательных ресурсов. Конечно, существование этих ресурсов обостряет проблему их качества, научности и достоверности содержащейся там информации — понятна озабоченность общества и государства вопросом о том, с чем подросток может столкнуться в сети, что использовать в качестве источника информации. Однако те же проблемы существуют и для утвержденных Министерством учебников, так как и написание этих учебников, и их экспертиза, и механизмы попадания в перечень вызывают немало вопросов. К тому же научная литература никогда не занимала заметного места ни в круге чтения подростков и молодежи, ни в поле внимания ратующих за спасение книги от исчезновения (а жаль!).

Впрочем, тема этой статьи — чтение художественной литературы и школьный предмет «Литература», который как будто бы должен служить популяризации чтения. Большинство родителей давно уже отчаялось «привить любовь к книге» своим отпрыскам — и с последней надеждой смотрит на учителя, который, в свою очередь, повторяет максиму: «Чтение ребенка начинается с семьи! Если родители дома регулярно не читают, если дома нет книжных полок и нет традиции обсуждения прочитанного, — то ребенку не у кого перенять привычку к чтению!» Выходит, что круг замкнулся!

Главное же разочарование того, кто всё ещё не утратил надежды на то, что школа приобщит ребенка к чтению качественной литературы, прежде всего — классики, ждет, если он откроет нынешние Государственные образовательные стандарты и из них узнает, что самой задачи чтения в разделе, посвященном литературе, даже не ставится! Вернее, так: там говорится о «сформированности устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур» — однако речи нет о чтении как освоенной деятельности, как важнейшем предметном результате, который должен обязательно замеряться по окончании учебы; не говорится о чтении оригинального текста изучаемого произведения в его целостности и полноте! Этот результат подменяется другой формулировкой: постулируется «знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы народов России».

Тем самым литература как школьная учебная дисциплина превращает художественное произведение не в предмет чтения и обсуждения, а в предмет «изучения»: ее не читают — а «проходят»! Тогда как, по мнению авторитетного исследователя чтения Эдена Чамберса, пока книга не обсуждена — она не может считаться прочитанной. Хотя верно и обратное: как может обсуждаться то, что прочитано не было? Сама практика подобного «обсуждения» педагогически вредна, пусть и практикуется всё чаще на уроках. Причина этого — понятна: ценностью наделяется не эмоциональный и эстетический опыт встречи с выдающимся (а на самом деле — с любым) художественным произведением, но набор сведений об этом произведении, который должен быть уложен за несколько уроков в голову ученика в виде «знаний», чтобы потом медленно угасать, лёжа в ней без всякого

применения и вымываясь нарастающим потоком новой информации. Эти знания обычно фетишизируются: считается, что чем больше их в голове человека, — тем больше он знает, тем он умнее. Победил телевизионный формат викторины: «умники и умницы» у нас — те, кто быстрее других извлекает из недр памяти необходимую информацию, а не тот, кто способен имеющиеся у него знания применять в быстро меняющихся обстоятельствах современной жизни. Идеалом «интеллектуала» служит шоумен Анатолий Вассерман, и его знаменитая жилетка со множеством карманов, набитых предметами на все случаи жизни, — прекрасный символ того, как якобы должна быть устроена память у «образованного человека». Только вот *omnia mea mecum porto* — цicerоновское «всё свое ношу с собой» — безнадежно устарело, если его смысл перенести с духовных качеств личности на ее эрудицию. В нынешних обстоятельствах человеку важнее не перегружать мозг избыточной информацией, а сохранить часть ресурсов мозга для обработки необходимой ему информации, а в случае возникновения потребности в дополнительных знаниях — знать, где это знание доступно и как его оттуда можно оперативно извлечь и им воспользоваться.

К тому же еще Дмитрий Лихачёв предупреждал: «Никто, кажется, не обращал внимания на то, что большая эрудиция при недостатке обобщающих способностей может играть даже в известной мере отрицательную роль. Эрудиция укрепляет человека в его уверенности в собственной правоте, мешает его пониманию нового, непривычного. Чувство собственного превосходства над другими, которое развивает эрудиция, при недостатке творческих способностей может затруднять общение с людьми». Творческие способности не развиваются чтением учебника или зубрежкой краткого содержания, им нужно свободное поле для деятельности: дискуссии, проекты, самостоятельный выбор, что читать и над чем размышлять... Увы, всё это требует большого количества времени, но главное — понимание ценности того, *кто читает*, а не только того, *что он читает*. Ценности его опыта, чувств, размышлений, его выбора.

Нынче же в школьном предмете «литература» окончательно победил другой подход: художественная литература — это не сложносочиненный текст, требующий особого настроения для его восприятия и понимания, а это набор сведений о нем, упакованный в параграфы учебника. Раньше казалось, что хотя бы для читающих ребят, прежде всего — собранных в гуманитарных и специализированных классах, делается исключение, и им дается больше часов (обычно — 4 вместо 3-х часов в неделю) на предмет, чтобы у них больше времени было на размышление и разговор о прочитанном... Где там! Последняя версия Образовательного стандарта (2022), представляющая собой изувеченный Стандарт (называемый на бюрократическом волапюке ФГОС) 2014 года, не только включила в себя обязательный для всех классов и всех школ, в том числе сельских, национальных, профильных негуманитарных, список произведений, которые следует «пройти» в соответствующих классах, но и отдельно определила, какие произведения должны дополнительно изучать ребята из профильных гуманитарных! То есть вместо «углубленного» подхода торжествует подход «расширенный» — лишь бы у учителя, взявшего под козырек и попытавшегося выполнить указания Министерства, не появилось лишнее время на то, чтобы чуть больше времени посвятить неторопливому разговору о действительно прочитанном. А у его подопечных, в свою очередь, не осталось времени на чтение чего-то помимо «программных» произведений...

Чтобы было понятно, о чем речь, возьмем перечень произведений для 10 класса — и сравним с тем, что дополнительно должен к нему прочитать тот, кто выбрал гуманитарных профиль. Итак, в этом классе на базовом уровне каждый обязан прочесть пьесу А.Н.Островского «Гроза»; роман И.А.Гончарова «Обломов»; роман И.С.Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, стихотворения и поэму «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова; роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М.Достоевского

«Преступление и наказание»; роман Л.Н.Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С.Лескова; рассказы и пьесу «Вишнёвый сад» А.П.Чехова. На углубленном уровне же — Стандарт предписывает изучение «произведений А.Н.Островского, И.А.Гончарова, И.С.Тургенева, Н.Г.Чернышевского, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.П.Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя)»! Ну то есть добавляется один час в неделю к имеющимся трем, а объем обязательного увеличивается примерно в два раза! И это я еще не указываю перечисленные здесь же имена обязательных к освоению критиков, зарубежных писателей и писателей народов России...

Если попытаться рационально объяснить такое решение, то самое очевидное для меня — это отбить желание вообще читать, заменить чтение — кратким пересказом. Благо — существуют десятки сайтов такого рода, причем один из самых популярных — briefly.ru — имеет в среднем около 5 млн посещений в месяц! Если бы Министерство просвещения всерьез заинтересовалось тем, читают ли школьники все эти произведения (или если бы поделилось результатами соответствующих исследований — ведь не может же быть, чтобы таких исследований не проводилось!), думаю, не у одного меня бы возникли вопросы: каков КПД у этой школьной дисциплины? К тому же уже даже не крик — стон раздается по всей Руси Великой: не читают дети — не то что «классику», ничего не читают!

В чем же причина такого упрямства чиновников от образования, не желающих признавать очевидное? Придется вернуться к предположению, что и нет такой задачи: усадить подрастающее поколение за книгу, по крайней мере — за книгу художественную. Любители конспирологических версий предполагают причину в невозможности контролировать, что будет вычитано из этой книги. Читательское восприятие в значительной степени опирается на личный читательский опыт, а он у современного подростка куда более гетерогенный, чем у его сверстника еще полвека назад. Открытые границы, бессилие цензуры, развитие культурной инфраструктуры и интернета позволяют мыслящему человеку, даже довольно юному, погружать прочитанную книгу в самые разные контексты и проводить самые неожиданные и неподконтрольные параллели! Тогда как концепция «национального культурного кода» возлагает на книгу, прежде всего — на «классику», неподъемную роль быть одновременно хранителем незыблемых национальных духовных ценностей — и основным средством приобщения к ним. Причем понятие «код» здесь заимствуется не из семиотики — дисциплины, напоминающей словами Юрия Лотмана из его поздней работы «Культура и взрыв»: «Язык — это код плюс его история», — ведь тогда выходит, что сама классика, воплощающая в себе некие константные начала национальной культуры, не имеет единого, абсолютного ее понимания, но в разные эпохи неизбежно будет пониматься по-разному, а значит, и сами эти константы (их декодировка) будут меняться в соответствии с тем, из какой точки исторического времени мы к ним обращаемся. Скорее (на это обращал внимание историк культуры Илья Кукулин) понятие «национального кода» метафорически переосмысляет термин из генетики — «генетический код»: неслучайно рядом с этим понятием иногда можно встретить рассуждение о «хромосомах культуры» и «культурных генах». Иначе говоря, утверждается неизменность национальных констант — ментальных и поведенческих, благодаря их консервации в сакральных текстах национальной культуры, и приобщение к этим текстам позволит следующим поколениям перенять эти константы. Но поскольку сами по себе канонические тексты уже в значительной степени недоступны для сознания большинства школьников, содержащиеся в них «культурные коды» выпадают в виде того, что сейчас принято, вслед за Ричардом Докинзом, называть «мемами» или «мимами» (впрочем, есть еще близкое понятие «культургена» Эдварда О.Уилсона и Чарльза Ламсдена).

Помню, как один очень высокий чиновник, руководивший недавним обсуждением Стандартов по литературе, так и воскликнул на одном из заседаний: «Но как ребята поймут, о чем песня “Зачем Герасим утопил свою Муму?”», если они не прочтут этого

произведения!» Тогда меня поразила эта перевернутая логика: выходит, Тургенева надо читать для того, чтобы понимать подростковую фольклорную песенку (кстати, по моим опросам, известную далеко не всем школьникам)! Задумавшись над этим парадоксом, я обнаружил еще одну вещь: мало кто помнит, что там было с Наташей Ростовой, но все вроде как читали «Войну и мир». При этом мало кто читал «Анну Каренину», но все помнят, что там было с Анной Карениной: изменила мужу, закончила свои дни под паровозом. Выходит, что сложнейшая история Анны Карениной, превратившись в мем, сообщает любому носителю нашей национальной культуры, о чём роман «Анна Каренина», так что и нет уже необходимости осиливать этот толстенный том с его почти четырьмя сотнями персонажей! Это и есть пресловутый «национальный культурный код», он же «культурген», и именно в таком «свернутом» виде передается он из уст в уста, из поколения в поколение, и только избранные его носители решаются открыть саму книгу.

Что мы помним о «Муму»? Именно этот вопрос «зачем Герасим утопил свою Муму?», то, что Герасим был глухонемым и ворох анекдотов именно на эту тему, плюс — для особенно продвинутых — смутное подозрение, не приревновала ли барыня нравящегося ей мужика к несчастному спаниелю.

А из всего «Тараса Бульбы»? Большинство вспомнит разве что похабный анекдот «чем я тебя породил — тем тебя и убью!», меньшинство — антисемитские страницы повести, пытки Остапа да «люльку» старого казака.

Как в массовом сознании представлен роман «Преступление и наказание»? Это история про студента Расколникова, шинкующего топором старушек, и влюбленную в него проститутку Соню.

Вот и бедная Наташа Ростова: ее дискредитированная толстовской «мыслью семейной» пробуждающаяся сексуальность преломилась в сотне самых разнузданных анекдотов про нее и поручика Ржевского, занесенного в роман (точнее, в фольклор о нем) из популярного фильма «Гусарская баллада», а уже оттуда — и в сочинение, с цитаты из которого я начал этот разговор.

И так можно сказать о почти любом произведении «школьной программы», заодно отметив среди них те, которые почти не разобраны на мемы, а значит — практически не актуализированы в современной культуре.

И нынешнее Министерство просвещения вполне устраивает эта ситуация: идет активная мемизация (мимизация) русской национальной культуры, в том числе и «классики» под лозунгом постижения ее «генетических кодов». Все школьники в итоге будут знать ответ на вопрос «зачем Герасим утопил свою Муму?» — прекрасно обходясь без того, чтобы открывать время от времени книги: так задачи не ставится ни перед ними, ни перед учителями!

Возвращаясь к аналогии с «Грозой» Островского (кстати, сама эта аналогия — как раз пример того, как может и должна актуализироваться «классика» в жизни современного человека). Лично мне бы, конечно, хотелось, чтобы Катерина могла вдоволь читать свою любимую классическую литературу, Борис — свои западные романы, а главное — Тихон с Варварой наконец получили в руки книжки, с которыми им будет по-настоящему интересно, которые не будут учить их лицемерить и изворачиваться. Иначе говоря, мне бы хотелось, чтобы чтение из скучной и мучительной обязанности или из предмета старательной имитации и симуляции превратилось в такую же естественную потребность, как потребность в занятиях спортом или здоровом образе жизни (а нынешнее поколение молодежи помешано на них), потребность общаться с друзьями или путешествовать. Не обязанность — потребность! Но я, сам преподавая в старших классах литературу, должен признаться себе: школа в настоящее время почти никогда не союзник в деле формирования этой потребности — и возлагать на нее надежд не стоит. Что же может действительно помочь привлечь внимание к чтению, освоить самые разные практики чтения — от «проглатывания» за пару часов до медленного смакования, — требует отдельного, но обязательно очень честного разговора.

Сложносочинённое и сложноподчинённое

О школьной программе, рамках классического литературного канона и роли культуры в современном обществе размышляют

Александр МАРКОВ, Александр МЕЛИХОВ и Евгений АБДУЛЛАЕВ

Тема для обсуждения высеклась в моменте: совпали острая дискуссия по поводу исключения Пушкина, Лермонтова и Гоголя из программы подготовки к ЕГЭ по литературе 2024 года и чтение вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение» книги «Адаптация как симптом: русская классика на постсоветском экране». (Рецензия на нее публикуется в рубрике «Подробное чтение».)

Адаптация — в смысле упрощения — действительно стала приметой времени. В чем-то безусловно облегчая жизнь. Но нередко — и обкрадывая, обделяя знаниями и навыками, на беглый взгляд рутинными, устаревшими, не обязательными. Особенно — когда речь идет о человеке юном, растущем, набирающем жизненный и культурный опыт.

Зачем зубрить таблицу умножения, если всегда под рукой смартфон?

Зачем запоминать исторические факты, даты событий и сложные формулы, если есть Википедия?

Зачем днями напролет читать сотни страниц и ломать голову, пытаясь понять чувства и поступки Чацкого, Чичикова или Базарова, когда есть отличные наши и переводные книжки для янг эдалт, где нет длинных диалогов, описаний природы и движений души, где современные молодые герои совершают поступки и принимают решения?..

Татьяна Черниговская, Александр Каплан, Константин Анохин не устают повторять: необходимо тренировать память, учить наизусть стихи, читать сложную литературу, слушать сложную для восприятия музыку — даже не для общей эрудиции, а из чистого прагматизма: чтобы мозг развивался и сохранял дееспособность, чтобы не подводила память. Но кто же следует советам ученых?

Понятие сложное априори включает в себе проблему. Но отказ от осмысления и проживания сложного чреват неподготовленностью к сложным ситуациям. Применительно к литературе в школе: как сохранить интерес к сложному чтению? из чего должен складываться и насколько обновляться классический литературный канон? кого из современных авторов важно прочесть нынешним школьникам?.. В конце концов — как вырастить сложного человека, способного принимать сложные решения?

Наталья ИГРУНОВА

Александр Марков

Мир состоявшихся катарсисов

Адаптацией принято называть и создание сценария по книге, и любой пересказ. Но далеко не всякий пересказ адаптирует. Например, можно написать эпиграммы, излагающие произведение в двух строках элегического дистиха, но это будет не адаптация, а совсем новые произведения.

Допустим, остроумие античной эпиграммы связало бы в первой строке утрату Раскольниковым разумных обоснований своего поступка с его невозможностью дальше действовать в обществе: потерю слова с потерей дела. А во второй строке выведение на свет обличителем переключалось со светом милосердия со стороны Сони Мармеладовой. Это был бы смысл романа без адаптации, просто воссозданный другим искусством для лучшего запоминания или, наоборот, укрощения эмоций — о чем заботилась античная поэзия, чтобы эмоции не слишком переполняли человека.

Или «Войну и мир» эпиграмма потребовала бы увидеть в первой строке как рассказ о разделении молодых на готовых и неготовых к битве. Но во второй строке те и другие чудесно выигрывают битву с врагом и с собой. Если бы в наших школах сочиняли элегические дистихи, это было бы хорошее задание, сочинить историю русской литературы из одних эпиграмм.

Также адаптацией не будет статья Белинского или книга Лотмана. А вот кинематограф, учебник или лекция — это адаптации. В этих литературных формах есть собственные режимы жестов, указывающих на чужие мысли и чужие поступки, свой способ последовательно на всё это указывать. Но эти режимы могут не отвечать свойствам самого произведения, которое раскрывает мысли и поступки не линейно, а в головокружительной драматургии.

В названии книги русско-американской исследовательницы Людмилы Фёдоровой, посвященной экранизациям русской классической литературы¹, слово «симптом» употребляется в психоаналитическом смысле — некоторое совпадение признаков, делающее определенные невротические реакции неистребимыми и неотменимыми. То, что для самих авторов кинематографических и телевизионных адаптаций выглядело как попадание в нерв эпохи, при беспристрастном аналитическом комментарии оказывается скорее прочным наложением разных форм ностальгии, увлеченности, мечтательности, консервирующим социальные мифы.

Тогда адаптация книг в виде кратких пересказов — это симптом, но не нашего времени, а сразу нескольких времен, включая дореволюционную и советскую педагогику, спрашивавшую «о чем эта книга». Этот вопрос делал неотменимыми те самые наложения разных эмоций и мифов.

Марков Александр Викторович — преподаватель философских, гуманитарных и социальных дисциплин, литературный критик. Родился в 1976 году в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Доктор филологических наук, профессор РГГУ. Живет в Москве.

¹ *Фёдорова Л.* Адаптация как симптом: Русская классика на постсоветском экране. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. 368 с. (Серия «Кинотексты»).

Значительная часть советской литературной педагогики была адаптирующей: пересказ классики учителями был преддверием большой литературы, в которой поэт должен объяснить редактору, как раз о чём его стихи. В чём-то эта адаптация наследовала Ленину — будучи вполне любознательным человеком, Ленин предпочитал знакомиться со многими вопросами по брошюрам, газетным изложениям, речам и выступлениям, хрестоматиям, тренируя на всем этом материале публицистические навыки. Это не значит, что Ленин не читал серьезных трудов, но только то, что в адаптациях он видел настоящий политический ресурс, возможность прямо сейчас сделать волнующее заявление, быстро подчеркнуть необходимое тремя или четырьмя чертами, быть «как выступ на рапире».

Но система образования не усвоила самого ценного у Ленина: умения организовывать конспекты не как линейное изложение, но как руководство к действию. Школьный конспект, даже конспект трудов Ленина, не должен был содержать в себе красный карандаш, тройное подчеркивание или резкие замечания — но только некоторую усидчивость. Вероятно, усвой это школа, — и вопроса об адаптациях не ставилось бы, но только об эпиграммах и деятельности новых Белинских.

Школьная усидчивость создавала симптоматичность русской классики в глазах даже начитанных учеников школы, в смысле совпадения сюжетного развития, моральных выводов и одобряемых эмоциональных реакций. Отличник как бы живет в мире, где Дубровский спасает Машу, где может появиться Раскольников из-за угла и нужно быть осторожным, и где вишнёвый сад уже продан, и жалеть о нем не надо. Это мир *уже состоявшихся катарсисов*. Бог из машины устроил развязку должным образом, и мы живем в собрании развязок.

Сюжеты русской литературы уже легли в правильном порядке: Чичиков вывел невольного помещиков на чистую воду, а Пьер Безухов обрел семейное счастье. Мы тогда в этом мире учительных адаптаций существуем не внутри конфликта, который подразумевался самой русской литературой, а внутри катарсиса, внутри ситуации развязки. Мы живем в мире, где уже нет помещиков, нет аристократических условностей и сословных предрассудков, и можно ко всему относиться с умеренным любопытством. Каким бы ни был герой, он всё равно заранее оказался нужен для развязки, для высшей справедливости.

Поэтому вопрос об адаптации литературы для школьников, ее допустимости и границах, делится на два вопроса. Первый — это противостоящее упрощенным пересказам *проживание самой драматургии* классической литературы, ее завязок и кульминаций, рокового движения и восстания против рока. Для этого можно просто знать хорошо классическую трагедию, Эсхила и Шекспира, или даже послушать несколько симфоний, но внимательно.

Тогда мы будем лучше воспринимать, что было до катарсиса. Мы услышим, с чего начинается завязка, как дальше накладываются друг на друга обстоятельства. Это поможет перейти к неадаптированному тексту, открыть произведение, заслоненное учебником, и понять, почему герой так решил или почему такие-то герои встретились на его пути слишком рано, а такие-то — слишком поздно.

Второй вопрос сложнее: русская классика создавалась внутри весьма интенсивного общезападного слома форм, когда каждый жанр пытается на себя взять всю тяжесть бытия, когда сказка Гофмана или баллада Гейне сообщает о том, как мир устроен и как трескается под собственной тяжестью. Дело не в том, что русские классики «учились» или «перенимали опыт», а в том, что существовала особая среда, в которой эти произведения и стали обобщениями, а не вариациями. Есть Вальтер Скотт, и есть «Капитанская дочка» и «Тарас Бульба» — все приемы Вальтера Скотта легко принимаются: и ответственная речь героя, и диалог-дуэль, и честь героя, мерой

которой оказывается только большое событие. Но это вовсе не заимствование из романа, выросшего на многовековой риторической культуре, а новое понимание того, что именно обобщает сам твой исторический опыт как писателя, в какой момент он становится обобщающим.

Или *полифонический* Достоевский не продолжает Диккенса, герои которого могут преобразиться после исторических испытаний благодаря особому устройству их памяти. Он обобщает само такое преобразование, и тогда память героя сразу выражается в словах и поступках, не дожидаясь подходящих обстоятельств проявления.

Получается, что тогда нужно знать Скотта и Диккенса, чтобы понимать русскую классику как диспозицию, как расположение идей и отсылок, конструирующих субъективность читателя буржуазной эпохи — как многократно указывал еще Дьёрдь Лукач¹ в 1930-е годы. О ком бы ни говорил роман, как механизм впечатляющего рассказа он создает норму буржуазного индивидуализма.

Но русская культура совсем не адаптировала образцы, даже если из риторических обычаев брались речи героев, размыкающие пространство их бытия и поворачивающие всё действие к новым ценностям; или иные приемы наглядного воображения, на которых и держалось воздействие романа на историю. Как заметил недавно С.Н.Зенкин², если Э.Р. Курциус выстроил концепцию риторического единства Европы от античности до современности, риторической *уместности* гуманизма, то русские его продолжатели как раз объявили риторической эпохой доромантическую литературу.

Тогда как только русская литература начинает делать то же, что мировая, прежние рамки уместности были сломаны, открылась «даль свободного романа», соревнующаяся с наукой в лабораторной проверке и обосновании новых свойств реальности. Литература уже не уточняет свойства реальности, в том числе и ее чудесные или непредсказуемые свойства, но располагает свою лабораторию на отдалении от привычек и ищет слова для происходящего, формулировки, которые вместят в себя и действие, и память.

Школьнику было бы проще разобраться, почему герой так странно говорит, так странно ведет, дан глазами какого-то другого героя, если бы эта диспозиция сразу была видна из романов, образовавших общеевропейскую грозную атмосферу. Но сам русский роман выступает как событие, как соединение судеб, которые в драматургии романов-прообразов были функционально разделены.

Пастернаковский Живаго в Варыкине читает вслух «Повесть о двух городах» Диккенса, и понятно, что он выступает в новой революции и Дарнеем, и Картоном одновременно. В фабуле Диккенса эти герои могут совпасть только в высшей точке переодевания и самопожертвования — у Пастернака главному герою было определено быть и тем, и другим, и заступником за жизнь, и самой милостью, милующей и его.

В сериале А.Прошкина по сценарию Ю.Арабова Живаго приобретает несколько нищенские черты — именно потому, что в кино можно заступаться за человека, но не за саму жизнь как таковую. Киноадаптация уводит от романа, а простой рассказ о совпадениях двух героев в одном даже для человека, не читавшего Диккенса, к этому роману приведет.

Можно представить такое обучение в школе, при котором открыть любое русское классическое произведение — это увидеть то «чуть-чуть», тот нюанс, который и превращает героя литературы из участника большого механизма по производству исторического воображения, включая образ современности, в того, перед кем и сама вооружившаяся насилием современность может кротко разоружиться.

¹ Лукач Г. Исторический роман. М.: Common Place, 2014. 178 с.

² Зенкин С.Н. Риторика чтения: Из истории научных идей XX века // Новое литературное обозрение, 2023, Т. 182, № 4. С. 21—23.

Александр Мелихов

Адаптация духа

Человек с незапамятных времен приспособливал материальный мир к своим материальным нуждам: вырыть искусственную пещеру и согреть-осветить ее самостоятельно добытым огнем — это были первые шаги такой адаптации. Сегодня же мы живем в мире, настолько адаптированном под нас, что если бы нам оказаться в мире первозданном, то мы не выжили бы в нем и месяца. Нас окружает искусственное жилье с искусственным обогревом и освещением, наша пища произрастает не в степи и не в лесу, а на фермах и в оранжереях — борьба человека за независимость от естественной среды, кажется, подходит к завершению: человек уже и эмоциональные впечатления желает получать не из реального мира, а из «искусственного», виртуального, с экрана гаджета, от которого многие из нас не отрываются даже во время прогулок.

Но здесь, пожалуй, речь идет не о материальной, а о психологической адаптации.

Уже существует специальное слово — ноосфера. Сфера разума, под которой понимается биосфера, преобразенная человеческой волей. Но мы погружены в сферу разума и в более узком смысле — в сферу человеческих знаний. В огромной степени противоречащих друг другу, и вряд ли имеется хоть одно суждение, которого бы кто-то не оспаривал. Если даже взять институционализированную науку, то и в ней ни на миг не прекращается борьба научных школ и попытки научных революций. При этом современные науки так далеко ушли от понимания рядовыми людьми и даже профессионалами в других областях, что понадобилась адаптированная наука — научно-популярная, научпоп. Профессионалы постоянно ругают научпоп за недопустимые упрощения, и часто за дело, но вместе с тем надо понимать, что широкая публика может лишь воспринять либо упрощенные знания, либо оставаться в полном невежестве в безраздельной власти шарлатанов.

Что же говорить о школьниках? Чтобы люди могли взаимодействовать в качестве членов одного общества, они должны обладать общим запасом каких-то азбучных знаний типа того, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца. Если же им сообщить, что вопрос, что вокруг чего вращается, целиком зависит от выбора системы наблюдения, то это не вызовет ничего, кроме путаницы. То же самое можно сказать о планетарной модели атома и о многом другом: в свое время будущие специалисты все уточнения и поправки узнают не спеша, с пониманием, а не повторяя, как попугаи, слова, подлинный смысл которых им недоступен, а до поры до времени лучше не морочить им голову.

Иными словами, цель начальной адаптации знаний — социализация.

Когда в возрасте лет пяти-шести, обладая, похоже, врожденной страстью к чтению, я зачитывался «Призванием князей» в хрестоматии Ушинского, это было очень далеко от изучения исторической науки, но это несомненно были уроки

Мелихов Александр Мотелевич — прозаик, публицист, литературный критик. Родился в 1947 году в г. Россось. Окончил матмех ЛГУ, кандидат физико-математических наук. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии «Книга года-2023» за роман «Сапфировый альбатрос». Живет в Санкт-Петербурге.

социализации: я узнавал, что у Руси было начало, что были князья, которые вели в буквальном смысле слова братоубийственные войны, я узнавал имена-пароли и мемы-пароли, по которым распознается принадлежность к общей культуре: Рюрик, Трувор и Синеус, Владимир и крещение Руси, Святослав, «иду на вы»...

Как исторические факты они вполне могут быть оспорены, но как пароли они, вероятно, могут исчезнуть лишь вместе с русской культурой.

Это были, возможно, не столько уроки истории, сколько уроки патриотизма.

Уже давно ведутся прения, как бы так сочинить учебник истории, чтобы он и не искажал историческую правду, и вместе с тем пробуждал любовь к родине, но я не вижу, чтобы кто-то признавал, что всегда будут существовать две истории: история академическая, старающаяся изучать исторические факты, и история художественная, творящая художественный образ эпохи. И патриотизм пробуждает только художественная, только она создает ощущение единства с предками.

Лично для меня лучшие учебники истории России — это «Капитанская дочка», «Война и мир», «Тихий Дон», «Разгром» и — с разными оговорками — «Люди из захолустья», «Поднятая целина», «Плотнические рассказы», «Звезда», «Жизнь и судьба», «Две зимы и три лета», «Битва в пути»... Каждый может чем-то дополнить и что-то вычеркнуть — я бы даже предложил журналу провести специальный опрос.

Преподавание литературы имеет, может быть, наиболее важной целью именно социализацию — освоение имён-паролей, произведений-паролей, по которым происходит включение в единую национальную культуру. Именно поэтому прежде всего нельзя исключать из литературного канона ни одно из священных (речь не о мистическом, а о социальном смысле этого слова) имен. Эстетическое освоение неадаптированной классики — это следующая задача, подозреваю, и не всем доступная, как не всем доступна современная математика и физика.

Другое дело — современная литература. Да, современные писатели не напишут лучше Толстого и Достоевского, тем более что они ещё и породили критерии оценивания. Но только современные писатели могут предоставить читателю зеркало, в котором он увидит свою жизнь высокой и значительной, без чего общество начинает страдать от эстетического авитаминоза.

Социализация и эстетическое освоение — для того и для другого требуются разные формы адаптации. Любимые книги моего детства — приключения Гулливера, Робинзона и Уленшпигеля — были адаптированные, и это хорошо, потому что полные версии я бы не осилил. Как уже в выпускном классе я чуть не умер от скуки над «Войной и миром», хотя через каких-то пару лет как раскрыл рот от восхищения, так и до сих пор не могу его закрыть. Значит ли это, что «Войну и мир» следовало исключить из школьной программы? Нет, тогда бы я и не знал, что за мной числится должок. Но для социализации не самых умных, вроде меня, возможно, стоило бы допустить какую-то адаптированную версию — художественный пересказ. С непременным подчеркиванием, что это лишь первая попытка взять высоту.

Я не исключаю, что для социализации и для эстетического освоения требуются две разные школьные программы. К чему-то похожему еще с полвека назад подходила Лия Михайловна Предтеченская, разработавшая курс Мировой художественной культуры, в котором главной целью урока должно сделаться не знание, а эстетическое переживание. А потому и учебные пособия по МХК должны сами быть художественными произведениями. Я тоже написал для этого курса несколько эссе о Пушкине, Лермонтове, о «сложных» художниках двадцатого века — эти эссе выходили отдельными

брошюрками, а потом я их включил в свои книги «Под щитом красоты» и «Колючий треугольник».

Без пламенной Лии Михайловны курс захирел, но ее идеи вполне могут быть возрождены. Кроме одного пункта ее символа веры, о котором мы с нею неоднократно спорили. Лия Михайловна была убеждена, что нет недоступных шедевров, есть только неумелые преподаватели. Я же склонялся и склоняюсь к тому, что для восприятия серьезной литературы необходима особая одаренность, вполне сходная с музыкальной или математической одаренностью, и обладают ею тоже лишь несколько процентов населения. И как же можно в пределах общей учебной программы удовлетворять весьма различные эстетические потребности особо одаренного меньшинства и преобладающего большинства? Можно предложить школьникам и их родителям выбирать облегченный и «углубленный» курс литературы, в которых будут осваиваться адаптированные и неадаптированные версии литературных шедевров.

При обязательном условии, что адаптацией будут заниматься высокопрофессиональные литераторы.

Удачные примеры известны.

Евгений Абдуллаев

Пригласите варвара

Прежде чем говорить о сохранении и популяризации классики, предлагаю немного задуматься о варварстве.

Есть варварство от невежества. Есть варварство от агрессии. Есть от безразличия.

Первого, от невежества, сегодня почти не встретишь. Даже в современных войнах памятники архитектуры и культурные объекты стараются по возможности не трогать. Современные варвары если и не особо образованны, то хорошо осведомлены. Талибы, взрывая в 2001 году бамианских будд, прекрасно понимали, что уничтожают памятник культуры (потому и взрывали). Монуменкторборцы, измазавшие летом 2020 года краской памятники Вольтеру и Ганди, тоже действовали вполне осознанно. Это варварство от скопившейся, зудящей и желающей выплеснуться агрессии. Причины могут быть разными: ресентимент, «комплекс Герострата», прочие комплексы.

И всё же самое печальное — варварство от безразличия. Самое массовое, самое внешне незаметное. Оно ничего не разрушает, не сносит и не сжигает. Разве что изредка, по безалаберности. Или из коммерческих соображений. *Nothing personal, it's just business.*

Оно разрушает — отсутствием интереса. Если говорить о литературе, — то не просто отсутствием интереса к чтению. Нет, читают. Читают, почитывают, проглядывают... Даже, возможно, больше, чем прежде: носители информации и сама информация стали доступнее. Изменилось не то, *сколько* читают, — а то, *что* читают, и главное — *как*.

Абдуллаев Евгений Викторович — поэт, прозаик, философ, литературный критик, педагог. Родился в 1971 году в г. Ташкент. Окончил философский факультет ТГУ. Преподаёт в Ташкентской Православной Духовной семинарии. Главный редактор журнала «Восток Свыше». Живёт в Ташкенте.

Что читают: как можно проще организованный текст. Минимум метафор, минимум описаний, минимум слов. Больше действия, желательно, стремительного. Больше информации, желательно, «горячей» и инсайдерской. Тогда, так и быть, почитаем.

Как читают: урывками, кусочками, немного с начала, нет, не понравилось, почитаю другое. Вариант: нет, не согласен и дочитывать не буду... но выскажусь. Недавний пример: возмущение по поводу текста одного литератора, начало которого разошлось по Сети в скриншотах. Зайти на страничку автора и дочитать текст до конца удосужились единицы. Их робкие голоса в защиту автора (поскольку остальная часть текста всё существенно проясняла) утонули в дружном гуле возмущения.

Герменевтический круг (часть понимаем из целого, целое — из части) сменился герменевтической круговертью. Чтение превращается в мелькание фрагментов, отрывков: здесь немного, там чуть-чуть.

«...Разве чтение множества писателей и разнообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоседливости? Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде — тот нигде. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, а друзей нет. То же самое непременно будет и с тем, кто ни с одним из великих умов не освоится, а пробегает всё второпях и наспех».

Сенека очень точно описал здесь тот феномен поверхностного, рассеянного и безразличного чтения. Нечто близкое мы наблюдаем и сегодня. Чтение, нацеленное не на понимание, а на некое блуждание ума. Да и «питать душу великими умами» (читай: классикой) желающих всё меньше. Каждый — сам себе ум. Разумеется, великий.

Каким может быть выход?

Думаю, что не в другой крайности. Не в уныло-казенном насаждении чтения, особенно классиков. Не в их музеефикации, умножении памятников и улиц имени кого-то. Не в музеефикации, архивации самого классического канона, отдании его целиком на откуп филологам и историкам.

Это, конечно, всё равно будет происходить. Всё это, в определенной мере, нужно. Но хотелось бы продолжить разговор о варварстве. Оно ведь может быть не только ядом, но и противоядием.

Я упомянул три вида варварства: от невежества, от агрессии и от безразличия. Однако может быть и четвертый: варварство креативное и осмысленное. Как сказал бы Шкловский: варварство как прием.

Варварство — это не всегда что-то чуждое, внешнее и исключительно враждебное культуре. Варварство — это часть самой культуры. Важный, хотя и травматичный механизм ее обновления.

Варвары, конечно, могут приходить и нападать откуда-то извне. Но, как правило, там и тогда, где сама культура теряет (либо уже почти потеряла) свою жизнеспособность, волю к расширению и развитию. Где она разваливается, рассыпается под грузом самой себя. Как в известном стихотворении Кавафиса «Ожидая варваров»: «И что же делать нам теперь без варваров?/ Ведь это был бы хоть какой-то выход». Вот именно.

Варвар может быть носителем иной культуры, иной религии. Кого только не обвиняли в разрушении Александрийской библиотеки. Христиан, мусульман... Современные исследователи рисуют более печальную картину. И более достоверную. С упадком классического образования в поздней античности библиотека разрушалась сама собой. Книги перестали читать и переписывать, а папирусные свитки долго не хранятся.

Раз речь зашла о библиотеках, то можно вспомнить здесь почти забытого швейцарского мыслителя Франсуа-Родольфа-Вейсса. В своих «Принципах философии, политики и морали» он предлагал уничтожить большую часть книг, хранящихся

в библиотеках. Книг огромное количество, писал Вейсс, и с каждым годом их становится всё больше. «Если бы мы удалили все повторы, всё лишнее, ложное, бесполезное или опасное, то оставить даже тысячную часть их было бы снисходительно». Когда в Берне из-за недостатка места для хранения книг встал вопрос о строительстве новой библиотеки, Вейсс предложил «быстрый и простой путь, который ничего не будет стоить». А именно: «сжечь, продать или раздать некоторые бесполезные книги».

Вейсс, конечно, рассуждал как варвар. Но варвар культурный; даже исключительно культурный. Сам он ценность книг, безусловно, понимал. Но понимал и другое: простое складирование книг, простое их хранение может оказаться бессмысленным, а в чем-то и вредным. Книги должны жить. Читаться, дариться, обмениваться; даже запрещаться и уничтожаться, в конце концов.

Креативным варваром был упомянутый Шкловский в лучшую свою, «опоязовскую», пору. Да и сам ОПОЯЗ. «Основной пафос нашей историко-литературной работы должен быть пафосом разрушения и отрицания...» Креативно-варварским был сам авангард — в литературе, в филологии, во всём. Призыв сбросить Пушкина с корабля современности был, думаю, для пушкинской поэзии нужнее, чем десятки позеленевших кучеряво-бакенбардных статуй. Сбросить с корабля можно труп или памятник; живое всё равно останется. И станет еще живее.

Как такое креативное варварство — в отношении литературной классики — может выглядеть сегодня? Противостоящее как варварству безразличия, так и варварству агрессивного уничтожения?

Активное осовременивание. Пути его не совсем понятны, поскольку не совсем понятно, что такое современность *сегодня* (всё больше напоминающее брежневское прошлое, только с гаджетами). Но попробовать можно и нужно.

Был, скажем, замечательный проект альтернативного учебника, «Литературная матрица». История литературы, которую пишут сами литераторы, — это всегда интересно и провокационно. Жаль, издатели остановились, и проект угас. Авторами альтернативных учебников по литературе могли бы стать не только писатели — но и журналисты, блогеры, режиссёры, богословы, политики...

Недавно, например, сборник «Лекции о русской литературе: от Пушкина до Кафки» (М.: InSpīgia, 2023) выпустил драматург и блогер Валерий Печейкин. Это умная и веселая книга. Адресована она как бы преподавателям (открывает ее глава «Письмо школьным учителям»), но, уверен, ее с интересом прочтут и старшеклассники. Печейкин работает как креативный варвар, а точнее, как креативный менеджер, пытающийся показать, что классика — не просто современна, но злободневна, полезна, необходима.

Классики у Печейкина меньше всего похожи на памятники. Достаточно просмотреть оглавление. «Пушкин как гениальный копирайтер». «Гоголь криповый и кринжевый». «Одоевский как мультипотенциал». И, конечно, Кафка. «Кафка как великий русский писатель».

«Раньше в школе ленивым ученикам говорили: “Кто за тебя это сделает? Пушкин?” Почему-то не спрашивали: “Гоголь?” Или: “Достоевский?” Сами подумайте, что за нас может сделать Достоевский.

Пушкин остается человеком, который продолжает за нас работать. <...> Пару лет назад, в начале эпидемии ковида, я зашел в метро и увидел там социальную рекламу. На баннере было написано: “Бросание перчатки может привести к непоправимым последствиям”. И нарисован Пушкин, бросающий перчатку. Реклама была очень ясной: надо носить не только маски, но и перчатки. Пушкина всегда зовут, когда нужно объяснить неприятную вещь. Ведь Пушкин — добрый милиционер.

Его зовут, когда нужно объяснить что-то новое. Например, создается в России нейросеть, которая умеет писать стихи. Чье лицо она получает? Конечно, Пушкина. Я знаю две российских нейросети, получивших имя нашего героя. Первая

“Ай да Пушкин”, вторая — Neural Pushkin. И обе сейчас не работают. А Пушкин продолжает работать».

В интервью Борису Кутенкову в «Учительской газете» (2023, № 40) Печейкин развивает эту мысль: «...Я регулярно делаю так: захожу на маркетплейсы и ввожу там имена Пушкина, Гоголя, Достоевского, Маяковского и так далее. И смотрю, что продается с их именами, кроме книг. Так вот, например, я выяснил, что “Маяковский” — это носки, парфюм и даже сорбет. Александр Сергеевич представлен, например, в виде салата “Пушкин”. Теперь я могу посадить своего “Пушкина” и вырастить, могу даже съесть его». «Получается, — уточняет интервьюер, — вы не считаете такой разговор о Пушкине вульгарным?» «Нет, не считаю. В конце концов это тоже поэтический акт — назвать именем классика салат или сорбет. Если с автором хочется играть, он жив».

Я тоже не считаю это вульгарным. Хотя определенная опасность подмены креативного варварства — всеядностью рынка (для которого «Пушкин» не автор, а просто имя, бренд) здесь присутствует.

«Игра с классиком» может идти не только по пути осовременивания классики, но и через осовременивание самой литературы, преподаваемой в школах. Увеличения в ней доли современной русской литературы. Классика — прекрасно, но слишком многое в ней нынешнему школьнику непонятно; прежде всего язык.

Столетие назад, в 1920-м, Брюсов писал, что у Пушкина архаизмов мало и что даже те, которые у него встречаются, не требуют пояснений. «Такие слова, как *брег*, *злато*, *сие*, *втуне*, хотя и вышли из употребления, большинству понятны». Возможно, *брег* и *злато* у современных школьников не вызовут вопросов, но вот насчет *сие* и *втуне* — уже не уверен.

Так что современный язык должен — наряду с древнерусским и «классическим» — отражаться в литературных текстах, изучаемых в школе. И современные проблемы. А значит, должна присутствовать и современная литература.

В конце прошлого года была робкая попытка дверь для современной русской литературы в школьную программу слегка приоткрыть. В «Федеральной образовательной программе среднего общего образования» были упомянуты несколько текстов современных русских авторов. Я об этом уже в «Дружбе» писал (2023, № 4), повторяться смысла нет. Разве что еще раз обращаю внимание на то, что в «Программе» совершенно отсутствует современная литература за пределами России; и не только современная: в ней не упомянуто *ни одного* произведения зарубежного автора последних лет семидесяти.

Я помню встречу с новосибирскими школьниками семь лет назад; ребята сидели вареные и вялые, пока не задал им вопрос, как бы они отнеслись к включению в школьную программу Джоан Роулинг. Всю вялость тут же сдуло. Большинство высказалось «за», кто-то — «против»... Я не любитель Поттерианы и не сторонник того, чтобы ее проходили в школе. Но подумать над тем, чтобы сделать изучение литературы в школе более гибким и чуть более сориентированным на самих школьников и их интересы, всё же стоило бы. И именно за счет современной литературы.

Современная литература — это тот контекст, в котором классика только и становится классикой. От которого она получает питание и все необходимые микроэлементы. Иначе она будет просто набальзамированным трупом. И чем неожиданнее и контрастнее будут эти современные произведения, тем, думаю, лучше. Хотя бы на уровне авторских программ преподавателей — от министерских программ такого креативного варварства вряд ли дождешься.

Есть во всём этом опасность? Безусловно. Но по сравнению с растущей опасностью варварства от безразличия, какой-то усталости от культуры, от чтения, от любой интеллектуальной сложности, креативное варварство — не только наименьшее зло, но и зло необходимое. И в чем-то даже симпатичное.

Ольга Гертман

Дети берутся через дырку в заборе

(Мега)рецензия в двух частях и двух постскриптах

Что делать с классиками — с их то есть классическими текстами — здесь и сейчас? Как их читать, а уж тем более — для чего (и как) их теперь перечитывать (ведь безнадежно же архаичны, разве нет?), с какими запросами к ним есть смысл обращаться, особенно если ты — не филолог-профессионал и быть таковым не собираешься, а замученный учителями школьник, и тебе всего-то пятнадцать лет — которые, все целиком, ты прожил в далёком от всех этих обязательных классиков XXI века, и все твои культурные установки и привычки, очевидности и потребности — совершенно другие, чем у авторов всех этих текстов, которые тем не менее от тебя зачем-то требуют знать, а филология тебя вообще не волнует, и ты никогда не будешь ей заниматься? Ну, это вопросы для юных читателей (они же — упорные нечитатели), а есть вопрос и для тех, чья профессиональная обязанность — их учить: что такое надо сделать с этими классиками, как их истолковать, как представить, чтобы они стали детям интересны и понятны — и оказались прочитаны?

Ответы на такие вопросы и стараются найти авторы ныне обозреваемых книг.

Юлия Яковлева. Азбука любви / Ил. Влады Мяконькиной. — М.: Самокат, 2018. — 208 с. — (Шлагбаум)

Ну, положим, автор «Азбуки любви» иногда всё-таки преувеличивает, и даже сильно. Например, отношения Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны из гоголевских «Старосветских помещиков» — уж никак не единственная история счастливой любви во всей мировой литературе. Впрочем, оставим читателям интригующую задачу поиска примеров, опровергающих это утверждение, и сосредоточимся на существе дела.

Книга Юлии Яковлевой, адресованная как подросткам, так и тем, кто уже счастливо преодолел этот жизненный этап, вышла пять лет назад, но на рассмотрение она просто напрашивается: такими здоровыми руководствами (так и хочется сказать — инструкциями) по пользованию классикой из школьной программы (да, именно и особенно из школьной программы, прекрасно умеющей отбивать всякое влечение к чтению и перечитыванию литературы как таковой и классики в особенности) сегодняшняя словесность уж точно не изобилует. Руководство, да, здоровое, — хотя и не без некоторого огрубления (которое, впрочем, скорее всего, действительно требуется в интересах дела).

Стремясь сделать классическую литературу актуальной для своих юных читателей, в отношении этих последних Яковлева занимает, кажется, наиболее гуманную позицию. О ужас, она разрешает им свободу! — вплоть до свободы не читать. Уже с первых страниц она заявляет нечто совершенно, казалось бы, скандальное: «Если читать вам не нравится, то и ладно». В конце концов, дерзко утверждает автор, «по мотивам многих хороших книг сняты вполне хорошие фильмы; есть отличные спектакли и гениальные оперы. И только очень глупые люди считают, будто любить кино (театр) больше, чем литературу, так же неприлично, как ковырять в носу». Да усваивайте вы, то есть, эту классику в любой удобной вам форме, хоть в виде компьютерных игр. Главное — усваивайте. Делайте своим то, что там сказано. Перенимайте опыт.

Тут, конечно, возникает соблазн и поспорить: в конце концов, литература — это совсем не только то, «что хотел сказать автор», но и то, как и почему именно так это сказано, и вообще большой вопрос, имеет она отношение к так называемой реальности или создаёт собственную... однако не будем отвлекаться. У Яковлевой есть совершенно отчётливая мысль, её она и развивает: художественная литература — это передача жизненного опыта, моделей поведения — уже кем-то до тебя отработанных и проверенных, — и потому к ней можно (нужно!) обращаться за помощью в трудную минуту (а трудных минут, как все мы прекрасно помним, у подростка сколько угодно; и огромная их часть связана с межчеловеческими отношениями, среди которых любовь — едва ли не первейшая; затем и азбука). «Нет такого несчастья, которое бы с кем-нибудь однажды уже не случилось. Нет такой беды, из которой хоть кто-нибудь бы не спасся. Потом они охотно делятся опытом и впечатлениями. С книгами о любви — то же самое. Всегда приятно осознавать, что кто-то уже ходил на свидания, целовался первый раз, стучаясь зубами, объяснялся в любви. Кого-то уже бросали, обманывали, отвергали. И ничего, не умер человек — а иначе кто написал эту книгу?»

В соответствии с такой позицией автор пересказывает некоторые тексты, ключевые для русской и европейской литературной традиции: «Первую любовь» Тургенева, «Женитьбу» и «Старосветских помещиков» Гоголя, «Макбета», «Отелло», «Ромео и Джульетту» Шекспира, «Кармен» Проспера Мериме, «Опасные связи» Шодерло де Лакло, «Бесприданницу» Александра Островского, «Анну Каренину» Льва Толстого, «Евгения Онегина» сами-знаете-кого — максимально человеческим языком, как можно более внятным и близким её юной аудитории. Настолько, что иногда чуть ли не слишком человеческим: «Дети иногда берутся через дырку в заборе». Так начинается пересказ «Первой любви». Дальше всё гораздо более конвенционально (а мы тем временем заметим, что происходящее в, так сказать, исходных текстах при этом изымается из породившей его среды — социальной, исторической и т.п. — с её подробностями и рассказывается так, что могло бы произойти когда угодно и где угодно): «Забор соединял две дачи и упирался в общую стену. Там росла ель, и мальчик легко спрятался под ее густыми ветвями. Потом устал ждать и замерз, ведь летом по ночам бывает прохладно. Он перебрался в развалившуюся оранжерею. Оттуда хорошо просматривался весь соседский сад и дом, где жила девушка. Мальчик уже знал, что она его не любит. Ему было всего шестнадцать, и, по правде сказать, ему не с чем было сравнивать: он любил впервые. Но все же, когда тебя не любят в ответ, это чувствуется и без всякого опыта. Мальчик не ошибался. Он чувствовал, что она любит другого». (Этот нетривиальный приём хочется назвать *ребеллетризацией* — написанием поверх классической канвы, по сути, нового беллетристического текста.) И далее — с забавной классификацией родителей (стоящих перед задачей объяснить своим детям, как же всё-таки размножаются люди: соответственно, родители бывают (1) застенчивые, (2) противно застенчивые и (3) непобедимо застенчивые; нет, ничего другого не бывает), с обильными отсылками к личному опыту возможного читателя, да и к собственному опыту автора («Всегда очень неприятно, когда твои родные взрослые

ведут себя как все обычные люди. Вот так я однажды застучала бабушку: она с аппетитом наворачивала шоколадные конфеты...»), что кажется, честно сказать, несколько избыточным и в обилии своём едва ли не вытесняет из внимания изначальный предмет обсуждения, ради которого предпринимаются все эти старания.

К счастью, автор довольно скоро возвращается к некоторым особенностям эпохи, породившей обсуждаемый текст: «...В XIX веке, когда Иван Тургенев написал свою повесть “Первая любовь” и еще примерно двенадцать томов, детей из дворянских семей не выпускали побегать во двор. А если выпускали, то с няней. Ребенок подрастал. Его выпускали с гувернанткой (если это была девочка) или с гувернером (если мальчик). Как правило, воспитатель был иностранцем...». В результате человек, доживший до почтенного возраста пятнадцати-шестнадцати лет, «ни разу не ел песок. Не ставил кошке клизму. Не кидал камнями в окно. Не лазил воровать яблоки. Не знал, что слезать с дерева гораздо труднее, чем залезть. Что разбитое колено лечится, если поплевать и приложить только что сорванный подорожник. И что тихий час в детском саду лучше всего провести, рассматривая по очереди, что в трусах у других девочек и мальчиков (тайком от усталой воспитательницы)...». Ну, насчет детского сада поверить ещё можно, относительно же всего остального... (а вот, скажем, дети Толстые — разных поколений — в Ясной Поляне с ее огромными пространствами для игр и прогулок неужели не испытали хотя бы что-то из этого?) Между прочим, опыт сегодняшних детей, растущих в большом городе и не выпускаемых на прогулки без присмотра, по крайней мере по части битья стёкол, воровства яблок и целительности подорожника — мало чем отличается. И раз уж мы о личном опыте: о ужас, автор этих строк, возраставшая в семидесятые годы минувшего столетия у московского метро «Университет», не испытала ничего, вообще ничегошеньки из перечисленного. О подорожнике, правда, была наслышана.

(Там ещё, вообще-то, много интересного. Например, как были устроены купе в поездах, ходивших при Тургеневе между Петербургом и Москвой, и кто стал первым в истории чемпионом мира по шахматам («чешский еврей из Австрии — Вильгельм Стейниц»; это, представьте, в связи с Ромео и Джульеттой), и как итальянки перекрашивались в блондинок во времена Шекспира, и, пуше того, даже об особенностях писательского поведения «человека, который подписывал свои пьесы “Шекспир”», — нужды нет, что совершенно неведомо, кто он такой: «Он сел за стол, открыл папку — там у него хранились листки, на которые он обычно выписывал все интересное, что попадалось. Полистал. Он надеялся пробудить писательский аппетит... <...> Шекспир устроился поудобнее, подвернул одну ногу. Он очень быстро писал», и, Боже мой, даже рецепт паэлья (буквально, список ингредиентов с точным весом в граммах и литрах) — это в связи с «Кармен», история которой приключилась, как мы помним, в Испании: «Мериме создавал свою новеллу вдохновенно, как паэлью». Ой.)

В целом же подход к классическим текстам предлагается предельно прагматический. Где-то даже утилитарный. (И каждая глава заканчивается «полезным советом», имеющим к литературе уж совсем косвенное отношение. Вроде, например, того, что любовные дела лучше обсуждать не с родителями, а с бабушкой, что, «если пульт от телевизора опять не на месте, уберите его сами. Не с пультом ведь жить, а с человеком...» — поверите ли, это — в связи с «Макбетом», — а на письма правильное всего отвечать прямо в день их получения. А то ещё, не приведи Господь, Онегин через несколько лет заявится, как к той Татьяне, объясняясь потом.)

Право, иной раз задумаешься и о важности дистанции между человеком и текстом — такой, которая преодолевалась бы усилием и, возможно, никогда не схлопывалась бы вполне. С другой стороны, при всех издержках *ребеллетризации* (где-то даже *гипербеллетризации*) и перенасыщения разговора о классике апелляциями к опыту, не слишком-то с нею связанному, действительно, не грех иногда дистанцию

и сокрушить (пусть иллюзорно!), — чтобы юные читатели не боялись классических текстов и чувствовали, что при всей своей классичности, инаковости, образцовости и что там ещё есть такого ужасного — это ещё и живые тексты о живых людях, таинственным образом имеющие отношение к каждому, и что с ними всё-таки возможно говорить на равных. А прелесть книги Яковлевой, которая нам это чувство возвращает, — в том, что у неё всё очень, очень — дерзко, незаконно и радостно — живое.

Алексей Олейников. Онегин. Графический путеводитель [для среднего и старшего школьного возраста] / Иллюстрации Натальи Яскиной — 3-е изд. — М.: Самокат, 2022. — 128 с.; Алексей Олейников. Горе от ума: Графический путеводитель [для среднего и старшего школьного возраста] / Иллюстрации Натальи Аверьяновой. — М.: Самокат, 2023. — 128 с.

Авторы графических путеводителей по русским классикам — ответственный за текстовую компоненту этого предприятия Алексей Олейников и художники, ответственные за сторону графическую, Наталья Аверьянова и Наталья Яскина соответственно — пошли по пути, намеченному в своей «Азбуке...» Юлией Яковлевой, ещё дальше (хотя, я бы сказала, в несколько другом направлении — гораздо более прямо: без отступлений в сторону личного опыта и общих рассуждений, в результате чего текст, в обеих своих компонентах, и буквенной и графической, получается весьма плотным, мускулистым) и поступили ещё радикальнее. Для тех упорствующих, кто, несмотря на все усилия заинтересовать их классическими произведениями, читать всё-таки отказывается (ну, скажем, плохо воспринимают люди написанное буквами, в зрительных образах им понятнее), — авторы наложили эти тексты на (притягивающие взгляд) картинки. Картинки-аттракторы.

Кстати, как сказано в самом начале грибоедовского путеводителя, созданного вслед за пушкинским (выдержавшим, между прочим, уже три издания!), «вместе они образуют мета-комментарий, который расширяет понимание эпохи Пушкина и Грибоедова и текстов, рожденных этой эпохой». Говоря о воздухе одного и того же времени, эти книги ведут диалог друг с другом. Так что смотреть — ну хотя бы листать — их правильнее всего одну за другой¹.

(И кстати же, хорошее название — «графический путеводитель»; куда лучше распространённого применительно к таким книгам слова «комикс», вызывающего в воображении нечто комическое — смешное — несерьёзное — забавное — легковесное... а тут такие ассоциативные цепочки пресекаются ещё до своего начала. В самом конце, правда — на четвёртой странице обложки, — это слово всё-таки мелькнёт: книга, говорят авторы «Онегина», «раскрывает особенности романа через комикс (Пушкин бы оценил!)». Ну ладно, на четвёртой-то странице обложки уже можно! Да, появится оно и в предисловии к грибоедовскому путеводителю: «Эта книга — полноценный комикс по пьесе “Горе от ума”, сопровождаемый историко-литературным и реальным комментарием». Но кто же читает предисловия!)

Работа, на которую отважились авторы, на самом деле — большая и весьма нетривиальная. Конечно, картинки в какой-то мере спрямляют восприятие, снимая с читательского воображения значительную часть работы (прелесть-то литературы в том, что человек по её указаниям, намёкам и обещаниям всё достраивает внутри себя сам, и это даёт мало с чем сравнимую свободу) и показывая ему, как-де всё выглядело «на самом деле». Однако, каким бы парадоксальным это ни показалось (хотя в сущности ведь ничего парадоксального!), авторы «графических путеводителей» двинулись

¹ А на подходе уже и третий путеводитель — по «Мёртвым душам». — *Прим. ред.*

в сторону не упрощения, как можно вообразить, конечного, предлагаемого к усвоению результата (даже при том, что сюжетная линия «Евгения Онегина» представлена ими в сокращении), но, напротив, — усложнения его, добавления ему измерений (картинка-то получается стереоскопическая!), насыщения его контекстами.

Скажем, сопроводили пересказ цитатами из современников — живыми голосами того самого времени, когда создавались комментируемые тексты. Обогатили его сопутствующими сведениями о том, каким, например, было мужское и женское образование в онегинское время (настолько разным, что рассказы о нем разнесены по разным главам), каковы были любовный этикет и альбомная культура; каков был в ту пору Петербург; как приняли роман современники, что повлияло на роман и на что повлиял он сам... Кроме того, каждому из путеводителей предшествует хронология, по годам расписывающая события комментируемых текстов — в том числе и те, что произошли за рамками сюжета, вплоть до дат рождения их героев: 1795 — год рождения Евгения Онегина, 1803 — Владимира Ленского и, видимо, Татьяны Лариной, 1811—1812 — окончание «ученья» Онегина и выход в свет... То же с «Горем от ума»: 1801 — год рождения Чацкого, вероятный год рождения Молчалина; 1805 — смерть отца Чацкого; 1818 — Чацкий начинает ухаживать за Софьей... Важно это тем, что вписывает происходящее в комментируемых текстах в живую реальную историю, повышая его подлинность (да и простую человечность: вот же, эти люди были сделаны из материала своего времени точно так же, как и те, что были рождены тогда во плоти). Сокращает дистанцию без фамильярности.

И анализ, серьёзный и глубокий, начинается в этих книгах с первых же страниц. Например, грибоедовский путеводитель Олейников открывает такими мыслями — очевидными и неожиданными одновременно: «“Горе от ума” в каком-то смысле двойник романа “Евгений Онегин”. У них много общего. В центре каждого из произведений — молодой неординарный человек, разительно выделяющийся из своего окружения. И Чацкий, и Онегин не могут найти себе места в обществе и потому бегут от него. Оба переживают любовную катастрофу. Даже имена авторов совпадают — и Грибоедова, и Пушкина зовут Александр Сергеевич. Но при всем сходстве есть множество отличий. Если “Евгений Онегин” — это роман в стихах, где мы следуем за прихотливым течением мысли автора и где Пушкин царит на каждой странице, то “Горе от ума” — пьеса, где Грибоедов отступает в тень, выдвигая вперед своих персонажей».

Авторы, конечно, не отказывают себе (и нам!) в удовольствии поддразнить читателя. «Вы поморщились?» — участливо интересуются они, пафосно представив создателя исходного текста: «Русофил, европеец, бунтарь, историк и литературный гений наш Александр Сергеевич милый подарил тяжеловесному имперскому орлу настоящий голос — современный русский литературный язык. А чтоб орёл не растерял его в войнах и погоне за модой, Пушкин бережно сложил сокровище в шкатулку — роман “Евгений Онегин”». И восклицают, поняв, что, конечно же, да: «Тогда вам точно нужна эта книга!». А затем обещают, что их книга «мгновенно снимает порчу школьного образования». Ну кто же не захочет проверить?

Всё-таки очень важно выбрать верную интонацию; мне кажется, у Алексея Олейникова это получилось. Весьма неплохое противоядие против слащавого пафоса и благоговейной идеализации (ближайших родственников скуки и безразличия), против расхожих стереотипов и верной их сестрицы — пошлости, которые чему уж точно не способствуют, так это пониманию.

Конечно, это — (ещё и) игра, многоуровневая, разноформатная — дающая, как всякая игра, чистую радость от самой себя. (Так, например, в проводники по роману Пушкина избран Агапит Косой-Босой — заяц, рассказывающий о себе следующим образом: «Происхожу я из старинного рода пушкинских зайцев, которые издавна обретаются в окрестностях сельца Михайловского. Исстари зайцы рода нашего

воспитывались на строках «Евгения Онегина». И весь остальной текст, стало быть, — перевод с заячьего. Ну, кроме пушкинских стихов... хотя, строго говоря, и тут ни в чём нельзя быть уверенными! — иначе как бы их читали зайцы?..) Но что же мешает игре работать на серьёзные результаты?

Кстати, в конце каждого путеводителя помещён «Краткий библиографический список» — ну совсем кратенький, к «Онегину» — всего-то в десять пунктов, к «Горю от ума» — в четырнадцать: книги по истории культуры, способные очень расширить, углубить, уточнить представление об увиденном в картинках (скажем, в список по «Онегину» входят и «Пушкин и его современники» Юрия Тынянова, и двухтомник «А.С.Пушкин в воспоминаниях современников», составленный Вадимом Вацуру с коллегами, и его же «С.Д.П. Из истории литературного быта пушкинской поры»; и комментарий к «Евгению Онегину» Юрия Лотмана, и совершенно обязательная, думается, для этой темы его книга «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)»; а в список по «Горю от ума», кроме того же «Пушкина и его современников» Тынянова и его же «Сюжета “Горя от ума”», — и «Старая Москва: Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы» Михаила Пыляева, и, с совсем другой стороны, «Новое платье империи: история российской модной индустрии, 1700—1917» современной американской исследовательницы Кристин Руан... Задача графических путеводителей — ещё и в том, чтобы (как всё-таки упорно кажется) дать прочувствовать недостаточность графического. Раздразнить воображение, соблазнить его: что же всё-таки такого написано этими буквами? Так что, дорогие нелюбители чтения, читать всё-таки придётся. Что-то мне подсказывает, что не пожалеете.

Постскриптум 1

Война и мир в отдельно взятой школе: Роман-буриме / Предисловие П.Басинского. — М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. — 381 [3] с. — (Проза нашего времени)

На первый поверхностный взгляд, «Война и мир в отдельно взятой школе», роман-буриме, написанный аж двадцатью четырьмя авторами (максимально разными, из разных поколений и даже из разных стран — но все они люди одной, русской, культуры, то есть с общими матрицами в голове — теми же самыми матрицами, что и ныне внедряются в головы учеников русских школ)¹ — не совсем или даже почти совсем не укладывается в русло рассуждений о том, как преодолеть нормальное ученическое сопротивление обязательной классике и сделать её частью их жизни. Это и явно не классика, и даже как будто вовсе не о ней. Это проза именно что «нашего времени», со своим собственным сюжетом, и все события происходят в условной современности, о которой классики, сколько помнится, ничего не писали (впрочем, так ли это — предстоит ещё по ходу чтения романа разобраться). «...Если коротко:

¹ Всё-таки будет справедливо назвать поимённо этих отважных людей. Не по алфавиту — по порядку глав: Денис Драгунский, Игорь Малышев, Григорий Служитель, Эдуард Веркин, Нина Дашевская, Алексей Сальников, Елена Нестерина, Мария Ботева, Александр Феденко, Анастасия Строкина, Сергей Лукьяненко, Валерий Бочков, Александр Григоренко, Булат Ханов, Антон Соя, Артём Ляхович, Ильгар Сафат, Дарья Бобылёва, Серафима Орлова, Владимир Березин, Евгений Сулес, Антонина Книппер, Николай Караев, Дмитрий Быков (позже внесённый в РФ в список иностранных агентов) — и примкнувший к ним автор предисловия Павел Басинский, высказавший важное в контексте этого номера «ДН» предположение: «Я прочёл это с улыбкой, но возможно, что подростки прочтут это иначе, вполне всерьёз». — *Прим. ред.*

ученики одной школы пытаются спасти ее здание, которое готовится под снос (как и весь район), чтобы на этом месте отец одной из учениц построил что-то вроде огромного торгово-развлекательного центра. Таким образом, детей не просто переместят в другие школы, но и расселят по разным районам. И они начинают бунтовать». (Адресовано это, конечно, ровесникам героев как ответ на их насущные тревоги и заботы.) Ну, актуальнее, казалось бы, почти некуда; какая ещё классика, и при чём тут она?

А ведь роман неспроста уже своим названием обыгрывает заглавие одного из неминусово-классических текстов. Так оно и дальше будет!

Прелесть в том, что текст насыщен (перенасыщен?) аллюзиями. Он практически весь состоит из отсылок разной степени явности — к текстам разной степени классичности (которые все в той или иной степени формируют те самые матрицы насущные, укоренением которых в головах по обязанности занимается школа). И не только из русской литературной традиции.

Тут, конечно, есть в наличии всё необходимое, чтобы заставить читателя следить за сюжетом да простодушно сопереживать героям (хотя и это дело хорошее, — одна беда: недостаточное). Но отдельное удовольствие — угадывать, что куда отсылает, и стараться понимать, для чего это делается, что всё это значит. В принципе, представима ситуация, в которой можно будет в таком угадывании и соревноваться — скажем, в классе на уроке: кто больше выявит.

Роман — чтобы быть полноценно воспринятым и пережитым — требует начитанности. Он взывает к ней. Он просто вынуждает растущего читателя её себе наработать, вообще — думать о ней, понимать, что она ценность. Догадываться, что такое общая символическая система некоторой культуры (классика — это ведь именно она!) и что даёт человеку всё более полное вступление в это символическое наследство.

Он, конечно, продолжает (намеченную всего более в «графических путеводителях») игровую линию — да-да, того самого приобщения подростков к классике, которым озабочены авторы двух основных частей нашей мегарецензии. Ну, заодно, если вдруг кто-то из начинающих читателей не знает, что такое буриме — в предисловии ему это подробно объяснят да ещё расскажут об истории жанра — и на европейской, и на русской почве. Тоже, в конце концов, классика.

Постскриптум 2

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. образ чацкого скачать бесплатно: пьеса // Дружба народов. — 2016. — № 11. = <https://magazines.gorky.media/druzhba/2016/11/obraz-chaczkogo-skachat-besplatno.html>

Что же касается пьесы Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, она — весьма выразительная иллюстрация к проблеме, которую мы обсуждали: взаимоотношения с классикой — уж конечно, навязываемой — её молодых, бурно растущих реципиентов, которым совсем не до того, что тшится вдолбить им нудная старая училка. «Уже пенсионного возраста, но еще крепка и авторитарна» — ну в точности как эти самые классики. Да, крепкие, да, авторитарные, но не пора ли им всем уже на пенсию?..

«ЗИНАИДА ПАВЛОВНА. Тема сегодняшнего урока (поворачивается к доске, пишет и параллельно диктует) — «Бессмертная пьеса Александра Сергеевича Грибоедова “Горе от ума”». Это произведение...

Зинаида Павловна продолжает что-то беззвучно говорить».

Но, конечно, никто её не слушает: в класс пришёл новый, блестящий, волнующе-таинственный ученик, которым, впечатлениями от которого, возможными

взаимоотношениями с которым все только и заняты. А тот, когда разгневанная училка требует дать «развёрнутую характеристику произведения», отвечает ну совершенно в духе новейших актуальных адаптаций классики для его ровесников, — разве что несколько более развязно, но, право, ненамного: «Ну, если выжать всю воду с соплями, в сухом остатке — приехал Чацкий, весь из себя понтовый, из-за границы. Девчонка его не дождалась, местные все тупые, он понимает, что пора валить... и валит. Всё!».

Между прочим, посрамить училку-зануду смелому молодому человеку на первых порах удаётся (а та и впрямь по многодесятилетней привычке громоздит один стереотип на другой, и неизвестно ещё, что лучше, — «весь из себя понтовый... пора валить» или «создавая характер этого персонажа [Молчалина], Грибоедов показал растлевающее влияние крепостническо-чиновничьей морали... Грибоедов сталкивает Чацкого как представителя нового и прогрессивного...», — вообще-то оба хуже). Более того, во всё возрастающее посрамление училкиной косности и в сопутствующий разрыв всех её мнившихся самоочевидными шаблонов он предстаёт своей восхищённой аудитории новейшим Чацким.

«ЗИНАИДА ПАВЛОВНА. Погоди! Если бы ты впитал в себя морально-нравственные идеалы, которые заложены в золотой фонд русской словесности, ты бы вел себя совершенно по-другому. Внимательно слушал бы старших, не перебивал. И не выпячивал бы свое мнение!

ДЖОРДЖ. Как Молчалин?

ЗИНАИДА ПАВЛОВНА (сбита с толку). А при чем тут Молчалин?

ДЖОРДЖ. Ну, это же он говорил: «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь?»

ЗИНАИДА ПАВЛОВНА. Нет, Молчалин — это... совсем другое. Я имею в виду, что не стоит дерзить людям старше себя, не стоит возражать им по поводу и без повода...

ДЖОРДЖ. Как Чацкий?

Класс давится смехом».

(Кстати, аудитория взволнована. «Комментарии: “Слышите он че реально чацкого читал???” , “скачать, что ли?”»)

А юный правдолюб всё напирает и напирает, — уже прямо от имени Чацкого: явился бы сюда Чацкий, что бы он вам сказал? — да вот: «Вы посмотрите на эти лица, вы серьезно думаете, что ваша болтовня про Грибоедова кого-то трогает? Да они или спят, или в телефонах по уши! Им ваша литература — как козе баян!».

Спойлеров не будет, но одного всё-таки не миновать: постепенно оказывается, что все эти ребята — не читавшие «чацкого» ввиду его глубокой неактуальности (или всё-таки читавшие? ну хоть пересказы?) — ведут себя в точности по грибоедовским моделям. Так сказать, классически. Сами они, конечно, этого не видят (один, впрочем, догадывается: «Мне кажется, если покопаться, то в любом можно найти немного Чацкого и немного Молчалина»). Не говоря уж о том, что одна героиня, совсем уж неожиданно для себя (и даже к собственному потрясению), в минуту, злую для неё, вдруг начинает изъясняться словами письма Татьяны к Онегину. С чего бы всё это?

Уж не с того ли, что классика растворена в воздухе?

Екатерина Дмитриева

Второй том «Мёртвых душ»: замыслы и домыслы

Фрагменты из будущей книги

На основе архивных данных и воспоминаний современников автор реконструирует один из самых загадочных сюжетов истории русской литературы: от зарождения замысла второго тома поэмы и сожжения рукописи — до мифов, мистификаций и стилизаций, вплоть до наших дней возникающих на этой почве.

Книга Екатерины Дмитриевой «Второй том “Мёртвых душ”: замыслы и домыслы» готовится к выходу в издательстве «Новое литературное обозрение» в серии «Научная библиотека». Мы благодарим издательство за предоставленную возможность познакомить с фрагментами книги читателей «ДН».

Предисловие

Гоголь был лгун. Вершиной романтического искусства считалось стремление открыть перед читателем душу и сказать «правду». Вершиной гоголевского искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека и от его лица разыгрывать романтический водевиль ложной искренности. Принцип этот определял не только творческие установки, но и бытовое поведение Гоголя. <...> Есть своеобразный курьез в том, что писатель, ставший знаменем правдивого изображения жизни в русской литературе, и в творчестве, и в быту любил врать.

Так начиналась последняя, уже надиктованная, статья Ю.М.Лотмана¹. Тезис о лгуне можно было бы и перефразировать: не лгун, но мистификатор, загадавший в своей жизни (и своей жизнью) немало загадок. Хотя, в случае Н.В.Гоголя, это почти одно и то же. Но, что примечательно, причины «страсти», или, если воспользоваться гоголевскими словами, «задора», уже первыми биографами назывались принципиально разные.

Для одних это было врожденное свойство гоголевского темперамента, его предрасположенности к карнавальной, ярмарочной стихии, которая дает себя знать не только в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», но и более поздних произведениях. И это представление удержится вплоть до работ М.М.Бахтина, Ю.В.Манна, Ю.М.Лотмана.

¹ Екатерина Дмитриева — доктор филологических наук, заведующая Отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН, член академической группы по изданию Полного собрания сочинений и писем Н.В.Гоголя, ведущий научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН.

Для других мистификации Гоголя представлялись, напротив, следствием глубокой скрытности его натуры, заставляющей его в различных как жизненных, так и творческих ситуациях «заметать следы». «Таинственным Карлой» называли его сверстники. Да и сам он за несколько месяцев до окончания гимназии писал матери: «Правда, я почитаюсь загадкою для всех, никто не разгадал меня совершенно»².

И, что важно, эта страсть к мистификациям распространялась у Гоголя на самые разные сферы. В первую очередь на бытовую, что на самом деле ставит перед исследователями его творчества острый вопрос о возможности использования его, в частности, писем и авторефлексии по поводу собственных произведений как *достоверного источника*. Однако нередко подобного рода намеренное «запутывание следов» встраивалось и в саму телеологию гоголевского творческого замысла, будучи зашифрованным в пространстве художественного текста³.

И все же одной из самых серьезных, интригующих и до сих пор не решенных (и нерешаемых) загадок в гоголевском наследии остается загадка второго тома «Мёртвых душ», апофеозом двукратного (по другой версии — трехкратного) сожжения которого стало полыхание огня в камине дома А.П.Толстого на Никитском бульваре в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года. Огонь уничтожил как будто бы уже совершенно готовую рукопись второго тома поэмы. Говорю «как будто бы», поскольку о существовании полностью законченного тома мы имеем весьма косвенные данные: туманные высказывания самого Гоголя и исполненные надежды пророчества его современников.

Противоречивой была и история обнаружения пяти глав второго тома, неравнозначных сожженным, но все же дававших некоторое представление о том, как должно было развиваться действие поэмы далее. Печаль, которую испытали друзья Гоголя при мысли о потере второго тома, постепенно стала сменяться некоторой, поначалу робкой надеждой на возможность его вновь обрести. Параллельно возникали домыслы и о тех людях, друзьях Гоголя и его доверенных лицах, в чьих руках мог все же сохраниться список утраченного текста. Однако те, кто пришел в дом А.П.Толстого на Никитском бульваре 21 февраля (день кончины Гоголя), никаких бумаг в его комнате не нашли. И отсутствие это было подтверждено документами Московской городской полиции об осмотре вещей Н.В.Гоголя. Шесть месяцев спустя, после вскрытия комнаты Гоголя, по-прежнему в ней особо ценных бумаг не обнаружили. И только несколькими днями позднее, вдруг, случилось неожиданное: бумаги Гоголя были найдены, и среди них — «Объяснение на Литургию» и черновые главы второго тома «Мёртвых душ». Кто конкретно обнаружил эти главы, у кого они хранились все шесть месяцев после кончины Гоголя, по сей день остается загадкой почти детективного свойства.

Особенность обнаруженных рукописей заключалась в том, что они состояли словно из двух слоев. Создавалось ощущение, что на каком-то этапе Гоголь начинал переписывать набело текст, попутно подвергая его не слишком значительной правке. А затем уже по этому тексту, видимо по прошествии некоторого времени, текст существенно переправил и дополнил, внося исправления и на полях, и между строк.

Когда С.П.Шевырёв, которому друзья Гоголя и его семья поручили расшифровку глав, стал готовить для печати текст второго тома, он в основном принял во внимание тот текст, который в рукописи прочитывался уже после внесенной в него правки. Понадобилось три года, чтобы получить разрешение этот текст опубликовать.

П.А.Кулиш, который готовил следующее издание, расслоил рукопись, сформировав таким образом две редакции: «первоначальную», которая прочитывалась по нижнему слою рукописи, и «исправленную», которая представляла собой верхний слой.

Но и с этим оказалось не все так просто. Казалось бы, «исправленная» версия в издании Кулиша (1857) должна была быть идентичной той, которую напечатал Шевырѣв в так называемом издании Н.Трушковского (племянника Гоголя) в 1855 году. Однако тексты выглядели как неидентичные. Помимо не прочитанных Шевырѣвым отдельных мест, которые впоследствии были разобраны, различие было вызвано еще и тем, что промежуточная правка, имевшаяся в рукописи, субъективно могла быть отнесена и к нижнему, и к верхнему слою. И каждый, кто заново пытался читать и расшифровывать гоголевские рукописи второго тома, предлагал свой вариант, не полностью совпадавший с предыдущим.

Собственно, в этом кроется и причина той мифологии, что возникла вокруг второго тома и не прекращает вокруг него самовоспроизводиться. Советская текстологическая традиция, предполагающая обязательную выработку «белового» или «окончательного» текста, ситуацию только усложнила. С легкой руки Шевырѣва статус белового (канонического) текста был придан верхнему слою рукописи, который читателю, с рукописью Гоголя незнакомому, стал представляться как отражающий некий беловой манускрипт. Нижний же слой стал попадать в раздел «Других редакций» и подавался как черновой⁴. И оттого стало казаться, что рукописей второго тома «Мёртвых душ» существует несколько.

Не решило эту проблему и последнее академическое издание, в котором, правда, «основная редакция» (в отличие от большинства предыдущих изданий) дается по нижнему слою, а черновая — по верхнему⁵. Но принципиально положения дел это не изменило.

Подобная текстологическая аберрация (бывшая, разумеется, следствием соображений самых благородных — и во благо читателя, которого не хотелось запутывать вопросами слишком специальными и частными) стала причиной и дальнейших — вольных и невольных — фальсификаций. Стоило только кому-то обнаружить в архиве или в частной коллекции новый список второго тома (а их в общей сложности, как будет показано дальше, существует множество), он сразу же воспринимался как сенсация. И это потому — что идеального совпадения с печатным текстом в списках не обнаруживалось.

<...> Желание додумать и дописать за Гоголя второй и, возможно, третий том получает оправдание в самой истории текста. И в истории его обнаружения. И в истории бытования. Как выясняется, именно второй том «Мёртвых душ» стал одним из наиболее мощных смыслопорождающих текстов русской литературы. О том свидетельствуют возникавшие в разные годы мистификации и стилизации, в которых незавершенность гоголевской поэмы оставляла широкое поле для «применений» и перенесения действия в новые времена — эпоху нэпа, советской России, сталинских лагерей и пр. Начало подобного рода «дописываниям» было положено романом А.Е.Вашенко-Захарченко «Мёртвые души. Окончание поэмы Н.В.Гоголя. Похождения Чичикова» (1857). А едва ли не последним, очень ярким тому примером является роман В.Шарова «Возвращение в Египет. Роман в письмах» (2013), в основу которого лег замысел показать трагическую историю XX века как результат «недоговоренного, недосказанного откровения» гоголевской поэмы.

Глава 5. Мистификации и стилизации на тему «Мёртвых душ»

Первая реконструкция А.М.Бухарева и первые мистификации Лах-Ширмы и Ваченко-Захарченко

Неоконченность произведения, а также циркулировавшие после смерти Гоголя слухи о том, что второй том поэмы все же сохранился, естественно породили попытки дописать «Мёртвые души». Среди них были и прямые мистификации, и гипотетические версии окончания поэмы. Были и стилизации.

Автором первой «реконструкции» второго тома, выполненной еще при жизни Гоголя, стал уже не единожды упомянутый в этой книге архимандрит Феодор (А.М.Бухарев), в письмах к Гоголю 1848 года предложивший свою версию продолжения. Ее узловыми моментами были: раскрытие в губернском городе «дела о мертвых душах <...> с значением, пожалуй, не просто уголовного, но и государственного преступления», изобличение Чичикова и его последующее прозрение как отправная точка воскрешения к новой жизни:

*...и Павла Ивановича найдут, куда бы он ни заехал в беспредельном русском царстве... <...>, и он понесет такое страдание, которое может пасть только на его пробужденную натуру. <...> И кто знает будущее? Кто может положить предел творческой вседержавной Любви, если она не напрасно соблюла и в душе Павла Ивановича некоторые возможности к ее оживлению, которые уже резко обозначались прежде?»*⁶

В этом оживлении души Чичикова Бухарев отводил важную роль (в соответствии с тем, что Гоголем было «предначертано» в первом томе) «чудной русской девице», способной ответить на «небывалое страдание» «неслыханным, необыкновенным состраданием»⁷, но также и «житейской положительности» Чичикова, его «главной духовной пружине»:

*...надо, чтобы душе его открылась возможность высшего, разумного, высоко-христианского и в житейском хозяйстве, чтобы <...> увидел он у себя и честные к такому хозяйству средства, и помощницу, какой он и не воображал в своих прежних мечтах о детской...»*⁸

Преображение Чичикова должно было повлечь за собой череду чудесных «оживлений» и прочих героев первого тома:

...подвигнется он взять на себя вину гибнущего Плюшкина, и сумеет исторгнуть из его души живые звуки, скажет сраженной скорбью Коробочке доброе и живительное слово, как, в самых хлопотах бережливого ее хозяйства, вести для себя и своих крестьян еще иное лучшее хозяйство, и поникшего Собакевича поднимет к доступному его душе русскому православному здравомыслию, которому не помеха — и внешняя грубость, и русский желудок, и присмиревшему Ноздрёву укажет достойное поприще его удали, и Маниловой укажет средства укрепнуть в духе самой и мужа укрепить, и обоим им укажет сторону во всяком предмете, достойную дельного сочувствия, и все городское общество подвигнет к лучшему. <...> и Селифан, всегдашний зритель всех этих событий, проснется от усыпления со своей прекрасной натурой <...>. А глядя на него освежает и Петрушка»⁹.

Письма А.М.Бухарева и соответственно его версия возможного продолжения «Мёртвых душ» стали известны читателю лишь в 1860–1861 годах¹⁰. За это время появились «додумывания» поэмы иного рода, среди которых мы находим и прямые мистификации. В определенной степени так можно охарактеризовать перевод первого тома «Мёртвых душ» на английский язык, анонимно опубликованный в Лондоне в 1854 году в двух томах под заглавием «Home Life in Russia. By a Russian Noble. Revised by the Editor of "Revelations of Siberia"»¹¹. О том, что текстом, который лег в основу

«Домашней жизни в России», были на самом деле «Мёртвые души» Гоголя, сообщил лондонский журнал «Атенеум»¹².

Уже само название книги вводило читателя в заблуждение, ориентируя на восприятие ее как бытовой картины российской жизни. В предисловии «От издателя» сообщалась фантазийная ее история:

*Произведение написано русским дворянином, предложившим издателям рукопись на английском языке; задача редактора сводилась к исправлению словесных ошибок, которые вполне естественны для того, кто пишет на чужом языке*¹³.

Причина сокрытия имени автором объяснялась опасением, что в России труд его мог бы послужить разве что «пропуском» (*passport*) в «сибирские дебри». В остальном разночтения с оригиналом сводились к тому, что анонимный переводчик (он же, по-видимому, издатель, за маской которого скрывался профессор философии Варшавского университета Лах-Ширма (Krystyn Lach-Szyrma; 1791?–1866))¹⁴ добавил к первому тому поэмы Гоголя дополнительную концовку. Комиссар полиции останавливал в финале выезжавшего из города Чичикова, вручал ему документ, от которого Чичиков делался бледным как смерть, и пересаживал его в мрачную повозку, которая называлась «Сибирская кибитка».

«Домашняя жизнь в России» получила и в самой России некоторый отклик в год появления в печати второго тома «Мёртвых душ». О казусе анонимного перевода вскользь вспомнит впоследствии также Владимир Набоков в «Лекциях по русской литературе»¹⁵.

Три года спустя после появления английской мистификации в Киеве вышла книга «Мёртвые души. Окончание поэмы Н.В.Гоголя Похождения Чичикова» (1857), изданная украинским литератором А.Е.Вашенко-Захарченко, который, в отличие от своего английского предшественника, авторства отнюдь не скрывал. Книга включала в себя 10 глав (350 с.).

Используя известный литературный прием, вошедший в моду со времен Л.Стерна и В.Скотта¹⁶, Вашенко-Захарченко в предисловии к книге, построенном как письмо Чичикова к автору, заявлял о себе как о друге Павла Ивановича Чичикова, на которого гоголевский герой возложил миссию завершения поэмы, пообещав содействовать ему своими рассказами:

*Павел Иванович Чичиков, узнав о смерти Н.В.Гоголя и о том, что его поэма, Мёртвые души, осталась неоконченною, вздохнул тяжело и, дав рукам и голове приличное обстоятельству положение, с свойственною ему одному манерой сказал: похождения мои — произведение колоссальное касательно нашего обширного отечества, мануфактур, торговли, нравов и обычаев. Окончить его с успехом мог один только Гоголь. Родственники генерала Бетрищева просили меня письменно уговорить вас окончить Мёртвые души. Из моих рассказов вам легко будет писать, а как я вдвое старше вас, то вы верно будете видеть, чем кончится мое земное поприще. Исполните же просьбу генерала Бетрищева и его родных. Я знаю, что они первые будут ругать вас; но я утешу вас мыслию, что окончание Мёртвых душ будет не только приятно, но и полезно в геморроидальном отношении*¹⁷.

Книга, обильно насыщенная цитатами и реминисценциями из первого и второго томов поэмы, а также из повести «Нос» и других произведений Гоголя, начиналась с того момента, на котором обрывалась история главного героя в сохранившейся рукописи второго тома: Чичикова освобождали из острога. Далее герой продолжал объезжать помещиков, имена которых Вашенко-Захарченко попытался (впрочем, не слишком удачно) стилизовать под Гоголя (Брухин, Медяников, Скремборабов, Плевакин, Распузин и др.) и которые сами напоминали известных гоголевских героев. Как писал впоследствии критик, «помещик Медяников, например, — чистейший сколок с Плюшкина», «прожившийся дворянин Кашемиров — эксцентрик и пьяница совсем во вкусе Ноздрёва», одна из невест Чичикова Неонила Тюлепнева — «засидевшаяся дева, мечтающая о замужестве», «некоторое подобие “дубинноголовой” Коробочки»¹⁸.

Вашенко-Захарченко слегка подправил и телеологию чичиковских путешествий. «Предлогом поездки» нового Чичикова «по географическому пространству» России стало теперь не только посещение «родственников генерала Бетрищева», но и потребность «увидеть треволнения света, взглянуть на отечественные фабрики и мануфактуры»¹⁹. Понятно, что герой занимался попутно продажей скупленных мертвых душ, «приобретением теплого уголка»²⁰ и поиском удачной партии.

Поворот в сюжете наметился лишь ближе к концу книги, когда Чичиков, продав часть мертвых душ и получив «небольшой капиталец», женился на дочери городничего Машеньке. Однако дальнейшее счастливое «приращенье» семейства: появление «двенадцати штук канальчонков»²¹, похожих на Чичикова, в именах которых он начал путаться, а также превращение Машеньки в толстую Марью Платоновну, в «Бог знает что», — все менее радовало Чичикова. К концу жизни он и вовсе осознал, что истинной его жизнью была лишь та, когда он общался с Бетрищевым, Маниловым, Плюшкиным, Собакевичем, Ноздрёвым, Настасией Петровной, «моей дорогой Коробочкой»²². А истинными его детьми, о которых он вспоминал и в предсмертном бреде, были те самые мертвые души, чей покой он «потревожил <...> в сырых могилах»²³.

При весьма низком художественном уровне книга Вашенко-Захарченко стала ранним примером того истолкования гоголевской поэмы, которое получит широкое распространение уже в XX века: плутовство главного героя представляло в ней как наиболее яркая сторона этого образа. В то же время сентиментальная мечта о семейной жизни в окружении жены и детей, которая в сознании Чичикова это плутовство отчасти оправдывала (вспомним реконструкцию поэмы А.М.Бухаревым), дискредитировалась, обнажая свою банальную и вместе с тем трагическую сторону.

Единственным прижизненным откликом на книгу Вашенко-Захарченко стала резкая рецензия на нее Н.Г.Чернышевского, где критик, в частности, высказал сомнение в том, что автор поставил на книге свое подлинное имя.

Что это за подделка, являющаяся так нагло? Что это за г. Вашенко-Захарченко, так дерзко заимствующий для своего изделия заглавие книги и имя Гоголя, чтобы доставить сбыт своему никуда не годному товару. <...> Если имя «Вашенко-Захарченко» не настоящая фамилия автора подделки, от которой мы предостерегли читателя, <...> а псевдоним, мы очень рады тому: автор подделки или раскаивается уже, или скоро будет раскаиваться в своей наглости, — если «Вашенко-Захарченко» псевдоним, автор, быть может, успеет укрыться от посрамления, переселиться куда-нибудь в такой уголок, где не знают подлинной фамилии, скрывшейся под псевдонимом; если же «Вашенко-Захарченко» — не псевдоним, а подлинное имя человека, сделавшего эту недостойную дерзость, мы искренно сожалеем о его судьбе: он своею безрассудной наглостью навек испортил свою репутацию»²⁴.

«Карикатурными подделками» под гоголевских персонажей, разрушением завязанной Гоголем интриги назвал книгу Вашенко-Захарченко в первые годы XX века публицист и библиофил А.А.Измайлов, сделав при этом оговорку, касающуюся заложенной в книге, но так и не реализованной возможности:

Если бы в авторе было больше уменья и дарования и его повествование стояло ближе к правде жизни, — роман был бы резким протестом против крепостного права»²⁵.

То, что не мог или не хотел себе позволить Гоголь в конце 1840-х годов, стало, по мысли Измайлова, делом вполне естественным накануне крестьянской реформы. И действительно, почти все герои Вашенко обличаются в преступном обращении с крестьянами. Но чтобы по-настоящему выразить протест, автору надо было бы изображать живых людей, а не «ходячие манекены»²⁶.

В другой своей статье, где тоже речь зашла о романе Вашенко-Захарченко, Измайлов высказал предположение, что в книге могли найти отражение «предания о том, как Гоголь хотел закончить свою поэму», сохранившиеся «спустя пять лет после его смерти и в тех местах, где у Гоголя было много земляков»²⁷. Никакого подтверждения этому тезису он не дал.

Новые отрывки и варианты второго тома: обман, в который поверили многие

В трёх первых попытках «дописать» «Мёртвые души» вольно или невольно была задана та парадигма продолжения поэмы, которая с некоторыми вариациями и в различных комбинациях воспроизводилась и в дальнейшем. Основными ее компонентами стали: *наказание* Чичикова за мошенничество с последующим его перемещением в Сибирь; *преображение* Чичикова (как и других героев поэмы) как следствие понесенного им(и) наказания; домысливание того, *чем могли бы стать Чичиков и другие герои поэмы* применительно к иным временам и иным обстоятельствам.

Особое место в истории стилизаций, мистификаций и подделок²⁸ на тему «Мёртвых душ» занял эпизод с «Новыми отрывками и вариантами» гоголевской поэмы, присланными бывшим директором училищ Могилевской губернии М.М.Богоявленским в редакцию журнала «Русская старина» и там опубликованными²⁹.

Публикацию «отрывков», которые на самом деле представляли собой видоизмененные первые три главы второго тома, сопровождало редакционное пояснение. Из него следовало, что материалы эти были получены М.М.Богоявленским от Н.Ф.Я—го (Ястржембского), которому, как утверждалось, их подарил Н.Я.Прокопович <...>

В предуведомлении перечислены были и отличия новонайденных отрывков от известного уже печатного текста: «совершенно новые эпизоды» в рассказе о службе Тентетникова, его столкновение с начальником отделения Леницыным, его арест, рассказ дяди Тентетникова, действительного статского советника, о графе Сидоре Андреевиче.

В отрывках была также подробно прописана речь, с которой Тентетников обращался к крестьянам по приезде в деревню, и рассуждения о нем мужиков и баб. В главе II появлялись «размышления Бетрищева о службе и о “подлецах”», которые ее продолжают; замечание его о Михайловском-Данилевском», сватовство Чичикова у генерала Бетрищева его дочери Улиньки за Тентетникова, описание обеда Чичикова у Бетрищева, возвращение Чичикова к Тентетникову; рассказ его о визите к Бетрищеву, о сватовстве, об истории генералов. В главе III присланная рукопись имела «ненапечатанные подробности о предобеденной закуске у Петуха» и о сне, который привиделся Чичикову³⁰. Завершался присланный в редакцию текст выражением уверенности в том, что хотя найденные отрывки и «незначительны по объему, но в них искрится неподражаемый, умерший с Гоголем юмор, поразительная меткость выражения и художественное воспроизведение лиц, местностей, всего, до чего только касалась кисть гениального мастера»³¹.

На публикацию в «Русской старине» первым откликнулся анонимный рецензент³². Перечислив отмеченные журналом расхождения новых текстов с уже известными, критик выделил «лучшие места» «Отрывков» («сватовство Чичикова и рассказ о нем Тентетникову»), в которых «виден прежний Гоголь, Гоголь первой части *Мёртвых Душ*: «Чичиков в деле сватовства, со своими блестящими импровизациями в пользу Тентетникова, которого он возводит в историографы генералов, — прелестен»³³. Другие же эпизоды, вошедшие в биографию Тентетникова (ссоры его с начальником, приезд в деревню и проч.), были охарактеризованы как очень «слабые» и «бледные»: «Придуманно может быть и не дурно, но ничего не вышло»³⁴.

Не усомнился в принадлежности отрывков перу Гоголя сотрудник журнала «Вестник Европы» В.П.Чижов³⁵. Назвав их «нежданным открытием», проливающим свет на внутреннюю жизнь и творчество Гоголя в последний период его жизни, он увидел в них «дальнейшую выработку последнего (второго) списка», редакцию более позднюю, чем уже опубликованные:

...это всего яснее видно из отрывка 3-й главы, где в известное описание приезда Чичикова к помещику Петуху введены новые эпизоды о закуске Петуха, о сне Чичикова, превосходно дорисовывающие этот мастерской этюд³⁶.

Расхождения между «отрывками» и печатной редакцией свидетельствовали, по мнению Чижова, об отходе позднего Гоголя от тенденциозности:

*Ясно должно было стать, что для успеха его поэмы необходимо было выбросить из нее тенденциозную подкладку <...>. Вновь найденные отрывки первых глав 2-го тома замечательны тем, что обнаруживают перед нами работу <...> в этом направлении. <...> Всюду обнаруживается стремление к простоте и естественности, даже в обрисовке характера Уленьки устранены лишние восклицания и напускные восторги...*³⁷

А главное — напечатанные отрывки будто бы демонстрировали изменение гоголевского умонастроения под влиянием известного письма В.Г.Белинского, «личное раздражение» Гоголя против которого к тому времени уже «улеглось»³⁸:

*Счастливый случай не ранее как через двадцать лет по смерти великого писателя дал нам возможность заглянуть в его душу и прозреть луч света среди окутавших его сумерек*³⁹.

С мнением Чижова позднее солидаризировался и А.Н.Пыпин, говоря о том, что последние работы Гоголя над вторым томом уже отступали от направления «Переписки» в другую, лучшую сторону; ему объяснились хоть некоторые стороны нового образа мыслей, к которому он, вместе с петербургскими друзьями, относился прежде с таким высокомерием и враждой⁴⁰.

В «Новых отрывках и вариантах» Пыпин усмотрел «третью редакцию» второго тома, «быть может, ту самую, о которой Гоголь в 1850 говорил М.А.Максимовичу, что “с нее туман сошел”...» (см. с. 00 наст. изд.): в рассказе являются новые эпизоды, а из прежних исчезают те подробности, которые Гоголь «рассчитывал для своих тенденциозных целей»: нет удивительной школы, где преподавалась «наука жизни», Тентетников «уже не предается мечтаниям о патриархальном значении и высоком смысле помещичьей власти, и в нем скорее можно видеть человека с новыми понятиями»⁴¹.

Дальнейшие события развивались следующим образом. Спустя несколько месяцев после появления хвалебной статьи В.П.Чижова и почти год спустя после публикации обсуждаемых текстов в «Русской старине» редакцией этого журнала было получено письмо от самого Н.Ф.Ястржембского, датированное 31 октября 1872 года. В нем он высказывал удивление фактом напечатания «Отрывков» без его ведома, выразив при этом сомнение в их подлинности. В ответ на просьбу редакции журнала «разъяснить основания такого предположения» он представил несколько месяцев спустя, в письме от 13 февраля 1873 года из Могилёва, совершенно иную версию событий, чем та, которая была изложена М.М.Богоявленским:

Отвечаю откровенно: варианты эти написаны мною тринадцать лет тому назад; никогда не предназначались к печати и написаны по особому случаю. <...> В 1859 г., проживая в Могилёве, я был коротко знаком с М.М.Богоявленским. В дружеских беседах мы с ним часто спорили о наших литературных знаменитостях. В одной из подобных бесед зашла речь о Гоголе. Оба мы, и М.М. <Богоявленский>, и я, принадлежим к числу страстных поклонников Гоголя; но М.М. восторгался им безусловно, а я, признавая Гоголя великим писателем за первые его литературные произведения, и в особенности за 1-ю часть «Мёртвых Душ», негодовал за его «Переписку с друзьями» и за 2-ю часть «Мёртвых душ». Помнится, что раз, в оживленном споре, я сказал, что нахожу 2-ю часть «Мёртвых душ» крайне неудачным продолжением первой. Я прибавил, что у меня есть переделка трех первых глав 2-й части, гораздо удачнее произведения Гоголя, и что М.М. не узнает, Гоголь ли это писал или кто другой. М.М. пожелал видеть эту переделку, и я обещал ему отыскать ее в хламе старых бумаг.

У меня была рукопись 2-й части «Мёртвых душ» в том виде, в каком впоследствии она напечатана; и я, недовольный этой 2-ю частью, переделал три первые главы ее и сообщил М.М. Он прочел и объявил, «что это не подделка под Гоголя, а сам Гоголь». Я уверял его в противном; он стоял на своем и сказал, что я грешу тем, что, имея у себя такую драгоценность, не предаю ее печати. Я отвечал, что, дорожа именем Гоголя, я не осмелюсь никогда выдать за гоголевское то, что принадлежит чьему-то досужаемому перу. «Так подарите мне эту рукопись: я ее напечатаю». — «Подарить не могу, а списать копию можете, но с условием: никогда не печатать».

Текст этого письма, опубликованный в журнале «Русская старина», стал известен широкой общественности лишь в августе 1873 года⁴².

А между тем 22 февраля 1873 года редакция «Русской старины» получила еще одно письмо от Н.Ф.Ястржембского, к которому он приложил «рукопись 2-й части «Мёртвых душ»»⁴³. Она представляла собой сделанный им список с якобы переданной ему Н.Я.Прокоповичем «для списания» второй части поэмы, в который были внесены его собственные дополнения. Присланный текст совпадал с тем, что был напечатан в 1872 году в «Русской старине», однако следов вставок или переделок, кроме исправления немногих опечаток, он не содержал и в том же году был Ястржембскому возвращен⁴⁴.

В июне 1873 года, еще до появления редакционной статьи в августовском номере «Русской старины», Семевские, выступив на этот раз под собственными именами, обнародовали в «Санкт-Петербургских ведомостях» все сведения, полученные ими от участников событий, но каких-либо однозначных выводов об авторстве «Отрывков» не сделали⁴⁵.

Ястржембский откликнулся на эту публикацию, а также на статьи Чижова и Пыпина еще одним письмом (от 2 июля 1873 года); в нем он вновь признал «Отрывки» мистификацией. В качестве дополнительного довода был выдвинут следующий:

...если бы статья моя была списком с чьей-либо рукописи, неужели в течение 13-ти лет не нашелся бы другой список этой рукописи?»⁴⁶

В защиту своей версии автор привел еще несколько подробностей о генезисе сцен, добавленных им во вторую часть, которую он хотел сделать «достойным продолжением первой»:

Я вставил известный в свое время всему Петербургу анекдот о графе Сидоре Андреевиче, случившийся в 1854 году, т<о> е<сть> после кончины Гоголя. Я заставил генерала Бетрищева сказать о <А. И.> Михайловском-Данилевском то, что вместе со многими слышал в Витебске за обедом в 1856 году от одного генерала, участвовавшего в Отечественной войне <...>, я описал завтрак у Петра Петровича Петуха со сцены, которой, вместе с другими, был свидетелем здесь, в Могилёве, у одного барина-сибарита, любившего плотно поест и угостить и хваставшегося тем, что он не знает, что такое скука; я дополнил недосказанное у Гоголя примирение Тентетникова с Бетрищевым и сватовство Чичикова. Одним словом, я, а не кто другой, написал варианты, напечатанные в «Русской старине»⁴⁷.

При этом причину того, что он не печатал имевшиеся у него материалы вплоть до 1872 года, Н.Ф.Ястржембский объяснял тем, что анекдот о графе Сидоре Андреевиче «мог быть принят <...> за характеристику весьма некогда известного <...> вельможи, но за несколько лет до своей смерти оставшегося “не у дел”»⁴⁸.

Летом 1873 года, после сообщения о подделке гоголевского текста, на журналистов «Вестника Европы», считавших «Отрывки» подлинными, «обрушились ирония и удары газетных фельетонистов» и обвинения в тенденциозности⁴⁹. Ястржембский, со своей стороны, тиражировал в это время в прессе письма, в которых решительно признавал собственное авторство и давал объяснения (нередко противоречивые) мотивов и обстоятельств подделки. В частности, изменения, внесенные им в текст поэмы, он объяснял следующим образом:

Я исключил из 2-й части «Мёртвых душ» похвальный гимн образцовому наставнику Тентетникова, унижавшему и оскорблявшему своих питомцев, с гнусною целью приучить их терпеливо и позорно переносить все унижения и оскорбления, какие могут им встретиться в жизни. У меня нет недоучившегося студента с зловредным либеральным направлением, которого Гоголь вывел на сцену, делая намек на Белинского, озлобившего его против себя известным зальцбрунским письмом. Я заставил Тентетникова остановить крестьян, пришедших к нему с рабскими поклонами, и произнести речь (конечно, для них непонятную) о человеческом достоинстве, о том, что он — такой же человек, как и они; что человек обязан уважать себя и не унижаться перед равным себе существом⁵⁰.

В развернувшейся дискуссии принял участие Г.П.Данилевский. Он утверждал, что «Отрывки» написаны самим Гоголем, поскольку в них «лакуны» сохранившихся списков второго тома заполнены эпизодами, известными ему по рассказам лиц, присутствовавших при авторских чтениях поэмы: это и «анекдот о милостивых побранках графа Сидора Андреевича», и «разговор Чичикова с Бетрищевым» о военном историке А.И.Михайловском-Данилевском⁵¹.

Эта же особенность «подделки» обсуждалась в августовском номере «Вестника Европы»: обнаружив сходство одной из «вставок» (рассказа о примирении Тентетникова и Бетрищева) с соответствующим фрагментом воспоминаний Л.И.Арнольди, автор статьи, скрывшийся под псевдонимом Д., посчитал вероятным, что Ястржембский мог присвоить себе гоголевский текст⁵². Кроме того, критик указал на большое количество неточностей в «признании» Ястржембского, мешающих принять его версию⁵³.

Сам Ястржембский стал объяснять подобные совпадения тем, что в рукописи, которую он исправлял и дополнял, имелось «несколько пробелов», и на некоторых «была набросана как бы программа недосказанного»; из нее в написанные им варианты могли попасть отдельные слова⁵⁴.

Одна из версий, объясняющих появление «Отрывков», была высказана в августе 1873 года князем Д.А.Оболенским, который, как мы помним, слушал главы второго тома поэмы в чтении Гоголя и позже принимал участие в хлопотах по изданию собрания сочинений 1855 года. Сам Оболенский был уверен, что варианты «Мёртвых душ», опубликованные в «Русской старине», «писаны не Гоголем», и очень правдоподобно объяснил их происхождение:

Не касаясь здесь содержания этих вариантов и слога их, носящих явные признаки неудачной подделки под манеру Гоголя, — материально невозможно, чтобы в чьих-либо руках могла находиться рукопись II-й части «Мёртвых душ», не согласная с теми вариантами, которые изданы были в 1855 году Трушковским, а впоследствии г. Кулишом. <...> главы 2-й части «Мёртвых душ» ходили уже по рукам в списках, в значительном числе экземпляров, еще прежде появления их в печати. Бывший в руках г. Ястржембского экземпляр, очевидно, был тот самый первоначальный список, который издан в 1855 г. На нем, действительно, после 2-й главы написано было карандашом (в скобках): «Здесь пропущено примирение генерала Бетрищева с Тентетниковым; обед у генерала и беседа их о 12-м годе; помолвка Улиньки за Тентетникова...» <...> Г. Ястржембскому легко было воспользоваться этой темой, чтобы позабавиться подражанием Гоголю, — тем более, что подробности он мог узнать из статьи Л.И.Арнольди «Мое знакомство с Гоголем», напечатанной в 1862 году в «Русском вестнике». В этой статье весьма верно изложено содержание четырех первых глав 2-й части, и хотя статья эта появилась в свет только в 1862 году, но весьма многие лица, из рассказов Шевырёва, Аксаковых и А.О.Смирновой, знали содержание многих глав, совершенно для нас утраченных. Таким образом, и г. Ястржембский мог слышать от Прокоповича или от кого-либо другого те мотивы, которые он воспроизвел в своих вариантах⁵⁵.

Кроме рукописей, переданных после смерти Гоголя графом А.П.Толстым С.П.Шевырёву, ни у кого и никогда не могло быть строки из 2-го тома «Мёртвых душ», —

*продолжал мемуарист, — ибо невозможно допустить, чтобы сам Гоголь решился выпустить из своих рук сокровище, над которым постоянно дрожал, опасаясь, чтобы оно не сделалось известным прежде окончательной отделки*⁵⁶.

Авторство Гоголя было оспорено также в двух заметках, помещенных в газетно-журнале «Гражданин», редактировавшейся в то время Ф.М.Достоевским⁵⁷. В первой из заметок, озаглавленной «Из текущей жизни», иронически излагалась и комментировалась история с «новыми отрывками», давался стилистический анализ лжегоголевских вариантов, характер изменений гоголевского текста, пропусков, исключений, добавлений⁵⁸. Во второй статье «Неоценённое побуждение» подделка иронически расценивалась как забота об «испорченной репутации» Гоголя, написавшего «Переписку с друзьями», «а в довершение беды несколько неполных глав II тома «Мёртвых душ» в духе той же “Переписки”»⁵⁹. Ястржембскому, продолжал автор статьи, находившемуся под сильным влиянием известного письма Белинского к Гоголю, «пала <...> на душу великая скорбь об утраченной репутации Гоголя и, вслед затем, желание — чтоб II том очистился и не отзывался больше духом “Переписки”»⁶⁰.

Последний отклик об уже полузабытом к тому времени казусе, появился в газете «Биржевые ведомости» в 1909 году под названием «Поддельный Гоголь. (Забывтый анекдот)»⁶¹. История эта длилась, таким образом, более тридцати лет.

Новая версия «Мёртвых душ»: постперестроечная эпоха

Интерес к переделкам и стилизациям на тему «Мёртвых душ» особенно оживился в русской литературе на рубеже XX и XXI веков. В романе «Господин Чичиков» (2005) Ярослава Верова (коллективный псевдоним донецких писателей Г.В.Гусакова и А.В.Христовой), который был определен критикой как «образец литературной мистики», развивающейся в контексте «мегаполисной прозы», мертвые души и герой-приобретатель были представлены как характерные реалии современного делового мира. При этом гоголевский образ «Мёртвых душ» получил у Верова свое развитие: «бездушные» фантомы в его романе заняли «ключевые посты в бизнесе, политике, системе государственного управления»⁶².

Пожалуй, представление о «Мёртвых душах» как об откровении России в ее прошлом, настоящем и будущем и было тем, что делало и делает гоголевскую поэму смыслопорождающей для современной литературы. Когда-то И.Ильф и Евг.Петров в своей эпопее о «великом комбинаторе» («Двенадцать стульев», 1928; «Золотой телёнок», 1931) использовали гоголевский сюжет как историю «талантливого авантюриста, чье путешествие по России дает повод показать всю страну»⁶³. Так и Дмитрий Быков соотнес с гоголевской поэмой свой роман «ЖД» (2006) и не только дал ему, по образцу Гоголя, жанровое обозначение «поэма», но и предложил реминисцентно-полемическую расшифровку названия: «Живые Души» — это попытка осмыслить прошлое страны и дать свой прогноз на будущее⁶⁴.

Тема омертвевшей России, душу которой еще предстоит спасти, присутствовала и в интеллектуальном детективе Николая Спасского «Проклятие Гоголя» (2007)⁶⁵.

Размышление о втором томе поэмы «Мёртвые души» и непосредственно о последней из ее сохранившихся глав, в которой благочестивый Муразов наносит в тюрьме визит Чичикову, во многом определил проблематику более раннего романа французского писателя Доминика Фернандеса «Дети Гоголя» (1971)⁶⁶. Разговор между Чичиковым и Муразовым переходил в нем незаметно в противопоставление двух Россией: выбор между ними предстояло сделать героям Фернандеса. Главный герой Этьен, от имени которого ведется повествование и который сам писал работу о Гоголе, разрывался между двумя Россиями — Муразова и Белинского, с одной стороны, и Чичикова и Гоголя, с другой, между Россией «реализма Белинского» и Россией

«гоголевского мистицизма», которая, в конечном счете, оказалась ему ближе и понятнее⁶⁷.

Свой парадоксальный ответ на слухи и домыслы об обретении сожженного второго тома поэмы дал Михаил Елизаров в романе «Pasternak», представляющем собой в жанровом отношении интеллектуальный боевик. Единственная книга, которую не устает перечитывать в нем таинственный отец Григорий, осуждающий художественную литературу как «корежащую» ортодоксальное православие, — это второй том «Мёртвых душ». Но «только не известная всем уцелевшая часть», а «полный вариант, погибший в огне». На вопрос студента-филолога, вариант ли то уцелевшего гоголевского манускрипта или литературная подделка, «уникальная по своей значимости», священник уточняет: он «имеет в виду именно книжный пепел и великий подвиг писателя, отказавшегося от творчества, чтобы не грешить против истины»⁶⁸.

Так и Марк Харитонов усматривает в сожжении Гоголем своей рукописи высочайший акт отказа художника от претензий на преображение реальности, вписывая это деяние в традицию восточной метафизики.

Японский писатель Юкио Мисима, — пишет он в эссе «Заполнение чаши», — рассказал в своем известном романе историю о буддийском монахе, который сжег прекрасный Золотой храм — сжег не по-геростратовски, чтобы обессмертить собственное имя, а, наоборот, чтобы оставить нетленной в веках красоту храма. Ибо, по убеждению Мисимы, подлинная — то есть духовная — жизнь прекрасного начинается тогда, когда физическое тело умирает. Мисима подтвердил это убеждение, завершив собственную жизнь как произведение искусства — самоубийством по самурайскому обычаю. В этом, пожалуй, есть что-то декадентски-умышленное, во всяком случае что-то непривычное и неприемлемое для европейской ментальности. Но мне почему-то вспомнилась еще и история о сожжении Гоголем второй части своей поэмы «Мёртвые души». Есть основания думать, что она у писателя не получилась — теперь ни доказать, ни опровергнуть мы этого не можем. Зато каждый волен вообразить в своем уме нечто развивающее мотивы и сюжеты гоголевского творчества на предельно высоком, идеальном уровне — как будто самым актом сожжения неведомой нам рукописи Гоголь создал сюжет, превосходящий все, реально написанное им прежде...»⁶⁹

Тема сожжения второго тома нашла также отражение в фантастическом рассказе Кира Булычёва (И.В.Можейко) «Садовник в ссылке» (1972)⁷⁰ (мотив мести о. Матфею за смерть Гоголя) и романе Анны Зегерс «Встреча в пути»⁷¹ (1972), где в вымышленном диалоге между тремя писателями, Э.Т.А.Гофманом, Фр.Кафкой и Н.В.Гоголем, обсуждается возможность продолжения «Мёртвых душ»: немецкий и австрийский писатели убеждают Гоголя, что «для искусства даже и лучше», если он сожжет «прицепленный нравоучительный конец». То, что ныне выдается за незавершенный фрагмент, навсегда «останется великим завершением».

На рубеже 1990–2000-х годов вновь, в который раз, усилился интерес и к возможности прямого художественного достраивания-домысливания «Мёртвых душ» (скорее всего, подогретый грядущим гоголевским юбилеем). К этому времени относится еще одна — после Н.Ф.Ястржембского — попытка «восстановить» второй том «Мёртвых душ» и дописать том третий. Ее предпринял московско-тбилисский антрополог, биолог и художник Ю.А.Авакян. Используя фрагменты оригинального текста, Авакян дописал недостающие фрагменты глав II, IV и предположительно заключительной главы второго тома, а также заново сочинил шесть глав, содержание которых частично известно из пересказов современников и по реконструкции С.П.Шевырёва. Заново он написал также 11 глав третьего тома⁷².

В новых главах оказались подробно прописанными линии Вишнепокромова, Леницына, Самосвистова, мотив «умыкания невесты» Самосвистовым, которому всячески помогает Чичиков, сватовство самого Чичикова к Улиньке и предание им огласке былой неблагонамеренности Тентетникова (что и становится причиной его

ссылки в Сибирь). Доминирующей же в данной реконструкции стала тема человеческой подлости (реализация гоголевской формулы «припряжем подлеца») и одновременно экономической гениальности Чичикова.

Смерть в финале третьего тома настигает Чичикова в тот момент, когда он, казалось бы, добивается и денег, и славы. Обещанное когда-то Гоголем духовное преобразование Чичикова у Авакяна возможно лишь в весьма двусмысленном — пригрезившемся в горячечном бреде — беге героя за уносящейся тройкой небесных коней. И читателю остается только гадать: апофеоз ли то Чичикова (смерть, описанная как *вознесение* на колеснице-тройке), или же горестное видение умирающего. И несомненным остается лишь рождение младенца, сына Чичикова, «в далеком и заснеженном Кусочкине под завывание ночного ветра и скрипы вековых, выбеленных метелью елей».

От «Мёртвых душ» Гоголя к «Возвращению в Египет» В.Шарова

Художественным контрапунктом опыту реконструкции «Мёртвых душ» Ю.Авакяна стал созданный десятилетием позже «роман в письмах» Владимира Шарова «Возвращение в Египет» (2013), получивший Букеровскую премию 2014 года. В основу его был положен замысел показать трагическую историю XX века как результат «недоговоренного, недосказанного откровения» гоголевской поэмы.

*Гоголь замолчал на полуслове, оттого и пошли все беды. Говорят, что пока кто-то из нас не допишет поэмы, они не кончатся*⁷³.

Ее продолжение как единственно возможный акт искупления возлагается героями романа, принадлежащими к потомкам Гоголя по боковой линии, на Колю Гоголя Второго, праправнука Н.В.Гоголя (Гоголя Первого). Связь между незавершенностью «Мёртвых душ» и трагическим путем России сам Шаров определил следующим образом:

*Мне казалось, что вся история России после Николая Гоголя — это попытка дописать второй том его знаменитого романа. Ведь в незаконченных книгах есть страшная вещь — некоторое откровение. Кажется, если бы они все же были бы дописаны, то мы смогли бы понять, в чем смысл жизни. В своем романе я писал о том, как русская история и культура пыталась этот роман дописать. Почему роман называется «Возвращение в Египет»? Гоголь был писателем библейским. И мне стало казаться, что, идя из Египта, мы в какой-то момент повернулись и пошли обратно, вернувшись в итоге снова в Египет. Наша история 20 века в моем представлении — это и есть возвращение в Египет*⁷⁴.

В композиционном плане роман явил собой своего рода «выбранные места из переписки» Гоголя Второго с представителями собственного клана — переписки, воскрешающей судьбу нескольких поколений гоголевских потомков. Обсуждение вопроса незавершенности поэмы и необходимости ее завершения сопровождалось в романе по принципу *mise en abyme* созданием Гоголем Вторым синопсиса возможного продолжения «Мёртвых душ», в котором важную роль сыграл сибирский топос. У самого Гоголя сибирская утопия, как мы уже видели, лишь отдаленным образом проецировалась на учение бегунов. В романе Шарова она приобрела не просто зримые очертания, но стала, по сути, его центральной интригой.

В синопсисе продолжения поэмы Павел Иванович Чичиков представлен как происходящий «из семьи закоренелых староверов». Скупая так называемые «Мёртвые души», дабы прописать их на Святой земле, Чичиков действует уже не как плут (как это было у Гоголя), но спаситель, мечтающий о построении земного рая, он же — Новый Иерусалим. Потому и «чистосердечное признание» Чичикова на суде, а по сути дела — возводимая на себя клевета, объяснено примером деда-старовера:

Когда при императрице Елизавете Петровне в России на отступников усилились гонения и священникам было велено доносить, кто ходит к исповеди, а кто уклоняется, дед был еще ребенком, но, как и прочие еретики, стал наговаривать на себя такое, что ни

один священник не решался дать ему отпущение грехов и привести к причастию. На этот же путь встал и он, надворный советник Павел Иванович Чичиков, когда увидел, что, что бы он ни предпринимал, все его поступки истолковываются превратно. С детства он, Чичиков, отличаясь мечтательностью, много думал о возможности построения Рая здесь, на земле, и о том, где, в какой части России его следует основать⁷⁵.

Наговор этот в романе Шарова оказывается нужен Чичикову не только потому, что послениконовские священники уже «не те» и веры им никакой. Главное, что и земной рай представляется новому Чичикову не безмятежной, лишенной треволнений жизнью, но «тяжелой, трудной, часто и смертельно опасной работой», которая одна приближает «бесконечно радостное время» «начала возведения Небесного Иерусалима»⁷⁶. Именно это и заставляет Чичикова (притом что он сам «по характеру, устройству своей жизни» — «неприкаянный бегун»⁷⁷) все внимательнее присматриваться к ответвлениям раскола, в частности, к «странникам» («бегунам»):

*Эта отрасль староверов убеждена, что иначе, не бежая от антихриста день за днем и год за годом, не признавая ни его денег, ни его документов и печатей — вообще того, чего нечистый так или иначе касался руками, невозможно остаться верным Богу*⁷⁸.

Причина, по которой местом для построения чаемого новым Чичиковым земного рая и нового, Небесного Иерусалима становится Сибирь, получает в тексте романа Шарова как историческое, так и нравственное разъяснение:

*Между тем отношения Чичикова с влиятельными староверами из Петербурга и Москвы, с Рогожской, Волковской общинами, с поволжскими староверами от Ярославля до Саратова большие и больше слабеют. Древняя иерархия восстановлена, впервые после патриарха Иосифа освящено новое миро. В церквях и молельных домах поставленные в соответствии с каноном попы правильным образом совершают литургию, крестят и исповедуют, причащают, венчают, а когда срок земной жизни человека выйдет, отпевают его. То есть снова совершаются все таинства Господни. Но Чичиков видит, что власть антихриста этим не поколеблена — как он правил Россией, так и продолжает ею править. К богатым и влиятельным староверам он искусно подобрал ключик — полными пригоршнями сыплет им золото, и они думают об одном: как под завязку набить кошелёк. Теперь за паству, которую призван окормлять, Чичиков считает лишь староверов, которые, как и раньше, не сомневаются, что живут в царстве зла, и не хотят служить антихристу*⁷⁹.

Именно бегуны (странники), проповедующие бегство от антихриста, от зримо воплощенного в мире зла — к Богу и Земле Обетованной, становятся в дальнейшем паствой старца и странника, новоиспеченного епископа древлеправославной церкви Павла⁸⁰. Паствой, которая в чистоте своей и неподкупности еще сохраняется по ту сторону Волги, заселяя «горнозаводской Урал от Екатеринбургa, Первоуральска, Нижнего Тагила до Воткинска»⁸¹ (и не случайно в синопсисе продолжения «Мёртвых душ» Павлу Ивановичу суждено принять иноческий постриг «в последнем, еще не закрытом монастыре на Иргизе — Верхне-Спасо-Преображенском»⁸², тоже в Сибири):

*Чичиков каждый день с радостью убеждается, что в этом крае измена Всевышнему так и не сумела пустить корни. Здесь по-прежнему чуть не каждый готов убить и своего брата, и сына, коли он решится оставить Господа, вернуться в Египет. Хотя и меньше, но тоже много он ездит по казачьим областям Южного Урала, Терека, Кубани и Дона. Вместе все эти земли широкой полосой огибают центр России. Издревле здесь находили приют беглые, гонимые и преследуемые, селились ссыльные и бывшие каторжники*⁸³.

Казалось бы, тема Сибири как места, с одной стороны, нравственной нетронутости и чистоты, но вместе с тем страданий и каторги в романе Шарова решается контрапунктно. Пространство, которое Чичикову представляется идеальным для построения земного рая, становится для потомков Гоголя местом изгнания и лагерей. Через Сибирь (красноярский ГУЛАГ) проходит и главный герой романа — Гоголь Второй, агроном по образованию, на него и возложена миссия дописывания гоголевской поэмы.

И все же принцип контрапункта здесь оказывается обманкой. Поразительным образом, не только Чичикову, но также и гоголевскому потомку — эзку Гоголю Второму в суровой реальности ГУЛАГа удастся обрести свою Землю Обетованную с ее неперменными локусами: девственно нетронутым лугом, довольством и внутренним успокоением <...>

На самом деле утопия Земли Обетованной, которую Чичиков обретает для себя в Сибири, а Гоголь Второй — в Казахстане, поддерживается в романе не только дантовской моделью мироздания, не только утопическим сознанием староверов-бегунов, но еще и учением русского философа Николая Фёдорова, в котором бегунам чудится нечто родное⁸⁴. А ведь именно Фёдоров учил, что человечество должно самостоятельно исполнить замысел Творца — объединиться и построить рай на Земле. И обязательно воскресить всех предков, вплоть до Адама, не дожидаясь Страшного суда.

В этом контексте, казалось бы, совершенно новое звучание обретает предприятие Чичикова. «Доверенное лицо зла, его законный эмиссар», он год за годом скупал у помещиков

*души почивших в Бозе. Делался владельцем душ, которые думали, что навечно покинули юдоль страданий, срок испытаний кончился, теперь Господь возьмет их под свое крыло. И вдруг, как чертик из табакерки, появляется Чичиков и объясняет, что нет, чаша сия не испита*⁸⁵.

И, воскрешая, возвращает — почти по-фёдоровски — души в мир.

Однако именно фёдоровская референция (а о Фёдове герои книги рассуждают немало) оказывается в романе Шарова в итоге тем, что взрывает изнутри, казалось бы, столь искусно выстроенный путь конечного преображения гоголевских героев и потомков, на какое-то время уверовавших в возможность построения ими земного рая. Именно об этом и говорит Коле Гоголю Второму один из его жизнью умудренных «дядей» (дядя Юрий):

*Фёдоровское «Общее дело» не просто еще один комментарий к Священному Писанию. Оно пролог к отказу от Бога, от как такового Завета с Ним. <...> Фёдоров — пророк мира, который устал от Бога, от Его своеволия и непостоянства, главное, от Его зрящих надежд на человека, который по самой своей природе не есть и никогда не станет безгрешным ангелом Нового мира*⁸⁶.

В еще более жесткой форме мысль о египетско-коммунистических формах, в которые непременно облечется Новый Град (он же — рай, он же — Земля Обетованная) выражает «дядя Святослав»:

*Ясно: то, что предлагал Фёдоров, — кратчайший путь в Египет. Мир слишком приятен для глаз, отвлекая человека, он мешает ему спастись. Надо все честно и справедливо выровнять, затем оросить, возделывать, засеять. Это и будет новым Исходом. Мы уйдем в разумный, упорядоченный мир, о котором столетия мечтали и египтяне, когда-то увлеченные проповедью Моисея, общим движением. Не предатели, не изменники и ренегаты — сама Святая Земля вернется в Египет*⁸⁷.

О чем же тогда роман Шарова? И вся описанная в нем история? О том ли, что Земля Обетованная, рай, какими бы уже возможными и даже обретенными они ни казались, все равно оборачиваются в итоге не утопической Сибирью, но историческим Египтом (оттого и название романа), выверенным, как швейцарские часы, а потому одновременно и коммунистическим.

«Жизнь ведь не подарок, а наказание, она ад, погибель, другое дело смерть — в ней покой, тишина», — говорит в финале романа герою мать⁸⁸. И здесь уже читатель не может не задаться вопросом: возможно, и прав был Гоголь, не дописавший Чистилище и Рай, а написавший лишь Ад, который и есть сама жизнь? В то время, как Рай, где тишина и покой — не что иное, как смерть.

Вместо заключения.

Литературная биография Павла Ивановича Чичикова
и жизненный текст Николая Васильевича Гоголя

Павел Иванович Чичиков, признаюсь, для
меня презагадочный <человек>.

«Мёртвые души». Часть 2

К.С.Станиславский, готовя свою знаменитую постановку «Мёртвых душ» на сцене Московского Художественного театра (премьера состоялась в 1932 году), обратил внимание на несценичность образа Чичикова. «Самой неблагоприятной ролью во всех переделках», говорил он, является роль Чичикова, формирующая «монотонный ритм», избежать которого можно «только через сквозное действие»⁸⁹. Решив построить сюжетную линию спектакля на последовательном развитии замысла Чичикова и повернув ее «в сторону чичиковской авантюры»⁹⁰, режиссер призвал актеров «порыться в своих душах» и найти в себе зло, которое выплескивается при встрече персонажей с Чичиковым, сделав таким способом акцент не на Чичикове, а на других персонажах поэмы⁹¹.

Примечательно, что и задолго до Станиславского инсценировщики поэмы обращали внимание на «несценичность» Чичикова, каким он был выведен у Гоголя. Последнее они пытались компенсировать собственно драматургическими приемами. Так, уже самая первая инсценировка «Мёртвых душ», сыгранная в Александринском театре в бенефис режиссера театра Н.И.Куликова, состояла из двух сцен — в первой гоголевские персонажи еще только говорили о Чичикове, сам же он появлялся лишь во второй сцене, ближе к концу спектакля⁹².

Первые читатели поэмы, а вместе с ними и литературные критики также увидели в Чичикове не столько характер, сколько проявитель тех характеров, которым суждено было появиться на страницах «Мёртвых душ». Не имея собственной речевой характеристики (это особенно видно в первом томе), с Маниловым Чичиков говорит в стилистике Манилова, с Коробочкой — в ее стилистике, и т. д., выказывая высшую степень подстраиваемости под собеседника, которую можно было бы в ином случае назвать также и протезизмом. С.Т.Аксаков вспоминал, например, как на первую часть поэмы прореагировал М.П.Погодин:

...он, между прочим, утверждал, что в первом томе содержание поэмы не двигается вперед; что Гоголь выстроил длинный коридор, по которому ведет своего читателя вместе с Чичиковым и, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате уроды»⁹³.

Уже в наши времена изучение нарративного принципа «Мёртвых душ» заставило Дональда Фангера (Fanger, Donald) вспомнить о знаменитом определении, которое дал жанру романа Стендаль: «зеркало, с которым прогуливаются вдоль дороги» («un miroir qu'on promène le long d'un chemin»). В «Мёртвых душах» таким зеркалом, утверждал он, является Чичиков, которого Гоголь прогуливает по большой дороге⁹⁴.

В определенной степени можно сказать, что подобная трактовка немало отвечала и замыслу самого Гоголя. Во всяком случае, в «Авторской исповеди» мы читаем:

Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что такое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры...»⁹⁵

Создается весьма любопытная ситуация. В «Мёртвых душах», этом позднем изводе плутовского романа⁹⁶, главный герой (Чичиков) наследует от своих предшественников функцию (он тот, кто связует воедино различные главы поэмы и различных персонажей), но при этом сам оказывается лишенным той яркой харбктерности,

которая обычно отличает пикаро. Он — герой, лишенный формы, а возможно, даже и содержания, «ни то ни сё», «не так чтобы слишком толстый, однако ж и не тонкий»⁹⁷.

В ряде современных трактовок, по большей части зарубежных, делается попытка придать подобной инертности и бесформенности Чичикова некий метафизический смысл. Под диктатом хайдеггеровского безличного *там* живет гоголевский Чичиков, пленник повседневности, утверждает представитель философско-антропологической критики Хорст-Юрген Герик⁹⁸. Другой немецкий исследователь, сравнивая «Мёртвые души» с романом Г. Флобера «Бувар и Пекюше», видит точки пересечения обоих произведений в том, что герои (Чичиков, Бувар, Пекюше) предстают как само воплощение «чудовищного самодовольства посредственности»⁹⁹. Перечень этот можно было бы продолжить.

Но... и тут как раз начинается самое интересное. Стоит внимательно вчитаться в текст поэмы, как становится очевидно, что тот, кого мы легко можем принять за персонаж аморфный, лишенный собственной индивидуальности катализатор, выражение хайдеггеровского *там* и пр., являет собой на самом деле самый сложный литературный и жизненный конструкт. А конструирование образа, в которое включается (по принципу *mise en abyme*) также и конструирование биографии Чичикова, происходит на множественных уровнях.

Кто создает биографию Чичикова

1. Свою биографию (автобиографию) Чичиков конструирует в первую очередь сам, ориентируясь на различные литературные и социальные коды: светского человека (*honnête homme*, вариант: *comme il faut*), сентиментального героя, пострадавшего за правду добродетельного героя (ср. в разговоре Чичикова с Маниловым: «чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн... Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду...»¹⁰⁰).

В некоем пределе проскальзывающие в самохарактеристике Чичикова библейские коннотации связывают его облик, возможно, даже несколько кощунственно, с Христом¹⁰¹: «Погубит он мою душу. Зарежет, как волк агнца!»¹⁰² Еще один способ самоидентификации Чичикова — честный плут, чье плутовство никому не приносит вреда:

...зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? — все приобретают. Несчастливым я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякой брал бы; не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем?¹⁰³

2. Биографию Чичикова конструируют также и другие персонажи поэмы, причем конструирование это происходит в разных модальностях: от рождения слуха, сознательного запуска механизма сплетни вплоть до порождения мифа¹⁰⁴. Так, Чичиков последовательно, как мы помним, оказывается то заезжим гусаром, собравшимся похитить губернаторскую дочку, то Антихристом, то Наполеоном (Бонапартом), то капитаном Копейкиным¹⁰⁵. Впрочем, при всей фантазийности тех, кто эти амплуа Чичикову создает, в событийном ряду поэмы они оказываются не столь уж и произвольными, ибо поддерживаются также и авторской характеристикой. Вспомним сцену первой встречи Чичикова с незнакомкой в главе пятой первой части «Мёртвых душ». «Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он...» — комментирует встречу автор, поясняя притом, что «Чичиков не гусар и не студент», а «благоразумный человек»¹⁰⁶. И все же слово произнесено (в риторике это называется *praeteritio*, род стиливого умолчания),

и амплу гусара так и остается в подтексте характерологии Чичикова, а не только в сплетнях, отзываясь и в дальнейшем тексте поэмы (так Чичиков на балу в какой-то момент сам чувствует себя «чуть-чуть не гусаром»¹⁰⁷).

То, что «гусарство» есть не просто тень, но еще и имманентная составляющая образа, пронизательно почувствует и Н.Г.Чернышевский, сделав запись в своем дневнике:

*Дивился глубокому взгляду Гоголя на Чичикова, как он видит поэтическое или гусарское движение его души (встреча с губернаторской дочкой на дороге и бале и другие его размышления...)*¹⁰⁸

3. Еще одним «субъектом» конструирования биографии Чичикова весьма примечательным образом оказывается та *высшая сила*, о которой неоднократно говорится в поэме и которая совершенно неожиданно вмешивается в ход событий. Уже в ранних редакциях первой части «Мёртвых душ» в описании состояния Чичикова после сцены разоблачения присутствовало упоминание «неясной силы», действующей «впоперег» герою и определяющей его поведение:

*В мозгу как будто у него сидело что-то посторон<нее>, как будто какой-нибудь злой дух проходил впоперег всему, к чему он ни задумывал обратить мысли...*¹⁰⁹

Порой эта высшая, неясная сила персонифицируется у Гоголя, видящего один из ее источников в человеческой страсти (страстях), отношение к которым у него отнюдь не однозначное.

И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме, —

читаем мы в одиннадцатой главе первой части поэмы¹¹⁰. Строки, в которых традиционно видится залог будущего продолжения «Мёртвых душ», равно как и направленность этого продолжения, возможность воскрешения героя, его нравственного просветления. А также во многом приписанная Гоголю критикой и ныне ставшая «общим местом» герменевтики «Мёртвых душ» ориентация замысла поэмы на «Божественную комедию» Данте, о чем мы уже достаточно подробно говорили в предыдущих разделах книги.

К процитированным строкам о чичиковской страсти, его влекущей и которая — «не от него», могло бы служить комментарием также и определение, которое в главе «В чем же наконец существо русской поэзии...» Гоголь дал трансцендентальности поэзии В. А. Жуковского: «твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека»¹¹¹.

Мотив, который, собственно, и вплетается в концепцию судьбы центрального персонажа «Мёртвых душ». Но одновременно мы находим и другой авторский комментарий к иному, но сходному по своему пафосу пассажи поэмы: «Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти...»¹¹²

На странице экземпляра «Мёртвых душ» Гоголь позднее сделает карандашную заметку:

Это я писал в «преlestи», это вздор — прирожденные страсти — зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей — теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чулось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мёртвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведа и прозорливого инокa. Здравая психология и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитро сплетенной немецкой

диалектике молодые люди, — не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души¹¹³.

Но здесь мы переходим к еще одному уровню конструирования житейской и литературной биографии Чичикова.

4. Возможно, в силу мнимой аморфности персонажа, его не резко заданной характерности конструкт Чичикова дополнительно создается (уже за рамками самого текста поэмы — но безусловно спровоцированный автором) читательским ожиданием тех, кто в течение уже полутора веков интерпретирует Чичикова в собственной системе координат, формируя тем самым предельно широкую и крайне внутренне противоречивую герменевтику образа.

Противоречивость эта не в последнюю очередь затрагивает тему высшей силы и страстей. Каково происхождение страстей и той таинственной силы, что определяет поступки и сам абрис героя? Гоголевский текст, как мы уже видели, дает самые широкие возможности для герменевтики. И если для одних критиков, как, например, В.Зеньковского, первая, вторая, а возможно, еще и третья части поэмы были объединены у Гоголя темой преодоления «всяких страстей», «в частности, обольщения богатством (как основной болезни людей), с помощью того вдохновения, какое создается через приобщение к красоте, к праведному хозяйству»¹¹⁴, то, например, А.К.Воронский усматривает в теме человеческих страстей неизбывность и одновременно тот нравственный тупик, в который попадает и сам Гоголь, и его герой:

*Но если есть страсти, избрание которых не от человека, а от Провидения, то опять выходит, что дело не в самом человеке <...>. Это был фатализм, это был новый тупик*¹¹⁵.

Не менее противоречивы и, во всяком случае, предельно разнообразны те ролевые маски, которые Чичикову *post factum* приписала критика. Если некоторые из них находят опору в самом гоголевском тексте, то иные явно выходят за его пределы.

Так, вопрос о Чичикове — плуте, авантюристе или ловком предпринимателе был поднят еще в гоголевские времена. «...Чичиков как *приобретатель* не меньше, если еще не больше Печорина — герой нашего времени», — писал в 1845 году В.Г.Белинский¹¹⁶. В защиту «приобретательства» высказался и автор одного из писем «по поводу «Мёртвых душ»», написанных как отклик на предисловие ко второму изданию поэмы:

*Почему же это безнравственно — быть приобретателем? Неужели одно инстинктивное чувство «приобретать», на котором основаны и живут цивилизованные общества, — в состоянии до такой степени обезобразить всего человека? <...> Возьмите, в свете есть целая страна, которая более ничего не делает, как приобретает и приобретает: это — Американские Штаты. Конечно, приобретатель легко может сделаться, в одну минуту! — но зачем же обвинять принцип, а не человека?*¹¹⁷

Значительное «укрупнение» фигуры Чичикова как предпринимателя, который «мыслит и действует даже с опережением», въедение в нем (и позитивное, и негативное) будущего нынешней промышленной цивилизации происходит в 1870–1880-е годы. Если в интерпретации Н.Я.Данилевского Чичиков предстает еще как «герой практической жизни», «Улисс своего рода», все же отразивший в себе всю «бедность содержания русской жизни»¹¹⁸, то уже Д.С.Мережковский в 1903–1906 годах почти в трагической тональности заговорит о «росте» Чичикова и опасных масштабах этой фигуры в современном мире:

*Странствующий рыцарь денег, Чичиков кажется иногда в такой же мере, как Дон-Кихот, подлинным, не только комическим, но и трагическим героем, «богатырем» своего времени. <...> По мере того как мы умалеемся, теряем все свои «концы» и «начала», все «вольнодумные химеры», наша благоразумная середина, наша буржуазная «положительность» — Чичиков — кажется все более и более великой, бесконечной*¹¹⁹.

Вспомним в этой связи и толкование Андреем Белым Чичикова как «хозяина-приобретателя», родоначальника «многих тузов» «нашей недавней промышленности»: «дед, ограбивши на дороге, замаливал грех пудовыми свечами; сын

его закидывал Азию дешевыми ситцами; внук, выродок, — попадал в министры Временного правительства». Чичиков — «будущий Шукин: закидает Персию ситцами, отслюнявив на Психологический институт двести тысяч»¹²⁰ (см. также с. 00 наст. изд.).

Наряду с антитезой «плут — приобретатель» как двумя антитетичными ипостасями образа критикой проигрываются и иные антитетичные маски: Чичиков как воплощение Сатаны — и Чичиков как символ победы над Сатаной. Для Мережковского, например, не Сатана «обольстил» Чичикова, в чем последний пытается уверить Муразова, а он сам — «Сатана, который всех обольщает»¹²¹.

Напротив, Ю.Н.Говоруха-Отрок (Ю.Николаев), полемизируя со статьей В.В.Розанова «“Легенда о Великом инквизиторе” Ф.М.Достоевского», именно в Чичикове, в сцене его покаяния во втором томе, увидит редкий случай, когда «душа человеческая», которую Гоголь чаще показывает «мертвую, побороною плотью, забывшею себя», неожиданно приводится «в движение»¹²².

И еще одна ролевая парадигма Чичикова, под пером критиков постоянно менявшая свою смысловую насыщенность во времени: герой асексуальный, каким он, в общем-то, и предстает у Гоголя, легко оказывается наделенным всеми качествами мужа и отца семейства. Возможными регистрами трактовки данной темы оказываются то признание высокого человеческого призвания Чичикова, что смыкается с темой его нравственного воскрешения во второй и третьей частях поэмы¹²³, то пародия на штампы сентиментализма и идеалы сентиментальной эпохи, осуществление которых может оказаться для героя роковым. Подобная модель проигрывается, как мы видели, и в написанном А.Е.Вашенко-Захарченко в 1857 году продолжении поэмы. Или, как у Мережковского, «утверждение бесконечного продолжения человеческого рода, бесконечного прогресса» как «вечное оправдание всех нелепостей буржуазного строя, вечное возражение против религии, которая говорит: “враги человеку домашние его”; вот “прочное основание”, о которое разбиваются все крылатые “химеры”, все христианские пророчества о конце мира»¹²⁴.

А возможно, еще и очередной трюк ловкого авантюриста, готового опошлить всё, что ни есть святого в жизни¹²⁵.

Излюбленные роли Чичикова

Каждую из перечисленных здесь ролевых, языковых и поведенческих масок Чичикова, создаваемых то им самим, то иными персонажами поэмы, то таинственной внешней силой, а то и читателями-критиками, можно было бы рассматривать отдельно. Мы же позволим себе остановиться на тех ролевых масках Чичикова, которые он вполне сознательно «продуцирует» сам и где выстраивает свое «сообщение» как театральную роль, при анализе которой можно говорить о сочетании интеллектуальной, эмоциональной и телесной стратегий. Речь, таким образом, пойдет о проигрываемой Чичиковым роли светского человека, «благородного человека» (то, что во французской культуре именовалось *honnête homme*), а также о нескольких смежных ей ролях.

Уже первые критики обратили внимание на некую несообразность знаменитой чичиковской бражки целям приехавшего в губернский город Чичикова. Эта деталь стала для современников одним из поводов упрекать Гоголя в отступлении от бытовой достоверности:

*Странно: как никто в городе, где гостил Чичиков, не заметил, что он разъезжал по гостям в бражке; а таким образом, в спесивом мнении губернской и уездной знати отнюдь не мог заслужить ни малейшего внимания, как бедняк, не имеющий ни дорожной коляски, ни порядочно одетого слуги, ни черного фрака*¹²⁶.

Но думается, что вовсе не случайно у Гоголя до поры до времени светское общество принимает Чичикова за своего: он мог приехать в какой угодно бричке, однако выдаваемые им манеры сразу же маркировали его как человека «своего круга». Иными словами, тот самый протеизм Чичикова, о котором уже шла речь выше, умение Чичикова подстраиваться под собеседника, сделавшее в глазах многих его фигуру столь нехарактерной, можно рассматривать как навык светского общения, светского обхождения, кодекс которого был сформирован во Франции эпохи Старого режима, распространившись затем по всей Европе и сыграв немаловажную роль в России.

Позволим себе здесь напомнить, что понималось в дореволюционной Франции под понятием *honnête homme* («благородный», вариант: «порядочный», «честный» человек). Порядочный человек находил свое удовольствие в социальной жизни. В ней он практиковал искусство нравиться, которое, как уже было сказано, предполагало умение приспособиться ко всему, принося в жертву даже и свою индивидуальность. Вспомним в этой связи, что именно в эти терминах Чичиков и описан Гоголем:

*Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему*¹²⁷.

Сравним с описанием проживания Чичикова у Тентетникова:

*В поступках же своих поступал еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил. Не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его. С удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал. <...> Словом, он не мешал хозяину никак*¹²⁸.

Считалось, что «порядочный» человек должен обладать качествами одновременно хорошего психолога и философа, дабы уметь управлять собой и управлять другими. Позже эти свойства назовут мимикрией, лицемерием, инструментализацией, но в свое время они входили в набор свойств именно порядочного человека. Вспомним в этой связи то впечатление, которое в самом начале поэмы Чичиков производит на губернское общество, умело завоевывая тем самым его доверие:

*О чём бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою, — он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о билиартной игре — и в билиартной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках — и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. — Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор, что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты, что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер, что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера, что он любезнейший и обходительнейший человек*¹²⁹.

Подчинение правилам приличия (все имеет свое время и свое место) — одно из важнейших требований кодекса светского человека. Обратим внимание, что слово «приличие» есть также одно из наиболее часто употребляемых и самим Чичиковым и Гоголем в его описании своего героя. Попав на «губернаторскую вечеринку», «приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет...»¹³⁰.

Заподозрил что-то неладное Манилов, взглянул на Чичикова, но «глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегают в глазах сумасшедшего человека, все было прилично и в порядке»¹³¹. Даже «средние лета» Чичикова оказываются «приличными»¹³².

Характерно, что то же приличие Чичиков сохраняет и во второй части поэмы:

*Господин, необыкновенно приличной наружности, соскочил на крыльцо <...>. Читатель, может быть, уже догадался, что гость был не друго<й> кто, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел, как видно не без бурь и тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поустарел. И бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Казалось, как бы и самые финансы не были в завидном состоянии. Но выражение лица, приличие, обхождение остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах, еще ловче подвертывал под ножку ножку, когда садился в кресла...*¹³³

Еще одна примета «порядочного человека», проливающая дополнительный свет на Чичикова: нравственные качества требуются ему лишь в той мере, в какой они способствуют светскому общению. Так и Чичиков в поэме свою не слишком честную игру ведет самыми что ни есть внешне приличными средствами, вполне отвечая латинской пословице «Intus ut libet, foris ut moris est» («Внутри как угодно, внешне в соответствии с моралью»), вошедшей в моду во Франции Старого режима¹³⁴.

Наконец, можно вспомнить, что «лучшим козырем благородного человека» считались легкость, непринужденность, грациозность. Не отсюда ли — спросим себя — происходят антраша отнюдь не спортивного Чичикова, описание которых неоднократно появляется в тексте поэмы. <...>

Читая поэму, нельзя не заметить и ту роль, которая отводится в ней одежде Чичикова, его заботам о гигиене, неторопливости и тщательности, которые он проявляет в самом процессе одевания, а также его «нетрадиционным нарядам» (чего стоят одни фраки, то *брусничного цвета с искрой*, то *наваринского дыму с пламенем*¹³⁵). Вспомним, например, разительное описание подготовки Чичикова к балу <...>

Время проходит, многое меняется в жизни Чичикова, но внимание к одежде остается во втором томе прежним:

*<...>Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и *сop amore*. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде: щечки интереснее, подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам. Новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный [жилет] давал [тон] манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо! Поворотился налево — еще лучше! Перегиб такой, как у камергера...*¹³⁶

Пожалуй, эта страсть и внимание к одежде Чичикова уже не от «благородного человека» (*honnête homme*) — его кодекс не предполагал столь очевидной яркости и заметности. Скорее другое: в страсти этой просвечивают приметы иного культурного героя, даже более близкого Чичикову по времени, — а именно *денди*, роль которого была весьма велика в 1830–1840-х годах не только в Европе, но и в России и поведенческий сценарий которого Чичиков в своей манере одеваться отчасти проигрывает¹³⁷.

Отступление от правил

Выше уже обращалось внимание на то, что, как Гоголь ни подчеркивает лабильность и приспособляемость Чичикова, его умение себя вести и легкость в поведении, порой (причем задолго до разоблачения) также и Чичиков оказывается уязвим и что-то обязательно падает на пол при исполнении им антраша. Эта заметная для читателя уязвимость дала повод некоторым современным критикам говорить о том, что Гоголь попросту травестировал требования, предъявляемые к человеку света, и что «Мёртвые души» сыграли

плохую шутку с дворянской идеологией, которая десятилетиями доминировала в среде русской культурной элиты. Они представили зрелище ее кончины и вместе с тем показали, что все это время она была, как и гоголевский прокурор, мертва¹³⁸.

Думается, однако, что у Гоголя все обстояло несколько сложнее, и можно было бы говорить не столько о пародировании или травестии светского кодекса, сколько об «игре» и автора, и героя в различных регистрах. Впрочем, «игра» здесь слово не самое подходящее, поскольку в определенные моменты Чичиков, а вместе с ним и Гоголь из игры как раз-то и выходят. Выход этот совершается на самых разных уровнях начиная с этикетного (так, Чичиков, прекрасно знающий правила обхождения, позволяет себе высмаркиваться, «как труба»¹³⁹, или, в порыве радости, чуть не производит «даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости»¹⁴⁰). <...>

Светские манеры и ролевая игра оставляли Чичикова в сцене с губернаторской дочкой, но также и в еще одной ситуации, уже во втором томе поэмы. Речь пойдет о сцене разоблачения Чичикова князем, сопровождаемой потоком слез Чичикова:

...я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства. Но что за бедственные стечения обстоятельств. Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование. На всяком шагу соблазны и искушение... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была точно вихорь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я человек, ваше сиятельство». Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю так, как был: во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете, атласном галстуке, чудесно сшитых штанах и головной прическе, излившей ток сладкого дыхания первейшего одеколона¹⁴¹.

«Я человек» — не только фраза, которая восстанавливает в нашем сознании контекст другого произведения Гоголя, а именно «Шинели». «Я человек» — это еще и вырвавшиеся у *honnête homme* (или *comme il faut*?) слова, которые, казалось бы, сводят на нет все маски и те роли, которые Чичиков присваивал себе доселе.

Но... — и тут возникает еще одно «но». Нам (читателям) кажется, что перед нами пикареска, перерастающая свой жанр и переходящая в роман воспитания. Что, казалось бы, соответствует и замыслу Гоголя привести героя к внутреннему очищению. Но, как мы узнаем дальше, прозрение Чичикова, во всяком случае в сохранившихся главах второй части, не становится финальной точкой. Стоило обстоятельствам поменяться, как Чичиков вновь вернулся к своей роли (ролям) плута и добропорядочного злодея, отвечая тем самым более характерологии героя плутовского романа, чем романа воспитания.

Что же получается? Желая превратить традиционную сатиру на грехи (а сатирический взгляд Гоголя, конечно же, ориентируется на традиционный каталог грехов) в путь, приводящий к конечному обращению к добродетели и соответственно к Богу, Гоголь вольно или невольно показывает, что в реальности история Чичикова реализуется совершенно иным образом. Жизненный путь героя получает свое развитие под воздействием иных — гораздо более мощных стимулов. А именно под воздействием той таинственной силы, которая в конечном счете и оказывается ограниченностью сил самого человека и его природной греховностью.

Последнее не позволяет изменить мир к лучшему, делает невозможным нравственное поучение читателя в поэме, оставляя в конечном счете Чичикова в его изначально заданном качестве *homo ludens* — человека играющего. Собственно, именно эту невозможность изменения мира к лучшему почувствовал, как мы помним, в 20-е годы XX века историк Сигизмунд Валк (Волк), сделав лейтмотивом своей инсценировки «Мёртвых душ» принципиальную неистребимость Чичикова: «Чичиков жил и будет жить».

Оборотная сторона Чичикова или оборотная сторона Гоголя?

В описываемой здесь истории есть еще одна сторона. В парадигму Чичикова, конструирующего собственную биографию, а также его зрителей и читателей, эту биографию расшифровывающих, включается и автор (Гоголь), обладавший, как известно, особой страстью к автобиографическим мифам и конструктам.

О том, что своему герою Гоголь придал собственные черты и что литературная биография Чичикова может рассматриваться как проекция жизненного текста Н. В. Гоголя, писалось уже немало. Повод к этому, как и ко многому другому, дал и сам Гоголь, объяснив, что «уже от многих своих недостатков избавился тем, что передал их своим героям, их осмеял в них и заставил других также над ними посмеяться...»¹⁴²

Белинский в «умилении духом» Чичикова («Смотря долго на имена их, он умилился духом и <...> произнес»¹⁴³) увидел «собственные благороднейшие и чистейшие слезы», которые поэт отдал своему герою «и заставил его высказать то, что должен был выговорить от своего лица»¹⁴⁴.

Желание Гоголя спасти «во что бы то ни стало» Чичикова во втором и, может, даже в третьем томах, Д.С.Мережковский объяснял тем, что

чичиковского было в Гоголе, может быть, еще больше, чем хлестаковского: тут правда и сила смеха вдруг изменили Гоголю — он пожалел себя в Чичикове: что-то было в «земном реализме» Чичикова, чего Гоголь не одолел в себе самом. <...> «Назначение ваше, Павел Иванович, быть великим человеком», — говорит он ему устами нового христианина Муразова. Спасти Чичикова Гоголю нужно было во что бы то ни стало: ему казалось, что он спасает себя в нем. Но он его не спас, а только себя погубил вместе с ним»¹⁴⁵.

Причину же того, что сам Гоголь не осмелился сказать своему герою то, что Иван Карамазов не побоялся сказать черту («Ты — я, сам я, только с другой рожей»), Мережковский пояснил:

Но Гоголь этого не сказал, не увидел или только не хотел, не посмел увидеть в Чичикове своего черта, может быть, именно потому, что Чичиков еще меньше «отделился от него самого и получил самостоятельности», чем Хлестаков. Тут правда и сила смеха вдруг изменили Гоголю — он пожалел себя в Чичикове: что-то было в «земном реализме» Чичикова, чего Гоголь не одолел в себе самом»¹⁴⁶.

Примечательно, что об этой автобиографической проекции Чичикова на Гоголя говорили критики самых разных направлений. Вслед за символистом Мережковским, хотя в более осторожных тонах, это же сформулировал сторонник социологического метода В.Ф.Переверзев, назвав Чичикова «самым синтетическим характером», обнаруживающим в своей духовной организации сходство с Гоголем.

Чичикову Гоголь отдает во втором томе не только свою любовь к голландским рубашкам и хорошему мылу, но и это тревожное ощущение вдохновения посреди простора беспредельной Руси, —

*писал И. Золотусский*¹⁴⁷. Сравним также предположение Ильи Кутика, основателя неоконформистского движения метареализма в 1980-е годы, о том, что Чичиков является для Гоголя своего рода экзорцизмом его собственной гордости: «Гоголь создает наихудший ноль, чтобы показать, что можно быть хуже, чем он»¹⁴⁸.

В большинстве этих суждений обращает, однако, на себя внимание то, что мы условно могли бы назвать эффектом «курицы и яйца». В самом деле, трудно установить, стороннее ли знание о личности Гоголя тех, кто выносит вердикт о «близничестве» Гоголя и Чичикова, определяет подобное видение вопроса, или же сама фигура Чичикова оказывается той призмой, сквозь которую корректируется наше видение Гоголя.

Характерно, что и в воспоминаниях о Гоголе людей, близко его знавших, также порой просвечивают некоторые чичиковские черты. В этом смысле крайне

примечательны воспоминания А.О.Смирновой, описывающей, в частности, манеру Гоголя одеваться в стилистике гоголевских описаний Чичикова:

Я большой франт на галстуки и жилеты. У меня три галстука: один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потеплее... Из расспросов оказалось, что у него было только необходимое для того, чтобы быть чистым¹⁴⁹;

По воскресеньям и праздникам он являлся обыкновенно к обеду в бланжевых нанковых панталонах и голубом, небесного цвета, коротком жилете. Он находил, что это «производит впечатление торжественности...»¹⁵⁰.

И та же Смирнова отмечала вкрадчивую (добавим: чичиковскую) манеру общения Гоголя, прислушивающегося и подстраивающегося под собеседника:

Он вообще не был говорлив и более любил слушать мою болтовню, вообще он был охотник заглянуть в чужую душу¹⁵¹.

При этом человек, знавший Гоголя гораздо меньше и не попавший, так сказать, в сферу ни его личного, ни творческого обаяния (я имею в виду А.Н.Карамзина), описывает манеру поведения автора «Мёртвых душ» так, что от «чичиковского» начала в нем уже ничего не остается:

Вечером был я comme de raison¹⁵² на 12 Евангелиев, но и тут бес попутал, сведя меня с Гоголем, он мне все время шептал про двух попов в городе Нижнем, кот<орые> в большие праздники служат вместе и стараются друг друга перекричать так, что к концу обеда прихожане гложут, и как один из этих попов так похож на козла, что у него даже борода козлом воняет...¹⁵³

Так что, наверное, можно сказать, что вопрос о том, может ли литературная биография Чичикова рассматриваться как проекция жизненного текста Н.В.Гоголя, остается, в сущности, открытым. Но параллельно с ним возникает другой вопрос: не релевантнее ли говорить также и об обратном явлении — невольной интерпретации жизненного текста Гоголя как проекции литературного житнетворчества Чичикова?

А это заставляет нас с тем большим вниманием вдумываться в тот тайный и явный смысл, что скрывает в себе самое загадочное и самое эфемерное создание Гоголя, наполовину сожженное, наполовину недописанное и все же возродившееся из огня и уже более полутора столетий смутно волнующее наши души.

Список сокращений

Архивы

ИР НБУВ — Институт рукописи Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского (Киев, Украина).

ОПИ ГИМ — Отдел письменных источников Государственного исторического музея (Москва).

ОР ИЛ НАНУ — Отдел рукописей Института литературы Национальной академии наук Украины (Киев, Украина).

ОР и РК СПб ГТБ — Отдел рукописей и редкой книги Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки.

ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

РГА ВМФ — Российский государственный архив Военно-Морского Флота (Санкт-Петербург).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).

РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-Петербург).

Издания

ПСС—1 — Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: в 14 т. [М.; Л.]: Изд-во АН СССР, 1937—1952.

Т. I: Ганц Кюхельгартен; Вечера на хуторе близ Диканьки. 1940.

Т. II: Миргород. 1937.

Т. III: Повести. 1938.

Т. IV: Ревизор. 1951.

Т. V: Женитьба; Драматические отрывки и отдельные сцены. 1949.

Т. VI: Мёртвые души. [Ч.] 1. 1951.

Т. VII: Мёртвые души. [Ч.] 2. 1951.

Т. VIII: Статьи. 1952.

Т. IX: Наброски, конспекты, планы, записные книжки. 1952.

Т. X: Письма, 1820—1835. 1940.

Т. XI: Письма, 1836—1841. 1952.

Т. XII: Письма, 1842—1845. 1952.

Т. XIII: Письма, 1846—1847. 1952.

Т. XIV: Письма, 1848—1852. 1952.

ПСС—2 — Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений и писем: в 23 т. — М.: Наука, 2003—. Издание продолжается.

Т. 1: Ганц Кюхельгартен; Вечера на хуторе близ Диканьки; Юношеские произведения. 2003.

Т. 3: Арабески; Произведения 1830—1834 [и др. тексты и материалы]. 2009.

Т. 4: Ревизор [и др. тексты и материалы]. 2003.

Т. 7. Кн. 1—2: Мёртвые души, т. 1 [и др. тексты и материалы]. 2012.

Т. 8: Мёртвые души, т. 2 [и др. тексты и материалы]. 2020.

В поисках живой души — Манн Ю. В поисках живой души: «Мёртвые души».

Писатель — критика — читатель. 2-е изд., испр. и доп. — М., 1987.

История моего знакомства с Гоголем — Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гоголем / изд. подгот. Е. П. Населенко и Е. А. Смирнова. — М., 1960.

Литературное наследство. Т. 58. — Литературное наследство. Т. 58: Пушкин; Лермонтов; Гоголь. — М., 1952.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Лотман Ю. М. О «реализме» Гоголя // Лотман Ю. М. О русской литературе: ст. и исслед. (1958—1993): история рус. прозы, теория лит. / вступ. ст. И. А. Чернова. — СПб., 1997. С. 694.

² ПСС—1. Т. X. С. 123. Здесь и далее все письма Гоголя, если не оговорено иное, цитируются по изд.: ПСС—1.

³ Разительный пример ранней художественной мистификации Гоголя — финальные строки повести «Страшная месть», входящей во вторую часть цикла «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Слепой бандурист исполняет песню про *Хому и Ерёму и стекла Стокозу*. Имя Стокозы, игриво вписанное Гоголем в фольклорный контекст Хомя и Ерёмы, на протяжении полутора столетий вводило в заблуждение комментаторов и исследователей, пояснявших, что Стокоза есть персонаж украинского фольклора. А то, что Семён Стокоза был не кем иным, как гоголевским дядькой, при этом забывалось. Гоголь победил!

⁴ См., в частности, «старое» акад. изд.: ПСС—1. Т. VII.

⁵ См.: ПСС—2. Т. 8. М., 2020 (изд. продолжается).

⁶ Бухарев А. М. Три письма к Н. В. Гоголю, писанные в 1848 году. — СПб., 1861. С. 134.

⁷ Там же. С. 139.

⁸ Там же. С. 135.

⁹ Там же. С. 135—137.

¹⁰ Книга имеет двойную датировку: на обложке выставлена дата 1861, а на титульном листе — 1860.

¹¹ «Домашняя жизнь в России. Сочинение русского дворянина, исправленное издателем «Открытий Сибири»» (англ.).

¹² См.: The Athenaeum. 1854. N 1414 (Dec. 2). P. 1454—1455. О появлении книги сообщал А. И. Герцен в письме М. К. Рейхель от 2 (14) ноября 1854 года: «„Мёртвые души“ вышли по-английски под заглавием: „Home life in Russia“ и продаются по гинее» (Герцен А. И. Собр. соч.: в 30 т. — М., 1954—1965. Т. 25. С. 210).

¹³ Home Life in Russia: by a Russian Noble / Revised by the Editor of «Revelations of Siberia»: in 2 vols. London, 1854. Vol. 1. P. I–II.

¹⁴ См.: *Cadot M.* La Russie dans la vie intellectuelle française, 1839–1856. Paris, 1967. P. 426.

¹⁵ См.: *Мёртвые души*, написанные не Гоголем, а неизвестным автором в Лондоне // Отечественные записки. 1855. Т. ХСVIII. Янв. Отд. VII: Смесь. С. 30–31; Английская переделка «Мёртвых душ» Гоголя // Современник. 1855. Т. XLIX. № 1. Отд. V: Иностранные известия. С. 95–96; *Набоков В.* Николай Гоголь // Набоков В. Лекции по русской литературе / пер. с англ. СПб., 2010. С. 80.

¹⁶ См.: *Долинин А.* История, одетая в роман. — М., 1988. С. 21, 53–54.

¹⁷ *Ващенко-Захарченко А.Е.* Мёртвые души: окончание поэмы Н.В.Гоголя: Похождения Чичикова. — Киев, 1857. С. 3–4.

¹⁸ См.: *Измайлов-Смоленский А.А. [Измайлов А.А.]*. Загадки и тайны Гоголя: (к столетию дня его рождения) // Нива. 1909. № 11. С. 210.

¹⁹ *Ващенко-Захарченко А.Е.* Мёртвые души: окончание поэмы Н.В.Гоголя: Похождения Чичикова. С. 8.

²⁰ Там же. С. 24.

²¹ Там же. С. 321.

²² Там же. С. 344.

²³ Там же. С. 347.

²⁴ *[Чернышевский Н.Г.]* «Мёртвые души». Окончание поэмы Н.В.Гоголя «Похождения Чичикова». Ващенко-Захарченко. — Киев, 1857: [рец.] // Современник 1857. Т. LXIV. № 8. Отд. IV: Библиография. С. 1, 6–7; то же: *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: в 15 т. и т. 16 (доп.). — М., 1939–1953. Т. IV. С. 665, 669–670.

²⁵ *Измайлов А.* Эпиплоги к «Ревизору и «Мёртвым душам» Н.В.Гоголя // Ежемесячные сочинения. 1902. № 3. С. 326–327.

²⁶ Там же. С. 327.

²⁷ *Измайлов-Смоленский А.А. [Измайлов А.А.]*. Загадки и тайны Гоголя: (к столетию дня его рождения). С. 209.

²⁸ О различиях между терминами см.: *Виноградов В.* История одной литературной подделки // Русская литература. 1958. № 3. С. 102.

²⁹ См.: Похождения Чичикова, или Мёртвые души. Поэма Н.В.Гоголя: новые отрывки и варианты / сообщ. М.М.Богоявленский // Русская старина. 1872. Т. V. № 1. С. 85–117.

³⁰ Там же. С. 88–89.

³¹ Там же. С. 89.

³² См.: Новые отрывки из *Мёртвых душ* и воспоминания о Гоголе // Русский вестник. 1872. Т. 97. Янв. С. 410.

³³ Там же.

³⁴ Там же.

³⁵ См.: *Чижов В.П.* Последние годы Гоголя: лит. заметка: по поводу «Новых отрывков и вариантов ко 2-му тому Мёртвых Душ» // Вестник Европы. 1872. Т. IV. Кн. 7. С. 432–449

³⁶ Там же. С. 432–433.

³⁷ Там же. С. 444–445, 447.

³⁸ Там же. С. 444.

³⁹ Там же. С. 449.

⁴⁰ *Пыпин А.Н.* Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов // Вестник Европы. 1873. Т. II. Кн. 4. С. 547.

⁴¹ Там же. С. 546–547; о реакции Пыпина см.: *Виноградов В.* История одной литературной подделки. С. 107–108.

⁴² *Ред. [Семевский М.И., Семевский В.И.]*. Подделка под Гоголя: (лит. курьез) // Русская старина. 1873. Т. VIII. № 8. С. 245.

⁴³ Там же. С. 246.

⁴⁴ См.: Там же. С. 247.

⁴⁵ См.: *Семевский В., Семевский М.* По поводу «литературного курьеза» // Санкт-Петербургские ведомости. 1873. 28 июня. № 175. С. 2.

⁴⁶ *Ястржембский Н.* Еще по поводу «литературного курьеза»: (письмо в ред. С<анкт>-П<етер>б<ургских> Ведомостей) // Там же. 7 июля. № 184. С. 2.

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ *Ред. [Семевский М.И., Семевский В.И.]*. Подделка под Гоголя: (лит. курьез). С. 251.

⁴⁹ См. подробнее: *Виноградов В.* История одной литературной подделки. С. 108–109.

⁵⁰ *Ястржембский Н.* К вопросу о подделке «Мёртвых Душ» Гоголя // Голос. 1873. 24 авг. № 233. С. 4; см. также: Там же. 28 авг. № 237. С. 2; *Ястржембский Н.* Ответы «Вестнику

Европы» // Там же. 17 сент. № 257. С. 2; *Он же*. Изложение дела о варьянтах «Мёртвых душ», напечатанных в январской книжке «Русской старины» за 1872 год // Там же. 8 окт. № 278. С. 2; *Он же*. Литературные курьезы // Санкт-Петербургские ведомости. 1873. 20 июня. № 167. С. 1.

⁵¹ Данилевский Г. Письмо в редакцию: (по поводу новых отрывков из второго тома «Мертвых Душ» Гоголя) // Там же. 2 авг. № 210. С. 2.

⁵² См.: Д. Подделка Гоголя: заметка // Вестник Европы. 1873. № 8. С. 822–840.

⁵³ См.: Там же. С. 839; также: Д. Подделка Гоголя: заметка вторая (и последняя) // Там же. № 9. С. 449–456; о возможном авторе заметок см.: Виноградов В. История одной литературной подделки. С. 112.

⁵⁴ Ястржембский Н. Изложение дела о варьянтах «Мёртвых душ», напечатанных в январской книжке «Русской старины» за 1872 год.

⁵⁵ Оболенский Д.А. О первом издании посмертных сочинений Гоголя: воспоминания // Гоголь в воспоминаниях современников / ред. текста, предисл. и коммент. С.И.Машинского. — М., 1952. С. 544, 555. Напомним, впервые опубли.: Русская старина. 1873. Т. 8. Вып. 12. С. 940–953.

⁵⁶ Там же. С. 556.

⁵⁷ В.В.Виноградов предположил, что эти статьи написаны были при участии Достоевского; см.: Виноградов В. История одной литературной подделки. С. 102–129; опровержение данной версии см.: Туниманов В.А. Об анонимном фельетонном наследии Ф.М.Достоевского в годы редактирования «Гражданина» // Русская литература. 1981. № 2. С. 169–174.

⁵⁸ См.: Гражданин. 1873. № 34. С. 934–936.

⁵⁹ Там же. № 45. С. 1207–1210.

⁶⁰ Там же; подробный анализ статьи см.: Виноградов В. История одной литературной подделки. С. 118–125.

⁶¹ См.: Смоленский [Измайлов А.А.]. Поддельный Гоголь: (забытый анекдот) // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1909. 20 марта (2 апр.). № 11017. С. 2; Масанов Ю. Литературные мистификации // Советская библиография. 1940. № 1. С. 135–137; Виноградов В.В. О языке художественной литературы. — М., 1959. С. 354–421.

⁶² Володихин Д. Ярослав Веров. Господин Чичиков: [рец.] // Знамя. 2006. № 11. С. 224 (см. подробнее: Невярович Н.Ю. Рецепция гоголевского гротеска в современной прозе (А.Королёв «Голова Гоголя», Я.Веров «Господин Чичиков», В.Пьецух «Демонстрация возможностей», Е.Попов «Душа Патриота, или Различные послания к Ферфичкину», Дм.Быков «ЖД») // Русистика: сб. науч. тр. Вып. 8. — Киев, 2008. С. 87–88).

⁶³ См.: Лурье Я.С. В краю непуганых идиотов: кн. об Ильфе и Петрове. СПб., 2005. С. 116; см. также: Кузьмин А.И. Гоголевские традиции И.Ильфа и Е.Петрова «Двенадцать стульев» и Золотой телёнок» // Классическое наследие и современность: [сб. ст.]. Л., 1981. С. 285–294.

⁶⁴ Невярович Н.Ю. Рецепция гоголевского гротеска в современной прозе... С. 90.

⁶⁵ Ср.: «Россия мертва. Ее уже не спасти и не воскресить. Нужно спасать ее душу. И свою тоже» (Спаский Н. Проклятие Гоголя. — М., 2007. С. 36).

⁶⁶ См.: Fernandez D. Les Enfants de Gogol: roman. Paris, 1971.

⁶⁷ Анализ романа см.: Грев Кл., де. Н.В. Гоголь во Франции (1838–2009). — М.; Новосибирск, 2014. С. 377–381.

⁶⁸ Елизаров М. Pasternak. — М., 2003. С. 180–181.

⁶⁹ Харитонов М. Способ существования: эссе. М., 1998. С. 142; см. также: Рыбальченко Т.Л. Личность и творчество Н. Гоголя в рецепции М.Харитонova // Н.В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции). Томск, 2007. Вып. 1. С. 298–299. О втором томе «Мёртвых душ» как о «непроявленной книге», скрывающей именно в этом своем качестве тайное знание, писал В.Отрошенко в книге новелл «Тайная история творений. Гоголь и призрак точки», сюжет которых — загадка, что сопровождает рождение великих произведений мировой философии и литературы (см.: Новая юность. 1998. № 5. С. 112–119).

⁷⁰ См., например, в кн.: Булычёв К. Избранные произведения: в 2 т. Т. 2: Тиран на свободе. — М., 1992.

⁷¹ См.: Зегерс А. И снова встреча: повести и рассказы / пер. с нем.; [предисл. Т.Мотылёвой]. — М., 1980.

⁷² См.: Мёртвые души: поэма: том второй, написанный Николаем Васильевичем Гоголем, им же сожженный, вновь воссозданный Юрием Арамовичем Авакяном и включающий полный текст глав, счастливо избежавших пламени. — М., 1994.

⁷³ Шаров В. Возвращение в Египет: роман в письмах. — М., 2013. С. 76.

⁷⁴ Доступно на: <https://www.rg.ru/2014/12/05/buker-site.html>

⁷⁵ Шаров В. Возвращение в Египет... С. 212.

⁷⁶ Там же. С. 272.

⁷⁷ Там же. С. 282.

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ Там же. С. 283.

⁸⁰ См.: Там же. С. 244.

⁸¹ Там же. С. 283.

⁸² Ср.: «Последним, обо что он, Чичиков, преткнулся, был Небесный Иерусалим. Трижды — два раза в Стародубье и один раз в Иргизе — в видениях ему являлись Райские чертоги. Господь водил его по Эдему, все показал и обо всем рассказал» (Там же. С. 311).

⁸³ Там же. С. 284.

⁸⁴ Ср. из письма Коли дяде Петру: «Бегуны считали землю за уток и часто жаловались на шероховатость почвы — имелись в виду горы и низины, — из-за которой ткань не получается гладкой. Понятно, что идею Николая Фёдорова выровнять как землю, так и людей, тем самым на корню уничтожив соблазны, искушения, они встретили с радостью. Всем хотелось верить, что спасение близко. Хотя дело кончилось расстрельными приговорами и лагерями, по словам кормчего, по сию пору, молясь Господу, странники среди прочих заступников поминают автора «Философии общего дела»» (Там же. С. 391–392).

⁸⁵ Там же. С. 239.

⁸⁶ Там же. С. 640–641.

⁸⁷ Там же. С. 642. Еще один родственник, дядя Пётр, словно подводит итог дискуссии, окончательно перечеркивая выстроенную в романе мифологему обретения Земли Обетованной: «Фёдоров, Вернадский и революция внушили народу, что ему достанет силы встать, пойти и дойти до Небесного Иерусалима. Для этого не нужно никаких чудес: ни бьющей из-под скалы воды, ни манны, ни перепелов, и Завета тоже не нужно. Чудеса есть слабость, есть несамостоятельность, зависимость от Господа — советского человека они могли бы только унижить» (Там же. С. 646).

⁸⁸ Там же. С. 760.

⁸⁹ См.: *Топорков В.О.* К.С.Станиславский на репетиции: воспоминания. — М., 1950. С. 64; см. также: *Станиславский К.С.* Режиссерская партитура III акта спектакля «Мёртвые души» // В поисках реалистической образности: проблемы совет. режиссуры 20–30-х гг.: [сб.]. — М., 1981. С. 312–317.

⁹⁰ Напомним, что подобное решение Станиславскому не мог простить В.Э.Мейерхольд (см.: *Мацкин А.* На темы Гоголя: театр. очерки. — М., 1984. С. 193. См. подробнее: ПСС–2. Т. 7. Кн. 2. С. 613–643 (разд. коммент. «Театральная интерпретация «Мёртвых душ»»).

⁹¹ *Топорков В.О.* К.С.Станиславский на репетиции... С. 67.

⁹² Спектакль назывался «Комические сцены из новой поэмы «Мёртвые души» сочинения Гоголя (автора «Ревизора»), составленные Г. ***». Описание постановки и отзывы на нее см.: Санкт-Петербургские ведомости. 1842. 9 сент. № 204. С. 892; Северная пчела. 1842. 9 сент. № 200. С. 800.

⁹³ История моего знакомства с Гоголем. С. 55–56.

⁹⁴ *Fanger D.* The Creation of Nicolay Gogol. Cambridge (Mass.), 1979. P. 169.

⁹⁵ ПСС–1. Т. VIII. С. 440.

⁹⁶ О плутовском романе как жанровом субстрате «Мёртвых душ» см., в частности: *Leblanc R.* Gogol's Response: «The Adventures of Chichikov, or Dead Souls» and the Picaresque Tradition // *Leblanc R.* The Russianization of Gil Blas: a Study in Literary Appropriation. Columbus (Ohio), 1986. P. 224–56; *Ulrich P. J.* Die Transformation des Schelmenromans: N. V. Gogol. Mertyve Duši // *Ulrich P. J.* Tendenz und Verfremdung: Studien zum Funktionswandel des russischen satirischen Romans im 19. und 20. Jahrhundert. Bern, 2000. S. 65–99.

⁹⁷ Формулу «ни то ни се» Гоголь вначале употребляет применительно к Манилову. Но примечательно, что позже она все же отзовется и в обрисовке Чичикова. Ср. описание поведения Чичикова в гостях у Тентетникова во второй части «Мёртвых душ» (нижний слой): «...или же просто барабанил по табакерке пальцами, насвистывая какое-нибудь ни то ни се» (ПСС–2. Т. 7. С. 29).

⁹⁸ См.: *Gerigk H. J.* Die toten Seelen // Der russische Roman / hrsg. B. Zelinsky. Düsseldorf, 1979. S. 86–110.

⁹⁹ *Tschilschke Ch., von.* Epen des Trivialen: N. V. Gogol's «Die Toten Seelen» und G. Flauberts «Bouvard und Pécuchet»: ein struktureller und thematischer Vergleich. Heidelberg, 1996. S. 159–160.

¹⁰⁰ Выражение «потерпел на службе», «много потерпел за правду» есть вообще одно из ключевых у Чичикова. См. также в тексте первого и второго томов «Мёртвых душ»: ПСС–1. Т. VI. С. 35–37; Т. VII. С. 27, 150.

¹⁰¹ См. об этом: *Ковальчук О.Г.* Гоголь — «русский Христос»? (текст поэмы «Мертві душі» як засіб самоідентифікації автора) // *Гоголезнавчі студії*. — Ніжин, 1999. Вип. 4. С. 74–85.

¹⁰² ПСС–1. Т. VII. С. 107, 249.

¹⁰³ Там же. Т. VI. С. 238.

¹⁰⁴ См.: *Кривонос В.Ш.* Городской фольклор в «Мёртвых душах» Гоголя // *Н.В.Гоголь: материалы и исслед.* Вып. 2. — М., 2009. С. 357–373; *Соливетти К.* Сплетня как геральдическая конструкция (*Mise en abyme*) в «Мёртвых душах» // *Nel mondo di Gogol' = В мире Гоголя*. — Roma, 2012. С. 196–216.

¹⁰⁵ См., в частности: *Гуминский В.* Чичиков и Наполеон // *Литература, культура и фольклор славянских народов: XIII Междунар. съезд славистов*. — М., 2002. С. 159–172.

¹⁰⁶ ПСС–1. Т. VI. С. 92.

¹⁰⁷ Там же. С. 169.

¹⁰⁸ *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: в 15 т. и т. 16 (доп.). — М., 1939–1953. Т. I. С. 68–69 (запись от 5 авг. 1848 г.).

¹⁰⁹ ПСС–2. Т. 7. Кн. 1. С. 616. У Бальзака, как остроумно заметила А.А.Елистратова, неудачи или поражения причастного к обману или преступлению «оказываются сознательно или планомерно подготовленными другими людьми, то ли по расчету, то ли ради забавы»; планы же Чичикова расстраиваются не в силу сознательного противодействия других лиц; «кажется, что сами русские просторы обращаются против него» (*Елистратова А.А.* Гоголь и проблемы западноевропейского романа. — М., 1972. С. 184).

¹¹⁰ ПСС–1. Т. VI. С. 242.

¹¹¹ Там же. Т. VIII. С. 377.

¹¹² Там же. Т. VI. С. 242.

¹¹³ *Матвеев П.Д.* Гоголь в Оптиной пустыни // *Русская старина*. 1913. Февр. С. 303.

¹¹⁴ *Зеньковский В.* Н.В.Гоголь // *Гиппиус В.* Гоголь; *Зеньковский В.* Н.В.Гоголь / предисл., сост. Л.Аллена. СПб., 1994. С. 202. Об истории Чичикова как доказательстве возможности «преображения страсти» см. также: *Гиппиус В.В.* Творческий путь Гоголя // *Гиппиус В.В.* От Пушкина до Блока / отв. ред. Г.М.Фридендер. — М.; Л., 1966; *Франк С.Л.* Страсти, пафос и бафос у Гоголя // *Логос*. 1999. Вып. 2. С. 80–88; *Паламарчук П.Г.* Ключ к Гоголю — СПб., 2009. С. 113.

¹¹⁵ *Воронский А.* Гоголь. — М., 2009. С. 178. Об онтологии зла и прирожденных человеческих страстей см. работу Ю. В. Манна «Укрощение гротеска. (Об одной тенденции позднего Гоголя)» в его кн.: *Творчество Гоголя: смысл и форма*. — СПб., 2007. С. 705–712.

¹¹⁶ [Без подписи]. Тарантас. Путевые впечатления. Сочинение графа В.А.Соллогуба. — СПб., 1845: [рец.] // *Отечественные записки*. 1845. Т. 40. № 6. Отд. V: Критика. С. 32; см. также: *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: в 13 т. — М., 1953–1959. Т. IX. С. 79.

¹¹⁷ *Одесский вестник*. 1859. 13 янв. № 5. С. 19. Традиционно письма приписывались В.И.Белому; подробнее об авторстве см.: *Виноградская Н.Л.* Неизвестные письма В.И.Белого к Гоголю // *Н.В.Гоголь: материалы и исслед.* Вып. 2. С. 41–45.

¹¹⁸ *Данилевский Н.Я.* Россия и Европа: взгляд на культур. и полит. отношения славян. мира к германо-романскому. — М., 2008. С. 603.

¹¹⁹ *Мережковский Д.С.* Гоголь и черт. — М., 1906. С. 38–39.

¹²⁰ *Белый Андрей.* Мастерство Гоголя: исслед. / предисл. Л. Каменева. — М.; Л., 1934. С. 94–95.

¹²¹ *Мережковский Д.С.* Гоголь и чёрт. С. 64.

¹²² *Говоруха-Отрок Ю.Н.* Нечто о Гоголе и Достоевском: по поводу ст. В.Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе» // *Московские ведомости*. 1891. 26 янв. № 26. С. 3–4. Цит. по: Гоголь в русской критике / сост. С.Г.Бочаров. — М., 2008. С. 169–170.

¹²³ Данная тенденция в особенности характерна для инсценировок «Мёртвых душ» последнего времени, в частности инсценировки С.Арцыбашева в театре В.Маяковского, где на первый план выходит образ Чичикова — отца семейства, а вовсе не предпринимателя. См. подробнее в газ. публ.: *Дмитриева Е.* Московская юбилейная гоголиана // *Империя драмы: Александринский театр*. 2009. № 26. С. 4.

¹²⁴ *Мережковский Д.С.* Гоголь и чёрт. С. 39.

¹²⁵ Ср. трактовку мотива продолжения чичиковского рода, предложенную В.В.Розановым. Назвав «Мёртвые души» произведением, в котором Гоголь «выразил <...> великую тайну своего творчества и, конечно, себя самого», тайну «гениального живописца внешних форм», за которыми «не скрывается <...> никакой души», проявление этой мертвенности Розанов увидел в заботе Чичикова о состоянии, которое он желал оставить будущим детям. Забота эта, по мысли критика, носила постыдный характер и дискредитировала саму жизнь: «Пусть изображаемое им общество было дурно и низко, пусть оно заслуживало осмеяния: но разве уже не из людей оно

состояло? Разве для него уже исчезли великие моменты смерти и рождения, общие для всего живого чувства любви и ненависти? <...> Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, известно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватается поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало» (Розанов В.В. Собр. соч.: Легенда о Великом инквизиторе Ф.М.Достоевского; Лит. очерки; О писательстве и писателях / под общ. ред. А.Н.Николюкина. — М., 1996. С. 19).

¹²⁶ Обоз к потомству с книгами и рукописями: из зап. Н.В.Сушкова // Паут: ист. и лит. сб. Кн. 3. — М., 1854. С. 379.

¹²⁷ ПСС—1. Т. VII. С. 29.

¹²⁸ Там же. С. 29—30.

¹²⁹ Там же. Т. VI. С. 17—18.

¹³⁰ Там же. С. 13.

¹³¹ Там же. С. 34.

¹³² Там же. С. 135.

¹³³ Там же. Т. VII. С. 26, 28.

¹³⁴ См.: Делон М. Искусство жить либертена: фр. либертинская проза XVIII века. — М., 2013. С. 25.

¹³⁵ Данные цветообозначения указывают, в частности, на то, что владелец фрака не состоит на государственной службе. См. об этом: Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. — М., 1997. С. 25—39.

¹³⁶ ПСС—1, Т. VI. С. 106.

¹³⁷ Примечательно, что Гоголь не единожды подчеркивает разного рода складки в описании одежды Чичикова. При этом известно, что складка (в особенности на шейном платке) имела, как знак покоренной материи, особую семиотическую насыщенность в костюме денди. См. об этом в кн.: Вайнштейн О. Денди: мода. Литература. Стиль жизни. — М., 2005.

¹³⁸ Todd W. M. Fiction and Society in the Age of Pushkin: Ideology, Institutions, and Narrative. Cambridge (Mass.), 1986. P. 200. Виктор Эрлих, правда, предпочитал говорить об иной, хотя и типологически близкой ролевой маске Чичикова — а именно маске *comme il faut*, этого, если верить О. де Бальзаку, буржуазного варианта благородного человека (см.: Balzac H. La Femme comme il faut. Paris, 1840. P. 7—8). Само обозначение *comme il faut* появляется у Гоголя лишь во втором томе поэмы в описании супруги Леницына: «бледная, худенькая, низенькая, но одетая по-петербургскому, большая охотница до людей *comme il faut*» — и лишь косвенным образом проецируется на Чичикова.

¹³⁹ ПСС—1. Т. VI. С. 10.

¹⁴⁰ Там же. С. 136.

¹⁴¹ ПСС—1. Т. VII. С. 108.

¹⁴² Там же. Т. VIII. С. 297.

¹⁴³ Там же. Т. VI. С. 136.

¹⁴⁴ Белинский В.Г. Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мёртвые души» // Отечественные записки. 1842. Т. 25. № 11. Отд. V: Критика. С. 26; то же: Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. VI. С. 427.

¹⁴⁵ Мережковский Д.С. Гоголь и чёрт. С. 77.

¹⁴⁶ Там же. С. 76.

¹⁴⁷ Золотусский И.П. Поэзия прозы: ст. о Гоголе. С. 74.

¹⁴⁸ Kutik I. Writing as Exorcism: the Personal Codes of Pushkin, Lermontov, and Gogol. Evanston (Ill.), 2005. P. 8.

¹⁴⁹ Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников: науч.-крит. изд.: в 3 т. / изд. подгот. И.А.Виноградов. — М., 2011—2013. Т. 2. С. 220.

¹⁵⁰ Там же. С. 222. Ср. далее упоминание о «светло-желтых нанковых панталонах, светло-голубом жилете, темном синем фраке» (Там же. С. 267). Отметим попутно, что желтые панталоны и синий фрак было также тем сочетанием цветов, которое предпочитал гетевский Вертер и которое вошло в моду после появления романа «Страдания юного Вертера» (1774).

¹⁵¹ Смирнова А.О. Письмо И.С.Аксакову. 25 сент. /2 окт. 1877 г. // Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников... Т. 2. С. 249.

¹⁵² Как и положено (фр.).

¹⁵³ Гоголь в письмах Анд.Н.Карамзина к Е.А.Карамзиной // Там же. С. 30.

Ольга Балла

К филологии счастья

Ольга Седакова. О русской словесности: От Александра Пушкина до Юза Алешковского / Вступ. статья Ирины Сурат. — М.: Время, 2023. — 604 с.

Тексты, составившие новую книгу Ольги Седаковой и объединённые темой русской словесности двух предшествующих столетий (по преимуществу; на самом деле тематический диапазон несколько шире — некоторые её герои: Юз Алешковский, Елена Шварц дожили до XXI века, и даже Виктор Кривулин прожил в нём целый год, а Пётр Чейгин и Иван Жданов здравствуют поныне), обязаны своим возникновением отдельным, разрозненным и вполне формальным случаям: необходимости прочитать публичную лекцию, произнести речь при открытии выставки... Но все эти точки составляют линию (по крайней мере, её возможно через них провести); каждая из них своим единственным образом сводит в узел характерные, волнующие автора темы, фокусирует их на себе, накладывает их друг на друга и приводит во взаимодействие.

Прежде всего: по мысли Седаковой, русская литературная классика в частности и русская литературная история вообще нуждаются по меньшей мере в более пристальном чтении, по большому же счёту — в перепродумывании, и даже радикальном. Что особенно редко, этого положения она почти не декларирует в общем виде, разве что обращает внимание на то, что своих классиков мы обыкновенно читаем неправильно («Критика определённого типа приучала нас так читать классику — в социальных обобщениях: тип лишнего человека, тип маленького человека и т.д. Но на самом деле, конечно, сами писатели так не думали»). Такую работу она осуществляет сама, во всяком случае — начинает её.

В связи с читаемыми и перечитываемыми классиками для Седаковой важна новизна (взгляда, мысли), сама возможность её; неизведанные области, неисхоженные пути. Среди недопрочитанных и недопродуманных оказываются даже такие многократно и многообразно исследованные классики, как Пушкин или Достоевский: при огромных и всё растущих объёмах сказанного и написанного о них для работы понимания, полагает поэт, здесь по сей день остаются большие пространства. Вся эта книга — о том, что «до сих пор ещё ждёт внимания и доверия к себе» (как сказано Седаковой о Пастернаке, о видении им человека и его отношений с бессмертием); сюда же относятся и недопрочитанные, недоцененные или вообще не прочитанные толком поэты, как, например, Владимир Лапин, — но генеральной линии они не образуют; в фокусе внимания здесь — как раз те, кто вниманием, казалось бы, избалован.

Читая книгу, впору подумать даже так: чем больше заговорен, заинтерпретирован автор, особенно имеющий статус классического, тем, совсем не парадоксальным образом, больше в нём незамеченного, недооткрытого, — интерпретаторы движутся в основном по сложившимся траекториям, Седакова же избирает собственные пути,

иногда совершенно неожиданные; намечает не просто возможности переосмысления того, что по инерции кажется давно понятным, но буквально новые направления исследований.

Вот, например, у Достоевского она обнаруживает «...слова или группы слов с переменчивым, непрояснённым концептуальным содержанием. И это ключевые слова! Так, в монологе Инквизитора слово *чудо* на ходу меняет значение; слово *любить* значит одно в первоначальном употреблении Ивана (о том, что *любить* ближних невозможно) — и другое в его поэме (обвинение Инквизитора Христу в том, что Он не любит людей) и т.п., и т.п. Кроме того, эти навязчивые словесные лейтмотивы обыкновенно вспыхивают пучками: *гармония — страдание, свобода — счастье; свобода — чудо; тайна — счастье...*». Из этих наблюдений делается очень интересный вывод: «Вероятно, такому опеванию слов можно подобрать свою музыкальную аналогию — и она будет не менее уместна для описания композиционной техники Достоевского, чем знаменитая полифония». И далее: «Мне представляется, что внимательное описание словесной ткани Достоевского — в иной перспективе, чем “своё” и “чужое” слово — ещё предстоит. И после такой работы мы сможем с большей основательностью говорить об общем смысле его построений и об отдельных его фрагментах...» И ещё: «Словарь Достоевского — и особенно словарь его вопрошающих героев — состоит из слов, *блуждающих вокруг своего понятия*, противящихся концептуальному схватыванию. <...> Не отличив слова Достоевского от устойчивого языкового узуса, мы будем интерпретировать совсем другой текст, созданный нашими языковыми и понятийными привычками. Мы будем толковать о других, чем у Достоевского, “свободе”, “вере”, “любви”».

Ища источников «новой мысли», один из них Седакова обнаруживает во Льве Толстом, утверждая, что в этом качестве он по сей день поразительно неоткрыт. Эту расхожую слепоту она усматривает даже у такого огромного и чуткого мыслителя, как Мераб Мамардашвили, считавшего, что Толстой, в отличие от Пруста, даёт не так уж много материала для философского чтения. «Это утверждение тем более странно, — замечает она, — что как раз в художественной мысли Марселя Пруста и Льва Толстого есть точки глубочайшего схождения, которые можно упустить из виду, только если видеть в Толстом исключительно “наивного реалиста большого стиля”». В своём усмотрении философского потенциала Толстого Седакова не первая, — это видел и проговорил в курсе лекций о толстовских дневниках, который, кстати, предваряло одно из вошедших в книгу эссе Седаковой, Владимир Биbihин, её многолетний собеседник и корреспондент (и, говоря о нём, автор анализирует тип чтения, родственный ей самой). Биbihин тоже заметил, что понимание Толстого в России «отстаёт хорошо если не навсегда». Седакова обращает на эту недопонятость Толстого систематическое (хотя бы системообразующее) внимание.

Вслед ли за Биbihиным, вместе ли с ним она прочитывает Толстого в большом европейском философском контексте, ставя его работу в соответствие с тем, что делали (не романисты его времени, но) Витгенштейн, Лейбниц, Кант, Дильтей, Гуссерль. (Биbihин говорил об этом соответствии в своём курсе; но это видение штучное, индивидуальное. Где видения таких связей точно нет, так это в общекультурном сознании. У Седаковой оно есть; ясны ей, кажется, и причины неузнавания в Толстом философа: свою философскую мысль он развивает «слишком непривычным для нас образом, в решительном отстранении от учёного философского дискурса». Но мы, замечает она далее, и европейских философских классиков не прочитали (не глазами узких специалистов, а именно в общекультурном, надо полагать, масштабе) так, как следовало бы: увидев и прочувствовав, что всё ими сказанное «имеет самое непосредственное отношение к ходу нашей жизни». (Очень возможно, что всех, о ком идёт речь в этой книге, сама Седакова читает именно таким образом; именно непосредственное отношение сделанного ими к ходу нашей жизни интересует

её прежде многого прочего; только, кажется, тут стоило бы говорить не столько о ходе жизни, сколько о её глубоких основах.)

Вместе с Бибихиным она замечает в Толстом, например, то (минимально, похоже, продуманное в нашей культуре), что он «в самой практике своей внутренней жизни интимнейшим образом связан с духовной школой древнего православия» — и прочитывает его именно в этом контексте. Вообще, у неё есть собственная концепция Толстого, — очень нетривиальная (в антропологическом отношении тоже). Она называет его «художником и мыслителем *чувства*» и поясняет: «Читатели книги дона Джуссани “Религиозное чувство” могут понять, что я имею в виду. Не какое-то конкретное эмоциональное состояние, как это привычно в бытовом употреблении слова “чувства” (обычно, к тому же, во множественном числе). Таких “чувств” множество, а *чувство*, о котором я говорю, — одно. Это прямое, открытое, безусловное переживание реальности, захватывающее человека целиком. *Чувство* в таком смысле никак не противопоставлено уму и мысли (разве что отвлечённому рассудку). Мыслью в полном смысле Толстой признаёт только мысль, исходящую из *чувства*, то есть из всего человека, из его реального положения: всё остальное он называет “приёмными комнатами ума”. *Чувство* в этом смысле противопоставлено бесчувствию (*нечувствию*, хорошо известному аскетической традиции: так в молитве Иоанна Златоуста, входящей в ежедневное молитвенное правило православных, святой просит избавить его от “окамененного нечувствия”»).

Бунина она видит так, как не видел его, кажется, ещё никто («Художественный гений Бунина в том, что он вызывает минувшее, не досказывая его, — вызывает во всей его непрояснённости, в неподведённости итога, в недоумении, в ожидании. <...> В утверждении того, что бывшее было, я слышу пафос — не только художнический, но религиозный <...> Было — то есть принадлежало чудесной реальности <...> Бунин видит одновременно две реальности: бесповоротную конечность жизни (кладбищенская плита) и её мерцающее — здешнее — бессмертие. Две эти реальности так сильны именно потому, что одновременны. Речь идёт вовсе не о психологической памяти <...>: речь о настоящем, отдельном, существовании, *olux aeterna* — вечном свете из древнего реквиема...». Одна из наиболее принципиальных в сборнике — статья о Некрасове («Наследство Николая Некрасова в русской поэзии», написанная для французского многотомника по истории русской литературы), герой которой и его место в литературной истории вообще подвергается радикальному переосмыслению. В Некрасове Седакова видит «влиятельного и, можно сказать, сверхвлиятельного поэта», «в силовом поле» «обширного и необычайно многообразного влияния» которого «оказываются — каждый в своём роде — и поздний Тютчев, и крестьянские и революционные поэты, и Блок, и Маяковский, и Бродский». Именно Некрасов, утверждает она, «создал тот канон русского поэтического стиля, который всерьёз не пересматривался», а история русской поэзии в целом имеет все основания быть разделенной «на донекрасовскую и посленекрасовскую».

Более того, Седакова видит возможности нового понимания устройства русского романа в целом (слова «русский роман» она помещает в кавычки, обозначая тем самым, видимо, особенную разновидность жанра): «В глубине “русского романа”, — говорит она, — обыкновенно лежит нечто подобное притче <...> всё “реалистическое” повествование оказывается измерено мерой этой заданной темы — то есть понято тоже как своего рода притча: оторвано от собственной данности, напряжено к некоторому искомому смыслу. При этом повествование слишком обширно, свободно и подробно выписано, чтобы каждый его момент мог пониматься как прямо символический: между предельным смыслом, к которому тяготеет “русский роман”, и его художественной плотью существует огромная асимметрия».

В целом, Седакова вскрывает (недовостребованный) философский потенциал русской литературы вообще и русской классики — основополагающих, по идее,

для культуры текстов — в частности. (Постепенно, таким образом, разговор выходит на некоторые коренные парадоксы нашей культуры, один из которых — *недопродуманность основополагающего*.)

Есть герои, особенно притягивающие внимание Седаковой, проговоренные и обдуманые подробно несколько раз, из разных точек биографии, из разных исторических эпох. Выработка их понимания происходит на протяжении всей жизни автора, она возвращается к ним постоянно. Таковы Ахматова, Пастернак, Хлебников — каждому из них в книге посвящено более одного текста. (Кстати о недопонимании: Седакова выявляет, в частности, внеположность Хлебникова ни много ни мало всей постренессансной художественной традиции с её основополагающими принципами.)

Ахматова и Хлебников могут показаться противоположностями (двумя полюсами седаковского мира?) — радикальный новатор Хлебников, сам разговор о котором начинается с того, что такое, собственно, будущее, как оно устроено («Это область смыслового скачка, которая из каждого времени видится как горизонт, линия схождения “реальности” с её “смыслом” — и как горизонт, будущее передвигается с движением времени»), и «консерватор» (на самом деле — хранитель) Ахматова, — но, по всей видимости, это не (совсем) так (хотя и версию двух полюсов, пожалуй, стоит продумать). Может быть, они с двух разных краёв делают (большую и неохватную) культурную работу — сходящуюся в одном центре; защищают две разные границы одного целого.

Сама Седакова, возможно, принадлежит к центральным областям культуры, понятой таким образом, — именно она, а не какие-нибудь тихие традиционалисты, терпеливо воспроизводящие привычное. Она — в том центре, откуда оба края (не правда ли, удивительно видеть Ахматову на краю? — а ведь она в некотором смысле действительно там: на твёрдой границе, за которой — новосоветское, а потом уже и позднесоветское варварство) видятся как части одного целого и именно при взгляде оттуда могут быть соотнесены друг с другом.

Точнее, соотношение их примерно таково: Ахматова отвечает за отношение культурного целого с (огромным, сложным, обесцениваемым в советское время) прошлым, Хлебников — за отношения с (постоянно отодвигающимся) будущим, с областью потенциального, зыбких возможностей, которые надо ещё выявлять и культивировать. (Ранний Пастернак ближе к хлебниковскому полюсу, поздний — к ахматовскому.)

Всё это очень напрашивается на систематическое, монографическое изложение. Но чего в книге точно нет, так это систематической выстроенности и даже как будто отчётливой идеи, в соответствии с которой тексты распределялись бы по разделам. Здесь не найти даже простого хронологического порядка: друг за другом идут тексты о Венедикте Ерофееве — притом больше как о человеке, чем как о писателе, хотя и об этом кое-что есть; о «Москве — Петушках» — подробно, остальное только упоминается; о Юзе Алешковском — а потом сразу о Некрасове...

Можно, впрочем, сказать, что от систематического выстраивания собранных в книгу текстов автор уклоняется вполне осознанно, позволяя им жить собственной жизнью. Система тут есть и без того — просто уже потому, что все тексты пронизывает общая совокупность интуиций, идея же, и очень даже отчётливая, ведёт себя деликатно, проговариваясь как бы по ходу дела.

В первом приближении всё это, вне всяких сомнений, литературоведение — по уверенно применяемому автором, профессиональным филологом, инструментарию, — и вместе с тем, по глубокому своему замыслу, не совсем литературоведение или вовсе не оно (хотя да: интенсивное взаимодействие с текстами и авторами, большинство которых имеет уже статус классических). Литературоведческий анализ здесь всего лишь средство — хотя неотменимое: позволяющее разглядеть важные автору предметы как можно более точно.

Как бы через призму (если не через фильтр) русской словесности последних двух с небольшим веков поэт смотрит, в конечном счёте, на вещи предельные: например, на удел человеческий, на смысл существования человека в мире, на суть счастья — имеющего, в свою очередь, прямое отношение к сути самого человека. (Так происходит, например, в эссе о «Золотом петушке» — последней, совсем не характерной для автора и, при ближайшем рассмотрении, страшной сказки Пушкина.)

Тот же Пушкин, и не он один, наводит внимание автора на устойчивую совокупность тем, связанных друг с другом, на некоторый тематический комплекс, давая возможность определённым образом его увидеть.

В этот комплекс входят по меньшей мере следующие компоненты: отношения поэта и власти (по существу, двух видов власти, из которых первая явно больше); «величие и свобода души» — это слова о Мандельштаме в эссе «Лучший университет», посвящённом ещё одному важнейшему компоненту названного комплекса — счастью; красота (вполне вероятно, список не исчерпывающий). Все эти компоненты безусловно связаны друг с другом не только внешним, но и внутренним образом: о каком бы из них ни заходила речь, для автора неизменно оказывается невозможным не упомянуть другие, — они растут друг из друга и обуславливают друг друга. Так, (воплощённая в искусстве) красота (которая не совсем гармония — или даже совсем не она; куда скорее она может быть родственна «странности», «тревожности») уже своим существованием вырабатывает в человеке — по мысли автора — глубину, силу, достоинство, свободу, человечность — и да, счастье: «...Настоящим возражением издательскому принудительному счастью пропаганды, — говорит Седакова, имея в виду советские времена с их «жить стало лучше, жить стало веселее», — было бы <...> воспоминание о другом, глубоком и неподдельном счастье, отсветы которого мы видели в глухие советские годы. Оно открывалось нам прежде всего в искусстве — в том искусстве, которое было изгнано из советского рая: странном, тревожном, сложном, абсолютно непохожем на всё окружающее. Оно могло говорить не о радости, а об острой и глубокой скорби, как музыка Шостаковича, о стремлении к гибели, как поэзия Блока <...>, об ошеломлённости неведомым бытием, как стихи Мандельштама <...> Но его голос, узнаваемый нами как *другой* голос, говорил о величии и свободе души. Любовь к тому, что Мандельштам называл “мировой культурой” и “краденым воздухом”, ко всякому явлению человека, выпрямившегося во весь свой рост — мысленный, сердечный, душевный рост — или превосходящего себя, любовь, сила которой необъяснима для “нормального” общества (где как раз в эти же годы происходила контркультурная революция, борьба с “репрессивной” культурой) — в ней была наша жизнь, наша “тайная” (то есть таинственная) свобода». И далее поэт добавляет важное: «И я никак не назову это движение эскапизмом или суррогатом гражданской, политической свободы».

(Что до счастья, оно и само — оптическое средство: способ увидеть суть человека, и из вернейших; а то и способ сформировать её: недаром первый наш поэт назвал его «лучшим университетом», и Седакова не одной только волею случая это цитирует. Кстати, это ведь и собственная седаковская тема, одна из главных.

Я говорю:
ты
готов
к невероятному счастью? —

спрашивает с улыбкой на устах, как мы помним, «Ангел Реймса» устами поэта у каждого из нас, и, право, совсем честно и внимательно всмотревшись в себя, не знаешь, что и ответить...)

То, что обо всех этих (основополагающих) предметах говорится именно на материале литературы, обусловлено, думается, не только тем, что автор — поэт

и филолог, но тем, что таким образом разговор становится конкретным и аргументированным. Литература вообще, классическая в особенности, позволяет обоснованно говорить о том, что в ином случае рисковало бы обернуться темой общих рассуждений, — и, наконец, просто отчётливее это увидеть.

В конце концов, все эти разные компоненты и есть одно, разве что рассматриваемое с разных сторон.

Важна тут всё-таки не литература, но то, что за нею, — и нет, не «жизнь», как опять же можно второпях подумать, — не реальное, но реальнейшее: основа жизни (в первом приближении — ценностная), её глубинные течения. (То есть речь идёт о предметах, о которых, казалось бы, естественнее всего, точнее всего было бы говорить в жанре проповеди; но автор предпочитает иную точность — не меньшую.) Тут выговариваются основы существования, и русская словесность, анализ её становится особенным способом их понимания; цель же анализа — не филологическая. В конечном счёте это — философия, осуществляемая филологическими средствами на материале литературы (или, точнее, — с помощью литературы). Рискну даже сказать, что русскую литературную классику — не теряя из виду её литературной природы и филологической строгости взгляда — Седакова читает как разновидность богословия («...образы счастья — блаженства, вообще говоря, — у русских писателей кажутся написанным многими руками комментарием к Нагорной проповеди — или русской версией того, что Франциск называл “совершенной радостью”»), и мысль филологическая состоит для неё в теснейшем родстве с богословской, но не вытесняется ею и сама не заменяет её.

Счастье и красота, в частности — в особенности! — схваченные литературой, как одна только она умеет, — силы, позволяющие смертному человеку соприкоснуться с этими основами жизни, ведущие к ним напрямую.

Седакова не то чтобы говорит об этом совсем уж прямо, но показывает это всем ходом своих рассуждений.

Поэты и писатели, в связи с которыми автор обсуждает важные для себя темы, не перестают быть для автора интересными и важными и сами по себе. Они не сводятся до уровня повода к разговору или иллюстрации авторских концепций, но остаются самостоятельной его темой. Говоря об интересующих её вопросах, Седакова ни на минуту не выпускает из внимания героев своего повествования, в связи с которыми, с помощью которых, в диалоге с которыми она рассматривает предметы, превосходящие любой повод и любую ситуацию.

Она всматривается в особенности литературной работы своих героев-собеседников, в её принципы (например, говоря о Пушкине в эссе «Ноль, единица, миллион. Моцарт, Сальери и случай Оболенского» — тоже, собственно, публичная лекция, прочитанная в своё время для австрийской аудитории, — она выявляет связь его с Шекспиром, сложное устройство этой связи: все четыре пушкинские «маленькие трагедии», говорит она, «написаны шекспировским ямбом. Если Шекспир и был образцом для Пушкина-драматурга, то он отжат, высушен, проветрен, возогнан...»). Она ставит их в высочайшие контексты, сопоставляет их с величайшим и основополагающим для европейской и мировой культуры: Пушкин и Библия, Пушкин и Данте для неё — явления равновеликие, пушкинские герои — архетипичны («два этих героя, Моцарт и Сальери, несомненно выходят, — пишет она, — из реалистического в символическое, в тот ряд фигур, которые близки к архетипическим, как Гамлет или Дон Кихот, или Франческа да Римини. Среди названных параллелей дантовская кажется самой уместной...»). Притом по отношению к своим героям автор совершенно не испытывает (по крайней мере, не проявляет) ни вроде бы причитающихся классикам трепета и благоговения (лишающих человека свободы), ни стилистического спутника их — пафоса (лишающего речь подлинности и точности). Только уважение, радость собеседничества с ними — и благодарность.

Вера Калмыкова

Встреча на полпути

Людмила ФЁДОРОВА. Адаптация как симптом: русская классика на постсоветском экране. — М.: Новое литературное обозрение, 2022. 368 с. (Серия «Кинотексты»)

Один из «проклятых вопросов» в отечественной культуре касается экранизаций классической русской литературы. Они — для чего? Чтобы воплотить художественный мир писателя средствами другого искусства? Чтобы воскресить ушедшую эпоху? Чтобы передать содержание и смысл более простым для усвоения способом?..

До поры до времени редко какая экранизация оказывалась бесспорной: и у читателя, и у критика, и у любителя кинематографа всегда оказывались «свои» Тарас Бульба, три сестры и Анна Каренина, и поступаться этими внутренними образами, идеальными в воображении их создателя — уже не автора! не автора, а читателя! — мало кто был готов. Существует и так называемая проблема бытового правдоподобия. Стоит на экране появиться какой-нибудь непродуманной детали, как сразу набегает историки, ставящие под сомнение всё художественное целое фильма по той лишь причине, что в каких-нибудь 1840-х годах пуговицы на мундирах были иными, чем показано. Но и этого мало, ибо есть ещё и требование «новизны»: как в меняющемся мире звучат и трактуются послания Пушкина, Гоголя, Достоевского и иже с ними? Остается ли авторская мысль неизменной, или в ней начинают звучать обертоны, которых раньше никто не услышал, ибо *время было другое*? А если перефразировать, то ситуация снова усложняется: конечна ли мысль писателя, можно ли ее исчерпать, поддается ли она однозначной, в каждую наступающую эпоху неизменной, интерпретации? И, с другой стороны, — где граница возможностей интерпретатора, за которой начинается его творческий произвол, идущий вразрез с писательской идеей?

Кто прав в таких пограничных ситуациях: автор текста, авторы кино, историки, читатели?

В название книги Людмилы Фёдоровой вынесено слово «адаптация», ставшее ключевым. Обратившись к национальному банку лексических значений, т.е. к словарю С.И.Ожегова, найдем две позиции: «1. Приспособление организма к изменяющимся внешним условиям. 2. Упрощение текста для малоподготовленных читателей». Итак, надо дать возможность Пушкину выжить в меняющемся мире, а меняющемуся миру — вобрать в себя Пушкина... Задача.

Особенно если учесть, что мир-то уже не такой читающий, как какие-то тридцать лет назад. Налицо «визуальная экспансия», как определяет Фёдорова. И Достоевский, Толстой, Чехов рискуют остаться экранными и только экранными для тысяч своих соотечественников.

В книге Людмилы Фёдоровой «Адаптация как симптом. Русская классика на постсоветском экране» с помощью анализа режиссёрских подходов к экранизации рассмотрены практические решения «проклятого вопроса». Уже во введении автор исследования отмечает: «Чтобы режим адаптации включился, зритель должен опознать кино- или телефильм именно как соотносящийся с текстом. <...> Однако, учитывая падение интереса к чтению, режим адаптации часто предполагает узнавание классики на самом поверхностном уровне: фильм или сериал накладывается на общее представление о тексте, предлагая зрителю характерные знаки произведения; как правило, если режиссер не переносит действие в другую эпоху, на узнавание рассчитан в первую очередь образ прошлого». Не смысл, но *знак* текста — отправной момент в предстоящем зрителю путешествии. И тогда логично, что «кинематографические интерпретации являются материальными свидетельствами рецепции текста, характерной для определенного времени». Не столько о Толстом, сколько о нас. *Эго-стремительная* культура 2000-2010-х, которая для нашей страны называется постсоветской, а на самом деле, конечно, глобальна и характерна для всей европоцентричной ойкумены, *покупает* только себя: сегодняшнему человеку интересен он, а не Татьяна Ларина или Раскольников. С этим следует считаться.

Не стоит всё же думать, что такой подход сам по себе беспроblemен. Показывая постсоветскому зрителю персонажей классического произведения, создатели фильма обращают его внимание на то, «что в адаптируемых произведениях существуют области неразрешенных конфликтов — точнее, зоны чувствительности к определенному кругу проблем, которые оказываются востребованы в конкретные периоды времени». Вот здесь и сейчас востребованы. Ты хочешь себя — получай. Но ты непрост, и жизнь твоя далека от элементарной. Гоголевское время прошло, но это не означает неактуальности проблем, поставленных Гоголем.

Среди современных прозаиков бытует мнение, что классикам пора бы и потесниться: наше время следует понимать по произведениям современных писателей, а не уважаемых предшественников. Однако кинематографическая практика свидетельствует о другой тенденции, и Фёдорова ее отмечает: «Очевидная избыточность адаптаций, постоянство возвращения к одним и тем же текстам и стремление ко всё новой их переработке напоминают механизм повторения одного и того же нарратива при переживании травмы». Должна быть пережита и излечена коллективная травма, реакция на сильное потрясение, изменившее жизнь людей и продолжающее на нее влиять. Идея Фёдоровой в том, что «адаптации классики становятся важным способом структурирования травматического опыта» — таков первый шаг к выходу из болезненного состояния. Проще говоря, фильмы помогают нам понять, кто мы, зачем мы и куда движемся.

Это особенно интересно, если учесть, что экранизации последних, если не тридцати, то по крайней мере пятнадцати лет были адресованы зрителю, не имеющему непосредственного травматического опыта, т.е. не жившему ни при Советской власти, ни тем более при монархии Романовых и не пережившему революционную трансформацию того и другого. Царская Россия упомянута неслучайно. Стоит помнить, что в XX веке травм этого плана (в данном случае исключаем Великую Отечественную войну) было две — сначала в 1917-м, потом в 1991-м годах. И если на момент начала перестройки ещё были живы свидетели первой травмы (те, кому за пятьдесят, могут вспомнить триумфальное возвращение на родину Ирины Владимировны Одоевцевой), то теперь-то их, конечно, уже физически нет.

Читатель постепенно понимает уместность и второго понятия — «симптом» — в заглавии. Раз была травма, значит, налицо болезненное состояние с определенным набором признаков, дающих общую картину. Ее-то и приходится корректировать,

если мы хотим все-таки построить здоровое общество. Оказывается, что поиск идентичности продолжается и в том поколении, которое исторических травм, связанных со сменой формы государственности, не переживало. Или, во всяком случае, к такому поиску побуждают молодого зрителя кинематографические интерпретации, а через них — и заказчик кино, оплачивающая его инстанция, в ряде случаев государство или связанные с ним кинокомпании. При этом само «прошлое» значительно менее интересно нашему современнику в возрасте до тридцати лет, чем его сверстнику полвека назад, и это представляет очередную трудность. Патриотическая составляющая, которая, как отмечает Фёдорова, звучит в экранизациях зачастую даже более акцентированно, чем в тексте писателя, — безусловно, в числе путей создания искомой идентичности у молодого зрителя.

По мнению автора книги, при сравнении буквальных киноверсий и творческих интерпретаций выигрывают вторые: «...Любое воплощение, которое пытается быть иллюстрацией, неизбежно разочаровывает, а самые интересные экранизации представляют собой диалоги с текстами». Что же такое, с точки зрения исследовательницы, выигрывающая, удачная адаптация? Вот ответ: «Успешными я считаю адаптации, которые позволяют, благодаря классическому тексту, понять нечто новое в современной жизни и одновременно, благодаря задаваемой ими непривычной перспективе, обнаружить новые аспекты классического произведения: неразрешенные или мнимо разрешенные конфликты, к которым оказались чувствительны авторы адаптаций. Верность оригиналу здесь не требуется — именно сдвиги по отношению к классическому тексту помогают определить контуры зон чувствительности. Интерпретации обращены в обе стороны — к современности и к интерпретируемому тексту. В случае удачи на полпути происходит встреча открытости авторов адаптации проблемам нового времени — и их же заинтересованного внимания к тексту».

В целом надо отметить исследовательскую добросовестность автора. Вводя то или иное понятие, как бытующее в науке (например, «травма»), так и более узкое, необходимое только в контексте данной книги («удачная адаптация»), Фёдорова всякий раз поясняет, что имеет в виду, ничего не оставляя без пояснений, мол, по умолчанию понятно. Сам эпитет «удачная» — важный, хотя, быть может, и малозаметный шаг в сторону от принципов постмодернистской критики: в 1990-2010-е слишком часто говорилось о необходимости оценивать произведение искусства без эмоций и субъективности критика, что, конечно, трудноато представить себе, исходя из специфики искусства, обращенного преимущественно как раз к эмоциям.

Примеры удачных адаптаций Фёдорова так же приводит. Это «Барышня-крестьянка» Алексея Сахарова по сценарию Александра Житинского («Мосфильм», 1991); «Дубровский» Александра Вартанова, Кирилла Михановского и Константина Чернозатонского («Твинди», 2014); «Русский бунт» Александра Прошкина, Галины Арбузовой, Станислава Говорухина, Владимира Железникова («НТВ-Профит», Roissy films, 2000); «Борис Годунов» Владимира Мирзоева («Парсуна», 2011); «Дама пик» Павла Лунгина, Валерия Печейкина и др. (Art Pictures Studio, «Мастерская Павла Лунгина», 2016); «Ревизор» Сергея Газарова и Андрея Дмитриева (кинокомпания «Никита и Пётр», группа «Мост», 1996) и др. Тут, конечно, хочется задать Фёдоровой вопрос о критериях «удачности». Беглый взгляд на бюджет того или иного фильма в сравнении с суммой прокатных сборов заставляет вздрогнуть: даже производство не окупается, о прибыли нечего и говорить. Значит ли это, что зритель не востребует эти фильмы вместе с заключенными в них установками и мессиджами? Почему так происходит? Хотя, наверное, ответы могли бы составить другое исследование...

Правда, о невысоких рейтингах как результате неудачной пиар-кампании Фёдорова пишет. Например, в связи с сериалом Павла Лунгина и Юрия Арабова «Дело о “Мёртвых душах”» (2005). В этом случае рейтинг вступает в прямое противоречие с художественной спецификой кино: «В целом Арабов и Лунгин, используя средства кино — монтаж, компьютерную графику, комбинированные съемки, способ освещения и цветовую гамму, — приближаются именно к тому, о чем Лотман мечтал для пластической реализации Гоголя: одновременного осуществления нескольких возможностей. Они выстраивают в своем фильме несколько уровней реальности». Но вопрос о воздействии эстетической составляющей на зрителя, который в случае сериала должен по идее быть массовым, тут остается открытым...

Фёдорова группирует главы своего исследования по пяти крупным разделам. «Пушкин на экране: Самозванцы в поисках идентичности», «Адаптации Гоголя: Материализация метафоры зрения и исследование пространственных моделей», «Адаптации Толстого: В поисках другого», «Восточный поворот: закрытие гештальта и критика капитализма», «Экранные интерпретации Чехова: Исследование времени, театральности и предметности». Вторые части названий определяют, как кажется со стороны, смысловые узлы современности, на которые однозначно указывает культура, желая исследовать их и разделить со зрителем сделанные выводы. С самозванчеством в постсоветской России можно сравнить самовыдвижение сонма деятелей разного рода, вне зависимости от результата и оценок результатов их активности: в начале 1990-х общество пришло в движение, и на поверхности плавили котла оказались личности, готовые *предпринимать*. Точка зрения, т.е. оценка происходящего — языковая и ментальная производная физиологического зрения, — вкупе с попыткой обжиться в новых пространственных пределах дали толчок формированию «россиянина» вместо «советского человека». В этом смысле постсоветский человек стал «другим» для себя самого. Новый социальный уклад, возникший в буквальном смысле на пустом месте — ибо ни диссиденты, ни реформаторы не выходили из круга базаровских представлений о необходимости разрушить и не представляли себе, что же станут строить, — скорее разочаровал, чем воодушевил. Наконец, обновление в том числе и бытовой реальности привело к формированию новых стилей поведения...

По всем параметрам русская классика хоть что-нибудь да и предложит. Отмечая особую востребованность Гоголя в нулевые и десятые годы, Фёдорова выходит на проблему связи искусства и действительности. Так, в основе гоголевского художественного метода лежат гиперболизация и абсурд. Эти черты, присутствующие в современной отечественной жизни, проще всего поддаются *переводу* на язык кинематографа. «Основной узел проблем, которые возникают в фильмах по мотивам гоголевских произведений, связан с соотношением — в широком смысле — родового и личного, с попытками обретения индивидуальности и субъектности героями, которые ранее были растворены в общем или вообще не рассматривались как субъекты. <...> Романтизация выделяемого "своего", как известно, может быть ответственной за национализм и даже вступать в конфликт с концепцией романтического субъекта, совершающего индивидуальный выбор». К этой проблематике примыкает и осознание жизненного пространства, определение границ российского мира, «его положения и свойств по отношению ко внешнему миру». Почему же именно Гоголь, а не кто-либо из современных авторов, лидирует в этой ситуации? Да потому, что его ирония — романтическая по существу, что важно, — средство передачи глубокой авторской печали о несовершенстве того пространства, которое обволакивает, окутывает язык. «Именно этот комплекс вопросов и противоречий, связанных с национальной и даже географической идентичностью, — основополагающих для художественного мира самого Гоголя и в пределах этого мира неразрешимых, —

оказывается центральным и болезненным для нынешней ситуации». Природа иронии у современных писателей иная, они более склонны к пересмешичанью и сарказму как самоцели.

Художественная удача, таким образом, не гарантирует успеха у зрителя, и это ещё один затронутый Фёдоровой полюс проблемы: в искусстве, как мы видим, их так же, как за пределами искусства, не два, а значительно больше. Ещё один — появление кинопроизведения в данном месте, в данное время, в наличном социально-политическом контексте. Это также влияет и на его судьбу, и на оценки в профессиональной критической среде — как в случае экранизации Владимиром Бортко «Тараса Бульбы» («Арк-фильм», 2008). «В идеологических дискуссиях, вспыхнувших вокруг фильма Бортко, можно выделить несколько направлений — и значительная их часть касается не режиссера, а самого Гоголя, чей статус в свете постколониального пересмотра отношений Украины и России оказался неожиданно, хотя и закономерно, противоречивым. Авторитет Гоголя-писателя в постколониальных спорах является не менее важным аргументом, чем историческая принадлежность земель. Признавать ли его имперским писателем, экзотизировавшим Украину, изображая ее архаической и анархической? Или же автором, которому удалось романтически передать ее национальное своеобразие — не вчуже, а изнутри украинской культуры?» Подобного рода дискуссии зачастую затмевают существо дела: художественные достоинства работы (нужное перечислить) или недостатки (критерии и причины). Следствие вовсе не безобидное, поскольку одна из задач искусства в принципе — формирование вкуса, в данном случае массового, раз речь идет о сериале. Но это, конечно, вопрос компетентности критики, а не мастерства режиссёра.

Книгу Людмилы Фёдоровой интересно читать, даже если не знаком с постсоветскими интерпретациями классики. Рассказывая о кинопродукции, она выделяет основные составляющие современного культурного запроса и показывает читателям их самих.

Даже до или вместо того, как они стали или станут зрителями.

Борис Минаев

Невольная рифма

«Республика ШКИД» Григория Белых и Л.Пантелеева — одна из самых знаменитых книг советской эпохи. Другое дело — а куда ее «поставить», на какую полку? На полку советской классики? Или на полку антисоветской (или, по крайней мере, не советской) классики?

С одной стороны — легендарные 1920-е, «молодая республика в кольце врагов», пафос воспитания «нового человека», борьба с беспризорностью (мы же ещё не забыли, что ее возглавлял Феликс Эдмундович Дзержинский, и тем более не забыли, кто это вообще такой?)...

С другой стороны — один из авторов книги (Григорий Белых) был репрессирован, погиб в 1938 году в пересыльной тюрьме. К тому же «республика», «коммуна», ну это как-то совсем не про советскую школу, не про ее вековые железобетонные устои, единоначалие и консервативность.

...Ну и главный вопрос — это контекст, в котором книга существует и существовала.

Первая жизнь «Республики ШКИД» — предвоенные, военные годы. 1930—40-е. Повзрослело поколение беспризорников, потерявшее родителей во время революции и Гражданской войны, поколение голодавшее, побиравшееся на улицах, чудом выжившее, прошедшее сквозь ад «детприемников» и «распределителей», всё помнившее, всё прошедшее и искренне считавшее: худшее позади, ад преодолен, дальше будет свет, новая дорога, простор идеального общества, настоящей жизни.

Это мироощущение — замешанное, конечно, на общем пафосе коммунистического обновления мира — из нашего сегодня кажется схематичным, топорным, даже отчасти жестоким (ибо тогдашним читателям «Республики ШКИД» было, например, совсем не жалко прежней России, с ее людьми, отношениями, многообразием социальной ткани). Да, но искренность этой веры — в социальный гуманизм, в то, что человечество просто обязано непрерывно улучшаться, искренность веры в прогресс — и сегодня не кажется людоедской.

Вторая жизнь книжки Г.Белых и Л.Пантелеева (которого после 1960 года реабилитировали, восстановили в правах, и он снова занял место на обложке рядом с соавтором) — годы 1960-е. «Оттепельные».

В 1966 году Геннадий Полока снял в Ленинграде фильм по «Республике ШКИД». Попадание в атмосферу времени было снова абсолютно точным. Молодой Сергей Юрский, один из главных артистов «оттепели», атмосфера бурлящей, кипящей школы — как альтернатива советскому казенному «фильму воспитания», с его пуританской моралью и ходульными истинами, радость от снятия цензурных запретов и ироническая свободная интонация. Ну и, конечно, общий страшный исторический фон — детдомовцы и сироты уже второй послевоенной поры, — благодаря которому фильм тоже попадал в самое сердце тогдашнего зрителя.

Фильм Геннадия Полоки тогда взломал стереотипы «школьного фильма». Он был воистину революционным, практически первым в этом жанре — после него появились «Доживём до понедельника» Станислава Ростоцкого, «Айболит-66» и «Чучело» Ролана Быкова, «Не болит голова у дятла» и «Ключ без права передачи» Динары Асановой. И многое-многое другое.

Стало можно говорить о школьных конфликтах и драмах взросления, показывать учителей-революционеров, педагогических одиночек, да и в целом: стало можно говорить об обществе как о живой, текучей, а не застывшей социальной материи. Недаром «Республику ШКИД» посмотрело 32 миллиона зрителей.

...И вот третья жизнь «Республики ШКИД» — это наше время. Премьера одноименного мюзикла в московском Детском музыкальном театре юного актёра.

Я пришел в замечательное новое здание на улице Макаренко (по иронии судьбы третья жизнь «Республики ШКИД» началась на улице другого великого педагога 1920—1940-х годов, Антона Макаренко, чьи «трудовые коммуны» тоже были прославлены в советской дидактической литературе и тоже стали основой для кино). Это не просто театр, а театр-школа. Здесь занимаются дети, начиная с младшего школьного возраста и заканчивая выпускными классами. Они учатся музыке, пению, хореографии, театральному мастерству. Вырастая, некоторые из них идут дальше по профессиональному актерскому пути, и всё же главное тут — не это. Детский музыкальный театр юного актёра воспитывает людей, которые выходят на сцену и играют музыкальные спектакли — просто самим образом жизни, непрерывным совершенствованием, атмосферой творческого труда и поиска. Все это прекрасно и заслуживает отдельного исследования, но все же я пришел сюда просто как зритель и дважды посмотрел спектакль, чтобы понять — почему опять «Республика ШКИД»? Чем этот старый текст может пригодится нам, сегодня: и детям, и взрослым?

...Первая зрительская реакция: вижу детей на сцене — и в горле ком. Невозможно без какого-то инстинктивного эмоционального потрясения смотреть на них, на их жесты, слушать их голоса, погружаться в мелодику самой речи.

Это очень тонко прочувствовали два автора мюзикла: композитор Алексей Шелыгин и поэт Лев Яковлев — и музыкальный текст мюзикла, и само либретто пронизаны нежными тонами, не слезливыми, не плаксивыми, а именно нежными и светлыми.

Удивительное дело: сравнивать этих юных артистов с теми, что снимались в ранние 60-е у Геннадия Полоки в «Республике ШКИД». Вымазанные сажей в первых кадрах, наголо обритые, одетые в лохмотья — тогда, и одетые в мешковатые грубошерстные свитера, с огромными гривами волос мальчишки, тщательно причесанные девочки — сейчас.

Разные беспризорники, разные дети.

Постепенно сквозь все хрестоматийные сюжетные перипетии — «буза», то есть бунт против учителей, попытки построить самоуправление, налет на школу-коммуну уличной братвы, спекуляция хлебом, мессианство и идеализм основателя школы-коммуны Викниксора (Виктора Николаевича Сороки-Росинского) — проступает главная тема: вина и ответственность взрослых перед детьми.

И эта тема — именно сегодняшняя, больная, горькая.

И поэтому именно эти — слишком сегодняшние, слишком нежные, слишком одомашненные — дети кажутся точным попаданием в эту тему.

Потому что вновь наступает эра детей, лишенных детства.

Вновь политические потрясения разрывают социальную ткань общества и железным ломом бьют по семье, по детям, оставшимся без родителей.

Даже в нынешней благополучной Москве — ты все равно кожей ощущаешь это.

Конечно, создатели спектакля не ставили перед собой такой задачи: проводить исторические параллели, сравнивать разные эпохи. Но это происходит само собой.

На вполне условном «заднике» — петербургские колокольни, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Медный всадник, и вот зажигается яркий малиновый закат (сценография Егора Фёдорова), выбегают на «горбатые мосты» дети, раздаются «голоса времени» — и вдруг ты отчего-то понимаешь, что история снова сделала круг и попала в вечное «колесо времени». И вновь, и вновь тысячи, десятки тысяч детей, оставшихся без крова, нужно кормить, воспитывать, устраивать и лечить.

У этого спектакля (если относиться к нему именно как к спектаклю, а не просто как к «педагогическому проекту») есть одна особенность. Несмотря на то, что юные актёры, исполнители главных ролей, невероятно естественны и органичны (Артём Скосырев, Даниил Громыко, Нико Галдава, Эрнест Бореко, Даниил Рахманкулов и другие) — до зрительской дрожи пробирают именно массовые сцены, когда поют и играют актёры, обозначенные в программке просто как «беспризорники», «гужбанши», «шкидцы», «малыши».

И дело тут не в каком-то особенном мастерстве хореографа или хормейстера. Детские характеры, детские эмоции, какое-то почти автоматическое «цепляние» друг за друга, живое месиво их жестов и гримас — произвольно рождает ощущение правды, горькое и пронзительное.

Это, конечно, заслуга режиссёра и художественного руководителя театра Александр Фёдорова, который очень тонко чувствует «человеческий материал».

Да, можно отмахнуться от жанра (подумаешь, мюзикл), от актерского наива (ну что там они понимают, эти дети), от порой беспорядочного мельтешения персонажей — но никак нельзя отмахнуться от ощущения правды.

...Очень важно не пропустить в этом потоке бьющих наотмашь эмоций, эмоциональных токов, идущих от детей-актёров — образы взрослых, педагогов «Школы-коммуны имени Достоевского».

Я уже говорил, что у каждого времени своя «Республика ШКИД», поэтому бесполезно сравнивать игру взрослых актёров в мюзикле — с драматической игрой Юрского или Луспекаева в начале 60-х. Тем не менее исполнителю роли Викниксора Дмитрию Пивоварову удалось создать рисунок роли, абсолютно адекватный задаче. Это не просто «педагог-новатор», идеалист, романтик революции, каким играл его Юрский. Это именно старый российский интеллигент, хранитель генетического кода прежней культуры.

Что — в общем-то — совершенно точно соответствует исторической правде. Сорока-Росинский, однокашник Блока, педагог и литератор — один из тех представителей старой российской интеллигенции, который на пепелище прежней жизни и прежней реальности пытается сохранить свою миссию — гуманиста и просветителя.

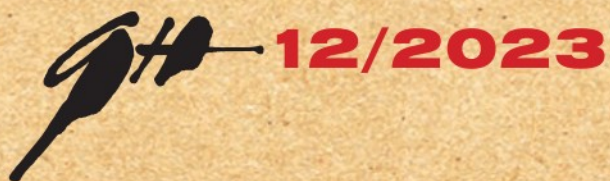
И это тоже довольно точно рифмуется с нашим временем.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Журнал «Дружба народов»
можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.
Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**
Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**
Электронную версию «ДН» можно приобрести на
<http://дружбанародов.com>
Журнал продается в московских магазинах:
«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,
вход с Малого Гнездниковского переулка)
«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА
Корректурa: Елена ЛАПШИНА
Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»





Читайте:

Анна Маркина. «Кукольная». Роман

«Андрей осмотрел выдавшую виды дверь и с размаху ударил ногой в район замка. Дверь всхлипнула, но устояла. Старики подпрыгнули от неожиданности. — Что вы делаете?! Андрей со всей силы ударил ещё раз. Деревянная страдалница затрещала, охнула и поддалась. В комнате никого не было. В глаза бросились пугающие ростовые куклы. У одной над свадебным платьем торчала шкатулка. У каких-то кукол вместо глаз на капроновое лицо были нашиты то ли бусины, то ли пуговицы. Все экземпляры наряжены — некоторые в пышные и тяжёлые ткани, иные — в рваные тряпки. Ромбов остолбенел. Куклы были рассажены и разложены повсюду — они сидели на подоконнике, на диване, заваленном рукописями и газетами, какими-то пакетами, потрёпанными игрушками, лежали на волнах книг и просто гнездились по углам. Помещение напоминало огромный пыльный склад макулатуры — от пола до потолка росли башни книг, стены из тряпок, одежды и мусора. Ромбов подошёл к одной из кукол — с чёрным колготочным лицом, глазами-пуговками и нарисованным ртом, наклонил её, чтобы осмотреть сзади, — кукла запела...»